

10

НОВОБЫИ  
МИР

НОВОБЫИ МИР

10



1976

1976



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 10

Октябрь, 1976 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

|   | Стр. |
|---|------|
| АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ — Из новой книги стихов   | 3    |
| ЛЕВ СЛАВИН — Арденнские страсти, роман. Окончание   | 11   |
| ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ — Вольная натаска, роман. Окончание   | 80   |
| ФЕОДОСИЙ ВИДРАШКУ — Петру Гроза. Главы из книги   | 165  |
| ИЗ ЮГОСЛАВСКОЙ ПОЭЗИИ: Джоко Стоич. Непокоренный город. — Танашие Младенович. Из поэмы «Уста земли». — Славко Вукославевич. Воины. — Десанка Максимович. Горы. — Радован Зогович. Инструкция инструктору. Не жалейте электроэнергии! — Изет Сарайлч. Ваня, это все был я. Быть автором первого стихотворенья. — Густав Крклец. Теперь я знаю. Перевели О. Оленина, Андрей Тарасов, М. Лалич, Маргарита Алигер, Е. Винокуров, Владимир Равич | 229  |
| <b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>   |      |
| А. ПОЛТОРАК — Нюрнберг и современность  | 235  |
| <b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>   |      |
| В. ЛИТВИНОВ — Самосознание искусства. Заметки с писательского съезда  | 254  |
| <b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>  |      |
| <i>Литература и искусство</i>   |      |
| Анатолий Смелянский. Люди из страны детства. — Е. Сурков. Советология, ее цели и методы   | 268  |
| <i>Политика и наука</i>   |      |
| Александр Борщаговский. Мысль, обращенная в будущее. — Евг. Осетров. Сохранить ценности человечества  | 277  |

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

|   | Стр. |
|---|------|
| КОРОТКО О КНИГАХ: Виктор Широков.—Гилемдар Рамазанов. В стране Салавата. Стихи и поэмы. ✦ Алексей Прийма.—Кирилл Усаньин. Свадьбы не будет. Повести и рассказы. ✦ В. Шитова.—Н. А. Дмитриева. Винсент Ван Гог. Очерк жизни и творчества ✦ Дм. Молдавский.—И. Гринберг. Три грани лирики. Современная баллада, ода и элегия. ✦ В. Карпушин, Я. Поварков.—Проблемы гуманизма в марксистско-ленинской философии (История и современность). ✦ А. Кривомазов.—Э. К. Соколовская. 200 научных биографий | 283  |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ   | 288  |

---

---

---

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

★

## ИЗ НОВОЙ КНИГИ СТИХОВ

### СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

С первого по тринадцатое  
нашего января  
сами собой набираются  
старые номера  
сняли иллюминацию  
но не зажгли свечей  
с первого по тринадцатое  
жены не ждут мужей  
с первого по тринадцатое  
пропасть между времен  
вытри рюмашки насухо  
выключи телефон  
дома как в парикмахерской  
много сухой иглы  
простыни перетряхиваются  
не подмести полы  
вместо метро «Вернадского»  
кружатся деревья  
сценою императорской  
кружится Павлова  
с первого по тринадцатое  
только в России празднуют  
эти двенадцать дней  
как интервал в ненастиях  
через двенадцать лет  
вьюгою патриаршею  
позамело капот  
в новом непотерявшееся  
старое настаёт  
будто репатриация

я закопал шампанское  
под снегопад в саду  
выйду с тобой с опаскою  
вдруг его не найду  
нас обвенчает наскоро  
белая коронация  
с первого по тринадцатое  
с первого по тринадцатое

## КРАСОТА

Я, урод в человеческом ряду,  
в аллергии, как от крапивы,—  
исповедую красоту.  
Только чувство красиво.

Исповедую луг у Оби  
не за имя,  
а за то, что он полон любви,  
и любви не взаимной.

Исповедую спящей черты...  
Мне будить Тебя грустно и чудно.  
Прежде чем пробуждаешься Ты —  
пробуждается чувство.

Исповедую сердце свое  
перед сломом —  
словно выселенное жилье  
рядом с домом незаселенным.

Исповедую исповедь-быль:  
в век научно-технический, бурный  
гастролера, чье имя забыл,  
полюбила студентка-горбунья.

Полюбила исподтишка,  
поливала цветы сокровенно.  
Расцветали в горбатых горшках  
целомудренные цикламены.

Полюбила, от счастья бледна,  
от позора таясь, как ракушка.  
Прежде чем появлялась она,  
появлялось сияние чувства.

Лик закинув до забытья,  
вся светясь и дрожа от волнения —  
словно зеркальце для бритья —  
вся ловила его отраженье.

Разбить зеркальце не к добру.  
Была милостыня свиданья.  
Просияло в аэропорту  
милосердье страданья.

Переписка их, свято-нага,  
вслух читалась на почте.  
Завизжала и прогнала,  
когда он к ней вернулся пошло.

Он стоял на распутьях пустых,  
подбирал матерщину обидную.  
Он ее милосердье постиг.  
Как ему я завидую!

Городка подурнели черты.  
А над нею — как холмик печали —  
плачет чувство такой красоты!  
Его ангелом называли.

### В ГЛУШИ

Груша заглохшая, в чаще одна,  
я красоты твоей не нарушу.  
Ни для кого — лишь для меня  
радуешь глаз, радуешь душу.

Сосны цветут — свечи огня,  
спрятав в ладошки будущих шишек,  
тянут, от ветра тебя заслоня.  
Хочешь — кури, хочешь — сватайся к Мнишек.

Нету тщеславия в наших лесах.  
Виснут черемухи свежие стружки.  
Только за то, что от них вы в слезах,  
радуют глаз, радуют душу.

### РЕКВИЕМ

Возложите на море венки.  
Есть такой человеческий обычай —  
в память воинов, в море погибших,  
возлагают на море венки.

Здесь, ныряя, нашли рыбаки  
десять тысяч стоящих скелетов,  
ни имен, ни причин не поведав,  
запрокинувших головы к свету,  
они тянутся к нам, глубоко.  
Возложите на море венки.

Чуть качаются их позвонки,  
кандалами прикованы к кладбищу,  
безымянные страшные ландыши.  
Возложите на море венки.

На одном, как ведро, сапоги,  
на другом — на груди амулетка.  
Вдовам их не помогут звонки.  
Затопили их вместо расстрела,  
души их, покидавшие тело,  
по воде оставляли круги.

Возложите на море венки  
под свирель, барабан и сирены.  
Из жасмина, из роз, из сирени  
возложите на море венки.

Возложите на землю венки.  
В ней лежат молодые мужчины.  
Из сирени, из роз, из жасмина  
возложите живые венки.

Заплетите земные цветы  
над землею сгоревшим пилотам.  
С ними пили вы перед полетом.  
Возложите на небо венки.

Пусть стоят они в небе, видны,  
презирая закон притяженья,  
говоря поколениям прошедшим:  
«Кто живой — возложите венки».

Возложите на Время венки,  
в этом вечном огне мы сгорели.  
Из жасмина, из белой сирени  
на огонь возложите венки.

### САМОРОДКИ

Пробегаю по камням,  
и летает по пятам  
поэт в первом поколеньи —  
мой любимый адъютант.

Честность в первом поколеньи,  
за душою ни рубля.  
Самородки современья  
сами создают себя.

Может, жизнь вас обмолотит,  
благолепие любя?  
Молодые самородки,  
сами делайте себя!

Есть у Музы подвиг страданный,  
и посты монастыря,  
и преступная эстрада —  
как гулящая сестра!

Совесть в первом поколеньи  
и опасная судьба —  
разоря озареньем,  
рождать заново себя.

Как обкуренную трубку,  
не ревнуя, не скорбя,  
джинсы, сшитые из Врубеля,  
подарю после себя.

Волю в первом поколеньи,  
на швах вытертый талант,  
но не стертый на коленях.  
Будь мужчиной, адъютант!

Не ослушайся приказа:  
тело может сбить с лыжни.  
Уходя, как ключ, два раза  
во мне ножик поверни.

### ОБСЕРВАТОРИЯ

Мы живем между звездами и пастухами,  
под стеной телескопа, в лачуге, в саду.  
Нам в стекло постучали:  
«Погасите окно — нам не видно звезду».

Погасите окно, алых штор дешевизну,  
из двух разных светил выбирайте одно.  
Чтоб в саду рассветли гефсиманские дикие вишни,  
погасите окно.

Мы окно погасили, дали цезарю цезарево.  
Но сквозь тысячи лет — это было давно! —  
пробивается свет, что с тобой мы зарезали.  
Погасите звезду — мне не видно окно.

### АСТРОФИЗИК

Вольноотпущенник Времени возмущает его рабов.  
Лауреат госпремии тех, довоенных годов  
ввел формулу Тяжести Времени. Мир к этому не готов.

Его оппонент в полемике выпрыгнул из своих зубов.  
Вольноотпущенник Времени восхищает его рабов.

Был день моего рождения. Чувствовалась духота.  
Ночные персты сирени, протягиваясь с куста,  
губкою в винном уксусе освежали наши уста.

Отец мой небесный, Время, испытывал на любовь.  
Созвездье Быка горело. С низин подымался рев —  
в деревне в хлеву от ящура живьем сжигали коров.

Отец мой небесный, Время, безумен Твой часослов!  
На неподъемных веках стояли гири часов.  
Пьяное эхо из темени кричало, ища коробок,  
что Мария опять беременна, а мир опять не готов...

Вольноотпущенник Времени вербует ему рабов.

### ХОЗЯЙКА

Раму раскрыв, с подоконника, в фартуке,  
тыльной ладонью лаская стекло,  
моешь окно — как играют на арфе.  
Чисто от музыки и светло.

\*.\*

На улице, где ты живешь  
над новогодней велогонкой,  
ко мне прибился лживый пес,  
чертополох четвероногий.

Как шапку и другие вещи,  
его я оставлял внизу.  
Но гаснут елочные свечи,  
когда я в комнату вхожу.



## СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Человек явился в лес,  
всем принес деликатес:

лягушонку  
дал сгущенку,

дал ежу,  
что — не скажу,

а единственному волку  
дал охотничью водку,

налил окуню в пруды  
мандариновой воды.

Звери вежливо ответили:  
«Мы еды твоей отведали.  
Чтоб такое есть и пить,  
надо человеком быть.  
Что ж мы попусту сидим?  
Хочешь, мы тебя съедим?»

Человек сказал в ответ:  
«Нет.  
Мне ужасно неудобно,  
но я очень несъедобный.

Я пропитан алкоголем,  
аллохолом, аспирином.  
Вы меня видали голым?  
Я от язвы оперируем.

Я глотаю утром водку,  
следом тассовскую сводку,  
две тарелки, две газеты,  
две магнитные кассеты,  
и коллегу по работе,  
и два яблока в компоте,  
опыленных ДДТ,  
и т. д.

Плюс сидит в печенках враг,  
курит импортный табак,  
в час четыре сигареты.  
Это  
убивает каждый день  
сорок тысяч лошадей.  
Вы хотите никотин?»

Все сказали: «Не хотим.  
Жаль тебя. Ты — вредный, скушный:  
если хочешь — ты нас скушай».

Человек не рассердился  
и, подумав, согласился.

## НАД ОМУТОМ

Бабушка с удочкой, девочка с удочкой  
каждые сумерки возле запруд —  
женщина в прошлом и женщина в будущем —  
воду запретную стерегут.

Как польхают за полем картофельным  
две пробегающих женских зари!  
Как повторяется бабушкин профиль  
профилем девочкиным внутри!

Гнутые удочки, лески капронные  
в золоте омота отражены,  
будто прозрачные дольки лимонные.  
Но это кажется со стороны.

То ли мужик перевелся в округе?  
Юбки упруги. В ведрах лещи.  
«Бабушка, правда есть рыба бельдюга?»  
«Дура, тащи!»

Как хороша эта страсть удивившая!  
Донная рыба рванет под водой.  
И, содрогнув, пробежит по удилицу  
рыболовецкий трепет мужской.

## МОНОЛОГ РЕЗАНОВА

Николай Резанов — российский посол и мореплаватель. В 1806 году, занесенный судьбой в Америку, он обручился с дочерью сан-францисского губернатора. Их любви и злоключениям посвящена моя поэма «Авось!».

Божий Замысел я исказил,  
жизнь сгубив в муравейне.  
Значит, в Замысле не было сил.  
Откровенье — за откровенье.

Остается благодарить.  
Обвинять Тебя в слабых расчетах,  
словно с женщиной счета сводить —  
в этом есть недостойное что-то.

Я мечтал закусив удила-с  
свесть Америку и Россию.  
Авантюра не удалась.  
За попытку — спасибо.

Свел я американский расчет  
и российскую грустную удадь.  
Может, в будущем кто-то придет.  
Будь с поэтом полегче, Сударь.

Бьет 12 годов, как часов,  
над моей терпеливою нацией.  
Есть апостольское число,  
для России оно — двенадцать.

Восемьсот двенадцатый год —  
даст ненастья иль крах династий?  
Будет петь и рыдать народ.  
И еще, и еще двенадцать...

Ясновидец это число  
через век назовет поэмой,  
потеряв именье свое.  
Откровенье — за откровенье.

В том спасибо, что в Божий наш час  
в ясном Болдине или в Равенне,  
нам являясь, Ты требуешь с нас  
откровенья за Откровенье.

За открытый с обрыва Твой лес  
жить хочу и писать откровенно,  
чтоб от месс, как от горных небес,  
у больных закрывались каверны.

Оправдался мой жизненный срок,  
может, тем, что, упав на колени,  
в Твоей дочери я зажег  
вольный свет откровенья.

Она вспомнила замысел Твой  
и в рубашке, как тени Евангеля,  
руки вытянув пред собой,  
шла, шатаясь, в потемках в ванную.

Свет был животворящий такой,  
аж звезда за окном окривела.  
Этим я расквитался с Тобой.  
Откровенье — за откровенье.



---

ЛЕВ СЛАВИН

★

## АРДЕННСКИЕ СТРАСТИ\*

Роман

*Пощечина*

**Д**евятнадцатого декабря передовые части 5-й армии достигли Живе в двадцати километрах от Мааса. 6-я армия СС продолжала вести тяжелые бои у Монжуа. Отряд партизан под начальством Урса продвигался лесами в направлении к Бастони. Ночами они высылали разведку во встречные люксембургские местечки, и если немецкий гарнизон был невелик, они завязывали с ним бой. Потом снова исчезали в лесу на вершинах и склонах гор невидимые для воюющих сторон, которые сражались на дорогах и в городах. Но и здесь, в лесу, партизаны соблюдали осторожность и шли рассыпным строем, мелкими группами, скользили меж деревьев, как тени, на коротких охотничьих лыжах в своих белых бараньих тулупчиках.

Они и в лесу избегали открытых мест, и если Амедей, Лейзеров и Финик вопреки запрету вышли на большую круглую поляну, то это потому, что они заметили лежащие в снегу два тела. Полузасыпанные снегом, они тесно прижались друг к другу щека к щеке. Их тормозили, растирали снегом. Потом подтащили к костру и влили каждому в рот изрядную порцию горячего чая с ромом. Первым открыл глаза Майкл. Увидев наклонившееся над ним бородатое курносое лицо Финика, он прошептал:

— Сократ...

Он все еще был во власти сладкого забытья, в которое впадают замерзающие.

Финик поднялся и сказал:

— Ну, этот в порядке.

Осборн все слышал. Но он предпочитал оставаться якобы в обморочном состоянии. Из предосторожности. А вдруг это переодетые диверсанты? Кроме того, он надеялся, что в него, может быть, вольют еще порцию этого восхитительного пойла.

Но если Осборн заподозрил в своих спасителях переодетых диверсантов, то такая же мысль пришла в голову Финику: а не являются ли эти два американца замаскированными эсэсовцами?

Подоспевший к этому времени Урс энергично замотал своей тяжелой головой:

— Порете чепуху, ребята. Диверсанты не сунутся в лес.

В конце концов все устроилось. Партизаны обещали доставить Осборна и Майкла в какую-нибудь американскую часть.

---

\* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

— Фронт не сплошной,— сказал Урс,— мы всегда найдем лазейку, чтобы проскользнуть на ту сторону.

Он внимательно присматривался к американцам. Он нашел, что Осборн с его желчным выражением лица и повелительными интонациями довольно шаблонный тип офицера из резервистов, заполучившего кроху власти, и она вскружила ему голову. «Не моего романа человек»,— решил Урс и перестал интересоваться Осборном.

Другое дело Майкл. Урса поразило смещение в его лице... Лице? Да нет... В повадках? И не в этом... Юноша держался смиренно... Может быть, в детскости его взгляда или в его бесстрашии, доходившем до нелепости, было то смещение силы и беспомощности, которое так поразило Урса. То необщее, что было в Майкле, привлекло внимание и другого партизана, Давида Брандиса, ставшего, кстати, его взводным командиром.

Осборн обособился от партизан. Он позволял разговаривать с собой и даже снисходил до односложных ответов, но сам ни к кому не обращался, за исключением Урса, который все же был начальником отряда и вообще подавлял Осборна громадностью своей плоти, размашистостью жестов и громоподобностью рыка.

Майкл, напротив, быстро сошелся со всеми. Амедею он наиграл на губной гармонике несколько коротеньких американских зонгов. Другой француз, тощий, словно вымоченный в рассоле, нервный молчаливый Жан, преисполнился к Майклу доверием и рассказал на ломаном английском языке о своих тревогах за семью, оставшуюся в Париже. У мужичков Питера и Яна стал Майкл учиться фламандскому языку, а у Финика русскому. Но более всего он сошелся с сухим, жилистым Брандисом, который мог говорить часами настойчиво, иногда навязчиво, но умел и слушать, поглаживая свою красивую черную бороду, не скрывавшую страдальческой и презрительной линии его рта. Кроме того, Майкла и Брандиса связало то, что они оба математики. Темы их разговоров были скачущие. Майкл мало терся в мире. В его жизни, еще такой короткой, не было резких граней, когда душа на изломе обнажается до дна. Не было и разительных встреч, не было еще даже любви. Были только комнатные бури духа. Большое и малое смешивалось в его мозгу хаотически. Одно он твердо знал: его ждут муки распятия, ибо он постановил своим жизненным правилом не брать, а отдавать.

У Брандиса же было что порассказать. Он поведал Майклу о судьбе русского журналиста Кольцова, которого он встречал в Испании, и другого журналиста, итальянца Курта Малапарте, с ним он тайно встречался в Кракове, где тот был принят в резиденции гауляйтера Франка, а он, Брандис, работал в подпольной группе Сопротивления. Он рассказывал Майклу о борьбе варшавского гетто и о трагическом восстании Варшавы против нацистов, он дрался на баррикадах обеих этих битв. Но больше всего страсти Брандис вкладывал в свои рассуждения о судьбах еврейского народа. Это было его больное место, и в такие минуты он казался Майклу почти безумным со всеми своими муками и надеждами.

По мере того как партизанский отряд продвигался на юг, к нему приставали американские солдаты, уцелевшие во время разгрома горных застав и поражения у Сен-Вита. Их всех сгоняли под начало первого лейтенанта Осборна, который, казалось, был рад, что ему нашлось занятие. Первым делом он проверял, не переодетые ли диверсанты они. Он устраивал им экзамен по американскому быту: как называется остров, на котором стоит статуя Свободы? Кто такой Тарзан? Как зовут вице-президента? Он предлагал произносить слово «wreath» (венки) — сочетание w, r, th не под силу даже хорошо знаю-

щим язык немцам. И т. п. Негров, конечно, он не проверял. Вот когда наконец пригодилась их кожа.

Постепенно в отряде Урса образовался американский взвод. Странно, что Майкл не вошел в него. Осборн словно забыл о нем. Но Майкл понимал, что дело не в этом. Осборн вообще избегал обращаться к нему. Между ними возникло силовое поле, отшвыривавшее их друг от друга, но покуда незаметное для других. Было похоже, что между ними лежит что-то такое, чего они оба боятся коснуться, что-то вроде мины натяжного действия типа «прыгающей Бетти». Боже сохрани задеть хотя бы один из трех ее усиков, выступающих еле заметно из земли. Впрочем, Осборн не был уверен, догадывается ли Майкл, какая убийственная шрапнельная начинка кроется в их «прыгающей Бетти». А Майкл отгонял от себя саму мысль, будто Осборн догадывается, что ему, Майклу, известно нечто такое тягостное, унижительное, позорное, что... Словом, они избегали друг друга. Майкл числился во взводе Брандиса.

Получив под свое начало американских солдат, Осборн решил подтянуть их. Его не смущало, что тут были ребята из разных частей и различного рода оружия — помимо пехотинцев, связисты, саперы, артиллеристы и нестроевые — повара, санитары. Осборн наконец побрился. Казалось, вместе с грязной щетинкой он сбросил с себя мрачную апатию и снова приобрел свой мушкетерский бравый вид.

На одном из привалов он построил американцев в две шеренги и обратился к ним с небольшой речью. Начал он отнюдь не резко, скорее покровительственно, как хозяин с работниками:

— Я хотел сказать вам вот что, люди. Вы потеряли воинский вид. Мы находимся в чужой среде. Партизаны не солдаты. Вы с них пример не берите.

Майкл, проходивший мимо, остановился и с удивлением слушал. Этих замашек он не знал за Осборном. «Он честолюбив, оказывается, — подумал Майкл, прислушиваясь к начальническим ноткам в голосе первого лейтенанта. — И как все честолюбцы, он беспринципен...»

— Я не хочу видеть расстегнутых воротничков! — кричал Осборн. — Что за разгильдяйство! Ношение галстуков обязательно! А галстуки! Посмотрите на них! Шнурки волочатся по земле! Как черви! Безобразия!

Теперь уже не только Майкл, но и другие партизаны остановились и наблюдали это зрелище. Подошел и Урс. Он слушал с явным интересом и чуть усмехался в свою саваофскую бороду. Осборна несколько не смущала эта аудитория. Он распался все больше:

— Отныне всякого солдата, которого я увижу без каски, я буду штрафовать. Для первого раза на десять долларов.

Солдаты молчали. Одни были испуганы, другие подталкивали друг друга локтями и насмешливо улыбались. Правифланговый, красивый рослый малый, откровенно засмеялся.

Осборн вскипел.

— Фамилия? Армия? — крикнул он.

— Взводный сержант Нортон из Третьей армии.

Глаза его дерзко блеснули. Он не скрывал улыбки.

— Здесь, в походных условиях, нет гауптвахты, — отрывисто проговорил Осборн. — Но при первой возможности трое суток тебе обеспечено. Не надейся, что забуду.

Он прибавил более мягко, впадая в отечески-назидательный тон:

— Стыдно, Нортон. Если бы командующий твоей армией генерал Паттон знал о твоём поведении...

— Стоп! — сказал Нортон. — Нынче Джордж Паттон уже не тот.

На днях по приказу главнокомандующего генерал Паттон перед строем просил извинения у солдата. Да, сэр, у простого солдата.

Тут Урс внезапно расстался со своим олимпийским спокойствием и пробасил:

— Расскажи, парень.

Нортон ухмыльнулся:

— А что ж рассказывать, дело простое. Проштрафился — повинился. Мало что он генерал.

Ропот восхищения пробежал по строю солдат.

Урс настаивал:

— В чем проштрафился? Говори, сержант, не бойся.

Нортон ответил пренебрежительно:

— Чего мне бояться.

Вмешался Осборн. Он уже немного жалел, что не удержался от угрозы. Видно, она пришлась не по вкусу Урсу.

— Генерал Джордж Паттон,— сказал Осборн рассудительно,— герой Сицилии. Армия гордится им. Ну, иногда вырвется у него крепкое словечко. На то мы солдаты, черт возьми, а не монашки! Что ж, люди, может, нам выдать вместо карабинов сборники псалмов, а вместо касок напялить чепчики?

И он прибавил крепкое словечко. Солдатам эта присоленная реплика понравилась. Раздался одобрительный смех. Один Нортон остался мрачным. Он сказал угрюмо:

— Да, большего сквернословия, чем генерал Джордж Паттон, в американской армии нет. Уж он такую похабщину откалывает! Недаром у нас говорят: ругается, как Паттон.

Осборн нахмурился:

— Генерал никогда не выражается зря. Всегда по делу... Недаром говорят, что он один из самых hard-bitten генералов американской армии.

— Как вы говорите? — заинтересовался Урс.

— Да это словечко трудновато перевести,— сказал Осборн,— даже англичане его не совсем понимают.

— Почему? — возразил Урс.— Вот я понимаю. Загрубелый? Упорный? Крепкий в драке? Стойкий?

— Да,— неохотно согласился Осборн,— все это так, но и еще что-то неуволимо американское...— Вдруг он прервал себя и уставился на Нортон: — Смотрю я на тебя, сержант, и не пойму: ты как попал на север? Ведь Третья армия стоит далеко на юге, где-то в Эльзасе. Какого же черта ты болтаешься здесь? А? Можешь объяснить?

Нортон посмотрел на Осборна с явным сожалением.

— А вы что, не знаете, что из Третьей армии одна дивизия была брошена под Сен-Вит? Паттон был против этого, и он был прав, будь я проклят! Гунны нас там здорово помяли. Так вот я оттуда. А вот интересно, где были вы, сэр?

Осборн побагровел от негодования. Но не успел ничего сказать, потому что немедленно вмешался Урс:

— Бросьте препираться. Будете сводить свои счета, когда вернетесь к своим. Так, значит, генерал Паттон извинился перед солдатом за то, что обложил его?

— Совсем не за это,— сказал Нортон.— А то ему извиняться по десять раз на день.

— За что же?

— За то, что он смазал солдатiku по роже. Да не один, а два раза. Справа и слева.

— Не верю! — закричал Осборн.

— Тс-с,— утихомирил его Урс. И к Нортону: — А ну-ка расскажи подробнее, сержант, как было дело.

Нортон переступил с ноги на ногу.

— Не подумайте, я не против Джорджа Паттона,— начал он.— Нам не так плохо с ним. Разве можно сравнить нашу жизнь с тем адом, который достался ребятам из Девятой армии Симпсона, попавшей в подчинение к Монтгомери. Да я лучше соглашусь чистить нужники в Третьей армии, чем быть вестовым в штабе самого Монти. Нигде нет таких потерь, как на этих дерьмовых дамбах на Роере. А почему? Потому что Монти прячет своих лайми за спинами наших ребят!

Нортон разгорячился. Он выступил из строя, кричал, размахивал руками. Все это явно не нравилось Осборну, но, глянув на одобрительно улыбавшегося Урса, он сдержал себя.

Нортон продолжал:

— Так что я ничего плохого не хочу сказать о нашем старике Паттоне. Он, может быть, самый блестящий офицер американской армии. Скажу больше, я горжусь Джорджем. Ведь именно он, а не кто другой выпер гуннов из Сицилии. Я там был, сэр, у меня за Сицилию «Серебряная звезда». Правда, за последнее время Паттон стал слишком фасонистый. На рукоятку своего пистолета насадил жемчужины. А посмотрите на его машину — он намалевал на ней две огромных генеральских звезды, чтобы уже издали было видно, едет сам Джордж Паттон. Но все это мы ему прощали. Но мордобой? Нет, извините, сэр! Мы свободные американцы, и из того, что сейчас мы в этой провонявшей Европе, не следует, что с нами можно обращаться, как с какими-нибудь протухшими французишками или полячишками!

Теперь ропот послышался в толпе партизан, обступивших американский взвод. Урс поднял руку, призывая к тишине.

— Полегче, сержант,— сказал он.— Тут нет «французишек» и «полячишек», а есть французы и поляки. И они твои братья по оружию. Поэтому...

Урсу не дали договорить. К строю американцев подбежал худой нервный Жан. Впрочем, сейчас он был непривычно спокоен. Он сказал на довольно правильном английском языке, изредка только вкрапывая французские слова, тут же, Впрочем, поправляя себя:

— Слушай, янки, мы, французы, тоже против мордобоя, но мы за честную драку. Скидывай шинельку, и померяемся с тобой. Ни один порядочный француз не отойдет в сторонку, когда его оскорбляют.

— И ни один поляк,— раздался чей-то голос из толпы партизан.

И вслед затем, раздвигая людей руками, вышел Брандис.

— Выбирай,— сказал он коротко.

Урс шагнул вперед. Громадная фигура его воздвиглась между ними как стена.

— Спокойно, ребята,— сказал он.— Не хватает только, чтобы мы передрались друг с другом. Но здесь затронут вопрос чести. Поэтому, Нортон, тебе придется выбирать: или драться, или извиниться и взять свои пошлые слова о французах и поляках обратно.

Нортон стоял молча. Тишина была такая, что слышно было шуршание ветра в верхушках елей. Наконец он сказал:

— Я никого не хотел обидеть... Сорвалось с языка... На войне язык грубеет... Если мой генерал не постеснялся извиниться, то не постесняюсь и я, его солдат.— И неожиданно добавил: — А теперь, если вам этого мало, стукнемся.



Он попытался обойти Урса, но всюду наткнулся на его руки, которые отодвигали его мягко, но неодолимо.

— Хватит, хватит,— повторял Урс,— все в порядке.

Он поискал глазами Осборна, чтобы тот увел свой взвод: страсти накалились, дух драки носился над поляной. Но первого лейтенанта нигде не было видно.

Осборн ушел в лес. Он хотел побыть один. Все происшедшее взволновало его. Он остановился у толстого пня. Смел с него снег. Сел. Он уверил себя, что ему надо поразмышлять. Но, в сущности, ему не о чем было размышлять. Ибо решение уже было принято. Оно было принято в тот момент, когда он узнал, что генерал публично перед строем попросил прощения у солдата. Он, Осборн, закричал тогда: «Не верю!» Но он крикнул так оттого, что он не хотел в это верить, не хотел, чтобы так было, однако понимал, что это было именно так. Ему стало жаль Паттона. Он знал его. А солдата он не знал. Он всегда восхищался Паттоном. А солдат — это какая-то абстракция, что-то безликое. Поэтому он жалел именно Паттона — этот гордый человек, этот великолепный уникам, да! единственный в своем роде, унизился до извинения перед простым солдатом, которых миллионы. В этом тоже было что-то великолепное, что-то большое, может быть великое, недоступное заурядному человеку...

Да! Решение принято! Осборн вскочил и энергично зашагал обратно в лагерь.

Там он сразу наткнулся на Урса.

— Что это у вас такой праздничный вид, Осборн?

— Какой? — удивился Осборн.

— Ну, какой-то радостный, ликующий, я бы даже сказал, просветленный.

Черт! Никогда не знаешь, серьезно ли говорит этот могучий чу-дак или шутит. Но действительно, с того момента, когда Осборн принял свое решение, его охватил прилив радости.

— Великолепный поступок Паттона, правда, Урс?

Урс улыбнулся и сказал:

— Человеческая глупость так же многообразна, как и человеческий ум.

И зашагал дальше, оставив Осборна в полном недоумении.

Осборн вернулся к себе в палатку. Чувства его были смутны. От радостного возбуждения не осталось и следа. Снова чугунная плита надвинулась на сердце. Осборн сделал то, что он делал в безвыходном положении: он заснул. Почти произвольно.

И снова этот сон... Его сны были главным образом запоздалым сведением счетов. Он рассчитывался в них за обиды своей жизни. Он женился на женщине много старше его и с бурным прошлым. Он расправлялся с ее любовниками, и это было так ярко, как наяву.

Но последние ночи стала являться ему в снах другая картина, более современная, почти вчерашняя. Вставал перед ним Майкл, длинный, с детским суровым лицом, переросший ангел, и выхватывал у него из рук кусок хлеба, когда он собирался засунуть его себе в рот.

Осборн закричал и проснулся, он еще не понимал, сон это или наяву.

Он вышел из палатки и пошел искать Майкла. Он нашел его на краю маленькой площадки. Рядом с ним Брандис. В руках у них хвостинки, они что-то чертили на снегу. Осборн прислушался к их разговору. Они спорили. Но понять ничего нельзя было. Брандис говорил с усмешкой:

— Одно из двух: если эта формула...— И он рисовал на снегу какие-то странные значки: —...если она истинна, то почему вы не можете вывести из формулы...

И он снова чертил на снегу значки, такие странные, что Осборн принял их за арабские буквы.

Но из ответа Майкла, который тот выкрикнул почти яростно, Осборн понял, что значки эти — математические символы.

— Так пойми же, Брандис, что это и есть гениальная суть теоремы Гёделя! Да, формула...

Снова значки на снегу.

— ...невыводима из аксиомы...

Значки!

— ...но истинность ее очевидна, и она сама является аксиомой, и это непроверяемо...

— Почему?

— В стандартной интерпретации...

— Которая есть детский бред!

— Нет, она есть естественный акт мышления!

Осборн позвал Майкла. Тот нехотя пошел за ним.

— Мне надо с тобой поговорить. Хватит математики.

Майкл посмотрел на него и сказал строго:

— Математика — это язык, на котором бог разговаривает с людьми!

— Только редко кто его понимает,— буркнул Осборн.

Майкл плохо слушал его. Похоже, что мыслями он там, на снегу, среди своих странных значков.

Осборн оглянулся. Он хотел удостовериться, что их никто не слышит. У него был довольно смущенный вид. Он явно не знал, как изложить то, с чем он пришел к Майклу.

— Понимаешь...— начал он с трудом, пытаясь улыбкой скрыть смущение.

Майкл посмотрел на него более внимательно.

— Понимаешь, в человеке есть и то и се... Вот ты на меня сердишься...

— Я совсем не сержусь на вас,— сказал Майкл тоже почему-то смущенно.

Осборн как бы не слышал этого. Ему было бы легче сказать то, что он хотел, считая, что Майкл на него сердится.

— Вот ты на меня сердишься... И я знаю, за что... Ну... за хлеб... Ну, за хлеб, что я ел один...

Осборн боялся посмотреть на Майкла. Почему он молчит? Ах, да... Нужно еще пробормотать какие-то слова извинения и раскаяния... Он ждет их... Но разве он и так не понимает? Это жестоко с его стороны...

Не глядя на Майкла, Осборн подумал: «Хорошо... я скажу... мне это тяжело... но я скажу...»

Он не успел.

Майкл обнял его и поцеловал.

### *Крупные разговоры*

Уже темнело, когда капитан Штольберг добрался до перевала у Труа-Пон. Местность оправдывала свое название: один мост арочный, выгнув спину как кошка, прыгал на север, другой почти под прямым углом косо сбегал на запад, обломки третьего валялись на дне оврага посреди горного ручья, где запруживая его, где делая бешено порожистым.

На развилке Штольберг приказал шоферу остановиться. Ветер, набитый морозными иглами, вырывался, свистя, из ущелья. Однако в его посвисте Штольбергу почуялось что-то недоброе. Он вслушался. Эге, дружище, да это гул недалекого боя! По-видимому, дралось немалое подразделение. Понаторевшее ухо Штольберга различило в этой дьявольской трескотне не только таканье крупнокалиберных пулеметов, но и мурлыканье ротных минометов и даже изредка гром дивизионных орудий. Горное эхо дробило и множило звуки, перекачивало с вершины на вершину, выворачивало наизнанку, превращало в подобие адского хохота, иногда — гигантского мяуканья.

Капитан Штольберг испытал глубокое удовлетворение оттого, что он не имел права ввязываться в бой, поскольку был посланцем со специальным поручением от генерала Мантейфеля к обергруппенфюреру Дитриху. Надо полагать, и шофер почувствовал облегчение, когда капитан приказал двигаться на север, в обход невидимого боя.

Честное слово, можно было подумать, что в штабе Дитриха ждали Штольберга! Конечно, это невозможно, ведь нормальной связи сейчас нет. А то, что никакого удивления при виде Штольберга на лице Биттнера не выразилось, следует приписать исключительно профессиональной выдержке гауптштурмфюрера.

Зато Штольберг при виде Биттнера не удержался от шумного удивления даже с оттенком, представьте, некой радости, словно он вдруг забыл все то злое, что ему причинил этот человек, — так приятно было капитану увидеть знакомое лицо в этом мрачном воинском соединении.

Удивил Штольберга и сам штаб армии. Не только никакого оживления, свойственного армейским штабам в любой час суток во время наступления. Здесь царило какое-то жуткое спокойствие, как в морге. Лежал какой-то офицер, растянувшись на скамье и накрывшись с головой шинелью, из-под которой доносился сочный храп. Дремал телефонист возле своего безмолвного аппарата. Только Биттнер бодрствовал: он был дежурным по штабу. Да и то сказать, подозрительное красное пятно на мятой щеке да растрепанные волосы наводили на мысль, что и он только что кемарил на ковровом диване, стоявшем у стены. Не спали только два рослых эсэсовца, сидевшие по обе стороны двери, видимо охранники.

— Обергруппенфюрер Дитрих? — спросил Штольберг, кивнув в их сторону. — Доложите, что к нему специальный порученец из Пятой танковой армии с личным посланием от генерала Мантейфеля.

Биттнер покачал головой:

— Здесь начальник штаба генерал Крамер. Партайгеноссе Дитрих у себя. И до утра вы его не увидите.

— Тогда хоть к генералу Крамеру.

— Это бесполезно. К тому же он спит.

Биттнер растолкал спавшего на скамье офицера. Тот вскочил, белокурый, розовощекий, похожий на девушку, и устремил на Биттнера вопрошающий взгляд.

— Останешься за меня, Курт, — сказал Биттнер. — Я пойду устрою капитана на ночевку.

В это время раздвинулись брезентовые полотнища, свисавшие над дверью на манер портьер, и между ними просунулось бугристое, с отвислыми щеками, бульдожье лицо генерал-полковника Зеппа Дитриха. Глаза его уставились на Штольберга.

— Откуда этот тип? — прохрипел он.

Биттнер и Курт с удивлением переглянулись. Это были первые слова, которые обергруппенфюрер произнес за последние два дня.

После тяжелых неудачных боев за Мальмеди он замкнулся в мрачном молчании.

Штольберг щелкнул каблуками и отбарабанил:

— Капитан Штольберг из Пятой танковой. Прибыл из штаба генерала Мантейфеля для установления связи.

Дитрих молчал. Он не сводил со Штольберга глаз, красных, словно как от бессонницы или после перепоя. Молчание это начинало беспокоить Штольберга. Чтобы забыть его, он заговорил приподнятым тоном, рядясь под бодрого молодцеватого офицера непобедимой гитлеровской армии.

— Следовал к вам через Мальмеди, видел там следы ваших мощных ударов. И далее через Ставло, захолустная деревушка, замерзший ручей, гигантские склады американского горючего...

И неожиданно, но не меняя бодрого тона:

— ...к которым вы, к сожалению, опоздали.

Резким движением Дитрих распахнул брезентовые портьеры и вышел наружу, коротконогий, брюхастый, с угрожающим боксерским наклоном широких плеч.

— Ты ему объяснил? — спросил он Биттнера.

Биттнер повернулся к Штольбергу:

— У вас неточная информация. Была выброшена в тылу противника штурмовая парашютная группа у Высокого Венна под командованием майора Хейрсте. Парашютисты...

Дитрих его перебил. Слова с натугой продирались сквозь его жирное пропитое горло:

— Эти вонючие десантники!..

— Так точно! — все так же молодцевато отчеканил Штольберг. — Но и ваши танки не сумели прорвать передний край противника и поддерживать парашютистов.

Дитрих с некоторым недоумением посмотрел на Штольберга. Этот капитан, в общем, понравился ему своим бравым видом. Простоват, но, видать, отличный строевик. Надо будет переманить его от Мантейфеля к нам в армию, будет ладный эсэсовец.

— Ты понимаешь, капитан, — сказал он доверительным тоном, — это Мальмеди напичкано такой дрянью! Немцы! Но я бы их всех перевешал. Их же отхватили от Германии после первой мировой войны и присоединили к Бельгии, потому что эти сволочи забыли, что они немцы, и не захотели вернуться к Германии. Я бы их, сколько их там есть — двадцать или тридцать тысяч, — я бы их перевешал. Специально задержался бы ради этого на денек.

Штольберг никогда до этого не видел генерал-полковника Зеппа Дитриха. Сейчас он разглядывал его почти с научным интересом как безупречное воплощение фашистского безумия. Капитан не чувствовал никакого страха перед ним. Он сказал, вспомнив наставления Мантейфеля и подделяваясь под стиль генерал-полковника:

— И вы поперли на Сен-Вит и четыре дня там канючили и не могли выбить этих сопляков — Седьмую бронетанковую бригаду американцев?

— Да, — подтвердил Дитрих, — вот уж поистине мир не видел таких сопляков, как американцы. Лавочники! Им подтяжками торговать, а не воевать. Но Монтгомери еще больший сопляк, чем они!

«Зачем я сюда приехал... — устало подумал Штольберг. — Ведь это чудовище ничем не проймешь. Кроме того, его армия просто не профессиональная. Надо его вывести из себя, надо его взорвать».

— Ваше наступление, — сказал он, — захлебнулось еще восемнадцатого декабря. И вы своим левым флангом не обеспечили наш правый, из-за чего он отступил.

Дитрих хватил кулаком по столу:

— Какой дурак напел это Мантейфелю?! Мне фюрер лично сказал: «Вперед, только вперед, не обращая внимания на фланги!»

Штольберг тоже невольно повысил голос:

— Вы сейчас прете без всякой подготовки и предварительной разработки. Вы уперлись лбом в американцев, которые подтянули с севера свежие дивизии. Фюрер делал ставку на вас. Но сейчас главная роль в наступлении перешла к нашей армии, к Пятой. Она уже достигла Мааса.

— Врешь! — крикнул Дитрих.

Штольберг снова испытывал двойственное чувство: с одной стороны, он был рад поражению Гитлера, с другой, он гордился успехами своей родной Пятой армии.

— Да, — упрямо повторил он, — к Пятой. Ведь по плану фюрера «Wacht am Rhein» именно вы, обергруппенфюрер, должны были на седьмой день наступления, то есть двадцать первого декабря, выйти к Антверпену. А вы все еще копошитесь в горах...

Неизвестно, что еще натворил бы он в своем раздражении, если бы голос его не был заглушен Дитрихом:

— Убрать это дерьмо!

Штольберг оглянулся, чтобы увидеть, к кому относятся эти слова. Охранники уже были возле него. Биттнер остановил их:

— Я сам его уберу.

И обратившись к еще не исчезнувшей спине Дитриха:

— С вашего разрешения, обергруппенфюрер, я сам займусь капитаном.

Дитрих откинул портьеру и скрылся в кабинете.

Штольберг думал, шагая в темноте за Биттнером: «Я ему для чего-то нужен, и он не хочет ни с кем делить меня...»

Биттнер кинул на койку серое солдатское одеяло и твердую диванную подушку.

— К сожалению, не могу вам предложить ничего лучшего, Штольберг.

Штольберг решил помалкивать. Зная за собой невоздержанность в речи, излишнюю откровенность, неумение хитрить, он решил не ввязываться в разговор. А завтра чуть свет пуститься в обратный путь, ибо он считал свою миссию выполненной. Положение ясное: 5-й армии нечего надеяться на помощь 6-й. Это эсэсовское сборище даже не заслуживает названия регулярной армии, хотя оно щедро снабжено техникой. Теперь Штольберг был озабочен только одним: как ему ускользнуть от подозрительной заботливости Биттнера.

Тот между тем поставил на стол две зажженных свечи, бутылку вина, стаканы и широким жестом радушного хозяина пригласил Штольберга за стол.

— Так еще можно жить, Штольберг, а? — сказал он, заговорщицки улыбаясь. И сделавшись серьезным, вздохнул, сказал: — Что такое жизнь, мой дорогой? Задумывались ли вы над этим?

«Внимание! Он настроен философски. Жди неожиданного удара в пах», — подумал Штольберг и ничего не ответил, а только состроил неопределенно-задумчивую мину.

Видимо, Биттнер счел это достаточным ответом и продолжал:

— В сущности, жизнь — это сумма поглощений и выделений. Нет, нет, Штольберг! (Хотя тот и не помышлял возражать.) Нет, я не материалист. Я — верующий.

Штольберг не выдержал и пробурчал:

— Верующий циник...

Биттнер посмотрел на Штольберга с мягким укором:

— У вас нет бога, Штольберг.

— А у вас? — спросил Штольберг.

— Я католик.

— А! Значит, у вас, — сказал Штольберг запальчиво (может быть, этому способствовало пахучее, чуть сладкое вино, которое они медлительно потягивали), — значит, у вас, Биттнер, **н а р у ж н ы й б о г**.

— Что это значит? — удивился Биттнер. — Это какое-то новое теологическое понятие.

Штольберг сказал с жаром, забыв о своем похвальном намерении не втягиваться в разговор:

— Тот, у кого нет бога внутри себя, создает себе бога вне себя. И на этого **н а р у ж н о г о** бога все валит. Очень удобно!

Биттнер секунду молчал, пристально вглядываясь в Штольберга, словно видел его в первый раз, потом рассмеялся:

— Остроумно, черт возьми! — Он отхлебнул вина и сказал ласково: — Как это все-таки здорово, Штольберг, что два мыслящих человека могут обмениваться идеями даже посреди этой кровавой суматохи.

Штольберг и сам почувствовал, что ему доставляет удовольствие это интеллектуальное фехтование. Он даже несколько расположился к Биттнеру и сейчас взирал на него не без приязни: «Плут, но не глуп, подловат, но не бездарен...» И тут же ему стало противно и стыдно. «Как кошка, которую почесывают за ушами», — подумал он о себе и сказал резко:

— Пора спать.

Он задул свечу и разлегся на койке спиной к хозяину, сунув под голову диванную подушку, твердую, как ружейный приклад.

Биттнер со свечой в руке склонился над ним.

— Ну, ну, Штольберг, — сказал он. — Не дуйтесь на меня. Вы считаете меня представителем власти. А между тем я в первую голову представитель самого себя. Э, да вы уже спите...

Он пошел в соседнюю комнату, держа свечу перед собой. И бывший снизу свет резкостью теней и бликов делал его лицо как бы скульптурным — с лиловыми подглазьями, фюрерскими усиками и двумя глубокими складками жестокости, шедшими от углов рта к журавлиной шее.

Штольберг лежал в темноте с открытыми глазами. Он старался дышать глубоко и мерно, так, как, по его мнению, дышат спящие. Он ждал. Он заметил, что Биттнер оставил приоткрытой дверь в свою комнату. Вот наконец Биттнер затушил свою свечу. Потом послышалось его ровное похрапывание. Штольберг подождал еще немножко, потом вынул из кармана танкистский фонарик «даимон» и включил зеленый свет. Потом полез за пазуху и достал тоненькую тетрадь, девственно чистую, еще не начатую. Основной дневник хранился в чемодане, который остался в его автомашине. Бесшумно присел он за стол и принялся писать. Писал торопливо, короткими фразами, иногда сокращая слова или оставляя для скорости одни согласные буквы.

### *Из дневника капитана Штольберга*

«23 дек. В ставке ком-щего 6-й. Обстановочка! 2 эшлна: в I — 67-й арм. корп. и 1-й танк. корп., во II — 2-й танк. корп. По моим наблюд., эшлны перепутались. Бардак! Чтоб не забыть: по дороге сюда обогнул бсй — группа обер-л-нта Вайнерта, я с ним недавно сцепился у мо-

ста — против партзпн,— численность не выясн. Вайнерту придан 1-й баталь. из нашей 5-й. Не завидую нашим ребятам, влипшим в СС. В ставке круп. разг. с Дитр. Харктр правтля разлвается по стрне. При Вилг. 2-м были в моде закр. кверху усы. Теперь — кустики под носом. Коварство и угодливость. Чванство. Культ силы. Бездств. мысли. Грмния развр. дктурой и отсут. глснсти. Кмплкс неполноц.— могуч. двигатель крьеризма. Его два телохрнитля: беспринципность и жажда нжвы. Зепп Дтрх — удешевл. изд. Гит...»

Глаза слипались. Перо выпало из рук. Штольберг гримасничал, чтобы отогнать сон. Но веки тяжелели и сладкая истома все больше разливалась по телу. Незаметно для себя он заснул тут же за столом.

Вдруг он ощутил нечто вроде толчка в голову, точно кто-то щелкнул по лбу, но изнутри, из глубины его существа. Он открыл глаза. Над ним стоял Биттнер. Штольберг быстро захлопнул тетрадь. Биттнер улынулся и сказал:

— Так, значит, Дитрих — это удешевленное издание Гитлера? А вы знаете, фюреру может понравиться это выражение. И возможно, он обратит на вас свое благосклонное внимание.

Биттнер присел на край койки и, держа в руке свечку, продолжал:

— Конечно, фюрер — сверхчеловек, не правда ли, Штольберг? Но сверхчеловек иногда решает быть просто человеком. Он спускается с блистающих ледяных вершин власти, и вот он среди нас и по жилам его побежало человеческое тепло, он такой же обыкновенный, такой же рядовой, как все мы. На время, конечно.

Капля с оплывающей свечи упала на руку Штольберга. Он не шевельнулся, притворяясь спящим. Тихий голос Биттнера и вправду действовал на него убаюкивающе.

Когда Биттнер наконец ушел, Штольберг заказал себе проснуться в пять утра. Физиологические часы его действовали безотказно: он проснулся затемно. Прислушался. Из комнаты Биттнера деликатное мерное похрапывание. Сквозь обледенелые окна стал пробиваться рассвет, заполняя комнату сумеречным мерцанием. Штольберг встал, на цыпочках пошел к дверям. Они оказались заперты, ключа нет...

Штольберг подошел к окну. Как удачно, что первый этаж! Стараясь не делать шума, он принялся отворять окно.

— Воздушка захотелось, Штольберг? — раздался голос позади.

«Как он, однако, тихо ступает», — подумал с досадой Штольберг.

— Мне пора, Биттнер.

— Так ведь часовой снаружи все равно не выпустит вас.

— Почему?

— Разве вы не понимаете, что вы находитесь под арестом? Покуда домашним.

### Strastoterpiec

Бой, гул которого Штольберг накануне слышал, пробираясь в эссовскую армию, к вечеру стал стихать, а ночью и вовсе прекратился.

Оберштурмфюрер Теодор Вайнерт объявил это своей победой. Он хотел уверить в этом не только своих солдат, но и самого себя.

Его группа вместе с батальоном, приданным из 5-й армии, насчитывала около тысячи человек.

Неудачи преследовали оберштурмфюрера. Начать с того, что он не умел определиться на местности и, в общем, не знал, где он находится. После того, как его группу изрядно пощипали где-то в районе Вбельсальма, он подумывал, не взорвать ли ему свои танки и самоход-

ки и пешком пробираться обратно в Монжуа. Сейчас он кружил среди каких-то непознанных гор. Он был растерян и озлоблен. В этом состоянии озлобления он приказал расстрелять группу пленных американцев, которых он таскал в своем обозе как живые трофеи. Он распорядился, чтобы эту экзекуцию произвел взвод из батальона 5-й армии. Робкие возражения лейтенанта Гефтена, заменившего убитого командира батальона, он встретил истерической руганью, столь принятой в эсэсовской среде:

— Бойтесь, чтоб ваши чистюли не замарались? Кто вы такие, в конце концов, черт побери? Солдаты великой Германии или портовые девки из притонов на улице Репербан?! Еще одно слово возражения, лейтенант, и я вас арестую за неповиновение в боевой обстановке!

Гефтен смирился. Он помог Вайнерту сориентироваться по карте, удивляясь в душе его невежеству:

— Мы находимся на территории великого герцогства Люксембург. Юго-восточнее пункта Труа-Пон. Река, которая под нами, это Сальм.

— Я так и думал,— важно проговорил Вайнерт.— Стало быть, Бастонь...

Он сделал вид, что ищет пункт на карте, в которой он ничего не понимал,— какие-то цветные загогулины, от которых рябит в глазах.

— Бастонь? — позволил себе удивиться лейтенант.

— Да, нам надо в Бастонь.

И наклонившись к Гефтену, шепотом, словно сообщая ему важную тайну, сказал:

— Там сосредоточиваются наши обе армии...

Ребята из 5-й армии держались особняком, не якшались с эсэсовцами. Не все, впрочем. Например, Вилли то и дело сматывался в распоряжение 6-й. Приносил оттуда новости:

— Ну, ребята, теперь уже недолго ждать, когда появится «вува». Там в Шестой толкуют, что это может быть со дня на день.

«Вувой» называли вундервафе, то есть «чудесное оружие», обещанное Гитлером и долженствовавшее принести Германии мгновенную победу.

Солдаты молча слушали, иные с мрачным недоверием, другие, как, например, ближайший друг Вилли, маленький танкист Иоганн,— да, в общем, и не только он, а большинство,— с радостной надеждой. Чем больше Германия терпела поражений на фронтах, тем более они цеплялись за сладостную легенду о «вуве».

— Ну, а как у них там насчет жратвы? — осведомился Иоганн.

— У них паек будь здоров! — говорил Вилли.

Однако скоро все сравнялось. К пронзительной морозной сырости, к волчьему вою спящих метелей со снежными обвалами прибавилось недоедание.

Давно уже не было горячей пищи. Да и консервы кончились. Последние дни только и было что печенье да шнапс.

Приуныл и этот жуткий весельчак Вилли. Он ворчал и все пристаивал к близнецам, которых считал наиболее образованными во взводе:

— Ну и загнали же нас в эти чертовы горы! Где мы, ты понимаешь? В какой стране, я вас спрашиваю? Что это — Бельгия? Голландия? А может, Люксембург? Государства, с позволения сказать, как заплаты на заднице, плюнуть некуда, крохотные, как вши. То ли дело Россия! Помните, ребята? Прешь, прешь и краю не видно! А какие куры, какие поросята! А девки какие, а?

Расстрел американцев был назначен на раннее утро. Выдалось оно безветренным. Солдаты с беспокойством поглядывали на небо: не развиднялось бы! Налетят — от нас один кровавый пащтет останется. Но



все было хмуро. А главное, партизаны не проявляли признаков жизни. Разведка не обнаружила их поблизости. Во всяком случае, было тихо. «Подозрительно тихо,— как сказал Иоганн.— Ой, не нравится мне это, ребята, партизаны здесь как дома, им известна каждая тропа». Но, в общем, оберштурмфюрер решил, что партизаны ушли. Он самолично обозрел местность в полевой бинокль. Безлюдно, бело, безмолвно. Он снял сторожевое охранение, он хотел, чтобы все присутствовали на зрелище расстрела. Он считал, что соучастие в кровавом деле закаляет людей.

Вскоре вся группа выстроилась вокруг площадки над обрывом. Привели пленных и выстроили в одну шеренгу спиной к обрыву. Против них тоже шеренгой стал взвод из 5-й армии, вооруженный автоматами. Почему-то с раздражавшей людей педантичностью лейтенант Гефтен принялся выстраивать их по ранжиру. А, впрочем, может быть, просто для того, чтобы оттянуть время. Близнецы, как самые высокие, оказались на правом фланге. Хорст шепнул Гельмуту:

— Мы не будем стрелять...

Гельмут ничего не ответил. Но когда лейтенант поравнялся с ними, он сказал шепотом, почти не шевеля губами:

— Пожалуйста, освободите Хорста от этого.

Лейтенант ответил так же тихо:

— Не дури. Это нас скомпрометирует в глазах оберштурмфюрера. А может быть, даже погубит.

Вайнерт, который стоял в некотором отдалении, крикнул:

— Разговоры в строю!

Потом он скомандовал:

— Положить автоматы к ногам!

Хорст вздохнул с облегчением. Значит, все это игра! Инсценировка! Все сняли с груди автоматы и положили их к ногам.

В это время эсэсовский унтер, или как там его — шарфюрер, подкатил на салазках новенькие автоматы и принялся раздавать их. «Зачем?» — недоумевал Хорст, принимая оружие, еще жирное от смазки.

Вайнерт прошелся вдоль шеренги своей пружинистой походкой, похлопывая шлагом по сапогу.

— Будете стрелять из новых автоматов,— сказал он.— Предупреждаю: каналы стволов чисты. После экзекуции будет проверка. Проверю собственноручно.

Отошел. Вилли подмигнул и прошептал:

— Собственноносно.

Хорст понял: если кто-нибудь уклонится от стрельбы, чистый канал ствола его выдаст.

Он шепнул брату:

— А все-таки я не буду стрелять.

— Если ты не будешь стрелять,— шепнул в ответ Гельмут,— так и я не буду. И тогда мы оба пропали...

Хорст старался не смотреть на американцев. И все-таки против воли с мучительной напряженностью вглядывался в них. Вот довольно пожилой с серебристой щетиной на лице. Он удивительно спокоен, этот американец. Он, наверно, не верит, что мы будем стрелять, он считает все это комедией, блефом, попугают и отпустят.

Рядом юноша с повязкой на голове, с широко раскрытыми глазами — невозможно поверить в свою смерть. Взгляд юноши столкнулся со взглядом Хорста. «Не буду стрелять...» — еще раз подумал он. В это время раздалась команда, и палец Хорста непроизвольно нажал на спусковой крючок.

Он увидел, как юноша согнулся, схватился за живот и упал.

Они все упали. Один из них скатился в обрыв и побежал, оставляя

кровавые следы. Тотчас за ним ринулся Вайнерт и на бегу стрелял по нему, как если бы этот американец был просто живностью, чем-то движущимся, трепещущим, что надо сделать неподвижным.

Вернувшись, Вайнерт сделал как предупреждал: перенюхал все автоматы и удовлетворенно кивнул головой.

Гельмут тревожно поглядывал на брата. Хорст делал все, что другие, — грыз галеты, чистил оружие, строил укрепление из льда и бревен. Но появилась странная машинальность в его движениях. Он молчал. Спрашивали — он отвечал односложно. Не обращались к нему, он сам ни с кем не заговаривал. И Гельмут обрадовался, когда Хорст вдруг заговорил. То, что он сказал, ужаснуло брата.

— Убежим, — сказал Хорст.

Гельмут испуганно оглянулся:

— Ты с ума сошел! Куда?

— К партизанам. Они тут в лесах. Доберемся до них.

Он умоляюще посмотрел на брата.

— Но ведь если ты будешь у партизан, — сказал Гельмут, — тебе тоже придется убивать. На этот раз — немцев, своих братьев по крови!

Хорст посмотрел на Гельмута с сожалением:

— Братьев? Разве эти убийцы мне братья?

— Но я твой брат!

— Ты уйдешь со мной.

Гельмут покачал головой:

— Нет, я не хочу стать дезертиром. Это бесчестно. Я присягал на верность фюреру.

— Ты все еще веришь ему?

— А если и не верю? Все равно я присягал. Присяга есть присяга.

Хорст помолчал. Потом сказал:

— Рухнула моя вера, рухнула моя присяга...

Он потер шрамик над бровью, там начинало зудить, когда Хорст волновался.

Первые выстрелы раздались около полудня. Вайнерт метался по своей площадке, не понимая, откуда стреляют. Вскоре показались цепи партизан, редкие, но отовсюду. Кроме юго-западной стороны. Слишком уж крут был здесь склон горы.

Лейтенант Гефтен принялся устанавливать круговую оборону. Вайнерт бегал за ним и повторял его распоряжения. Ему казалось, что командует именно он. Короткоствольные противотанковые пушки, курносо торчавшие из снеговых укрытий, стали прямой наводкой бить по наступающим цепям. Партизаны отвечали из минометов. Снежная пыль носилась в воздухе как туман, застилая видимость.

Вилли ругался:

— На кой черт мы таскали все эти пушки и базуки, если у партизан нет танков!

Он схватил пригоршню снега и обтер покрытое копотью лицо.

Иоганн лежал рядом и строчил из пулемета. Гильзы валялись на снег. Ему вспомнилось, как в тылу на учениях надо было отчитываться за каждый отстрелянный патрон и как люди дрожали от страха, что вдруг затеряется какая-нибудь гильза. Он подумал, как мало давали солдатам эти полевые учения для настоящих боев вроде этого.

Хорст подносил снаряды. Все-таки он не стрелял. Но он понимал, что лжет самому себе. «Да, я не убиваю, но я помогаю убивать...»

Вайнерт решил покинуть поле боя. Отличный предлог: затребовать подкреплений из Сен-Вита. Известно, как скупы на это наши военачальники. «Но если кто-нибудь и может вырвать у Дитриха подкрепления, так это я».

Он распорядился подвести бронетранспортер к юго-западной оконечности. С этой стороны обрывалось полукружье наступающих. Крутизна казалась непреодолимой. Конечно, это отчаянное решение, но Вайнерт уверил себя, что он действительно отправляется за подкреплением, что это главная и единственная цель, ради которой он покидает поле боя. Он считал, что бронетранспортер сумеет на большой скорости проскочить по крутому склону, что сама скорость придаст ему равновесие и не позволит опрокинуться.

Чтобы отвлечь внимание партизан от юго-западного прохода, Вайнерт приказал провести вылазку на северной стороне. На это ложное нападение он направил два взвода из батальона 5-й армии, зная, что жертвует ими, ибо передние шеренги нападающих будут наверняка скошены шквальным огнем партизан. Повезло Вилли и Иоганну: их как танкистов Вайнерт забрал с собой в бронетранспортер на случай, если забарахлят гусеницы.

Первый взвод весь полег. Но второй, наступавший следом, сумел ворваться в расположения партизан. Завязался рукопашный бой со взводом Брандиса. Стороны так перемешались, что ни немецкая артиллерия, ни минометы партизан не могли вмешаться в схватку. Стреляли почти в упор из автоматов, дрались прикладами, кинжалами.

Майкл не стрелял. Когда он увидел, что рядом с ним упал Жан с развороченным черепом, он содрогнулся. Он не хотел участвовать в этом. В то же время он не хотел оставаться позади, чтобы не подумали, что он трус. Вся силу своей натуры он сосредоточил на том, чтобы воздержаться от того, что он называл насилием.

Он пробрался вперед и лег за снежным бруствером, который сам нарыл. Он закрыл глаза, чтобы не видеть, как люди убивают друг друга. Но тут же открыл их, чтобы не подумали, что он притворяется мертвым. Рядом с ним оказался Амедей. Он навел автомат на немца, убившего Жана. Автомат чихнул и отказал. Амедей ругнулся и бросил его на землю.

— Возьми мой, — сказал Майкл.

— А ты?

Майклу не хотелось признаваться, что он все равно решил не стрелять. Он вынул из кармана маленький трофейный «вальтер»:

— С меня хватит и этого.

Амедей взял автомат и побежал за немцем. Ужас объял Майкла, когда он увидел, как Амедей окатил немца длинной очередью, которая почти перерезала его пополам. Майкл закрыл глаза и стиснул зубы. Он машинально сжимал в руке свой игрушечный «вальтер». Он до сих пор не выпустил из него ни одной пули. Он не ощущал страха. Только — отвращение и желание, чтобы все скорее кончилось. Кто-то потряс его за плечо. Он оглянулся. Это был Брандис. Он прокричал Майклу на ухо:

— Убивай — или тебя убьют!

В это время перед Майклом внезапно вырос немец. Может быть, потому что Майкл лежал, он показался ему огромным, грузно нависающим, широкоплечим малым с большим бледным лицом, со шрамом над бровью. Майкл вскочил и не помня себя от страха выпустил в немца обоймой из своего «вальтера». Немец рухнул.

Между тем бронетранспортер с Вайнертом благополучно ускользнул. Увидев это, лейтенант Гефтен приказал выкинуть белый флаг.

Немцы сдавались. Эсэсовцы поспешно сдирали с петлиц эмблемы — две маленькие молнии.

Урс приказал никого не трогать и отрядил часть своей группы, чтобы отвести пленных в партизанский район высоко в горах, недоступный для противника.

Партизаны с трудом оторвали Гельмута от тела его брата.

— Вы не знаете, кого вы убили! — кричал он. — Он святой! Он шел в бой без оружия! Вы убили ангела!

Осборн взял Майкла за руку и сказал снисходительно:

— Ты ловко уложил твоего боша. Для такого растяпы, как ты, это прогресс.

— Сожалею об этом, — сказал Майкл, вырывая руку.

— Брось дуться на меня. И не кривляйся. Ложь тебе не к лицу.

Майкл вспыхнул. Он с трудом подавил в себе желание ударить Осборна. Слезы подступили к его глазам.

— Я не лгу. Я считаю, что ложь и насилие — сестры. Ибо что такое ложь, если не насилие над правдой.

Он резко повернулся и зашагал вдаль.

Осборн, раздосадованный, сказал Урсу, который стоял недалеко и покуривал трубку, с интересом наблюдая эту сцену между американцами:

— Отправь парня с пленными. Ему нечего делать тут с нами. Он не боец.

— Он боец, — сказал Урс. — Но не в этом суть. Он страстотерпец. Это слово Урс сказал по-русски.

— *Stratoterpies?* — повторил с трудом Осборн. — Что это значит?

— Боюсь, что в английском языке нет равнозначного понятия. Мученик, что ли... Да нет, не то. Мученик может быть и жертвой насильников. А страстотерпец — это добровольный мученик. Ради идеи. Это человек, принявший на себя страдания для блага близких.

— Добровольный мученик? Что же, значит, мучения доставляют ему своеобразное наслаждение? Я слышал о таких. Мы их называем мазохисты. Попросту психи.

— О нет! Страстотерпец не испытывает наслаждения. Ему так же больно и тяжело, как любому другому страдающему человеку. Но он идет на эти страдания ради спасения других. Он преодолевает страх перед физическими муками своей духовной силой. Понимаешь?

— Откровенно говоря, нет.

— Так... Что ж, может быть, это наше, чисто русское понятие...

— Да при чем тут русское! Майкл — американец.

Урс огладил бороду и сказал задумчиво:

— Это только подтверждает мое старое убеждение, что русские и американцы похожи друг на друга.

### *Суматоха среди поваров*

Каждое утро, только проснувшись, приподняв над подушкой отекавшее лицо с набухшими подглазьями, Гитлер прежде всего осведомлялся:

— Бастонь взята?

Всей силой своего существа он жаждал услышать: «Да! Взята!» Сам того не сознавая, он посылал Йодлю мысленный приказ: «Да! Взята!»

Йодль отвечал, виновато разводя руками — хотя вся его вина в том, что он вынужден сказать фюреру: «Еще нет...» — и уже вследствие этого одного принять на себя часть его гнева.

С помощью хлопотавших вокруг него камердинера Линге и врача Морелля, впрыснувшего ему утреннюю порцию допингового настоя, Гитлер одевался, умывался, брился, не переставая обсуждать положение с Бастонью. Этот люксембургский городок сделался его пунктиком, как два года назад — Сталинград.

— Окружение закончено?

— Почти, мой фюрер.

— «Почти» на войне не бывает, Йодль. Бастонь должна быть блокирована немедленно. Надо захлестнуть американцев этой петлей. Они народ малахольный, быстро выдохнутся и капитулируют. Достаточно ли у Мантейфеля сил для полной осады?

Пока в Йодле боролись царедворец и генштабист и он раздумывал, что в данной ситуации выгоднее ответить, Гитлер сказал:

— Надо поменять местами Пятую и Шестую армии. Зепп Дитрих со своими парнями давно бы ворвался в Бастонь.

Йодля ужаснула эта мысль. Он воскликнул:

— Я узнаю в этом полководческий гений фюрера! Мой долг при этом предупредить, что в данный момент передислоцирование армий не лишено риска.

— Пожалуй,— неохотно согласился Гитлер.— Но кое-что мы можем сделать: например, дадим Мантейфелю две танковые дивизии из Шестой армии. Подготовьте приказ.

Принесли кофе. Кофейник, сахарница и все прочее оставались на подносе. Но чашка с дымящимся кофе была поставлена прямо на сверкавший лаком стол и притом, как любил Гитлер, точно на круглый след от тех чашек кофе, который вкушал еще Наполеон. Гитлер распорядился этот исторический след не затирать лаком.

Информацию о 5-й армии Йодль приберет на сладкое.

— После взятия Уффализа,— доложил он,— части Пятой армии быстро продвигаются к переправам на Маасе и сейчас передовой отряд Второй танковой дивизии находится в пяти километрах от Динана.

— Ну а как на это реагирует старый копун Монтгомери? — спросил Гитлер улыбаясь.

— Фельдмаршал Монтгомери...— сказал Йодль.

Йодль не подхватил эпитета, которым Гитлер сопровождал имя Монтгомери, вовсе не из корректности, а потому что неприличные словечки являлись здесь, в ставке, привилегией одного фюрера. Он считал их проявлением сильной личности. Он вычитал где-то у Сегюра или Стендаля, что и Наполеон не чуждался крепких выражений. Во всяком случае, необузданная натура Гитлера испытывала от этого удовлетворение.

— ...фельдмаршал Монтгомери,— сказал Йодль,— как показывают пленные, так напуган нашим наступлением, что решил отходить к Дюнкерку, заслонившись Тридцатым армейским корпусом по реке Маас.

Гитлер засмеялся и в добром настроении распорядился начать прием.

— Кто там сегодня?

— Фельдмаршал Рундштедт и генерал-полковник Гудериан,— ответил адъютант генерал Бургдорф.

— Гудериана.

Бургдорф подавил удивление, вызванное этим нарушением субординации, скользнул к дверям мягкими, кошачьими адъютантскими шажками и через минуту ввел генерала Гудериана.

Все еще под влиянием утешительных известий об успехах 5-й армии Гитлер приветствовал Гудериана с удивившей того теплотой. Фюрер не очень жаловал этого ершистого генерала. Карьера его была полна резких скачков. Командующий 2-й танковой армией Гудериан был смещен после поражения в России. Фюрер заткнул его в резерв чинов, оттуда выудил на должность генерал-инспектора танковых войск, где он мог пригодиться как опытный специалист. А в 1944 году после покушения на Гитлера 20 июля, когда выяснилось, что в заго-

воре замешаны высшие чины армии, такие, как генерал-фельдмаршал Роммель, генерал-фельдмаршал фон Витцлебен, генерал-полковник Бек и ряд других, Гудериан как непричастный к заговору после кровавой расправы с заговорщиками был назначен начальником генерального штаба.

— Ну, Гудериан, вы уже знаете, что наши кони пьют воду в Маасе?

— Да, мой фюрер, это замечательно... Мы будем молиться о том, чтобы тактический успех оказался стратегическим.

Гитлер нахмурился. Эта скользкая формулировка ему не понравилась. Он потерял желание разговаривать с Гудерианом. Но он знал, что не так-то легко от него отделаться: Гудериан славится своим истине выдающимся упрямством.

— На Восточном фронте по-прежнему спокойно, — проговорил Гитлер отрывисто.

Это была не вопрос, это было утверждение. Оспаривать утверждение Гитлера считалось бестактностью, притом небезопасной.

— Да, спокойно, — сказал Гудериан. И после небольшой паузы: — Пока.

Гитлер поднял брови.

— Я хочу сказать, мой фюрер, что инициатива находится в руках русских.

— То есть?

— На Восточном фронте будет спокойно, пока этого хотят русские.

Гудериан сознавал, что он занес ногу над пропастью. Однако для этого он прибыл в ставку. У него было предчувствие катастрофы на Восточном фронте. Он знал, что здесь, в ставке, огрубляют факты и прилаживают действительность к своим желаниям. Он хотел добиться переброски войск на восток. Черт с ними, с американцами и англичанами! В конце концов с ними можно договориться.

Гитлер встал из-за стола, прошелся по комнате, резко остановился против Гудериана. Это были признаки приближающейся бури.

— Неужели вы не понимаете, Гудериан, что раньше весны русские не тронутся!

— Мой фюрер, у меня, — сказал Гудериан, вынимая из портфеля бумаги, — есть неопровержимые доказательства, добытые разведкой, что русские готовят новое наступление. Я считаю неизбежным переброску танковых дивизий Пятой и Шестой армий в кратчайший...

Гитлер не дал ему закончить.

— Кто вам наплел этот вздор? — закричал он. — Русские блеяют! Это величайшая афера со времен Чингисхана! Жуков — мастер дезинформации. Вы попались, как карась, на его наживку. Я не дам отсюда ни одного танка!

Он вернулся за стол и сказал, внезапно, как всегда, переходя от возбуждения к ледяному спокойствию:

— Я вас не задерживаю.

Когда Гудериан был возле дверей, Гитлер сказал:

— Разрешаю взять в Венгрию один танковый корпус из-под Варшавы.

Гудериан звякнул шпорами и вышел, не посмея возразить, что перебрасывать войска из Польши в Венгрию все равно что переносить заплату с одной дыры на другую.

Вошел Йодль и положил перед Гитлером бумагу:

— Мой фюрер, это приказ о переброске двух танковых дивизий из Шестой армии СС под Бастонь.

Гитлер, не читая, размашисто подписал.

— Что у вас еще? — спросил он, указывая на вторую бумагу в руках Йодля.

— Приказ о велосипедистах, мой фюрер.

Гитлер оживился и пробежал глазами приказ:

«Я продолжаю встречать солдат на велосипедах, которые, когда приветствуют господ офицеров, не держат ног сомкнутыми...»

(Одновременно с принятием крупных решений Гитлер вмешивался и в мелкие дела масштаба полка или даже роты или просто семейной жизни граждан. Он и здесь старался подражать Наполеону, о котором он вычитал у Сегюра, что Наполеон в пылающей Москве просматривал присланный ему с курьером из Парижа на его утверждение репертуар театра «Комеди франсез» и вносил свои поправки, которые немедленно отправлял с курьером через всю Европу обратно в Париж. Эту повадку совать свой нос куда попало Гитлер называл: «Всеобъемлющий ум!»)

«...Это явное нарушение приказа о чинопочитании,— продолжал он читать,— во всех тех случаях, когда велосипедист едет свободным ходом и не в гору. На нарушителей приказываю налагать строжайшее дисциплинарное взыскание».

Снова жирно и с удовольствием подписал.

Вошел Рундштедт. Семидесятилетний фельдмаршал держался прямо и был легок в движении, как юный курсант.

Гитлер пошел к нему навстречу с протянутой рукой. Сведения об успехах 5-й армии все еще держали его в радостно-приподнятом настроении.

— Извините, что задержал вас. Когда на плечах вся империя, маленькие отклонения от аккуратности простительны, не правда ли?

Рундштедт склонил голову.

— Мне уже доложили о продвижении Мантейфеля,— сказал он.— Случилось то, от чего я предостерегал. Предвидел это и генерал-фельдмаршал Модель, но не посмел сказать вам.

Гитлер подумал с отвращением: «Эта старая ворона опять пришла каркать», но внешне оставался спокоен.

— Продолжайте, господин генерал-фельдмаршал,— сказал он.

— Наше наступление в Арденнах, вместо того чтобы разлиться широким веером, вытянулось уродливой червеобразной кишкой. Сейчас в основание этой кишки уже начинают вгрызаться с юга Паттон и с севера Монтгомери, в подчинение которому сейчас придали Первую и Девятую американские армии.

— Так это хорошо! — вскричал Гитлер.— Чем больше эта вонючая маразматическая развалина получит подкреплений, тем грандиознее будет его разгром. Ведь он вопиющая бездарность! Ему не армиями командовать, а сидеть в халате и шлепанцах у камина и вынимать кузи из носа!

Рундштедт покачал головой:

— Монтгомери доставил нам много неприятностей в Африке.

— Ах, не говорите мне об Эль-Аламейне! Удар в спину нам нанесли не люди, а климат.

Рундштедт знал, что Гитлер приравнивает африканский зной к русскому морозу и этим стихиям, а не противнику приписывает поражения немецких армий. Знал и поддакивал в этом Гитлеру. Но сейчас старый фельдмаршал считал положение слишком серьезным, быть может губельным для армии и империи, и старался своими старческими руками эту катастрофу задержать.

Гитлер между тем распространялся насчет безобразий в тылу:

— У нас всякая шваль ходит закутанная в мехах. А на фронте мои солдаты мерзнут в своих шинельках. Вызовите ко мне Лея! —

крикнул он Йодлю.— Это он развел бардак со сбором теплых вещей для фронта. Я заставлю его лично сдирать шерстяные подштанники с разжиревших баб!

— А кроме того, мой фюрер,— продолжал Рундштедт,— мне не нравится подозрительное спокойствие на Восточном фронте. Мой опыт мне говорит, что это — затишье перед бурей. Да не только мой опыт. Того же мнения и генерал Гудериан, а он сейчас, быть может, наш самый лучший оперативный ум...

Гитлер поднял голову и пристально посмотрел на Рундштедта.

— Вы что, сговорились с Гудерианом? — сказал он тихо.

Рундштедт побледнел. «Сговорились» — это пахло виселицей.

Но прежде чем он успел проговорить что-нибудь, Гитлер сказал:

— Я вас не задерживаю.

О эта арденнская кишка, выступающая далеко на северо-запад! Она так уязвима с флангов, и именно об этом Рундштедт попытался предупредить Гитлера. Предупреждал, а все-таки продолжал тянуть кишку все дальше, все глубже на северо-запад... Почему? Ведь он считал это наступление обреченным на провал. Да, но... Они же были связаны одной веревочкой — он и Гитлер. А вдруг выйдет? А? Чудо? А может быть, этот бесноватый сотворит чудо? А? И Рундштедт тянул и тянул арденнский аппендикс все дальше, все глубже на северо-запад...

Танки Мантейфеля действительно стояли у ворот Динана, маленького прелестного городка, который так нравился Брэдли.

Сам Брэдли находился на своем командном пункте в столице великого герцогства Люксембургского — городе Люксембург. Окна гостиной «Арлон», где он теперь жил, были крестообразно оклеены бумажными полосами, чтобы не лопаться от обстрела. Немецкие снаряды уже достигали центра. Церковь напротив командного пункта была сегодня разворочена прицельной стрельбой из гаубиц. По-видимому, метили в «Арлон». Брэдли стоял у окна и задумчиво смотрел на распотрошенный храм. Он был расстроен, но, как это ни странно, не успехами противника, а тем, что 1-я и 9-я армии были отняты у него и переданы Монтгомери. Брэдли уподоблял Монтгомери одному из персонажей «Айвенго», а именно Ательстану, родовитому, но вялому, мелкотщеславному, нерешительному типу. Его, Брэдли, 21-я группа армий теперь, в сущности, состоит из одной 3-й армии. Хороша «группа»!

И все работники его штаба были возмущены этой перебрской и, нисколько не скрываясь, вслух осуждали Эйзенхауэра. Впрочем, они решили пренебречь этим приказом и по-прежнему считали 1-ю и 9-ю армии состоящими в подчинении Брэдли. Да и в самих этих армиях так считали. Честер Хансен, адъютант Брэдли, прямо писал об этом в своем дневнике.

### *Из дневника подполковника Ч. Б. Хансена*

«20 декабря. Старик, конечно, в ярости. Из-под него выдернули стул. Что он может с одной 3-й армией Паттона? Да и к тому же с Джорджем Паттоном подчас еще труднее справиться, чем с немцами. Кстати, армия Паттона замусорена черт знает кем! По штатному расписанию ему полагается 801 офицер. На деле у него там до четырех с половиной тысяч офицеров. Это большей частью бизнесмены в погонах, налетевшие на запах жареного в Германии, начиная от совладельца банкирского дома «Диллон и К°» и кончая этим стервятником мейнджером похоронного бюро Корнелиусом Ли.



Мы все считаем, что Айк дал маху. Запаниковал, попросту говоря. Ах, немцы под Динаном! Ах, немцы всего в тридцати километрах от Льежа! Ну и перекинул к Монтгомери две наших кровных армии. Конечно, ор был страшный. Брэдли кричал: «В конце концов кто воюет, черт побери? Мы, которые на европейском театре имеем пятьдесят дивизий, или англичане со своими пятнадцатью?!»

Англичане, конечно, задрали нос: потребовали, чтобы вообще передать Монти командование всеми сухопутными силами союзных войск. Передают как факт, что сам Монтгомери сказал, что этого требует не только целесообразность военной обстановки, но и прямое указание в Евангелии от Иоанна, где Христос в главе 10-й говорит: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора; и тех надлежит мне привести: и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Это было бы просто комично, если бы Айк не запутался и до того потерял голову, что запросил об этом Вашингтон. Вообще он шлет за океан Маршаллу, пользуясь особыми, словно бы родственными с ним отношениями, почти как между отцом и сыном, срочные депеши ежедневно, а то и два раза в день. Маршалл, у которого, благодарение всевышнему, голова на плечах, телеграфировал в ответ: «Ни при каких обстоятельствах не делайте никаких уступок англичанам, пошлите их к черту». Так в телеграмме и сказано. Молодец!

Вчера Айк созвал совещание в Вердене, в штабе 12-й группы войск. Он приехал из Версаля в бронированной автомашине. Ну, это его дело. Но вообще развели конспирацию не дай бог! Страшно боятся диверсантов, которые рвут связь на дорогах, сбивают дорожные указатели, режут часовых. Ну и тому подобные детские номерочки.

В общем, собрались мы в нетопленной казарме, набилось нас в этом чулане до черта. Айк склонялся к тому, чтобы остановиться на прочных рубежах, например реках. Но, к счастью, это отвергли, решили наступать главным образом благодаря настояниям Брэдли и Паттона.

20 дек. Мне поручают доставить Монтгомери его новые полномочия и кстати выяснить причины его неуместной медлительности. Отвертеться не удалось. Выехал на север кружным путем в обход Арденн, диверсанты по-прежнему сильно шалят на дорогах.

Англичане называют Монти: «Наш главный». Обожают его. Помоему, главным образом за то, что он не посылает их в бой. Генерал-майор Френсис де Гинган, щеголь, состоящий у него начальником штаба, довольно откровенно выразился об этом после второго стакана доброго шотландского виски с кусочком льда, достать который сейчас, конечно, не проблема. «Великая заслуга старика Монти,— сказал он,— это то, что он бережет английскую кровь. В конце концов, сколько нас на нашем небольшом острове? А вы, Чарли, гигантская страна, в которой до черта напихано народа, притом какого? Всяких там черных, да мексиканцев, да филиппинцев и прочих не-разбери-каких. А у нас каждый солдат — чистопородный англичанин...»

Ну, я ему, конечно, не спустил! «Вы понимаете, Фредди, что вы расист?» Крупный был разговор. Он ерзал, как камбала на сковороде. Так или иначе он повел меня в конце концов к «нашему главному», как они его все здесь называют.

Оказалось, что Монти — невысокий старичок с петушиным задиром головы и высоким, почти бабьим голосом. Я увидел его первый раз, когда он стоял перед строем солдат и вопил: «Наши войска самые лучшие, и с божьей помощью мы победим!» Но для того, чтобы победить, подумал я, нужно как минимум сражаться.

Эту мысль я выразил — конечно, в соответствующей дипломатической форме — при первом же свидании с Монти. Состоялось оно на

оперативной летучке в комфортабельном прицепе Монти, убранном коврами. Перед началом Монти заявил: «Даю на откашливание две минуты, потом запрещаю кашлять». Поднялось усиленное прочищение носоглоток. Я вытащил портсигар. Меня схватили за руку: «В присутствии фельдмаршала не курят!» Разбирали какие-то мелкие вопросы о снабжении, действительно никто не сморкался и не кашлял.

Летучка кончилась довольно поздно. А так как Монтгомери ложился спать рано, я потребовал довольно настойчиво, чтобы он принял меня немедленно, ибо не собирался здесь задерживаться и хотел сегодня же ночью выехать обратно.

Приняли. Думаю, хмурый вид фельдмаршала объяснялся именно этим нарушением его обычного распорядка. Он сидел против меня в стареньком свитере с дырками на плечах от погон, в грубых вельветовых брюках. Не снимал своего знаменитого черного берета, который ему вовсе не полагался по форме. Но Монти — кокет, этим же объясняются его необычно толстые подошвы: чтоб казаться выше ростом.

Конечно, ни сигар, ни стопки джина, ни даже чашечки кофе. Впрочем, потом сержант с чопорной физиономией породистого дворецкого принес два стакана слабого чая. Монти — убежденный чаепийца.

Я передал ему приказ Айка о переходе двух армий в 21-ю группу. Не читая, он сложил его вдвое, вынул из кармана толстую Библию и сунул туда приказ. Де Гинган уже говорил мне, что Монти не расстается с Библией, как Брэдли с «Айвенго». Я не осуждаю его, это дело вкуса.

Я приступил к самой деликатной части моей миссии. Я сказал, что в Верховном штабе союзных войск в Версале удивлены тем, что 21-я группа армий не делает попыток сдержать хотя бы на своем участке натиск Рундштедта.

Монти бесстрастно выслушал меня. Только пощипывал свою правую щеку — признак волнения. Ответ был довольно туманный. Он сказал, слегка гнусая, как всегда, что основная черта его — фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомери — это решительность, любовь к дисциплине и нетерпимость к бестолковым советам.

Последняя «черта» явно метила в меня. Я, должен признаться, рассердился и преподнес ему пилюльку, напомнив, конечно в форме комплимента, о блестящем деле при Кане, который фельдмаршал целый месяц не мог взять даже при мощной поддержке авиации дальнего действия и загубил там британский танковый корпус, подставив под убийственный огонь 88-миллиметровых орудий. Когда он наконец сподобился взять Кан, он получил от Сталина телеграмму: «Поздравляю с блистательной победой при Кане». Можно быть о дядюшке Джо какого угодно мнения, но нельзя отрицать, что в данном случае он проявил высокоразвитое чувство юмора.

Монти проглотил пилюлю, немного сник и стал лопотать что-то о Клаузевице.

Я не замедлил тут же процитировать Клаузевица: «Бой — это плаitez наличными».

Мне не хотелось упоминать о провале операции Монтгомери под Арнемом. Мне стало скучно, надоело пикироваться, я понял, что добиться от него обещания наступать я не смогу, и решил, вернувшись, посоветовать нашим, чтобы они обратились к Черчиллю, пусть он убедит Монти запрячь коней и помчатся вперед.

Когда я вернулся к себе, я узнал, что Аик запросил помощи у России. Очевидно, вопросы престижа отступают на задний план, когда тебя бьют.

Конечно, Аик сделал это кружным путем, через Вашингтон. Он

отправил телеграмму в Объединенный совет начальников штабов, то есть Маршаллу:

«Если русские намереваются предпринять решительное наступление в этом или в следующем месяце, знание этого факта имеет для меня исключительно важное значение. Я бы перестроил все мои планы соответственно с этим. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы добиться такой координации?»

Что до старика Брэдли, то он, конечно, не преминул мне воткнуть:

— Знаете, Чарли, из вас дипломат, как из дерьма. Только что мне донесли, что Монтгомери отдал приказ отступить от Сен-Вита...

Ну а при чем тут я? Старик у ничего не стоит обидеть человека походя, между прочим. Охаял меня, а сам развалился в кресле, вынул из кармана толстенную книгу, уткнулся в нее и забыл обо мне. Это, конечно, «Айвенго».

Злость еще бродила во мне, и я сказал:

— И что вы находите в Вальтере Скотте? Он каждого мажет одной краской: Ательстан — обжора, Седрик — праведник, Брин — злодей. И так все у него. Все — однозначны.

Старик посмотрел на меня и сказал:

— Это ничего, я сам однозначен.

Хотелось мне спросить: «Какой же знак у вас, генерал?» И тут же, не дожидаясь его ответа, добавить: «Упорство — это, конечно, добродетель до тех пор, пока она не вырождается в упрямство».

Только я собирался воткнуть ему это, как он поднял голову, и меня поразил его вид — словно он был одержим какой-то неотвязной мыслью. Вдруг он рванул к столу и принялся быстро писать. Я смотрел через его плечо.

«Командующему 1-й армией генералу Ходжесу. Хотя вы уже не находитесь под моим командованием, все же я считаю нужным сообщить, что, по моему мнению, дальнейшее оставление территории на северной стороне арденнского выступа будет чревато серьезными последствиями. Омар Брэдли».

— Вот, — сказал он, — отвезите это Ходжесу. И расскажите ему все о Монтгомери.

Значит, опять в дорогу...»

### ***Бастонь-1***

Сердце Арденн Бастонь как магнит манила к себе обе сражающиеся армии.

С севера с поразительной быстротой, одолевая лесистые кряжи и горные реки, устремился к ней партизанский отряд. Урс миновал не задерживаясь населенные пункты, он почти не делал привалов. Закаленные в длительных переходах, партизаны не чувствовали усталости. Осборн изнемог. В конце концов его устроили в обозе. Он лежал на мешках с продовольствием в телеге, упряженной двумя мулами. Он до того ослабел, а может быть, разленился, что не смахивал крупинки мерзлой мороси, сверкавшие в его мушкетерских усиках. Иногда он беспокойно искал глазами Майкла. Он хотел, чтобы тот подошел к нему. Что-то тревожное, какая-то тягостная муть по-прежнему лежала между ними. Но Майкл шагал впереди на своих длинных циркулеобразных ногах, он втянулся в поход и тоже почти не чувствовал усталости. Урс, чтобы подать пример партизанам, отказался от верхового коня, который полагался ему как командиру. Несмотря на свой грузный вес, он шагал посреди отряда.

С запада к Бастони мчалась из-под Реймса из резерва главного командования 101-я воздушнодесантная дивизия. Командовал ею генерал-майор Маколифф, американизированный шотландец, отличавшийся от своих древних соотечественников на редкость порывистым и эксцентричным характером, за который его втихомолку прозвали Nut, что означает иногда «чудак», а в более выразительных случаях «сумасброд». Дивизия находилась еще довольно далеко от Бастони, но продвигалась быстро, потому что была погружена в десятитонные грузовики. В одном из них сидел юный лейтенант Вулворт. Он был пьян. Вчера американцы наткнулись на группу немецких диверсантов. Распознав их, несмотря на американо-английскую маскировку, десантники тут же их расстреляли. Во взвод, отряженный для казни, был назначен и Вулворт. Картина расстрела безоружных потрясла его. На сетчатке его глаз все время извивался в предсмертных корчах молодой солдат, которого он приканчивал из своего кольта. Так и не добив его, Вулворт застонал и пошатнулся. Маньковский подхватил его. Птицеподобное лицо Феликса светилось сочувствием. Он не раз видел это состояние у молодых солдат, когда в них впервые вползает война. Он выпросил у рыжего десантника полбутылки джина для Вулворта, пообещав вернуть ему в Бастони. «Черт с тобой, — не очень охотно согласился рыжий, — мальчишка и вправду расстроен после этой собачьей операции, пусть глотнет как следует». Действительно, после джина омерзительная дурнота пропала и Вулворт даже начал бахвалиться: «А ловко мы это их скovyрнули» — хотя немец не хотел убираться с его сетчатки, но, правда, стал сильно бледнеть.

С востока к Бастони продиралась сквозь грязь на узких дорогах (неожиданное и короткое, но сильное потепление!) немецкая 2-я танковая учебная дивизия 47-го танкового корпуса. Она шла от Дасбурга, от командного пункта генерала Мантейфеля, который благословил дивизию на взятие Бастони. На третий день, 18 декабря, в девять часов утра дивизия успешно форсировала реку Клерф. Командир дивизии генерал-лейтенант Фриц Байерлейн полагал в тот же день достигнуть Бастони. «Я иду следом за вами, — сказал командир корпуса коротконогий красномордый генерал Гейнрих фон Лютвиц, — Бастонь должна быть взята, иначе она остается гнойником на линии наших коммуникаций. Я приведу 26-ю народно-гренадерскую дивизию. Но рассчитываю, что вы справитесь и сами». Байерлейн был опытным генералом. В 1941 году он воевал в России, где был помощником самого Гудериана. В 1942-м — в Африке, где был начальником штаба у самого «лиса пустыни» Роммеля, в 1943-м — в Италии, где был начальником штаба 1-й армии у самого фельдмаршала Кессельринга. Все эти кампании заканчивались поражением немцев, и генерал Байерлейн винил в этом Россию, которая в двух последних случаях предпринимала совершенно неуместные, на его взгляд, наступления и оттягивала на себя значительную часть немецких сил. Теперешнюю свою задачу — взятие Бастони — Фриц Байерлейн считал нетрудной. Однако в тот день его дивизия не дошла до Бастони... Снова ударил мороз, снег налипал на катки гусениц, истаивал и снова замерзал. Дивизия продвигалась с ужасающей медлительностью — за три часа менее километра. К вечеру удалось достигнуть только дрянного люксембургского местечка Нидер-Вампах. На следующий день притащили в штаб какого-то бельгийца, который клялся, что видел неподалеку от Бастони не менее сотни американских танков и бронемашин.

В половине шестого утра в полной тьме, которая усугублялась туманом, дивизия двинулась дальше. Головной танк подорвался на mine. Из всего экипажа уцелел только маленький танкист Йоганн, благополучно ускользнувший от партизан в бронетранспортере Вайнерта и

вернувшийся в свою родную 5-ю армию. Гибель танка вызвала задержку, пришлось расчищать минное поле. Окопавшиеся трупы, твердые, как бревна, Leichen-Kommando<sup>1</sup> побросала в обозные машины, с тем чтобы пристойно похоронить их в Бастони, в овладении которой никто не сомневался.

Только на следующий день немцы увидели издали шпиль собора святого Петра. Когда они придвинулись ближе, их встретил жестокий огонь. Под стенами стояла американская 101-я воздушнодесантная дивизия. Завязался бой.

Даже на старых, обстрелянных солдат немецкие завывающие мины действовали угнетающе. Вулворт поначалу не понял, откуда этот грозный томительный гул, нарастающий непрерывно, как будто само это свинцовое небо опускалось, чтобы своей тяжестью расплющить всех внизу. Потом посыпались осколки. Вулворт вжался в снег, он еле сдерживал желание бежать. После налета этих «воющих истериков», как их называли ветераны, обрушился огневой артиллерийский вал. Вулворт терпел. Он привыкал. Самый страх имеет свой предел. И в аду, оказывается, можно жить. И все же когда показались танки, он снова ощутил гибельное чувство, словно что-то обрывалось в нем, внутри него, где-то за грудной костью и катилось вниз, холодное и дрожащее. Он подумал: «Может быть, я мочусь в штаны?»

Если бы он знал, как трудно приходилось танкам, возможно, ему стало бы легче. Танки двигались тесной колонной, самая узость дороги лишала их свободы маневрирования. Иоганн, обычно такой сдержанный, ругался, сидя в башне танка. Он ничего не видел, кроме белой дороги и черных тел, исчезавших, когда он к ним приближался. Он думал, что американцы прячутся в щели и оттуда будут подрывать его. Но десантники были плохо вооружены. У них не было ни гранат, ни противотанковых мин, ни базук, ни даже бутылок с горючей смесью, и танки легко смяли передние ряды американцев. Вулворту повезло: его послали с истребительной группой для уничтожения автоматчиков, залегших по обе стороны дороги и даже на опушках лесов, спускавшихся по склонам. Борьба с ними была похожа на охоту.

Истребители ползком подкрадывались к месту, где засел автоматчик. Притаившись, истребители — небольшая группа, всего три человека: Вулворт, Маньковский и рыжий десантник (Вулворт до сих пор не дознался его имени), — ждали, пока автоматчик откроет огонь и обнаружит себя. Они не брали его в плен, они обычно кончали его на месте бесшумно кинжалами. На Вулворта эти убийства уже не действовали, потому что это же борьба в бою с противником вооруженным, а главным образом потому, что Вулворт был уже немного другой. Сознание его притупилось. Он огрубел. Насилие становилось чем-то привычным.

Когда Вулворт вернулся к Бастони, бой уже затих. Он увидел, что за спинами сражающихся саперы и жители города успели вырыть рвы и волчьи ямы, установить надолбы, рогатки, засеять дорогу минами. Правда, саперы ворчали: не хватает колючей проволоки, мало мешков для земли и мин, в общем, маловато.

Вулворт чувствовал непобедимую усталость. Кроме того, в нем родилось необычное новое и странное ощущение: он чувствовал, что взрослеет. Это, конечно, было приобретением мужества, рассудительности, спокойного достоинства. Но и потерей — душевной свежести, стыдливости и той наивной восторженности, которая так украшает юных. Это не ускользнуло от взгляда Маньковского, он с удовлетворением подумал: «Парень покрывается корочкой».

<sup>1</sup> Похоронная команда (нем.).

Вулворт и Маньковский (с особого разрешения начальства) устроились в небольшой брошенной квартире. Окна ее выходили на старинные арочные ворота Порт-де-Трев. Под аркой беспрерывно сновали солдаты, монахи в белых клобуках, санитарные машины, велосипедисты, девушки и юноши, бежавшие из окрестных деревень, некоторые вели коней под уздцы. Маленькая Бастонь, узел пяти дорог, трещала под напором переполнившего ее народа.

В тот же день под вечер у арки Вулворт наткнулся на офицера, извинился, откозырял, пошел дальше. Вдруг обернулся: это бледное удлиненное лицо, насмешливый лягушачий рот, высокий лоб над сдвинутой на затылок каской показались ему знакомыми.

— Конвей! — воскликнул он.

Офицер оглянулся, растянул рот в улыбку:

— Если меня не подводит память, это малютка Вулворт, племянник тети Эдны, «стандартные цены 5 и 10 центов». Рад вас видеть, старина. Давно в этой дыре? — И не дождавшись ответа: — А я прибыл позавчера и здесь ставлю точку. Баста! Я остаюсь. Я устал бегать по Арденнам, как борзая за несуществующим зайцем. Где вы устроились? — И снова, не дождавшись ответа: — Идемте ко мне, у меня великолепный бункер. Тепло, комфортабельно и полная гарантия... — Он не договорил и предостерегающе поднял палец, прислушиваясь к недалекому артиллерийскому выстрелу. Спустя несколько секунд где-то тоже не очень далеко ухнул разрыв. Конвей закончил: — ...и полная гарантия от этих игрушек.

Бункер оказался подвалом в трехэтажном доме. Койка, покрытая толстым пледом. На столе полевой телефонный аппарат в кожаном футляре. В углу самозарядка-браунинг. Со стены глядит строго и мило Сикстинская мадонна с хмурым младенцем на руках. Полка с книгами, преимущественно сине-желтые экземпляры «Ранних византийских икон», сочинения Томаса А. Конвея. В другом углу шкафчик. Конвей вынул оттуда бутылку виски, два пластмассовых стаканчика, электрический чайник. Наполнил его водой из крана, включил чайник в розетку. Налил виски в стаканчики.

— За встречу! — сказал он приветливо.

Он действительно был рад Вулворту. Разговорщик по складу натуре, Конвей нуждался в резервуаре для своих словесных водопадов. Ему нужны были чьи-нибудь уши. Все равно чьи.

— Устроились недурно, — сказал Вулворт, хлебнув виски.

Конвей махнул рукой:

— Я в отчаянии. Все у меня сорвано. Я не закончил курс ванн в Спа. И вообще полетел к черту весь мой режим. Я должен лежать днем не менее двух часов со слегка приподнятыми ногами. Я и лежал в грузовике по дороге сюда. Но на чем? На боеприпасах! Представляет себе, как чувствовали себя мои суставы?!

Вулворт смеялся. Он никогда не знал, говорит Конвей серьезно или ваяет дурака. Откуда такая изнеженность в боевом офицере? Ведь он разведчик. Наверно, разведчикам так и полагается — болтать с посторонними всякую чушь и — ни слова о своей таинственной работе.

Вулворт, конечно, не удержался и начал рассказывать, как он расправлялся с диверсантами и как охотился за автоматчиками. Посреди этого рассказа он вдруг заметил устремленный на него насмешливый и чуть безглыбый взгляд Конвея.

— Война — это война... — пробормотал он, не зная, что сказать.

— Что меня в вас восхищает, Вулворт, — сказал Конвей, раскуривая трубку, — это то, что вы ни на секунду не задумываетесь перед тем, как изречь оригинальную мысль. Но я готов с вами согласиться:

война — это война, а не заповедник генералов, куда посторонним вход запрещен. Войну выигрывает пехотинец в башмаках, облепленных грязью, а не полководцы, разъезжающие по тылу в роскошных лимузинах. Немцы здесь, в Арденнах, бросились в наступление на заре шестнадцатого декабря, а Айк раскумекал это только к вечеру восемнадцатого. Когда немецкие парашютисты захватили деревушку Живе, фельдмаршал Монтгомери до того запаниковал, что перенес штаб своей Двадцать первой группы армий чуть ли не в Брюссель. Что такое паника, я видел собственными глазами в Спа, когда мы с перепугу сожгли сто двадцать четыре тысячи галлонов горючего, вместо того чтобы его спокойно вывезти. Говорю вам — у нас перепроизводство генералов! Отсюда неразбериха. Слишком много поваров суетится вокруг одной плиты.

Вулворт откашлялся. Речи эти показались ему кощунственными. Подумайте, Конвей замахнулся на самого Эйзенхауэра!

— Но ведь война начинается с разведки,— сказал Вулворт, мрачно глядя на Конвея.

Кажется, слова эти попали в больное место Конвея. Его даже передернуло. Он вспомнил то утро, когда к нему пробрался этот партизан Урс в одежде священника и предупредил о подозрительных передвижениях немцев. И он, Конвей, пошел с этими сведениями к главе войсковой разведки Монку Диксону, и тот не придавал значения этим сведениям.

— Вулворт, мой мальчик, разведчики тоже люди,— сказал Конвей мягко.— И лучшие из них отнюдь не те, которых муштруют на «ферме» возле Вашингтона или в Пенсильванской, Вирджинской и других специальных школах управления стратегической службы. Разведчиком нужно родиться. Можно сделать человека образованным, но нельзя сделать его талантливым. Клянусь вам, Вулворт, что я сигнализировал командованию накануне выступления, но мой сигнал презрели.

— А вы настаивали? — все так же сурово сказал Вулворт.

«Эге, мальчуган может быть безжалостным! Чему-чему, а этому война его научила».

Конвей счел уместным переменить тему. Он пустил клуб дыма к потолку и сказал несколько в нос, как всегда, когда впадал в назидательный тон:

— Человек не властен над прошлым. Он еле справляется с будущим. А настоящего вообще не существует: оно мгновенно превращается в прошлое. Мы здесь, в Бастони, знаем одно: она наша и она должна остаться нашей. Конечно, война — капризная дама, иногда она повелевает отступить даже победителям. Но сейчас не тот случай. Немцы хотят взять Бастонь. Уже по этому одному мы не имеем права отдавать ее. Оказывается, этот маленький городок им очень нужен. Вы догадываетесь, почему? Очень просто: по трем основаниям. Слушайте внимательно, этих истин вы не услышите ни от кого другого. Во-первых, Бастонь, покуда она наша, срывает немцам подвоз снабжения, ибо она — скрещение пяти дорог. Во-вторых, Бастонь мешает их продвижению на запад, а захватив ее, Мантейфель обеспечил бы себе свободу действий на левом фланге. В-третьих, Бастонь приковывает значительные их силы.

Конвей помолчал, отхлебнув из стакана, глянул на Вулворта — ему понравился ошеломленный вид юноши — и прибавил:

— Есть еще одно основание. Быть может, оно самое главное. Скажу вам его по секрету.— Он театрально оглянулся и проговорил показным шепотом, хотя, разумеется, никого, кроме них, в бункере не было: — Борьба за Бастонь есть борьба за сохранение престижа.

Он откинулся на спинку стула, довольный эффектом, произведенным на совершенно подавленного Вулворта, и сказал уже обычным, прозаическим, то есть нисколько не приподнятым тоном:

— Мы будем драться за Бастонь, и — я вам предсказываю это — драться жестоко. Быть может, Бастонь и есть та кость, которой Гитлер подавится. Так и скажите вашим солдатам, Вулворт. Подготовьте их психологически к осаде, то есть к голоду, к эпидемиям, к припадкам отчаяния, к самопожертвованию, к жестокой дисциплине блокады.

Вулворт слушал как зачарованный. Глаза его блестели. Упоминание о дисциплине взволновало его.

— Наш солдат так недисциплинирован! — почти крикнул он. — Вы не поверите, Конвей, они иногда даже не отдают честь офицерам!

— Не придирайтесь к солдату, — сказал Конвей, с удовольствием прислушиваясь к своей плавно текущей речи, — да, американский солдат недисциплинирован. Его привычка к демократическим свободам несовместима с машинообразностью, нерассуждаемостью, субординацией и прочими качествами, характерными для германского или японского солдата. Это независимое поведение, эта потребность в жизненных удобствах, даже в известном комфорте делает нашего солдата в гарнизонной службе весьма недисциплинированным. Однако в бою он преобразуется. Когда он видит, что для того, чтобы выжить, надо победить, он побеждает, Вулворт.

К 21 декабря окружение Бастони было почти закончено. 26 декабря 2-я танковая дивизия СС, присланная обергруппенфюрером Зеппом Дитрихом, учебная танковая дивизия 5-й армии и примаршировавшая к Бастони с востока бригада из личной охраны Гитлера «Фюрербеглейт» — молодцеватые парни один к одному, хоть сейчас на парад, к чему, кстати сказать, они более привыкли, чем к осаде городов, хотя и были сейчас щедро оснащены боевой техникой, — все эти войска прочно обложили город почти со всех сторон. Полоса пастбищ шириной километров около восьми между Шаном и Сеншаном оставалась еще незанятой. Но, очевидно, и ей предстояло вскорости быть занятой, поскольку к Бастони направлялись форсированным маршем еще две дивизии.

Однако покуда кольцо еще не совсем замкнулось, Урс решил через этот свободный коридор просунуть в Бастонь тех американцев, которые были в его отряде, в том числе, разумеется, Осборна и Майкла.

Пошли цепочкой. Конечно, ночью. В полном молчании. Впереди на изрядном расстоянии от группы шли дозорные — Брандис и Финик. Они изредка тихо переключались. Туман притушивал голоса и шаги. Иногда они останавливались, поджидая отряд. Потом опять отдалялись от него, тщательно прислушиваясь к окружающей местности, почти вынюхивая ее. Позади отряда в замыкающем дозоре шли оба фламандца, Питер и Ян, тоже вслушиваясь в черно-серую туманную муть, облипавшую их отовсюду. Стояла мертвая тишина. Изредка только чавкали сапоги в истаявшем снегу и проносилось тихое, как вздох, ругательство.

Урс шел посреди отряда. Он решил лично сдать американцев. А кроме того, он рассчитывал, что, может быть, ему удастся раздобыть какие-нибудь надежные сведения о положении на фронте. Все так перемешалось, потеряна связь с разведкой, неизвестно, где штабы и какие задачи стоят сейчас перед партизанами в этой новой обстановке.

Он надеялся, что они войдут в город до рассвета. Ведь нынче



светает поздно, в восемь часов. Это будет трудный момент: без сомнения там стоят сторожевые заставы, они могут, не узнав своих, обстрелять их.

Урс не мог не поверить своим дозорным, когда они доложили ему, что никакой заставы нет и вход в город в этом месте свободен. Возмущенный, он сам поспешил к этому месту.

— Гостеприимно...— пробормотал он сквозь зубы.

Действительно, пусто... Несколько стреноженных коней разгребали копытами снег и с хрустом жевали прошлогоднюю жухлую траву.

— Вояки, так и так их мать,— повторил Урс.

Финик качал головой:

— Как же это немцы проморгали...

Урс огрызнулся:

— Потому что немцы воюют грамотно и не могут представить себе такого военного невежества.

Он расположил свой отряд на этом участке, растянув его тонкой линией. Сам же поспешил в штаб дивизии.

Затруднение состояло в том, что он в штабе никого не знал, кроме Конвея, с которым был связан конспиративно. Но благодаря духу беспечности, который царил здесь, Урсу не составило труда узнать его домашний адрес.

Урс застал его дома. Конвей говорил по телефону. Он приветливо помахал рукой и продолжал говорить:

— Видите ли, с горючим у нас дело дрянь... Как я вспомню о тысячах галлонов, брошенных в Ставло... Нет, дух нашего солдата очень высок, но одним духом не продержишься, если нет боеприпасов... Что?.. Я понимаю, снабдят по воздуху... Конечно, конечно, и это... Обязательно!.. И побольше... Потому что костлявая рука голода...

Урс больше не мог выдержать. Он вскочил и положил на телефон свою лапу с крупными ногтями, раздавшимися более в ширину, чем в длину. Разговор, естественно, прервался.

— Как вы можете говорить о таких вещах клером?! — загремел он.— Что ни слово...

— ...то выдача военной тайны,— сказал Конвей, растянув губы в привычной усмешке.— Но, дорогой мой, вы свой. Вы даже не представляете себе, Урс, как глубоко вы проверены.

— Да разве я о себе? Какой же вы, к черту, разведчик, если не знаете, что в нейтральной зоне у немцев сидят подслушиватели со специальными аппаратами и перехватывают телефонные разговоры. Вообще, что за бардак у вас в штабе! Вы оставили открытыми ворота в город! Что это — кретинизм или предательство?!

Урс рассказал о неохраемом участке к югу от города.

— Вам все смешки, Конвей! — сказал он с гневом.

— Но это действительно забавно, Урс, что немцы не вошли. Вы знаете, почему? Это напоминает детскую игру «в какой руке камешек?». Вы рассуждаете так: в прошлый раз я клал его в правую руку, значит, логично сейчас положить его в левую. Но противник тоже так рассуждает. И я оставляю его в правой и выигрываю.

— Да,— устало сказал Урс,— но в нашем случае не было прошлого раза.

Мало кто знал, что командующий 3-й армией генерал-лейтенант Джордж Паттон, такой резкий, вспыльчивый, часто грубый, обладал натурой чувствительной, даже сентиментальной, как девушка. Во всяком случае, сознание, что гарнизон осажденной Бастони терпит муки

голода, причиняло ему страдания. Именно гарнизон. Это нечто конкретное. Свое. Родное, как семья. А жители? Да, конечно, им тоже не сладко. Но это абстракция. Население. Понятие географическое. Так или иначе генерал Паттон мучился от невозможности облегчить страдания осажденного города и проклинал нелетную погоду. Метеорологи боялись показаться ему на глаза, ибо по несдержанности генерал способен был обвинить их в том, что тучи такие низкие, а снегопад такой густой, а ветер такой пронзительный.

В конце концов генерал вызвал главного капеллана армии, пожилого, всеми уважаемого пастора в чине подполковника.

— Послушайте,— сказал он,— вы там молитесь черт знает о чем, вместо того чтобы выклянуть у бога хорошую погоду. Я приказываю вам, чтобы во всех вверенных мне соединениях, частях и подразделениях отныне включили в молитвы требование о ниспослании намлетней погоды.

Священнослужитель слушал эту речь генерала с чувством, близким к ужасу. Он сдерживал себя, памятуя, что всякое выражение раздражительности уже есть грех. Он ограничился тем, что сказал сухо:

— Можно ли приказывать богу...

Паттон резко повернулся на каблуках, отшвырнул сигару и сказал металлическим голосом:

— У кого вы, черт возьми, в подчинении? У меня или у бога? Вы офицер Третьей армии. Идите и выполняйте приказ.

В тот же день солдатам и офицерам 3-й армии был роздан текст молитвы, свежееотпечатанный в армейской типографии и утвержденный генералом Паттоном:

«Господи, боже наш! Даруй нам в милости твоей хорошую погоду для битвы, чтобы сокрушить жестокость и злобу наших врагов. Аминь!»

И что вы думаете! За два дня до рождества проклюнулось солнце, робкое, правда, какое-то, завуалированное кисейными облаками. Все же и такого его было достаточно, чтобы из 3-й армии вылетели самолеты и принялись сбрасывать в Бастонь мешки с консервами, медикаментами, яичным порошком и боеприпасами. Однако самолеты держались на большой высоте и большая часть грузов попала к немцам. Тут уж ни бог, ни сам генерал Паттон ничего не могли сделать.

Между тем атаки следовали одна за другой. С востока в Бастонь прорывалась учебная танковая дивизия, состоящая из отборных солдат 47-го корпуса 5-й армии. Она была как таран по укреплениям, наскоро возведенным защитниками Бастони. Первую их линию немцам вскоре удалось преодолеть. Генерал-майор Энтони Маколифф, этот, как его прозвали люксембуржцы, смешав французский и английский, *Le Héros du Nuts*<sup>2</sup>, направил против немцев половину имевшихся у него танков. Он приказал намалевать на каждом четыре буквы: АААВ. Отправляясь на позиции, танкисты охотно объясняли любопытным их значение: Anything. Anytime. Anywhere. Bar nothing<sup>3</sup>. Им удалось задержать немцев.

Остальные танки Маколифф направил на запад от города. Здесь немцы тоже пробивали укрепления непрерывными атаками. Это был как бы второй конец воображаемой оси, долженствовавшей пронзить Бастонь. Однако и здесь дальше первой линии укреплений немцам продвинуться не удалось.

Генерал Байерлейн, командовавший учебной дивизией, взвесил шансы. По данным разведки, в Бастони и вокруг нее потери американцев достигли по меньшей мере трех тысяч человек убитыми и ранеными.

<sup>2</sup> Герой сумасбродов.

<sup>3</sup> Все. Всегда. Везде. Нет преград (англ.).

ми. Голод в городе, как доносили лазутчики, дошел до крайних пределов, резали лошадей, но и их уже почти не было в этой конской столице. Начинался голодный тиф. Генерал Байерлейн решил, что плод созрел и вот-вот упадет, пора подставлять руки. И он направил к Маколиффу парламентаря с предложением капитулировать. Генерал Мантейфель в своих записках весьма сдержанно пишет: «Наше требование о капитуляции было отклонено».

Ответ генерала Маколиффа был более живописным. Внимательно прочитав предложение капитулировать, генерал Маколифф надел очки и старательно начертил на нем каллиграфическим почерком: «К атитесь к едреной матери!»

Жаль, что эта жизнерадостная резолюция не сохранилась. Она заняла бы почетное место в библиотеке конгресса в Капитолии в Вашингтоне среди важнейших исторических документов эпохи.

Бедный Байерлейн! И тут ему не повезло! Однако этих невезений набирается столько, что впору усомниться в его качествах полководца. Вот и здесь он ошибся в главном: в оценке сил противника. И этим ввел в заблуждение своего командующего армией. Генерал Мантейфель считал, что Бастонь не только «сердце Арденн». Этот маленький люксембургский городок стал сердцем обороны американских войск. И здесь его наметанный глаз не ошибся. Но он ошибся в другом. Этот опытный генерал не подозревал, что упустил момент овладеть Бастонью почти без боя. Вот тут-то, сам того не желая, выдернул из-под него стул генерал-лейтенант Фриц Байерлейн. Во время боя за городок Новиль, что к северо-востоку от Бастони, он принял слабые дозоры противника за крупные силы. Таково было неистовство в бою одного из небольших подразделений американской 10-й бронетанковой дивизии, что Байерлейн послал Мантейфелю донесение, что учебная танковая дивизия попадает в невыгодное (он еле удержался, чтобы написать «гибельное») положение и он вынужден отступить. Не проверив действительной обстановки на месте, Мантейфель нисколько не усомнился в правильности действий своего лучшего командира своей лучшей дивизии.

Справедливость требует сказать, что обе стороны преувеличивали силы друг друга. Первый лейтенант Конвей признавал, что здесь есть промах американской разведки, совпавший с подобным же промахом немецкой разведки. «И мы и немцы,— писал он в своей статье «Бедный заблудший ангел», помещенной уже после войны в парижском издании «Нью-Йорк таймс»,— смотрели друг на друга расширенными от ужаса глазами. Мы были уверены, что бросившиеся в это безумное наступление немецкие войска глубоко эшелонированы и имеют большую глубину оперативного построения, тогда как это была тонкая ниточка, которую ничто не стоило прорвать. А немцы полагали, что перед ними мощные американские соединения, богато оснащенные техникой, тогда как в тот момент это были разрозненные подразделения, мечущиеся в панике, к тому же плохо вооруженные».

Конвей и Осборн встретились во время вылазки у брошенной фермы «Старый вепрь». Название это сохранилось на сквозной ажурной вывеске, которая болталась на одном гвозде над воротами.

Высотка, на которой стояла ферма, командовала над местностью и была приманкой для обеих сторон. Большой скотный двор окружен буками, посаженными так тесно, что они образовали почти стену. Здесь Конвей установил противотанковое орудие, и когда был убит первый номер, сам заменил его. «Все-таки я артиллерист»,— сказал он. Собственно, по этим жеманным интонациям Осборн, уже

встречавший Конвея в городе, узнал его, ибо лицо Конвея было испачкано копотью до неузнаваемости.

После того как американцы отразили одну за другой три атаки, наступило затишье. Вообще-то говоря, можно было возвращаться в Бастонь. И командовавший небольшим отрядом пехоты первый лейтенант Осборн собрался поначалу именно так поступить. Но потом передумал.

— Разумнее это сделать, когда стемнеет,— объяснил он Конвею,— возвращаться надо по открытой местности. И хотя мы в белых халатах, они всех нас расколошматят, как бутылки в тире.

Осборн знал, что как только они покинут ферму, немцы займут ее. Отсюда открывался обширный вид на восточную часть города. По мнению Осборна, ферму следовало удержать в своих руках. Конвей был согласен с этим. Но генерал Маколифф приказал всем участникам вылазок обязательно к ночи возвращаться в город.

— Приказ есть приказ,— сказал Осборн в ответ на предложение Конвея «поправить» генерала и не уходить с фермы.

Не стреляли. Осборн присел на брошенную автопокрышку с грузовика и с наслаждением оперся уставшей спиной о стену полуразрушенного сарая. Это был отдых. Мыслями он вернулся к довоенному покою. Нет, нет! Военная служба нравилась Осборну. Он уже решил, что после войны останется в армии. Никакие страсти не сравнятся с наслаждением командовать и подчиняться. Да, он останется в армии. Если, конечно, его оставят. И если его не убьют. Но сейчас, сидя на этой старой шине, расслабившись, он предался уютным воспоминаниям о мирной жизни. Он не давал себе труда упорядочивать их. Он плыл по течению. Большое место в них занимал душ... Ласковые прикосновения этого благословенного домашнего дождя из низкого кафельного неба... Девушки... Преимущественно высокие блондинки, с которыми он встречался обычно после работы в кафе, очередная она с правой стороны, в левой руке контрабас в чехле, с длинной извилистой царпиной на деке, он все собирался залакировать ее, да так и не успел... Дыни... он обожал дыни, обычно перед обедом он отправлял в рот влажный пахучий розовый ломоть...

В это время немцы открыли огонь из учетверенного миномета. Осборн упал, обливаясь кровью. Миномет замолчал так же внезапно. Очевидно, просто пробовали вновь прибывшее оружие.

В госпитале в Бастони, лежа на койке, Осборн догадывался, что не выкрутится. Он считал, что это самая большая глупость в его жизни. Его лицо сделалось совсем маленьким, как у ребенка. Мушкетерские усики и эспаньолка выделялись на нем нелепыми запятыми. Собирались сделать переливание крови, но он увидел на банке ярлык: «Цветная кровь» — и отказался от переливания. «Какое счастье,— сказал он,— что я умираю в католическом городе...»

Он потребовал к себе патера. Но в армии не оказалось католического священника. «Есть дьякониса»,— сказали ему. «Баба? Ни за что!» От услуг лютеранского капеллана он отказался. «Позовите поляка»,— сказал он. Позвали Феликса Маньковского. Осборн ему исповедался. Он признался в постыдном грехе: уже коснеющим голосом он рассказал Феликсу, как он в свое время не поделился хлебом с Майклом. Маньковский знал ритуальные слова, сопровождающие отпущение грехов... «Absolvo te...»<sup>4</sup>—сказал он срывающимся голосом.

На погребении произошел неприятный инцидент, несколько нарушивший привычное благообразие похорон. К гробу подошел пожилой джентльмен в куртке с кенгуровым воротником и заявил, что может организовать захоронение останков первого лейтенанта Лайо-

<sup>4</sup> Отпускаю тебе (лат.).

нела Осборна у него на родине, то есть в Штатах. Маньковский и Вулворт узнали его: это был Корнелиус Ли, представитель «Симетри альянс», объединения компаний, эксплуатирующих кладбища. Мистер Ли вежливо, но настойчиво допытывался у окружающих, есть ли у Осборна родственники в США и насколько они состоятельны. Ибо, как выяснилось из дальнейшего разговора, перевозка останков производится за счет родственников.

Мистер Ли тут же заметил, что последние бои значительно расширяют деятельность «Симетри альянс», и не без самодовольства добавил: это общество настолько влиятельно, что провалило в конгрессе законопроект о создании новых национальных кладбищ для бесплатного погребения погибших воинов. Дальнейшие рассуждения мистера Корнелиуса Ли были прерваны Майклом, который взял его за кенгуровый воротник и, нападая сзади коленом, швырнул довольно далеко от лакомых останков первого лейтенанта Лайонела Осборна.

Конвею понравился этот поступок. Он пригласил Майкла к себе в бункер. Ему вообще понравился этот тощий юноша с приподнятыми бровями мечтателя и плечами боксера. Он уже слышал о нем кое-что. Главный капеллан армии подполковник Френкленд рассказал, что недавно к нему явился Майкл и покался:

— Я убил ангела.

И рассказал о стычке на дороге, где он застрелил одного из близнецов, а тот, оказывается, был не кем иным, как ангелом в мундире немецкого солдата.

Капеллан принялся утешать его. А потом, устав от собственных банальных поучений, признался:

— А что я могу тебе сказать, парень? С одной стороны, я проповедую вам всем: «Люби ближнего как самого себя». А с другой, я же призываю вас: «Убивайте немцев». Значит, приходится говорить, что немцы не люди, а черти. Но вот ты убил не черта, а ангела...

Майкл зачастил к Конвею. Его привлекал открытый — иногда до цинизма — ум Конвея. Да и Конвей устраивали беседы с Майклом более, чем с Вулвортом. Нельзя отрицать: Вулворт великолепно молчит, это имеет свои удобства для такого говоруна, как Конвей. Но уж очень он примитивен, этот молодой лейтенант из семьи мелко-розничных магнатов. А Конвей любит примитивы только в искусстве, главным образом церковном. А его словесные пиршества нуждаются в острой приправе — возбуждающих репликах собеседника.

В последнее же время в повадках Вулворта, еще недавно такого нежного, такого, сказал бы Конвей, трогательно нежного юноши, появилось что-то грубо-солдафонское, особенно когда он, закинув на стол ноги в грязных бусах и потребовав хриплым «фронтным» голосом выставить джин, начинает нести хвастливую околесицу о своих подвигах на передовой.

Другое дело нервный, почти истерический рассказ Майкла о том, как он убил ангела. До сих пор это продолжало мучить Майкла. Конвей жалел его и утешал по своему способу, который называл «метод каленой кочерги». Он пошел в атаку на идеализм Майкла:

— Конечно, ограниченному, ну, скажем, просто туповатому воображению идеалиста нет ничего удобнее, чем придумать боженку. Ход мыслей при этом примитивный. Вопрос: откуда все взялось? Ответ: хозяин создал. И сравните эту наивность с силой и смелостью воображения материалиста, который постиг извечность мира, его безначалие! Какая свобода духа нужна, чтобы примириться с этой идеей!

Майкл слушал очень серьезно. Потом чуть улыбнулся и сказал:

— Вы забываете одну очень простую вещь, Конвей.

— Какую?

— Хозяин, как вы его назвали, или бог, как говорят все, или Разумная Сила, как выражаются некоторые философы, или что-то другое — условно, но с наибольшим приближением к сути обозначим его словом Создатель, — что он тоже извечен и безначален...

Разговор этот и другие, подобные ему, шли под разрывы снарядов, которыми осаждающие засыпали город. В пылу споров Конвей и Майкла не слышали их.

Однако скоро Конвей лишился своего лучшего собеседника. Нет, нет, он не убит! Другое.

Однажды Майкл проходил мимо Порт-де-Трев. Немцы беспорядочно стреляли по городу из орудий. Люди разбегались, прятались под арки домов, Майкл даже не прибавлял шага. Он считал это постыдным проявлением слабости. Он рассуждал так: «Это чудовище, Гитлер, хочет, чтобы я переменялся, чтобы я стал мельче, ничтожнее самого себя. Но он этого не дождется, я останусь самим собой». И он не прибавлял шага.

Случилось ему как-то увидеть посреди улицы скопление женщин. Он видел только их спины. Некоторые — в элегантных меховых шубках. Сидя на корточках, женщины копошились в чем-то лежащем на мостовой и не обращали внимания на разрывы снарядов.

В стороне стояла девчонка в старенькой накидке, из которой выбивались клочья ваты. Съежившись от холода, она топталась на месте в своих грубых мужицких сапогах и попеременно дышала то на одну, то на другую руку в продранных рукавчиках.

Издредка она посматривала на группу женщин посреди мостовой, и на ее лице, замерзшем и чем-то испачканном, появлялось отвращение и жалость.

Когда Майкл приблизился, он увидел, над чем склонились женщины: над трупом павшей лошади. Они вырезали из него куски мяса и набивали им сумки. Теперь никто в Бастони не ходил без сумки. А вдруг удастся набрести на что-нибудь съестное, на сброшенную с самолета пачку сала или, как вот сейчас, на падаль.

Замухрышка в накидке бросила взгляд на Майкла. Он поразил юношу. Это был монашеский взгляд исподлобья, горячий и стыдливый. Майкл остановился. Неожиданно для себя он проговорил церемонно:

— Is there something of which may I be of use to you? <sup>5</sup>

И тут же спохватился, что обращается к ней по-английски. От смущения, конечно. Но почему он смутился? Неужели этот взгляд?.. Девчонка пожалала плечами и, к удивлению Майкла, ответила ему тоже по-английски:

— Nothing unless you will...<sup>6</sup> — И тут же перешла на какую-то беглую смесь французского и старонемецкого, которая была для нее явно привычнее: — ...оторвать мою подругу от этого...

Она не закончила.

— Как зовут твою подругу? — спросил Майкл, оправившись от непонятого смущения, сердясь на себя из-за него и перейдя на немецкий.

Но замарашка уже передумала:

— А в общем, черт с ней. Она голодна.

— А ты? — невольно спросил Майкл и полез к себе в карман.

Там у него болтались несколько кусочков сахара.

<sup>5</sup> Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен? (Англ.)

<sup>6</sup> Нет, если бы только вы могли бы...

— Но это каннибализм!

Майкл подумал, что он не понял ее. Ее странное наречие отдаленно напоминало немецкий. И в нем как золотые крупинки в песке мелькали французские слова. Майкл вгляделся в девчонку. Он увидел, что она старше, чем показалось ему прежде, глядя на ее замерзшее и чем-то испачканное лицо. Но вот снова этот не дающий ему покоя монашеский взгляд исподлобья!

— Каннибализм,— сказал он,— это поедание себе подобных.

Он готов был поклясться, что девушка посмотрела на него с презрением.

— Кони подобны людям,— сказала она.— Иногда они даже лучше людей.

Внезапное подозрение осенило Майкла. Он спросил строго:

— Ты немка?

— Что это вам пришло в голову? — удивилась она. И прибавила с некоторой надменностью:— Я люксембуржанка.

— Но ваш язык...— сказал он, не заметив, что перешел на «вы».

А когда заметил, смутился и не то чтобы рассердился, но остался недоволен собой.

И она, казалось, рассердилась.

— Какое вам дело до моего языка! — сказала она довольно грубо.— Это наш язык — мозельфренкин.

Все еще сердясь на себя, Майкл сказал сурово:

— Люксембуржцы служат в немецкой армии.

Она вспыхнула:

— Вы что, с луны свалились! Вы что, не знаете, что их туда загнали силой. Им приказано быть немцами. Но при первой возможности они сдаются вам.

Майкл уже привык к ее языку. О чем, однако, говорить? А расставаться с ней почему-то не хотелось.

— Я — Майкл Коллинз,— сказал он и протянул руку.

Она коснулась ее кончиками пальцев, которые выглядывали из дырок меховой рукавички. Он заметил: ногти обломанные, нечистые.

— Мари Шульц,— сказала она.

«Имя французское, фамилия немецкая»,— машинально отметил он в уме.

— Нет, я больше не могу ее ждать,— сказала Мари, беспокойно оглядываясь,— у меня дома Джильда некормленная.

— Джильда? — повторил Майкл.— У вас есть...

Он остановился, не решаясь сказать: дочь. Мысль о том, что у нее есть ребенок, была почему-то ему неприятна. Но, может быть, сестренка? А может, старуха мать, которую эта бесцеремонная девушка называет по имени?

Мари расхохоталась. И сразу стала другой, как будто смех привел в движение какие-то скрытые механизмы ее лица. Оно стало добрым, но и лукавым, оно осветилось изнутри нежностью, оно стало каким-то умно-ласковым. Майкл не мог отвести от нее глаз.

— Это моя кобыла,— сказала Мари.— Конечно, она еще почти ребенок. Двухлетка.

Она вдруг задумалась на мгновение (о эта поразительная смена выражений на ее испачканном лице!), глядя на Майкла, но словно не видя его, просто задумавшись, уперев взгляд во что-то перед собой.

— Послушайте,— сказала она нерешительно.

Потом вдруг решила, доверчиво положила на его руку свою и сказала серьезно, даже каким-то деловым тоном:

— Вы можете достать мне корм для Джильды?

— Ну...— сказал он,— может быть... А что это? Овес? Видите ли, у нас в армии нет лошадей.

Ему ужасно хотелось помочь ей.

— Можно просто хлеб,— сказала она нетерпеливо.

Он обрадовался:

— О, это можно!

Но вспомнив, как скуден блокадный паек, пробормотал:

— Может быть...

Он жаждал снова увидеть этот взгляд исподлобья. Но она, не посмотрев на него, кивнула и ушла. И как-то сразу исчезла в толпе, вечно сновавшей у Порт-де-Трев.

Тут только он сообразил, что не знает, где она живет. Он кинулся за ней, но она как в землю провалилась.

«Подруга!» — вспомнил он.

Но когда он прибежал обратно, никого не было, один только обглоданный скелет лошади с желтыми крутыми ребрами и разметанной гривой над костяным оскалом морды.

Блокада Бастони разомкнулась так же неожиданно, как началась. Все в те же рождественские дни, точнее — 26 декабря, части 4-й бронетанковой дивизии 3-й армии прорвали в одном месте немецкое кольцо и вошли в город.

Еще накануне генерал Маколифф говорил озабоченно:

— Больше всего меня беспокоит юг. Там стоят не эти наспех сколоченные дивизии Дитриха и Мантейфеля, а испытанная в боях Седьмая армия Бранденбергера. Если она вздумает рвануть в город, я ни за что не ручаюсь.

Как бы в подтверждение теории Конвея: «В какой руке камешек?» — прорыв произошел на юге.

Через эту приотворившуюся калитку в блокаде успел ускользнуть из города небольшой отряд Урса. Перед уходом Урс тепло попрощался с Конвеем.

— Завидую вам, Урс,— сказал Конвей со вздохом,— вы вырываетесь, как говорится, на оперативный простор. А мне еще торчать в этой зловонной дыре. Конечно, мы герои. Целую неделю мы отбивали наш осажденный город. Но вы знаете, чего нам это стоило: свыше трех тысяч убитых и раненых. И потом, не скрою от вас, Урс, у нас уже появились первые признаки деморализации, упадок духа, мародерство, насилия... Что удивительного: семь дней полной блокады...

Урс стремительно поднялся. Казалось, он сейчас обрушится на Конвея всей своей разгневанной громадой. Но он сдержал себя и сказал только:

— Ленинград был в блокаде почти девятьсот дней...

Прорыв армии Паттона еще не означал, что осада с Бастони снята. В ней только была приоткрыта форточка. Все же даже через этот глазок в камере заключенного повеяло ветром освобождения. Стало возможным в одну сторону вывозить раненых, в другую ввозить продовольствие.

Итак, осада, хоть и прорубленная в одном месте, продолжалась непрерывными атаками и жестоким обстрелом. Бессмысленность и бесцельность ее были очевидны. Но такова воля фюрера и его окружения, в первую голову генерал-полковника Альфреда Йодля и генерал-фельдмаршала Моделя.

Эта затянувшаяся осада и неуспех 6-й армии СС, увязнувшей в безуспешных боях на севере Арденн, и недостижимость Мааса — все это нервировало Гитлера, но он верил в магию своего красноре-



чия и счел наступающий новый год вполне подходящим поводом для очередного словоизвержения. 28 декабря он созвал у себя в «Орлином гнезде» всю командную верхушку арденнского войска вплоть до командиров дивизий.

Йодль, Бургдорф и другие приближенные к Гитлеру лица, видевшие его ежедневно, уже не замечали перемен в его наружности. Но армейские офицеры со страхом наблюдали его одутловатое, отеченное лицо, трясущиеся руки, дергающуюся ногу.

— Противник ничего не обнаружил! — кричал он. — Полное отсутствие вражеской разведки из-за явного зазнайства противника! Эти люди не сочли необходимым посмотреть, что делается вокруг. Они даже не верили в возможность нового наступления. Может быть, этому соответствовало и убеждение, что лично меня уже нет в живых или что я, по меньшей мере, болен раком, что не в состоянии ни жить, ни пить...

Гитлер демонстративно отхлебнул из стоявшего перед ним стакана. По залу пробежал почтительный смехок.

— ...так что ожидать от меня чего-либо опасного не приходится. Новогодняя ночь в истории Германии всегда сулила немцам военные успехи. Когда мы возьмем Бастонь и форсируем Маас, мы рванем на север и увлечем с собой в наступление всю нашу грозную для противника армию!..

Когда Гитлер делал паузу, чтобы откашляться или глотнуть воды, в зале воцарялась тишина. Командующий 6-й армией СС обергруппенфюрер Зепп Дитрих сидел в первом ряду с выражением восхищенного волнения на бугристом лице. Он только что получил сильный нагоняй от фюрера за бездарное топтание 6-й армии у Мальмеди. Не дотянули до этой вонючей бельгийской деревушки Ставло каких-нибудь полтора километра, а там два с половиной миллиона галлонов горючего! Обергруппенфюрер униженно каялся, клялся, что искупит свою вину тем, что перережет тонкую, проложенную Паттоном нитку коридора, связывающего Бастонь с его армией. Йодль поймал обергруппенфюрера на слове, тут же была принесена карта и начерчен на ней путь наступления на коридор через Лютрбуа с форсированием незамерзающей реки Урт.

— Моя Первая танковая дивизия как секирой перерубит эту дерьмовую, полную американского кала кишку! — кричал Дитрих.

Но этого верноподданнического сквернословия было Дитриху мало. Он намеревался взять слово немедленно после Гитлера для выражения своего восторженного поклонения фюреру. Он был уверен, что опередит командующего 5-й армией Мантейфеля. Единственное, что могло помешать обергруппенфюреру, это выступление генерал-фельдмаршала Рундштедта. Но Дитрих надеялся, что престарелый полководец не выступит, он так инертен в последнее время...

Дитрих ошибся. Только стихла овация, как поднялся Рундштедт и, выпрямив свой стройный стан (поговаривали, что он носит корсет), заговорил:

— Мой фюрер! От имени собравшихся здесь командиров я хотел бы выразить твердую уверенность, что мы сделаем все, чтобы обеспечить успех...

Гитлер благосклонно улыбнулся.

— Никто лучше нас не знает, — продолжал генерал-фельдмаршал, — какие ошибки были допущены во время предыдущих операций. Мы извлечем из них необходимый урок.

Дитрих поежился. Гитлер сдвинул брови...

Уже уходя, перед тем как сесть в свой «опель-адмирал», генерал Мантейфель подошел к обергруппенфюреру Дитриху и с делан-

ной дружелюбной улыбкой (он терпеть не мог этого выскочку Дитриха) сказал, что до сих пор не получил от высокоуважаемого обергруппенфюрера ответа на свое послание, которое направил со специальным порученцем в чине капитана.

Обергруппенфюрер, изобразив полное недоумение на своем шишковатом лице, ответил, что никакого капитана он не видел, высказал уверенность, что капитан подстрелен по дороге «этими проходимцами, именующими себя партизанами», и осведомился, о чем, собственно говоря, было послание.

— О, сейчас военная обстановка так переменялась, что это уже не имеет значения,— сказал генерал, махнув перчаткой и на секунду слегка огорчившись печальным концом чем-то когда-то понравившегося ему офицера.

Преобладающим чувством Конвея во время вылазки из Бастони было удивление: каким образом немцы оказались здесь, у этого уединенного домика с конической шиферной крышей? Ведь еще совсем недавно, просто только что, ну, от силы минут пятнадцать назад, он говорил стоявшему перед ним Вулворту:

— Смотрите, какие наши разрывы сочные!

Вулворт позавидовал Конвею и восхитился им: только профессионал мог сказать о разрывах «сочные».

Отсюда, с этого чердака, нависавшего над окружающей долиной, глаз хватал довольно далеко. Конвей, спокойный, приятно оживленный, словно он сидел в ложе театра, озирает в полевой бинокль местность и отдавал артиллерийские команды, которые тотчас подхватывал и кричал в телефон связист, сидевший рядом на ящике из-под галет. Орудие ухало, и через мгновение там, вдали, вставал черный дым, и еще через секунду оттуда приходил смягченный расстоянием гром, и Вулворт почтительно соглашался, что разрыв действительно сочный!

Он никак не мог выбрать момент, чтобы сказать Конвею, что надо бы его командный пункт перевести куда-нибудь в другое место, потому что со стороны немцев какое-то подозрительное шевеление за этой стеной из сплетенных букв. И не орудийный грохот мешал ему сказать это, а опасение, что вдруг он ошибается и никакой опасности в этом шевелении нет, и тогда он выставит себя в смешном виде в глазах этой язеы — Конвея.

Немцы ворвались неожиданно, стреляя непрерывно из автоматов. Отсюда, из чердачного окна, было видно, как они окружают орудийную прислугу. Вулворт ринулся вниз и запоздало пожалел об этом, потому что сверху удобно было обстреливать немцев. Он командовал группой охраны, и его люди уже ввязались в бой. Да нет, все равно сверху уже стрелять нельзя было, дрались врукопашную, стрелять сподручно только очень хорошему стрелку типа снайпера. Конвей считал себя таковым, он остался наверху и методически слал пули, укрывшись за балкой, стоя на подпиравшей крышу. Но патроны кончились, и, отшвырнув бесполезную винтовку, он бежал вниз. Только теперь по эмблемам на петлицах солдат — маленьким молниям, он увидел, что перед ним эсэсовцы.

Здесь, в Бастони, Конвей по необходимости вернулся к своей первоначальной военной специальности артиллериста. Но как разведчик, коим он стал впоследствии, он знал, каким скоплением чудовищ были эти части, известные под кличкой «войска СС». Знал по сведениям, стекавшимся в разведку, что эсэсовцы расстреливают пленных, что удушают в газовых камерах всех поголовно евреев да и своих же немцев из числа политически нежелательных, что уни-

чтожают тысячи русских, украинцев, поляков, чехов как расово неполноценных. Знал все это, но как-то отвлеченно, умозрительно, и все это вызывало в нем не более чем удивление тому, что народ Луки Кранаха и Мемлинга, создавший «Фауста» и «Тангейзера», мог выделить из себя эту ораву истязателей — да, знакомясь с этими сведениями, он испытывал удивление и, пожалуй, нечто вроде брезгливого негодования.

Но сейчас, увидев эссовцев перед собой, лицом к лицу, представив их победы над безоружными, их изымательства над беззащитными, Конвей почувствовал, как передернулось все его существо. Ведь именно эти ребята Зеппа Дитриха расстреляли на днях триста сорок американских пленных...

Эссовец уже навалился на него, высокий, плечистый, лицо гладкое, юношески красивое, неприятно оскаленные зубы. Конвей почувствовал, что ненависть заполняет его до краев. Он успел схватить ствол автомата, который немец наводил на него, и с силой отбил его вверх. Автомат выплюнул в потолок серию пуль и умок. Не выходя из автомата, Конвей подпрыгнул и сразу резко опустился на корточки. От сотрясения с эссовца слетела каска с кокардой Totenkopf<sup>7</sup>. Автомат оказался в руках у Конвея. Он замахнулся и прикладом хватил немца по голове. Тот рухнул. В этот момент Конвей почувствовал боль в спине. Он успел сообразить, что его пырнули сзади штыком или кинжалом. Он потерял сознание.

Впоследствии, уже лежа в госпитале в Бастони, Конвей узнал, что немцы овладели домом. Но это нисколько не повлияло на положение города. Эссовцам Дитриха не удалось прорвать коридор, пробитый Паттоном.

Все это Конвею рассказал Вулворт. Сам Вулворт вышел из стычки без единой царапины. Он был как замороженный. Пули избегали его. Он досадовал. Он ничего не имел против того, чтобы его ранило. Не для того, чтобы улепетнуть с фронта, боже сохрани! Он и раненный, конечно, остался бы в строю. Но «Пурпурное сердце»! Он так жаждал получить этот орден! А его давали только за ранение. Даже за такое легкое, как у Конвея.

## ***Бастонь-II***

Совсем недалеко от Мааса, между Маршем и Рошфором, 2-я танковая дивизия СС, переданная из 6-й армии в 5-ю, и 47-я фольксгренадерская пехотная дивизия уперлись в 7-й американский корпус и не смогли пробиться дальше. Перешли к обороне. Это была вершина немецкого выступа в Арденнах, ее пик. А до Мааса (о, этот недостижимый Маас!) рукой подать.

Для того чтобы возбудить угасающий наступательный дух, в дивизии были отправлены фотографии фельдмаршала Рундштедта с его собственноручной подписью для раздачи в виде боевых наград особо отличившимся солдатам. Одна из таких фотографий досталась танкисту Иоганну.

— Можешь не завидовать, — сказал Иоганн своему приятелю, безволосому Вилли, — хотел ее использовать, да уж очень она жесткая, только задницу оцарапал.

В этот день ударил сильный мороз с метелью, обещанной теплой одеждой из тыла в дивизию не прислали. Не подвезли и нового стрелкового оружия вместо устарелых датских винтовок, которыми

<sup>7</sup> Мертвая голова, то есть изображение черепа (нем.).

были частично вооружены фольксгренадеры. Разъяренный командир дивизии отправил в пропаганда-штаффель<sup>8</sup> язвительную бумагу:

«Никаких заявок на присылку нам изображений фельдмаршала Рундштедта дивизия не делала. Дивизия не думает, что такие награды могли побудить пехоту драться лучше. Войска можно заставить драться лучше только путем создания лучших боевых условий. По мнению командира дивизии, выбор этого типа награды неудачен».

Между тем километрах в тридцати восточнее Рошфора в направлении на Уффализ генерал Паттон начал вгрызаться в основание немецкого клина в Арденнах. На какое-то время Уффализ, унылое захолустье с отвратительными булыжными мостовыми, со старенькой задыхающейся лесопилкой на дне оврага и кособокими домишками, натканными вдоль льежского шоссе, вынырнул из мрака неизвестности и сосредоточил на себе напряженное внимание Версаля, Лондона и Вашингтона. Снежные метели, узкие обледенелые дороги в горах, над которыми к тому же низко стлался густой туман, конечно затрудняли продвижение американцев.

Конвей, однако, находил еще одну причину этой медлительности.

— Вы понимаете,— говорил он в непривычном для себя возбуждении,— у наших генералов не хватает стратегического воображения.

Он говорил это Вулворту, который слушал его с почтительным одобрением.

Что касается Конвея, то, даже увлеченный, как сейчас, разговором, он не забывал представлять себя самого таким, каким его видит этот загрубелый юнец Вулворт. Нет сомнения: сильным, мудрым, всезнающим. Такого именно и играл в его присутствии Конвей почти бессознательно, в глубине души при этом полагая о себе, что он слабый, ленивый, эгоистичный человек. Но так ли это? По крайней мере, здесь, в Бастони, где он командовал батареями, он показал себя, особенно в контрастах с стенами города, где обстановка, как известно, не очень располагает к самоанализу, опытным и бесстрашным командиром. На груди его сияло новенькое «Пурпурное сердце», полученное им за ранение, от которого он, в общем, уже оправился, хотя повязку со спины, по совету врача, еще не снимал.

— Операция на окружение напрашивается сама собой,— продолжал Конвей,— и мы будем величайшими дураками, если не захлопнем за немцами дверь на восток.

— Если бы вместо Айка командовал Паттон...— вставил Вулворт хриплым голосом.

Ему нравилось, что он охрип, он даже специально для этого умеренно хлестал виски, от которого его уже поташнивало, но он считал, что хрипота дополняет тот образ старого забубенного фронтовика, который он на себя напускал.

Конвей безнадежно махнул рукой:

— Вы идеализируете наших генералов, мой мальчик. Лучший из них Омар Брэдли. Но и он глубоко невежествен, хотя был в молодости школьным учителем или, может быть, именно поэтому. Что из того, что он не расстается с «Айвенго» как с неким патентом на интеллигентность. Если бы Брэдли читал Стендаля, он бы знал, что его излюбленный Вальтер Скотт был подхалим и блюдолиз. На банкете в Эдинбурге в честь Георга IV он благоговейно похитил бокал, из которого пил король. А что касается Джорджа Паттона, то энергии его хватает на то, чтобы дать затрещину солдату или шокировать конгресс заявлением, что разница между нацистами и антинацистами в Германии примерно такая же, как между демократами и республиканцами в Соединенных Штатах. Но на большой полет опера-

<sup>8</sup> Отдел пропаганды.

тивной мысли он неспособен. Говорю вам, мой мальчик, ваш Паттон преувеличивает силу немцев, даже битых.

Вулворт вскочил и зашагал по комнате, громко стуча сапогами, грязными, как и полагается фронтовику, не вылезавшему из окопов, где под ногами солдат девственно белый снег мгновенно превращался в болотную слякоть.

— Слушайте, Конвей, у меня идея! — прохрипел он.

— С чего бы это? — насмешливо удивился Конвей.

— Нет, я серьезно. Давайте подадим докладную записку в Верховный штаб экспедиционных сил.

— О чем, мой мальчик?

— Об окружении немецких войск, прорвавшихся в Арденны. Проект: «Арденнские Канны...» Нет, я серьезно говорю. Конечно, с картами, со схемами, с подсчетом вооруженных сил... Нет, не смейтесь! Мы подадим прямо в штаб, нам не надо по команде. Да, прямо Бедлу Смиту, мой дядя, полковник Вулворт, его правая рука...

Несколько возбужденный джином, Вулворт был необычайно красноречив. Он приводил десятки доводов. Один из них в конце концов подействовал на Конвея.

— Война — это цепь случайностей. Толчок, который вам кажется ничтожным, может изменить течение событий. Наполеон одержал бы победу при Ватерлоо, если бы маршал Груши не опоздал со своей армией. Если бы Жоффри не догадался в 1914 году использовать парижские такси для переброски войск в битве на Марне, Франция была бы побеждена в самом начале войны. Если наш план окружения пройдет, это может быть концом войны.

Конвей задумался. Потом сказал нерешительно:

— Да и у меня есть рука в Верховном штабе. Я могу действовать через Монка Диксона...

Вулворт понял, что он победил. Он раскрыл свою полевую сумку и вынул оттуда небольшой футляр.

— Что это?

— Готовальня. Нам ведь придется чертить план операции и схемы боевых действий. А это масштабная линейка...

Не следует думать, что замысел, такой естественный и такой соблазнительный, окружить немецкий клин, вдавившийся в расположение союзных войск, родился только у одного юного офицера. Он приходил в голову разным людям в американских войсках, правда, мелькая по мере того, как подымался вверх по иерархической лестнице. Но все-таки и на самом верху он тревожил воображение одного из самых способных, но ныне обессиленных генералов — Омара Брэдли.

Он видел смысл наступления 3-й армии генерала Паттона не только в том, чтобы прорвать осаду Бастони — это частная задача и она может быть решена попутно. Главное же движение армии должно быть направлено с юга в основание немецкого выступа. Но при этом обязательно сопряжено с одновременным движением туда же с севера, где стояли бездействуя 2-я английская и 1-я канадская армии, а также 1-я и 9-я американские армии, на днях — увы! — отнятые у генерала Брэдли и переподчиненные фельдмаршалу Монтгомери.

Охваченный этой мыслью, которая приобрела силу одержимости, Брэдли позвонил из люксембургского отеля в Версаль Эйзенхауэру. Того не оказалось на месте. Взволнованный до крайности, Брэдли потребовал к телефону начальника штаба Смита.

Генерал-лейтенант Уолтер Бедел Смит, как всегда спокойный и корректный, взял трубку. Он вздрогнул, услышав яростный голос Брэдли:

— Какого черта, Бедел, вы не можете заставить Монти начать наступление на севере? Противник скоро начнет откатываться назад, если не сегодня ночью, то наверняка завтра!

Генерал Смит вздохнул. Ох эти полевые генералы! Сколько бы глупостей они натворили, если бы не благоразумие и зоркость Верховного штаба! Особенно эта парочка Брэдли и Паттон, пылкие как лейтенанты, только что выпорхнувшие из Вест-Пойнта. Такая близорукость! Стоять в непосредственной — грудь в грудь — близости к немцам и недоучитывать их силы!

Стараясь говорить как можно спокойнее, генерал Смит медленно, членораздельно, как школьнику, втолковывал Брэдли:

— О, нет, Брэд, вы ошибаетесь. Немцы через двое суток форсируют Маас. Они...

Тут Брэдли не выдержал. Он рявкнул в трубку:

— Катитесь вы к такой-то матери!..

И швырнул трубку на стол с такой силой, что она треснула. Конечно, связист немедленно заменил ее новой.

В ту же ночь вопреки унылому прогнозу генерала Бедела Смита немцы начали отступление с вершины своего выступа. Уж они-то не хуже старого опытного генерала Брэдли и юного сосунка-офицера Вулворта понимали, что им грозит окружение. Правда, они рассчитывали на нерасторопность фельдмаршала Монтгомери. И здесь не прогадали. Только 3 января, то есть через неделю, фельдмаршал раскачался двинуть с севера на Уффализ в основание немецкого клина 1-ю армию, эту рабочую лошадь американского войска, в прошлом году возглавившую вторжение в Нормандию. Командовал ею по-прежнему генерал Кортни Ходжес, однокурсник Паттона по Вест-Пойнту, но в отличие от него хладнокровный, уравновешенный и словно распространявший на всю 1-ю армию свой спокойный методический нрав. К 1-й армии Монтгомери придал одну английскую бригаду, что, конечно, по сравнению с десятью дивизиями Ходжеса носило чисто символический характер.

Это породило недовольство, и не только в рядах американских войск, оно перелилось за океан и вызвало бурю негодования в американских газетах, что, в свою очередь, явилось причиной запроса в английском парламенте и вынудило министра обороны Уинстона Черчилля выступить с парламентской трибуны и заявить о решающей роли американских войск.

Что касается Эйзенхауэра, то он заявил корреспондентам с иронически-скучающей миной:

— По правде говоря, меня несколько не пугало арденнское наступление Рундштедта до тех пор, пока я не прочел о нем в нью-йоркских газетах возбужденные статьи некоторых журналистов с пылким воображением.

Эта изящная острота имела успех, ее, смеясь, повторяли в кругах конгресса, пока не узнали об американских потерях в Арденнах: 59 тысяч человек, из них 6700 убитых...

И только один человек не то чтобы одобрил действия фельдмаршала Монтгомери, но, во всяком случае, отозвался о них сочувственно — рядовой Майкл Коллинз:

— Я понимаю старика Монти, у него сердце обливается кровью при виде каждого убитого английского солдата.

Вулворт посмотрел на Майкла с негодованием:

— Да вы знаете, что на каждого убитого английского солдата приходится от тридцати до сорока убитых американцев!

— Знаю.

Майкл подошел к столу и налил себе кофе. Он чувствовал себя у Конвея как дома.

— Знаю,— повторил он,— и нахожу это вполне естественным, если только можно вообще считать убийство естественным. Ведь нас, американцев, в несколько раз больше.

Конвей с улыбкой наблюдал их перепалку.

Вулворт задышался от возмущения:

— Но ведь англичане тут, в Европе, у себя дома. Их жены и дети, их семейные очаги тут же у них за спиной. А мы приперли бог знает откуда, из-за океана, чтобы защищать их закопченные каминные и подстриженные газоны вокруг двухэтажных домиков. Я уважаю русских за то, что они защищают сами себя. А мы умираем за чужую землю, за чужую жизнь, за чужую свободу! И они, англичане, хладнокровно смотрят на это, скрестив руки на груди, во главе с этим хитрым стариком в клоунском берете и с маршалским жезлом в руке, который ему подарили не знаю уж за какие заслуги, только не за военные.

Конвей захлопал в ладоши:

— Bravo, мой мальчик! Я аплодирую энергии ваших выражений. Это почти талантливо. Джин идет вам явно на пользу. Но справедливости ради и потому, что этот святой Майкл не даст мне соврать, скажу, что вы не совсем правы в отношении Монтгомери. Он все-таки опытный полководец и, в конце концов, там, в Африке, это именно он вставил перо в задницу этому прославленному лису пустыни фельд-маршалу Роммелю.

Но Вулворт не успокоился. Он с ненавистью смотрел на Майкла, безмятежно прихлебывающего кофе. Вулворт с наслаждением поставил бы его по стойке «смирно» и погонял бы по всем правилам казарменной муштры. «Как вы разговариваете с офицером! Налево, кругом, марш! Доложите вашему отделенному командиру, что я приказал арестовать вас на трое суток». Но он стеснялся Конвея и ограничился тем, что глотнул джина и прохрипел сквозь зубы:

— Коллинз, я не вижу в вас ни капли патриотизма.

— Вулворт,— сказал Майкл, с грустью вглядываясь в него,— я пошел на войну добровольцем. Я хотел бороться с фашистским насилием. И я считаю, что я это делал, когда убивал немцев. Однажды я столкнулся с ними лицом к лицу, и я увидел, что они такие же люди, как мы. И я, еще не зная этого, убил лучшего из них. После этого я понял, что против насилия надо бороться не насилием, а убеждением. Надо открыть этим ослепленным людям глаза.

— Так...— сказал Вулворт.

Лицо его приняло жесткое, решительное выражение. Он обратился к Конвею:

— Я еду в Верховный штаб и отвезу наш проект.

Он похлопал по объемистой полевой сумке, свисавшей с плеча.

— Как вы едете?

— Полковник Вулворт прислал за мной «джип».

— Будьте осторожны, мой мальчик. По дорогам бродят диверсанты. И они в отличие от нашего друга действуют не убеждением, а автоматами.

Он обвел смеющимся взглядом Майкла и Вулворта. Майкл ответил ему улыбкой. Вулворт сохранял на лице упрямое выражение.

— На дорогу? — спросил Конвей, кивнув в сторону стола.

Вулворт молча подошел к столу, налил виски и, не разбавив, зал-

пом выпил. Потом крепко пожал руку Конвею и, не попрощавшись с Майклом, вышел.

У штаба коменданта города его уже ждал «джип». Шофер дремал за баранкой. Рядом на сиденье лежал автомат Вулворта. Он снял его и сел, положив автомат на колени. Вдруг вскочил, точно вспомнив что-то или придя к окончательному решению, бросил шоферу: «Я сейчас» — и вошел в комендатуру.

Здесь, даже не присев, а стоя, склонившись над столом, он написал рапорт о непатриотичном поведении солдата 1-го разряда 101-й дивизии Майкла Коллинза, запечатал в конверт и, надписав: «Генералу Маколиффу», отдал дежурному.

После чего сел в «джип», прямой как штык, с раскрасневшимися щеками и все с тем же выражением жесткой решительности на юношеском лице покатил по коридору, пробитому в Бастонь 3-й армией.

Уже вечерело, когда Майкл вышел от Конвея. Он направился в казарму 101-й дивизии. Он мог бы еще задержаться у Конвея: увольнительная записка была выписана до десяти часов вечера. Сержант Нортон, взводный командир Майкла, питал к нему слабость и делал ему всякие поблажки. Но Майкл не хотел плутать в темных покореженных улицах Бастони и ушел от Конвея еще за светом.

Собственно, это были зимние сумерки, час, который всегда (о, незапамятное мирное время!) наполнял Майкла томной и сладкой нежностью. Люди сновали по улицам с особой настороженной суетливостью, ведь каждую минуту мог начаться обстрел города. Но Майклу казалось невозможным, чтобы этот томительно-сладкий час был прерван убийствами. В эту минуту он увидел Мари. Он сразу узнал ее, хотя ничего общего в ней не было с замарашкой, какой она была тогда, в первый раз. Сейчас на ней был клетчатый короткий плащ, широкая, тоже короткая юбка, берет, сапожки со шпорами, почти элегантно. И не совсем обыкновенно — особенно шпоры. Да еще хлыст в руке, собственно, кисть руки была свободна, хлыст висел в петле на запястье. В Бастони, конской столице, никто не считал такой наряд эксцентричным.

Майкл обрадовался. Он так обрадовался, что даже удивился себе: с чего это я так?

Он готов был поклесться, что и она обрадовалась. Она порозовела. Или в этот час все было розово кругом, снежные сугробы, которых никто не убирал, стены домов с щербинками от осколков, небо, впрочем, все больше смуглевшее и окрашенное на одном из склонов заревом далеких пожаров.

Они не успели ничего сказать друг другу. Начался обстрел. Немцы вывесили над городом осветительные ракеты, их называли в армии «люстры». Они действительно были не только ослепительно светлы, но и нарядно роскошны, как те люстры, что висят в дворцовых и театральных залах. Посветив несколько минут, они гасли — зажигались новые.

Снаряды рвались неподалеку. И все приближались. По-видимому, немцы стреляли с высоты «Рыжий вепрь», которой они в конце концов овладели. Майклу показалось, что он и Мари попали в «вилку»: первый снаряд был с перелетом, второй с недолетом, третий будет по ним. Конечно, не по ним именно, а по тому дому, возле которого они стояли. Вероятно, наводчик принял его за административное здание, хотя это просто школа. Майкл схватил Мари за руку, чтобы оттащить ее. Она вырвалась и крикнула: «Вы с ума сошли!» — когда снаряд бухнул рядом с ними. Майкл все-таки успел швырнуть ее на землю и сам упал.



Она осталась недвижима. Он испугался.

— Ранена?

Он поднял ее на руки. Она обвила руками его шею. Он отнес ее под арку ближайшего дома. Там осторожно положил ее на деревянную приступочку. Она не отпускала его шею. Он сказал:

— Чудачка, у тебя же все в порядке.

Она разжала руки медленно, словно нехотя, как будто руки были какими-то отдельными от нее существами и, опускаясь, неспешно скользили по шее, по плечам Майкла. Глаза ее были закрыты, и в то же время можно было разобрать сквозь грязь, хлынувшую из-под осколков снаряда и запятнавшую ее лицо, что она чуть-чуть, кончиками губ улыбается нежно и доверчиво.

Наконец она открыла глаза, и тут они оба смутились и отвернулись. Она сгрела горсть снега и принялась оттирать грязь с лица.

Однако здесь нельзя было оставаться. В убежище? Майкл не доверял этим хрупким подвалам, где могло пришибить балкой или завалить рухнувшими стенами. Он взял ее за руку:

— Побежали!

— Куда?

Он повлек ее на север. В этой части города находились амбары с горючим. Немцы их не обстреливали. Они надеялись захватить их. Несмотря на то, что блокада Бастони была в одном месте пробита, немцы не уходили от города. Они не только обстреливали, но время от времени атаковали его, обычно одновременно с востока и с запада. Они стремились захватить его во что бы то ни стало. Таков был безоговорочный приказ Гитлера.

Только что фюрер принял в своем кабинете генерала Рейнгарда Гелена, начальника разведки ОКХ<sup>9</sup>. Генерал надеялся открыть глаза Гитлеру. В руках у него поразительные сведения. Он рассчитывал, что они подействуют отрезвляюще на фюрера. Дело шло о жизни или смерти фашистской Германии. Он допускал, что первая реакция Гитлера будет приступ гнева. Генерал готовился встретить его грудью. В дальнейшем — он считал — он убедит фюрера.

Гелен сообщил, что, по данным вверенного ему управления, русские собираются наступать на фронте от Балтики до Балкан. Ободренный молчанием Гитлера, он привел цифры предстоящего русского наступления: 225 дивизий и 22 бронетанковых корпуса. Соотношение русской пехоты к немецкой 11 к 1, бронетанковых войск 7 к 1, артиллерии и авиации 20 к 1.

Вот тут Гитлер прервал свое молчание. Он сказал голосом, не предвещавшим ничего хорошего:

— Какой сопляк подготовил эти вздорные цифры? Кто бы он ни был, его надо отправить в сумасшедший дом!

Гелену в сумасшедший дом не хотелось, и он забормотал, что и у немецкой разведки, конечно, могут быть свои просчеты, которые не ускользают от пронизательного взора фюрера. А в то же время в памяти присмирившего генерала лукаво и уж совсем непрошено шмыгнуло воспоминание об одном замечании фюрера, оброненном им накануне войны: «Из всех людей на свете я боюсь только двух: Сталина и Черчилля». Но, конечно, Гелен тут же затушил, затоптал, замуровал это нахальное воспоминание и, по-солдатски вытягиваясь и щелкая каблуками, поспешил ретироваться из кабинета прежде, чем фюрер вспомнит о своем обещании насчет сумасшедшего дома.

Генерал Гелен не знал истинной причины дурного настроения Гитлера. Незадолго до его посещения генерал-полковник Альфред

<sup>9</sup> Главное командование сухопутных войск.

Йодль, правая рука Гитлера, его опора в ставке, безропотный исполнитель его стратегии, сказал, уставившись в пол:

— Мой фюрер, мы должны смотреть правде в глаза. Мы не можем прорваться к Маасу.

Да, Гитлер знал это. Йодль передержал это сообщение, не желая быть дурным вестником. Действительно, почему именно он должен попасться под гневную руку фюрера, а не генерал Мантейфель со своей 5-й армией, которая обессилела за несколько километров от Мааса, и не обергруппенфюрер Дитрих со своей 6-й армией СС, которая безнадежно застряла где-то у Мальмеди и Сен-Вита? Да, почему не они, быть может истинные виновники неуспеха, а он, Йодль, штабной отшельник, рыцарь чернил и двухкилометровых карт? Почему из него делают мальчика для битья?

Битья на этот раз не было. Но на ком-нибудь Гитлер должен был сорвать свой бессильный гнев. Взгляд его упал на овчарку. Блонди дремала, положив большую голову на лапы. Гитлер пнул ее ногой в бок. Собака поднялась и зарычала, шерсть на ее загривке вздыбилась. Гитлер попятился за огромный наполеоновский стол.

— Йодль! Мы нанесем союзникам удар в другом месте. Там, где они ожидают его меньше всего: в Эльзасе.

— Счастливая мысль, мой фюрер,— пробормотал Йодль.

— Да,— повторил Гитлер увлеченно,— мы перенесем удар с Арденн на Эльзас и Верхний Рейн. А потом вернемся и форсируем Маас. Но для этого мне нужна Бастонь. Вы слышите, Йодль? Когда мы возьмем Бастонь, мы двинемся на север и увлечем за собой в наступление увязшую Шестую армию СС. Передайте мой приказ Мантейфелю: овладеть Бастонью во что бы то ни стало!

Йодль молча склонил голову.

— Разработайте эльзасскую операцию, Йодль. Учтите: наша цель — уничтожение вражеских сил. Вопрос о захвате территории сейчас не стоит. Повторяю: цель — уничтожить живую силу противника. Ударом на Бастонь мы сковываем армию Паттона, а Седьмую американскую армию в Северном Эльзасе мы уничтожаем.

Йодль делал заметки в своем блокноте.

Этот новый план через некоторое время был объявлен на широком совещании в ставке. Присутствовали фельдмаршалы Рундштедт, Модель, а также командиры дивизий, корпусов и начальники их штабов. К тому времени Йодль подготовил карты и объяснительные записки. План был выслушан в молчании. Гитлер ждал возражений. Их не было. Это безмолвие не понравилось фюреру, даже испугало его. Чтобы спровоцировать возражения, он заявил, что Мааса не удалось достигнуть из-за плохих дорог, нехватки горючего и отсутствия переправ. Он подумал и прибавил уже раздраженно:

— А также из-за того, что наши войска тащили на себе слишком много трофейного барахла!

Возражений опять не последовало. В таком же единодушном молчании было принято предложение фельдмаршала Моделя: разъяснить войскам через пропаганда-штаффель, что отступление в Арденнах временное и что оно вызвано стратегическими соображениями.

Оставшись наедине с обергруппенфюрером Дитрихом, Гитлер сказал ему:

— Зепп, тебя следовало бы разжаловать.

Дитрих склонил голову насколько ему позволяла короткая шея и сказал:

— Мой фюрер, я готов пойти в войска простым эсэсманом и служить вам, как служил до сих пор.

Гитлер улыбнулся.

— Ну, ну, Зепп, до этого не дошло. Ты временно передашь Мантейфелю две твоих танковых дивизии. Они ему нужны для взятия этой дерьмовой Бастони и удара на Эльзас. В Эльзасе нас поддержит немецкое население.

Обергруппенфюрер вспомнил про немцев из Мальмеди с их при-скорбным отсутствием немецкого духа, но промолчал. Гитлер любил разговаривать с Дитрихом: никаких возражений. В последнее время фюрер чувствовал их даже в Моделе, хотя тот молчал, соглашался, но протест проступал сквозь поры.

Только расставшись с Мари, Майкл почувствовал, что ему совершенно необходимо встретиться с ней, и притом как можно скорее. Ночью он вдруг проснулся от нестерпимого желания увидеть ее. Удивительнее всего для него самого было то, что он почувствовал, что она ему дорога. И все в ней ему дорого, все видимое, что можно взять в руки и прижать к себе или просто увидеть, например, ее маленькие руки с обломанными ногтями, и смелый взгляд серых глаз, и женственный изгиб спины. Но также и то, что только чувствовалось в ней — милосердие, живость ума, отвага и что-то еще, что он не мог определить, но ощущал как близкое себе. Он сказал себе: «Декарт сказал: «Уточняйте понятие и вы избавите мир от заблуждений». Следуя этой аксиоме, я должен признать, что я влюблен».

А Мари? Тут все сложилось несколько сложнее. Она хотела влюбить в себя Майкла. Пусть потеряет голову, пусть ходит за ней своей нескладной походкой, как тень, пусть не сводит с нее глаз, застекленных очками, пусть тянет к ней свои длинные руки. А когда он окончательно влюбится и скажет ей об этом, она с независимым видом ответит ему, что он совсем ей не нравится. Это был эффектный план, но, к сожалению, он рухнул, когда Мари обнаружила, что и руки Майкла, и глаза его, и нескладная походка, и все в нем ей бесконечно дорого.

Как все в этом городе, стиснутом отовсюду войсками противника, любовь их развивалась быстро. Уже на седьмой день они поссорились. Разговор шел о будущем. Конечно, они оба уедут в Штаты. Любовь их была так сильна, что они не представляли себе, что кто-нибудь из них может быть убит.

— Джильду мы возьмем с собой.

Он улыбнулся ее наивности. Но даже и в ее наивности он находил прелесть.

— Мы полетим,— возразил он мягко,— а для лошадей в самолете нет места.

Мари не соглашалась:

— Но почему же? Джильда небольшая.

— Да, но неизвестно, как она поведет себя в самолете. Вдруг начнет брыкаться. Это опасно.

— О, она смиренная, и я все время буду с ней.

Он говорил со снисходительностью взрослого, обращающегося к ребенку.

— Нет, дорогая, к сожалению, Джильду не пустят в самолет.

Она задумалась. Она искала выход.

— Майкл! Мы поедем пароходом!

— Но, милая, Джильду и на пароход не возьмут.

Она сразу нашла новый выход:

— Тогда мы останемся в Люксембурге.

Он помрачнел:

— Я вижу, ты любишь Джильду больше, чем меня.

Она вспыхнула, освободилась от его объятий, вскочила.

— Я поняла тебя, Майкл! Ты хочешь, чтобы я лежала на пороге твоего дома в Штатах как половик и ты бы вытирал об меня ноги!

Она ушла. Он не пошел за ней. Он смотрел на ее удаляющуюся спину с горечью и удивлением. Впервые он обнаружил в этом нежном создании строптивость. И повелительность. И все равно любил ее.

### *Для примера*

Назавтра Майкл не пришел к Мари. Ей было немножко жалко его, она так резко разговаривала с ним накануне. Но она не хотела поддаваться расслабляющему чувству жалости, она считала себя правой. Майкл не пришел и на следующий день. Она по-прежнему приписывала это их ссоре. Из самолюбия (оборотная сторона любви!) она не хотела делать первый шаг к примирению. Но когда и на третий день его не было, Мари забеспокоилась. «Его могли ранить...» О худшем она не смела думать. Она бродила по городу, не зная, как отыскать его. Она не знала номера его части, ни даже рода его оружия. Она набрела на длинный дощатый барак — солдатский клуб Красного Креста. У входа рядом с плакатом «Сегодня «Красотка из Клондайка» с участием Бетти Грейбл», сидя на табуретке, дремал часовой, поставив карабин между ног. Мари показалось, что у него доброе лицо. Поначалу он никак не мог взять в толк, что ей нужно, — она говорила на таком странном языке. Но имя, которое она то и дело повторяла — Майкл Коллинз, — наконец вразумило его.

— Так это, пожалуй, тот парень, о котором оглашено в приказе по гарнизону. Так он арестован. А черт его знает за какие проделки! Его судить будут... Ну, не горюй! Может, утешимся с тобой, а?

Процесс был назначен на полдень. Ровно в двенадцать часов дня немцы начинали обедать, и не было силы, которая могла бы оторвать их от овсяной похлебки, приправленной маргарином, и толстого ломтя хлеба, обильно смазанного эрзац-маслом, плюс порция желтоватого шнапса, полученного путем электролитического перегона из сосновых чурбаков.

Для суда был отведен самый большой зал в городе. В одном конце возвели помост для судей, сторон и обвиняемого, здесь установили микрофон. Другой конец зала отгородили канатом для солдатни. Несколько скамей было поставлено для офицеров.

В ставке дали санкцию на публичный процесс, это сочли полезным для поддержания воинского духа в освобожденном городе. Из Верховного штаба прибыли на автомобиле «линкольн-континенталь» назначенный главным судьей полковник Вулворт из отдела личного состава и административных вопросов и прокурор, молодой военный юрист капитан Ричард Браун. Прибыла также в качестве секретаря суда лучшая стенографистка штаба — старший сержант Нелли Кельвин. Труднее было найти защитника для обвиняемого в таком тяжком преступлении: отказ сражаться в боевой обстановке и распространение антипатриотических взглядов. Подсудимый считался обреченным, и никому из юристов не хотелось компрометировать себя защитой явно безнадёжного дела. Однако законное судопроизводство даже в военно-полевом суде предусматривало участие в состязательном процессе двух сторон. Затруднение неожиданно устранилось, когда первый лейтенант Томас Конвей вызвался выступить в качестве защитника.

Главный судья полковник Вулворт занял свое место за столом на помосте. Он снял пилотку и подшлемник и разгладил седоватые во-

лосы, аккуратно расчесанные на прямой пробор. Он никогда не носил фуражку, а только пилотку (зимой прибавляя к ней подшлемник) для придания себе молодежявого вида. Он так и выглядел — благообразным молодежявым офицером, довольно бравым на вид. Конвей отлично знал его и считал, что это еще не самая плохая фигура в качестве главного судьи.

— Что вам сказать о полковнике Вулворте? — говорил Конвей накануне своему подзащитному. — Великий Кулинар, состряпавший это блюдо, положил в него всего понемножку, но поспешил на соль и переложил сахара. Получилось варево, вполне приличное на вид, но совершенно безвкусное. Преснятина!

Два других судьи были молодые военные юристы, обрадованные тем, что наконец им нашлась работа по специальности. Один служил в химических войсках и ставил (очень редко!) дымовые завесы, другой работал карикатуристом во фронтовой газете «Stars and Stripes»<sup>10</sup>. Появление на помосте секретаря суда старшего сержанта Нелли Кельвин вызвало оживление в публике, поскольку китель с трудом сходил на ее пышной фигуре. Полковник Вулворт возгласил:

— Обвиняемый Коллинз, вы признаете себя виновным?

Майкл встал. Он был без пояса. Отсутствие этой, казалось бы, ничтожной подробности военного костюма сразу придало ему какой-то опущенный, не воинский и подозрительный вид.

Он ответил:

— Нет, не признаю.

— Значит, вы отрицаете предъявленные вам обвинения?

— Нет, не отрицаю.

Полковник Вулворт в некотором недоумении потер свои угловатые ладони.

— Вы противоречите сами себе.

— Нисколько. Я признаю самый факт существования обвинения. Но я отрицаю факт существования вины.

Полковник нахмурился. Его предупреждали, что обвиняемый — трудный субъект, из той новой американской молодежи, которая склонна к умничанью и обсмеивает все на свете. На всякий случай он сказал строго:

— Обвиняемый, старайтесь взвешивать свои слова. С каких пор у вас это началось?

— Простите, сэр, что именно?

— Ну, вот эти преступные антивоенные взгляды?

— С тех пор как я убил ангела.

Наступило молчание. Только в дальнем углу зала из публики донесся восхищенный возглас:

— Во дает!

Судья поспешил сказать:

— Садитесь, обвиняемый.

Он вспомнил, что по этому делу назначена врачебная экспертиза для обследования степени вменяемости подсудимого. Он вызвал экспертов. Вошли два военных врача. Один из них доложил:

— В результате обследования психического статуса подсудимого экспертиза пришла к единодушному заключению, что подсудимый совершенно вменяем.

Поднялся Конвей:

— Ваша честь, я заявляю отвод данной медицинской экспертизе как неквалифицированной: один из экспертов — хирург, другой — врач по венерическим болезням. Я прошу суд назначить автори-

<sup>10</sup> «Звезды и полосы» (англ.).

тетную экспертизу, для чего необходимо пригласить специалистов, то есть психиатров и невропатологов.

Прокурор Браун поднял руку:

— Я протестую! Уж не предполагает ли представитель защиты, что мы будем выписывать специалистов из-за океана?

— Придется, если мы не найдем их здесь,— сказал Конвей серьезно.— Ведь не забудьте, что здесь решается вопрос о жизни и смерти моего подзащитного.

Полковник, пошептавшись с двумя другими судьями, объявил:

— Протест прокурора принят. Подсудимый признан вменяемым и, следовательно, полностью отвечающим за свои поступки.

И он добавил:

— Введите свидетеля.

Перед судом предстал молодой Вулворт.

«Конечно,— писал впоследствии Конвей на страницах парижского издания «Нью-Йорк таймс», где он уже по окончании войны рассказал обо всем этом странном и жутком процессе в наделавшей шуму статье «Бедный заблудший ангел»,— конечно, я мог потребовать отвода главного судьи полковника Вулворта, поскольку он и свидетель лейтенант Вулворт находились в родственных отношениях, но я понимал, что мой протест будет отклонен, и предпочел оставить это обстоятельство в запасе как повод для обжалования приговора в высшей инстанции. Я не учел только одного: молниеносной быстроты, с какой приводятся в исполнение приговоры военно-полевого суда».

Что касается Майкла, то на лице его при виде этого свидетеля изобразилось огорчение — не за себя, конечно. За него, за лейтенанта Вулворта. К чести главного судьи надо сказать, что на время допроса его племянника он передал председательствование одному из рядом сидящих судей, карикатуристу из газеты «Stars and Stripes», а сам несколько отсел от стола и, благожелательно наклонив голову, наблюдал течение процесса.

Майор-карикатурист, приосанившись, спросил лейтенанта Вулворта:

— Свидетель, вам приходилось встречаться с подсудимым Коллинзом?

— Да, сэр.

Лейтенант отвечал четко, уверенно, нисколько не колеблясь, и весь вид его, гордо поднятая голова, смелый открытый взгляд, который он упирал в судей, в прокурора, даже в Конвея, во всех, только почему-то не в подсудимого рядового Коллинза,— все это сливалось в образ настоящего воина, честняги, на таких, черт побери, держится армия! — не то что этот унылый очкарик, этот долговязый интеллект-уал, который сидит между двух конвоиров со спокойным, даже скупающим видом, словно он в парикмахерской дожидается очереди побриться.

Карикатурист продолжал, купаясь в юридическом блаженстве:

— Вам приходилось, свидетель, слышать антипатриотические речи подсудимого?

— К сожалению, сэр.

— Не можете ли вы припомнить, что он говорил, кроме того, что вы приводите в своем заявлении, поданном по начальству?

Полковник Вулворт досадливо хрустнул пальцами. Ах, карикатурист, карикатурист, что же ты наделал! Ты же выдал молодого Вулворта, ты публично расколол доносчика! Даже там, за канатом, пошел гул: так вот кто наклепал на парня... вот этот офицерик... информатор, сука!..

Лейтенант как будто не придавал этому значения. Но что-то в нем

определенно слиняло. По-прежнему гордый задир головы, но это уже только оболочка, внутри все смято и подленько дрожит. Он не ожидал этого удара в спину, да к тому же еще от своих. Он пробормотал:

— Не припомню... Это было давно...

Сзади, из-за каната, из солдатской массы:

— А ты помочись себе в карман, может, припомнишь.

Главный судья быстро вмешался, отпустил свидетеля и дал слово прокурору.

Речь представителя обвинения была краткой. Он квалифицировал действия обвиняемого, во-первых, как дезертирство с поля боя и, во-вторых, как государственную измену. Эта преступная деятельность, подчеркнул прокурор, тем более возмутительна, что она протекала в условиях героической обороны города армией и населением от осаждающих их гуннов.

Речь прокурора текла гладко, она к тому же была нисколько не кровожадной. Он даже выразил некоторое сожаление по поводу заблуждений подсудимого, к несчастью, принявших такую острую форму, которая исключает всякую возможность снисхождения... Да, речь капитана Брауна текла на редкость плавно, почти певуче. Один раз только он запнулся, когда распространялся насчет воинской присяги. Он заколебался между двумя ее определениями — *military oath* и *war vow* и на секунду затих, мысленно оценивая вескость каждого из них. В это мгновенье затишья из солдатской массы раздался зычный голос сержанта Нортон:

— Чего заткнулся? Толкай дальше, лошадиная задница!

Главный судья тут же призвал публику к порядку, пригрозил, что в случае повторения недостойного шума очистит зал от буйных элементов, а в крайнем случае вообще удалит всю публику, и отрядил к канату патруль военной полиции. Четыре Эм-Пи, все негры, стояли у каната, грозно поблескивая белками глаз из-под низко надвинутых касок.

Прокурор продолжал речь. Но уже в ней не было прежнего блеска. После приведенного выше поощрительного выкрика из публики представитель обвинения как-то сник и заключительную часть своей речи промямлил без всякого энтузиазма, в том числе требование о вынесении подсудимому смертного приговора. Часть публики все же услышала это требование и подняла шум, унять который патруль военной полиции был не в силах, тем более что эти четыре Эм-Пи сами стучали о пол прикладами карабинов и кричали вместе со всеми:

— Позор!..

*Речь представителя защиты первого лейтенанта  
Томаса А. Конвея, М. А.<sup>11</sup>*

*(Стенографическая запись)*

«Конвей: Ваша честь! Господа судьи! Я пересмотрел все наши кодексы и уложения, а также специальные решения, и нигде я не нашел закона или хотя бы судебного прецедента, разрешающего подвергать судебному преследованию ангела.

Прокурор капитан Браун: Ваша честь, я протестую!

Главный судья полковник Вулворт: Протест принят. Представитель защиты, потрудитесь в дальнейшем обходиться в судебном разбирательстве без обращения к потусторонним силам.

<sup>11</sup> Master of Arts — магистр искусств (англ.).

Конвей: Я не могу согласиться с протестом уважаемого представителя обвинения по той простой причине, что он меня неправильно понял. Этот вопрос чисто терминологический. Никакого обращения к мистике в моих словах, как и в моих помыслах, нет. Я вовсе не хотел сказать, что мой подзащитный является пришельцем из небесных сфер. Если в этом есть хоть тень сомнения, защита не возражает против образования специальной экспертизы для обследования анатомического строения тела моего подзащитного, чтобы убедиться, что ни малейшего признака ангельских крыльев на нем нет и, наоборот, есть все, что полагается иметь земному стандартному мужчине.

Шум в публике, смех. Возглас: «Пусть покажет!»

Главный судья: Прошу немедленно прекратить шум! Первый лейтенант Конвей, продолжайте!

Конвей: Благодарю вас, ваша честь. Таким образом, употребленный мной термин «ангел» надо понимать в переносном смысле, в поэтическом, философском и, главным образом, психологическом. Под термином «ангел» я разумею то светлое, то возвышенное, то подлинно человеческое, что живет в душе каждого человека. Разве когда вы подаете милостыню бедняку, в вас не просыпается ангел? Вся вина моего подзащитного в том, что в нем ангел никогда не засыпал. Никакая война не способствует смягчению нравов. Наоборот, сражающийся мир сейчас до того озверел, что не только люди, но, как мы видим, даже и ангелы стали убивать друг друга...

Прокурор: Протестую! Ваша честь, уж не думает ли достопочтенный представитель защиты, а вместе с ним его подзащитный, что это «светлое, возвышенное, подлинно человеческое» живет также и в душе палачей Майданека и Освенцима, в душе изверга Гитлера и его подручных?

Защитник: Нет, я этого не думаю и смею утверждать, что мой подзащитный тоже этого не думает.

Прокурор: Для окончательного разрешения сомнений ходатайствую о том, чтобы суд задал этот вопрос подсудимому Майклу Коллинзу.

Судьи совещаются.

Главный судья: Суд постановил удовлетворить ходатайство обвинения. Подсудимый Коллинз, вы слышали вопрос обвинения? Вы можете ответить на него?

Подсудимый: Да, сэр. Я противник насилия. Но я не задумываясь разрядил бы винтовку в любого человека, который на моих глазах производил бы насилие над незащитным человеком!

Шум в публике. Голос оттуда: «Парень, бери винтовку и жарь на фронт! Покажи этим ублюдкам, на что ты способен!»

Главный судья: Старшина, угомоните крикунов.

Военная полиция удаляет из зала нескольких человек.

Главный судья: Капитан Браун, вас удовлетворяет ответ подсудимого?

Прокурор: Не вполне, ваша честь. В нем есть что-то ускользающее от прямого ответа на прямой вопрос. Разрешите поставить вопрос иначе.

Главный судья: Разрешаю.

Прокурор: Считает ли подсудимый, а также глубокоуважаемый представитель защиты, что то, что он обозначил термином «ангел», то есть, очевидно, божественное начало, другими словами некое нравственное чувство, есть и в профессиональном убийце?

Подсудимый Майкл Коллинз: Безусловно есть. Только оно затоптано уродливой жизнью. Но оно есть в нем в дремлющем состоянии. Задача заключается в том, чтобы пробудить его. Я и старался сде-



лать это, ибо мы граждане свободной страны и мы вольны высказывать свои взгляды, как бы они ни разнились от взглядов джентльменов за судейским столом.

Шум в публике. Выкрики: «Правильно, парень!.. Выплюнь кляп изо рта им в морду!.. Скажи им всю правду как она есть!.. Да здравствует ангел!..»

Главный судья: Объявляю перерыв на тридцать минут».

В перерыве прокурор подошел к Конвею.

— Слушайте, Том,— сказал он,— я думаю, что в конце концов он действительно психопат.

— Откажитесь от обвинения, Дик. Скажите, что вы не можете обвинять ненормального. И дело с концом. Это лучший выход из положения.

— Вы понимаете, что я не могу этого сделать, потому что есть официальная медицинская экспертиза.

— Неквалифицированная!

— Не важно. Суд не пойдет на создание новой экспертизы. Единственное, что может спасти этого чудака, это признание своей вины. Он пойдет на это?

— Боюсь, что нет.

— Ну, значит, он действительно псих.

Конвей вздохнул и сказал:

— Да, так называется мера его честности...

Капитан Браун пристально посмотрел на Конвея:

— Том, вы понимаете, что они его не пощадят. Они это сделают «для примера». Все-таки попробуйте поговорить с ним...

Майкл сидел на табурете, спустив руки между коленей, глядя в дощатый пол помоста. Он думал о том, что он скажет в своем последнем слове, если, конечно, оно будет ему дано. Он рассказывает, как он пришел к своим убеждениям. А стоит ли? Стоит ли выворачивать душу перед людьми другого сознания? Разве это проймет их? Конечно, таких, как капитан Браун или полковник Вулворт и оба майора обок него, не проймет. Но молодого Вулворта... Майкл вспомнил, какое у него стало жалкое растерянное лицо, когда открылось, что он доносчик. Майклу снова стало жалко его, и он подумал, что Вулворт, наверное, раскаивается сейчас в своем поступке, и ради таких, как он, в которых еще не до конца умерла душевная чуткость, стоит сказать то, что Майклу хотелось сказать в последнем слове, если ему его дадут, конечно. А может быть, даже удастся расшевелить глубинное, ангельское и в самом главном судье. «Кажется, он добрый»,— думал Майкл, вглядываясь в симпатичное бесхарактерное лицо полковника Вулворта.

В этот момент полковник повернулся, чтобы скрыть зевок, и взгляды главного судьи и подсудимого встретились. Полковник мгновенно отвернулся. «Он явно испугался меня. Почему?» — недоумевал Майкл.

Мысли Майкла были прерваны подошедшим Конвеем. Конвоиры преградили ему путь. Но полковник Вулворт милостивым жестом допустил его к Майклу. Никто не может сказать, черт побери, что в процессе, где председательствует полковник Вулворт, не соблюдаются нормы нормального судопроизводства. Защитник, господа, может в любое время общаться со своим подзащитным!

— Майкл,— сказал Конвей,— слушайте меня внимательно. Вам дадут последнее слово. Могут не дать? Ну, этого я добьюсь во всяком случае. Не вздумайте там настаивать на ваших миролюбивых идеях. Погребите их на дне своей души. Оставьте это до лучших времен.

Перестаньте быть ангелом хоть на время. Признайте свою вину. Ну, не резко, а, так сказать, на тормозах: я, мол, увидел, что ошибался, я пересмотрю свои позиции. Словом, мягко, как вы умеете.

— Нет, я не умею, Конвей. Я не хочу уметь.

— Майкл! Опомнитесь! Тут не шутят!

— Конвей, подумайте, что вы мне предлагаете! Это — бесстыдство!

— Майкл, не губите себя.

— Я не могу предать себя.

— Вы помните, какого приговора требовал прокурор?

— Да.

— Ну, хорошо, Майкл, вы вольны распорядиться собой. Но зачем вы губите Мари?

— Она здесь?

— Вот она, за канатом, справа.

Майкл увидел ее. Маленькое заплаканное лицо. Он закрыл глаза от внезапной боли. Жалость и любовь наполнили его.

— Конвей, зачем она пришла?.. Я все время отгонял мысли о ней, чтоб не ослабеть.

— Слушайте, через четверть часа кончится перерыв. Обдумайте хорошенько, что я вам сказал. Не губите Мари. Ведь вы нарушаете свои же убеждения — вы убьете беззащитное создание: она вас не переживет.

Но звонок главного судьи раздался раньше. Он спешил. Он боялся, что немцы dokonают свои маргариновые бутерброды и примутся за обстрел города. Пока судьи и стороны рассаживались, а публика вновь заполняла свой загон, Майкл собирал мысли для последнего слова.

Он вспомнил того близнеца, в которого он выпустил обойму. Мальчик пал сразу. Какое у него было успокоенное лицо! Смерть не обезобразила его. Наоборот! Оно было прекрасно своей добротой. Словно смерть принесла ему радость. Майкл чувствовал, что он мог бы полюбить его. Второй близнец склонился над убитым братом, прижал к нему лицо, искаженное горем и все же очень похожее на того и в то же время заурядное, без ангельского света в нем.

*Последнее слово подсудимого, солдата первого разряда  
Майкла Ч. Коллинза*

*(Стенографическая запись)*

«Не знаю, известно ли джентльменам за судейским столом, что я был освобожден от призыва на военную службу из-за плохого зрения. Но я добивался, чтобы меня взяли в армию добровольцем. И я добился. Я это сделал потому, что хотел лично участвовать в борьбе с той формой насилия, которая называется фашизмом. Сейчас я не могу без стыда вспомнить об этом, но я воевал, как все. Тогда мне казалось, что каждый убитый мной немец приближает избавление мира от ужасов насилия. Так это продолжалось некоторое время. Но постепенно сомнения стали одолевать меня. «Неужели можно убийством пресечь убийства?» — спрашивал я себя. Я продолжал ходить в бой, но старался не стрелять, если только не вынуждала меня к этому необходимость самосохранения. И вот однажды случилось нечто такое, что окончательно отвратило меня от убийств. Случилось, что в рукопашной стычке, испугавшись за себя, я застрелил одного немецкого солдата, который, как тут же выяснилось, совершенно не покушался на мою жизнь. И я услышал возглас другого — потом оказалось, что это его брат-близнец: «Что вы сделали! Он шел в бой без оружия!»

Вы убили ангела!..» Взятый в плен, этот солдат рассказал мне, что его брат, убитый мной, ни в кого не стрелял, что он не хотел марать свою душу убийством, что он считал, что люди могут договориться друг с другом мирно, не прибегая к насилию, одной силой убеждения. Тогда я понял, что война — это наибольшая гнусность, какая возможна на земле, и она порождает другие гнусности, и что мир вступил в эпоху убийств»...

На этом стенограмма обрывается. Конвей в упомянутой статье «Бедный заблудший ангел», помещенной в 1946 году в парижском издании «Нью-Йорк таймс», пишет, что начавшийся артиллерийский обстрел встревожил главного судью, хотя несколько не повлиял на публику за канатом, там ни один человек не тронулся с места. Конвей приводит еще одну фразу Майкла. Он посмотрел в публику, нашел глазами заплаканное жалкое лицо Мари и, обращаясь к суду, сказал глухим голосом: «Конечно, я виноват... с вашей точки зрения...»

Вряд ли судьи, как свидетельствует Конвей, обратили внимание на эти слова, которые при желании можно было счесть, по мнению Конвея, за признание своей вины. В обстановке все усиливающегося обстрела полковник Вулворт пробормотал приговор. Мало до кого из публики дошел его задыхающийся голос, к тому же то и дело заглушаемый уже довольно близкими разрывами снарядов. По крайней мере еще два дня спустя солдаты спрашивали друг друга: «Так что они сделали в конце концов с тем парнем, который так лихо обделал всю эту судейскую шпану?»

В той же статье Конвей пишет, что полковник Вулворт несколько не кровожаден, как и те две марионетки, что сидели по обе стороны его. «Дело не в них,— продолжал Конвей,— дело в автоматизме военно-бюрократической машины. С той же аккуратностью, с какой автомат, куда вы опустили монету, выбрасывает вам пачку сигарет или бутылку кока-колы, военно-бюрократическая машина, куда Майкл опустил свои ангельские антивоенные взгляды, выбросила ему смерть».

Приговор был приведен в исполнение через полтора часа после вынесения на обрывистом берегу речонки Вамм. Тело кое-как зарыли, а вернее забросали снегом там же в овраге.

### «Северный ветер»

Раз в день Штольберга выпускали погулять. Разумеется, с конвоиром. Каждый раз это был другой эсэсман. Разговаривать им, по видимому, было запрещено. Может быть, им внушили, что Штольберг крупный преступник. Во всяком случае, попытки Штольберга завести разговор не удавались. На его слова эсэсманы не откликались. Штольберг злился. Он возненавидел своих безмолвных стражей. Как-то ему попался конвоир коротышка. Длинноногий Штольберг намеренно делал огромные шаги. Коротенький солдат еле поспевал за ним, задыхался, потел. Штольберг насмешливо оглядывался и встречал горящие злобой глаза. Вечером Биттнер сказал ему:

— Я понимаю, вам скучно. Но это довольно опасный вид развлечения. Солдат может принять вашу быструю походку за попытку к бегству и всадить вам пулю в затылок.

«Я ему для чего-то нужен живым,— подумал Штольберг.— Иначе он давно справился бы со мной посредством Genickschuß<sup>12</sup>. Это ведь у них излюбленный метод расправы».

<sup>12</sup> Выстрел в затылок (нем.).

Ровно через полчаса прогулки конвоир отрывисто брякал: «Обратно!» — и Штольберг уныло возвращался в опостылевшую ему квартиру Биттнера. Ведь арест был домашний. Пока...

Ему принесли его чемодан из автомашины. Все было цело, даже дневник. Штольберг не сомневался, что его прочли. Но никаких последствий. Пока...

Биттнер переменялся. Уже не было деланно-приятельских бесед вечерами за бутылкой мозельвейна. Бледное лицо гауптштурмфюрера было холодно, даже надменно. На раздраженный вопрос Штольберга: «Долго ли я буду торчать здесь?» — Биттнер ответил вопросом:

— Почему вы спрашиваете об этом меня?

— Ведь вы мой тюремщик!

Биттнер провел мизинцем по своим фюрерским усикам и сказал скачающим голосом:

— Я не тюремщик, я следователь. Следствие по вашему делу продолжается.

— Мне надо послать отчет генералу Мантейфелю. Ведь он должен знать, куда девался его специальный курьер!

— Уже сделано, — ответил Биттнер коротко.

Генералу было совсем не до Штольберга. Он и забыл о незначительном капитане, которого он послал в 6-ю армию, когда положение на фронте было другим. Сейчас все круто переменялось. Убедившись в безуспешности арденнского наступления, Гитлер приказал ударить на прилегающий с юга к Арденнам Эльзас.

31 декабря в 23 часа, за час до Нового года, началось это новое наступление — из Битша на Пфальцбург и с Кольмарского плацдарма (то есть уже по ту сторону Рейна) на Сабернский проход в Вогезах. А тот, кто владеет Сабернским проходом, владеет Страсбургом, черт побери! «Ах, опять эти горы! В печенке они у нас, будь они прокляты», — ворчали солдаты, подталкивая буксующие машины. Но эти же горы укрывали передвижения немецких войск.

Кодовое название новой операции: «Северный ветер». Мощное вторжение в Эльзас, неожиданное, как ураганный порыв ветра! И когда — в новогоднюю ночь! Праздничная ночь как элемент гениальной стратегии фюрера. Небось эти сопливенькие американские генералишки благодумствуют за бокалами с шампанским, поскольку «Вдову Клико» они временно оттяпали у нас. Вот мы им и врежем! Давай, Гиммлер!

Теперь, когда у Гитлера стало не хватать людей для пополнения убыли, ни горючего для его некогда всесильных танков, ни самих танков, когда его империя стала потрескивать на востоке и на западе, он начал искать спасения в шоковой стратегии — скажем, наступать в праздничную ночь, чтобы застать противника врасплох, или спускать на противника свору переодетых диверсантов, превращая войну в какой-то дьявольский маскарад, или заменить в руководстве армии профессиональных военных своими подручными, в данном случае Гиммлером.

Что ж, эта тактика мелких укусов поначалу имела успех. За первые три дня немцы продвинулись в Эльзасе примерно на тридцать километров, перерезали дороги на Мец и Нанси. Только пятнадцать километров отделяли их от Сабернского прохода. Захватив его, немцы заперли бы в котле всю 7-ю американскую армию. Итак, вместо того чтобы самим быть окруженными в Арденнах, немцы готовили — притом с поразительной быстротой — котел для американцев. В Страсбурге паника.

— О да, мой фюрер! — воскликнул Гиммлер, приняв на себя

командование войсками на Верхнем Рейне.— Мы отберем у них весь Эльзас!

Гиммлер всегда считал себя выдающимся полководцем, которому только недоставало случая доказать это. Первым делом он приказал снять часть войск с Кольмарского плацдарма и перебросил их на север. Узнав об этом, фельдмаршал Рундштедт пришел в ужас и, изменив своему обычному хладнокровию, помчался к Гитлеру. Тот его не принял.

Произведя разные переброски в переподчиненных ему войсках и растопырив их по всему фронту, Гиммлер стал ждать победного результата. Но оказалось, что одерживать победы на полях сражений — это далеко не то же самое, что затискивать беззащитных евреев в газовые камеры.

Однако поначалу «Северный ветер» дул исправно. Рейн севернее Страсбурга немцам удалось форсировать. Таким образом, был захвачен еще один плацдарм, куда Гиммлер немедленно перебросил 10-ю танковую дивизию СС, отдавая, как и Гитлер, эсэсовским частям явное предпочтение.

Во всяком случае, в Шеллбёрсте, то есть в Верховном штабе экспедиционных сил союзников, «Северный ветер» вызвал ряд сквозняков. Хлопали двери, встревоженные оперативники бегали по комнатам, и Дуайт Эйзенхауэр распорядился подготовить приказ об отходе 7-й армии. При этом Страсбург оказывался обнаженным, и немцы, конечно, не преминули бы его взять (тем более без боя!). Эйзенхауэр заранее санкционировал это. Его, как и премьер-министра Англии Уинстона Черчилля, бывшего в то время в штабе, это нисколько не взволновало. Действительно, что им, в конце концов, Страсбург! Еще к Парижу они могли питать некоторое почтение. А что Страсбург, что какой-нибудь Сен-Вит — им это все едино. Не американские же они и не английские.

Взволновался один только французский представитель при штабе и немедленно известил де Голля.

Де Голль прибыл тотчас. Он отказался сесть, поэтому все стояли. В свои пятьдесят четыре года седой, неправдоподобно высокий, он недобрал только восьми сантиметров до двух метров. Маленькая голова его возвышалась над всеми. Он говорил, чеканя каждое слово:

— Боши держали Страсбург пять лет...

В голосе его, от природы гортанном, в минуты волнения появлялось нечто вроде орлиного клекота.

— Мы взяли Страсбург месяц назад, — мягко перебил его Эйзенхауэр.

— Его взяла моя Первая французская армия. И что же, вас хватило только на один месяц, чтобы удержать его.

Эйзенхауэр счел эти слова по меньшей мере не корректными, если не оскорбительными.

— Генерал де Голль, между нами говоря, — сказал он холодно, — ваша армия не более чем символ.

Де Голль чуть пошатнулся. Это был недозволенный удар. Ниже пояса. Да, в этой войне французской армии нечем похвастать. И все же...

— Вы забыли, — сказал де Голль надменно, — что в сорок втором году не американцы и не англичане, а французы героически отражали атаки африканского корпуса Роммеля.

Черчилль многозначительно кашлянул. Покосившись на него, Эйзенхауэр увидел, что он смотрит на него неодобрительно. Американец рассердился.

— Генерал, — сказал он иронически, — в нашем послужном списке тоже значатся кое-какие победы.

И, переменяв тон на серьезный, добавил:

— Для вас Страсбург вопрос престижа, а дая...

Де Голль снова не дал ему закончить.

— Да, престижа,— сказал он, подчеркивая каждое слово взмахами длинной руки,— но не только. Вы понимаете, на что вы обрекаете жителей Страсбурга, которые с таким энтузиазмом сплотились вокруг своих освободителей!

— Это война...— сказал Эйзенхауэр.— Донкихотство тут неуместно.

Он подумал, глядя на грустное большеносое лицо этого великана, что он в самом деле смахивает на рыцаря печального образа.

— Значит, у меня свои представления о войне,— сказал де Голль. И повысив голос: — Генерал Эйзенхауэр, от имени Франции я требую, чтобы Страсбург не был сдан!

Слово «требую» окончательно взорвало Эйзенхауэра. Он скользнул взглядом по двум скромным звездочкам бригадного генерала на рукаве де Голля и сказал:

— По общему стратегическому плану это невозможно.

Де Голль молчал несколько секунд.

— В таком случае,— сказал он,— французы сами будут оборонять Страсбург силами моей Первой армии.

Гнев все еще кипел в Эйзенхауэре. Такое пренебрежение к его словам, да еще в присутствии Черчилля, с интересом наблюдавшего эту сцену, попыхивая сигарой, такое возмутительное пренебрежение, и со стороны кого — со стороны правителя без страны, генерала без войска!

Между тем де Голль казался совершенно спокойным. Волнение его выражалось, может быть, лишь в том, что он беспрерывно дымил, закуривая одну сигарету за другой. Он как бы курил одну сигарету, бесконечно длинную, как он сам.

— Предупреждаю вас, генерал,— сказал Эйзенхауэр, грозно нахмурившись,— что если Первая французская армия не подчинится моим приказам, я сниму ее со снабжения.

— Вы не сделаете этого!

— Я это сделаю. Она не будет получать ни боеприпасов, ни снаряжения, ни продовольствия.

— Что ж... Франция создана ударами меча. Она будет сражаться даже голыми руками.

Эйзенхауэр вздохнул. Гнев его остыл. К досаде его начал примешиваться оттенок восхищения. «Это какая-то Жанна д'Арк в штабах»,— подумал он.

— Слушайте, генерал,— заговорил он примирительно,— смотрите, как действую я. Гибко! Когда нужно, уступаю, но потом беру свое. Больше гибкости, генерал.

Де Голль пожал широкими плечами.

— Вам легко говорить о гибкости,— сказал он.— Под вами могучая опора — Америка! Огромная страна, нетронутый материк. А что подо мной? Растерзанная страна, ничтожная армия. Нет, генерал Эйзенхауэр, гибкость не для меня. Я слишком слаб, чтобы позволить себе такую роскошь.

Провожая де Голля, Эйзенхауэр взял его под руку и сказал ласково:

— Мы расстаемся друзьями, не правда ли?

Де Голль глянул на него с высоты своего башенного роста и позволил себе впервые за время их разговора улыбнуться. Он понял, что выиграл игру.

— Друзьями? — повторил он. — Люди могут иметь друзей. Государственные деятели — никогда.

Вернувшись в штаб, Эйзенхауэр отменил приказ об отступлении 7-й армии. Страсбург остался французским.

Все же положение было серьезным. Немцы в Эльзасе. Бастонь осаждена. Правда, Паттон со своей 3-й армией продвигался в глубь Арденн и наконец достиг Уффализа. И чертовски медлительный Монтгомери навстречу ему продвигается туда же с 1-й американской армией.

Но ведь это уже отыгранная карта. Черчилль, правда, еще не расстался с эффектной мыслью окружить арденнскую группировку. Оставшись наедине с Эйзенхауэром, он сказал:

— Черепаха слишком сильно выдвинула вперед голову. Почему бы ее не отсечь?

Эйзенхауэр пожал плечами:

— Если черепахе не поддать в зад, она нас заглотает.

Черчилль рассмеялся:

— На поле боя неумеренный аппетит ведет к катастрофе.

— Загнать немцев в окружение мы не могли бы. Откровенно говоря, с нашими силами мы и не пытались. Хотя такой план был нам представлен.

— Не Брэдли ли его разработал?

— Нет. Два молодых офицера.

— Похвальная инициатива.

— Безусловно. Но нам пришлось объявить им выговор за непрошенные и неуместные советы командованию. Мы предпочитаем не окружать немцев, а выжимать их.

Вздохнув, Эйзенхауэр добавил:

— Только бросив на чашу весов самую тяжелую гирию, можно сейчас добиться перевеса в нашу пользу.

Черчилль, прищурившись своими пронизательными, несколько заплывшими глазками, смотрел на Эйзенхауэра. Он понял, что хотел сказать этим генерал. Но его удивила иносказательная манера выражаться, отнюдь не свойственная Эйзенхауэру. Черчилль подумал, что это является признаком крайней тревоги, почти губительной неуверенности в своих силах и нежелания сказать это открыто. Черчилль пошел напрямик.

— Вы имеете в виду русских? — спросил он.

Эйзенхауэр опять ответил не прямо:

— Усилия наших офицеров связи в Москве узнать, собираются ли русские что-либо сделать, чтобы облегчить наше положение, потерпели неудачу.

— Отправьте в Москву специального посланца, притом обязательно высокопоставленного.

— Я это сделал. Я отправил своего заместителя, сэра Артура Теддера.

— Ну и что?

— Он до сих пор торчит в Каире. К сожалению, плохая погода властна даже над главным маршалом авиации.

Черчилль без труда разгадал в полушутливом, казалось бы, тоне Эйзенхауэра скрытую просьбу.

— Я полагаю, — сказал англичанин, — Сталин сообщит мне, если я спрошу его. Попытаться мне? — Огладив свою мясистую щеку и лукаво глянув на генерала, Черчилль добавил: — Разумеется, я это сделаю деликатно, без лобовых приемов.

Эйзенхауэр одарил его одной из самых обаятельных своих улыбок, которых у него был богатый выбор.

В тот же день через всю Европу в Москву полетело:  
**«ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ  
 МАРШАЛУ СТАЛИНУ»**

...Я только что вернулся, посетив по отдельности штаб генерала Эйзенхауэра и штаб фельдмаршала Монтгомери. Битва в Бельгии носит весьма тяжелый характер, но считают, что мы являемся хозяевами положения. Отвлекающее наступление, которое немцы предпринимают в Эльзасе, также причиняет трудности в отношениях с французами и имеет тенденцию сковать американские силы. Я по-прежнему остаюсь при том мнении, что численность и вооружение союзных армий, включая военно-воздушные силы, заставят фон Рундштедта пожалеть о своей смелой и хорошо организованной попытке расколоть наш фронт... Я отвечаю взаимностью на Ваши сердечные пожелания к Новому году».

К вечеру этого дня немецкие части вошли в Винген и Хагенау. Двинулись они также с Кольмарского плацдарма. Они легко преодолевали слабые инженерные сооружения американцев, у которых всюду почему-то фатально не хватало надолб, противотанковых мин, проволочных спиралей Бруно, даже мешков для земли.

Между тем из Москвы не было ответа, и на следующий день Черчилль решил отправить второе послание в Москву и на этот раз откровенно, без обиняков обрисовать тяжелое положение на Западном фронте. Черчилль набрасывал свое послание в присутствии Эйзенхауэра, изредка спрашивая его совета. Вверху бланка уже заранее было отпечатано, как и на предыдущем послании: «ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ».

Черчилль писал своим энергичным почерком: «На Западе идут тяжелые бои...»

— Очень тяжелые,— добавил Эйзенхауэр.

«...очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться большие решения. Приходится защищать очень широкий фронт...»

Эйзенхауэр остановил его:

— Вы могли бы связать это с началом войны Гитлера с Россией. Эта аналогия тут уместна.

— Стоит ли? — усомнился Черчилль. — Воспоминания о поражениях не принадлежат к числу самых отрадных.

Эйзенхауэр настаивал:

— Просто для соблюдения равновесия.

— Ну что ж,— не очень охотно согласился Черчилль и вставил: «Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт...»

Черчилль вопросительно посмотрел на Эйзенхауэра.

— Это хорошо,— одобрил Эйзенхауэр,— тон верный.

— Да, но все-таки в России было несколько иное положение,— возразил Черчилль и приписал:

«...после временной потери инициативы».

— Теперь, генерал,— продолжал Черчилль,— я прямо упомяну вас. «Генералу Эйзенхауэру очень желательно...»

Эйзенхауэр добавил:

— Тогда уж вставьте и «необходимо».

«...желательно и необходимо,— писал Черчилль,— знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях...»



Черчилль прервал письмо:

— Где сейчас Теддер?

— В Каире.

«Согласно полученному сообщению,— продолжал писать Черчилль,— наш эмиссар главный маршал авиации Теддер вчера вечером находился в Каире, будучи связанным погодой. Его поездка сильно затянулась не по Вашей вине...»

— Я это не совсем понимаю,— сказал Эйзенхауэр.

— Я тоже,— нетерпеливо сказал Черчилль,— но это хорошо звучит.

И продолжал, склонившись над бумагой:

«...Если он еще не прибыл к Вам, я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы...»

— Но почему обязательно Вислы?

— Потому что они собираются брать Варшаву. А впрочем, можно шире поставить вопрос.

И Черчилль добавил:

«...или где-нибудь в другом месте в течение января и в любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть...»

Черчилль откинулся на спинку кресла с удовлетворенным видом.

— Он ответит? — спросил Эйзенхауэр.— Ведь он очень подозрителен.

— Я вам признаюсь, Эйзенхауэр, с тех пор как я соединил в своем лице премьер-министра, первого лорда казначейства и министра обороны, я тоже фактически диктатор Англии и я тоже стал подозрителен, как дядя Джо.

— Что ж,— задумчиво сказал Эйзенхауэр,— это естественно. Сталин вправе опасаться, что эти сведения как-нибудь просочатся к противнику.

— Совершенно верно. Поэтому мы добавим: «...Я никому не буду передавать этой весьма секретной информации, за исключением фельдмаршала Брука...»

— Не понимаю, при чем тут сэр Алан,— сказал Эйзенхауэр недовольно.

— Если вы возражаете против Алана Брука, я отказываюсь посылать эту телеграмму. Начальник английского генерального штаба должен иметь эту информацию.

Эйзенхауэр промолчал. Черчилль сердито хмыкнул и продолжал:

«...фельдмаршала Брука и генерала Эйзенхауэра, причем лишь при условии сохранения ее в строжайшей тайне...»

Эйзенхауэр взял телеграмму.

— Я сам отнесу ее шифровальщику.

— Подождите,— сказал Черчилль,— положение слишком серьезно. Достаточно ли это явствует из вашего послания?

Эйзенхауэр молчал. Потом он сказал:

— Мне не хотелось бы изображать наше положение слишком уж...

Он замялся. Черчилль подхватил:

— Катастрофичным? Мы не будем прибегать к этому паническому слову, хотя, может быть, оно... Мы скажем иначе, но достаточно выразительно.

Черчилль взял листок из рук генерала и приписал в конце:

«...Я считаю дело срочным».

Он снова откинулся на спинку кресла, утомленно прикрыл глаза рукой и сказал:

— Теперь будем ждать.

Ждать пришлось недолго. Наутро летчик принес в Шеллбёрст пакет, который ему три часа назад вручили в советском посольстве в Лондоне, где московские послания расшифровывались и переводились на английский язык:

«ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА  
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Получил вечером 7 января Ваше послание от 6 января 1945 года. К сожалению, главный маршал авиации г-н Теддер еще не прибыл в Москву.

Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь. Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам.

7 января 1945 года».

Послание это, несмотря на грифы «лично» и «строго секретно», было немедленно доведено до сведения осажденного гарнизона Бастони. И оно подняло дух солдат гораздо больше, чем виски и джин, доставлявшиеся через коридор, пробитый 3-й армией.

Конечно, подготовка к грандиозному русскому наступлению не могла остаться совершенно скрытой от немецкой разведки. Крайне встревоженный генерал Гудериан примчался 9 января в «Орлиное гнездо».

— Нет никакого сомнения,— заявил он,— что русские ударят по нас на очень широком пространстве. А наш Восточный фронт — мой долг сказать вам это, мой фюрер,— не более чем карточный домик.

— Я уже говорил и повторяю вам это, Гудериан...

Если Гитлер не устроил сцену в своем обычном стиле, то лишь потому, что он пребывал в благодушном настроении по причине успешного продвижения в Эльзасе. Тут же сидел тщедушный человек в очках и недобро смотрел на Гудериана. Это был Гиммлер, душа эльзасского наступления.

— ...повторяю вам, Гудериан: русское наступление — гигантский блеф.

Подведя Гудериана к карте, Гитлер стал объяснять ему, как искусно 89-й армейский корпус овладел тремя деревушками на Рейне. Гудериан слушал с почтительным вниманием, думая в то же время: «Почему, когда над фюрером нависает реальная угроза, он в своем ослеплении считает ее блефом?»

Это было 9 января.

А через три дня, 12 января, автор был разбужен непрерывным гулом, тяжелым, как отдаленный рокот землетрясения. Он вышел и стал на обочине шоссе, ведущего из Калушина в Варшаву (тогда еще немецкую), и наблюдал, потрясенный и восхищенный, бесконечную громаду войск, двигавшихся на запад. Действительно, погода была, как упоминал Сталин в послании к Черчиллю, нелетная. Грузные, набухшие влагой тучи так низко ходили над польской землей, что местами

сливались с густым туманом, который клубился на шоссе и придавал фантастические очертания танкам, самоходным орудиям, гаубицам, «катюшам», грузовикам с бойцами и даже самим бойцам, выглядывавшим из-под брезентовых навесов.

Конечно, автор не мог знать далекоидущей цели этого грандиозного движения армии, как не знал и того, что примерно в эти же дни такое же движение на запад происходило на всем Восточном фронте от Балтийского моря до Балкан. Автор видел только каплю гигантского стихийного, как сама природа, движения. Но и эта капля потрясла его.

Того же 12 января Гитлер примчался из «Орлиного гнезда» в Берлин, в подземелья имперской канцелярии, забыв об эльзасских деревушках. Он наконец поверил в русское наступление. Забегая вперед скажем, что больше он из своего имперского бункера не выезжал и там же через три с лишним месяца, убоявшись суда, убежал в смерть.

Все в тот же незабываемый день 12 января Гитлер приказал Рундштедту перебросить 5-ю и 6-ю армии на восток. Он не знал, что Рундштедт приступил к этому по собственному почину еще три дня назад после разговора с Гудерианом. Все это делалось, разумеется, скрытно. То, что не могли срочно увести, например, осадные орудия, уничтожали предназначенными для этого мешками со взрывчаткой, которые почему-то называли «пакеты фюрера». Наблюдая это зрелище, Штольберг сказал Биттнеру:

— Машина для разрушения умирает и призывает маму...

Они сидели в купе классного вагона — Штольберг, Биттнер и два эсэсмана из числа тех, что сторожили Штольберга в квартире Биттнера. Штольберг насмешливо приветствовал их как старых знакомых. Они боязливо покосились на Биттнера и не ответили. Очевидно, запрет общаться с арестованным продолжал действовать. Но говорить вслух никто пока не догадался запретить Штольбергу. И он сказал, глядя в окно:

— А от вашей Шестой армии осталась одна тень.

— Но довольно густая,— проворчал Биттнер.

Действительно, сколько хватал глаз видны были длинные колонны танков, штурмовых орудий, бронетранспортеров.

— Так куда же мы с вами, Биттнер?

— В Польшу,— коротко ответил гауптштурмфюрер.

— Ага! Разозлился, стало быть, наконец русский медведь...

Биттнер молчал. Но Штольбергу и так все было ясно: «Домашний арест перенесен на колеса. Дело о способствовании побегу Ядзи-с-ко-сичками продолжается. Теперь следствие перебрасывается, так сказать, на место преступления. Очевидно, рассчитывают, что там найдутся улики достаточно веские, чтобы сунуть меня в петлю. Может быть, даже очная ставка? Неужели ее схватили?..»

### *Посреди ночи*

Биттнер всюду таскал за собой Штольберга. Начать с того, что 6-я танковая армия СС, в эшелонах которой они ехали на восток, при- была совсем не в Польшу, как предполагал Биттнер, а в Венгрию. Через несколько дней они увидели серые воды Балатона. Штольберг подозревал, что Биттнер из каких-то соображений соврал ему с самого начала. Армия сразу включилась в бои за Будапешт. Биттнер раздобыл трофейный полугрузовичок «додж — три четверти». Он сам сидел

за рулем. Штольберг и конвоиры расположились в кузове. Штольберг решил сбежать при первом удобном случае, как только они углубятся в Польшу.

Они пробирались по узким польским дорогам меж отступающими войсками. На привалах офицеры из пропаганда-штаффель возглашали — кто возбужденно выкрикивая, кто вещая твердым и мужественным голосом, а кто монотонно бубня канцелярским напевом: «Солдаты! Отступление временное. Оно вызвано стратегическими соображениями...» Солдаты молча слушали, и по их неподвижным лицам нельзя было понять, что они думают, может быть, уже не верят, а может быть, просто устали от войны и им стало все равно, наступают они или отступают.

«Додж» остановился в небольшом польском городке. Здесь Биттнер узнал, что русские заняли Варшаву и Краков и движутся сквозь Польшу к Германии. Биттнер запер Штольберга в сарае.

Посреди ночи он разбудил Штольберга и вывел его на тихую спящую улицу. Спросонья Штольберг с трудом соображал, где он и что с ним происходит. Пахло свежестью от только что выпавшего снега. В вышине мурлычат самолеты. Штольберг по звуку определил: «Русские...» Почему-то в их журчании не было ничего грозного. Так мирно все кругом...

«Сейчас меня застрелят...» Штольберг вздрогнул, когда Биттнер взял его под руку.

— Ну что, Штольберг?

В голосе Биттнера было притворное дружелюбие.

— Вы хотели бы, чтобы я вас освободил? Да? Или, может быть, вы задумали убежать? И именно здесь, в Польше? К вашим польским друзьям? Может быть, к Ядзе-с-косичками? Увы, Штольберг! — Биттнер вздохнул сокрушенно. — Я ничего не делаю наполовину. Ваше дело будет мной доследовано до конца, несмотря ни на что.

Штольбергу стало легко. Нет, его не собираются кончать. Во всяком случае не сейчас. Он сказал:

— Несмотря на то, что Германия проигрывает войну?

— Ах, вы на это рассчитываете? Вас вдохновило зрелище временного отступающих частей? Да, Германия сейчас отдает пространство, но она уничтожает живую силу противника. — И добавил: — Германский тигр отступает, чтобы сделать новый прыжок.

Он толкнул Штольберга в машину и сел за руль. Машина рванулась с такой силой, что Штольберг и конвоиры стукнулись лбами.

Польша бежала под их колесами со стремительной быстротой. Через несколько дней, точнее 23 января, русские войска достигли границы Германии. Биттнер гнал машину почти не останавливаясь.

В начале февраля ночью они въехали в Берлин. Мокрый снег. Берлин не бомбили. Штольберг пристально глядывался сквозь оконце в город. Трудно было понять, где они. То ему казалось, что они на Франкфуртер-аллее под обгоревшими деревьями. Внезапно они сворачивали и кружили меж кирпичных холмов, среди поваленных зданий и переплетений рухнувших балок.

— Куда мы едем? — спросил он Биттнера.

Гауптштурмфюрер не ответил. Он был трезв и мрачен. Штольберг отвернулся от окошка. Зрелище разрушенного Берлина причиняло ему боль.

Они остановились перед массивным зданием крепостного вида. Штольберг сразу узнал его: тюрьма Плетцензее. Он подумал: «Конец». Он знал, что отсюда не выходят, отсюда выносят. Но он так устал, что ему сейчас было все равно, что с ним будет. Страшное напряжение последних дней сменилось бесчувствием. Он не ощущал себя. Ему

казалось, что это не он шествует по коридору рядом с Биттнером, а кто-то другой, кого он видел как бы со стороны. Равнодушным взглядом скользил он по стенам, машинально искал на них следы заплесневевшей крови. Но белые кафельные стены сверкали лабораторной чистотой.

Они вошли в канцелярию. Биттнер положил на стол папку, о чем-то пошептался с эсэсовцем, сидевшим за столом. Штольберг только расслышал:

— Приговор будет доставлен дополнительно.

«Ага,— подумал Штольберг,— значит, не сегодня...»

На прощанье Биттнер сказал Штольбергу:

— События складываются так, что ваше дело не может быть доведено до конца с достаточной детальностью. В то же время нет никакого сомнения, что обвинение предъявлено вам совершенно правильно. В этих случаях приговор может быть вынесен на основании косвенных улик и внутреннего убеждения судей..

### *Февраль — апрель*

13 февраля после полуторамесячных боев советские войска взяли Будапешт. В середине марта разбили немцев у Балатона. В середине апреля вошли в Вену, в конце — сомкнулись на Эльбе с американскими войсками.

Но еще до этого Биттнер узнал новость, которая его потрясла: Вальтера Моделя не стало. Этот маленький расторопный фельдмаршал, любимец Гитлера, покончил с собой. Из-за чего? Из-за краха империи? Германия погибла? Но ведь не может погибнуть стомиллионная нация! Значит, не из-за этого... Из-за чего же? Может быть, из-за страха возмездия?..

Биттнер отшвыривал от себя эту мысль, но она упорно возвращалась...

«Почему он не сдался американцам? — рассуждал Биттнер.— Да, он мог сдаться союзникам, перед которыми у него руки чисты, если не считать расстрелов американских и английских военнопленных молодцами Скорцени...»

Биттнер сидел в пустом кабинете брошенного комендантского управления. Все бежали еще вчера, когда стала слышна отдаленная канонада! Все! За исключением его вестового солдата — эсэсман остается преданным до конца. Она и сейчас слышна, эта глухая канонада, русские еще далеко, еще есть время...

Для чего?

Вот в этом весь вопрос...

Биттнер достал из ящика початую бутылку джина. Он задумчиво посмотрел на нее. Может быть, на дне ее ответ на этот вопрос... Он налил полный стакан, но медлил пить. Эта назойливая мысль мучительно застряла в сознании: список военных преступников в. Русские могли вытребовать Моделя у союзников, потому что он значится в списке военных преступников. Притом на одном из первых мест.

Биттнер отлично знает, когда это началось: еще в сорок третьем году. Модель, тогда генерал-полковник, отступал со своей 3-й армией от «московского плацдарма», как они называли эти места, то есть от района к западу от Москвы...

...Ах, как четко работает голова! Как немилосердна память! Биттнер хлебнул джина.

...словом, от Вязьмы, от Гжатска — они еще смеялись в своей компании над этим варварским сочетанием букв — и проводили там «политику пустыни», разрушали города, а деревни просто сжигали, население... вот в этом вся штука — население...

Население! Гибли города и деревни — так на то война! Но люди! Тут, конечно, дело дрянь, потому что у русских данные о расстрелах, повешениях, угонах в рабство... И не очень далеко от фельдмаршала в этом списке военных преступников он, Биттнер.

Конечно, это можно оспорить. Жестокость? Да. Но она введена в систему, разбита на параграфы, приобрела форму инструкции. Да и само выражение «военный преступник» — такого юридического термина нет. Опротестовать!.. Но перед кем?..

Он снова хлебнул джина. И еще. Он знает, как это происходит, когда шею захлестывает петля. Он рванул себя за воротник, полетели крючки, какая она скользкая, ах да! Ведь ее мылят. Он скинул китель и швырнул его в угол. Выпустил живот поверх ремня. Все равно душно...

Рывком, резко, как все, что он сейчас делал, выдвинул ящик стола. Там лежал пистолет. Он как-то косо посмотрел на него и зажмурился. «Но все-таки (он призвал себе на помощь весь свой цинизм) свой пистолет лучше, чем петля карателя».

Его восхитило собственное хладнокровие. «В такую минуту у меня хватает мужества острить».

Да! Пора кончать. Все дела устроены: письма сожжены, четыре пары белья (из них одна ненашенная) отосланы матери, смертный приговор Штольбергу отослан в тюрьму Плетцензее, золотой нацистский значок передан в надежные руки. «Я уйду из жизни как рыцарь. Для меня это вопрос чести...»

Он поднял стакан и медленно выпил до дна. Он хотел довести сознание до такого состояния затмения, чтоб ему стало все равно, что с ним будет. Тогда он найдет в себе силы совершить над собой то, что он собирался.

«Нет, не годится... Это состояние безразличия лишит меня желания действовать. А между тем то, что я собираюсь сделать с собой, есть действие... А впрочем, какое же это действие... Ничтожное движение пальца...»

И он влил в себя стакан джина. Теперь он единственная неподвижная точка в мире. Все вокруг вертится... Но он не пьянел.

И вдруг ему стало безумно жаль себя: «А почему? Да, почему я должен лишать Германию себя? Что? Это не согласуется с вопросом чести?»

И тут же мозг-подхалим услужливо подсказывает:

«Но есть д р у г а я высшая честь: быть полезным родине! Да! Притаиться! Прикинуться! Действовать исподтишка, пока не придет момент!»

Он знал, что он лжет, что все это притворство, игра, но не хватало мужества признаться себе в этом, потому что был трус.

Канонада внезапно стала оглушительной, потом она прекратилась, и сразу — совсем близко автоматные очереди.

В комнату вбежал вестовой.

— В городе русские! — крикнул он и исчез.

Биттнер метнулся за ним к дверям. Выстрел за дверью заставил его отпрянуть.

Он схватил бутылку и выпил все, что там было.

*Посмертная записка гауптштурмфюрера Биттнера*

«Идите вы все к черту... и пусть все идет к черту...»

### *Почти сегодня*

Как Ядзя могла узнать Штольберга в этой толпе, хлынувшей из поезда, если она видела его более двадцати лет назад в течение нескольких минут, когда он влек ее из сарая и потом торопливо усаживал, почти втискивая в ящик из-под сигарет? А когда через полтора часа выпускал ее оттуда и ссаживал из грузовика, уже было сумеречно, и он только указал ей на темнеющий вдаль лес и шепнул: «Беги!» Как она могла бы узнать его сейчас, отличить именно его в сутолоке вокзала среди других пожилых мужчин, дельцов, туристов, пенсионеров, торговцев, ученых, поездных воров, обладающих, как известно, особенно благородной наружностью?

И все же она узнала его.

Они сидели на балконе ее дома, и под ними шумела и сияла Варшава. Разговор у них получился какой-то прыгающий, и посреди этой радостной возбужденной сбивчивости они не могли прийти в себя от изумления, что видят друг друга, и считали это чудом.

— Неужели вы нас до сих пор не любите?

— Кого «вас»?

— Видите ли, дорогая Ядзя, я заметил еще в вагоне со стороны ваших земляков... Ну, выразимся так: несколько настороженное отношение к немцам.

Ядзя поиграла пальцами по столу.

— Ну, прямо скажем, некоторые основания для этого есть.

— Были!

— Знаете что, не будем углубляться в национальную психологию.

Это материя довольно скользкая.

Ядзя засмеялась. Она выглядела молодо. Да она и не стара, сорока еще нет. Солнце, пронзая легкий туман, плывущий над Варшавой, золотило ее косы. Она все еще не расставалась с ними, она обернула их вокруг головы как корону.

— Ну,— сказала она, смеясь,— вас, например, я люблю.

— Спасибо. Но я ставлю вопрос широко. А Томаса Манна вы любите?

— Люблю.

— Так вот Томас Манн — он, конечно, самый большой немец нашего века и самый упорный борец с фашизмом,— сказал: «Если ты родился немцем, значит, ты волей-неволей связан с немецкой судьбой...»

— Это совершенно естественно.

— Подождите, я не кончил. Вернее, Томас Манн не кончил. «...связан с немецкой судьбой и,— добавил Манн,— с немецкой виной». А вот я считаю, Ядзя, что не может быть у народа круговой поруки! Что ж, значит, выходит по Манну, что я не немец?

— Милый Штольберг, вы забыли, что я вам сказала тогда: «Вы больше немец, чем все они, взятые вместе».

— Когда вы мне это сказали?

— Ну, тогда, на дороге, когда вы меня вытряхнули из ящика.

— Я видел, что вы шевелите губами, но я просто не расслышал.

И моторы так шумели. К тому же я спешил.

— Да и я с трудом говорила. Я страшно волновалась!

— Еще бы! Они ведь пронюхали, что вы были в одном из ящиков. Ядзя всплеснула руками:

— Неужели? Значит, вы меня ссадили вовремя! Между прочим, еще и потому вовремя, что я чуть не задохлась в том ящике. Если бы я там не провертела дырку...

Штольберг махнул рукой:

— Ох эта дырка! Когда моя автоколонна прибыла к месту назна-

чения, там уже ждали ее гестаповцы, и они осмотрели каждый ящик. Они допросили всех шоферов. Ну, и, натурально, на меня как на начальника колонны завели дело. И эта ваша дырка сыграла не последнюю роль: она была тем, что мой следователь гауптштурмфюрер Биттнер назвал косвенной уликой.

— Что с ним стало, не знаете?

— Мне говорили, что он пустил себе пулю в лоб, когда фашизм рухнул. Но незадолго до этого он послал мой смертный приговор в Берлин, в тюрьму, где я был заключен. Меня уже собирались вздернуть. Да не успели. Русские меня освободили.

Ядзя на мгновение прикрыла глаза, как бы что-то вспоминая:

— А вы знаете, что вы едва не погибли гораздо раньше?

Штольберг посмотрел на нее с недоумением.

Она засмеялась:

— Два слова, которые вы тогда сказали, спасли вас от верной смерти.

— Когда?

— Когда вы вошли в тот сарай, где я спряталась.

Штольберг сказал несколько смущенно:

— Боже мой! Если бы вы знали, зачем я зашел туда. При даме сказать неудобно...

— Зачем бы вы ни зашли, вы тотчас об этом забыли: вы увидели меня.

— Да, вы сидели, скорчившись, в темном углу...

Ядзя неторопливо мотнула головой: не мешайте, мол! Брови ее были грозно сведены, но глаза светились нежностью.

— Когда я увидела вас — темный силуэт офицера на светлом фоне открывшейся двери, я вскинула пистолет и прицелилась. В это время вы сказали... Вы помните, что вы сказали?

— Разве я что-то сказал? По-моему, я выглянул за дверь, увидел, что переулок безлюден, поманил вас, ну, и усадил в ящик.

— Но до этого вы сказали... В этом все дело! Я услышала в ваших словах и в вашем голосе столько доброты, что опустила руку с пистолетом.

— Но что же я такое сказал?

— Вы сказали: «Бедный ребенок...»





---

ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ

★

## ВОЛЬНАЯ НАТАСКА\*

*Роман*

**Б**ронзовая Тополта, в зыби своей отразившая пологие, каменисто-песчаные осыпи, белый строй березового леса, была мелка в этом месте и разливица, а доньшко, устланное песком и камнем, выходило на поверхность реки плоскими островками, поросшими зелеными челками осоки. Сильные и крутые струи вымывали песок и гальку с одной какой-нибудь стороны островка, углубляя доньшко, а потом по каким-то законам динамики завихрялись и словно бы текли вспять, вспучивая поверхность воды.

В тихий солнечный день тут всегда было слышно, как звенит прозрачная вода, плавно струящаяся в просторном и жестком русле, вплетаясь влажным своим звоном в тишину дня, в сухой звон немолчных кузнечиков.

Если не брала крупная рыба, я всегда приходил на это мелководье и ловил нахлыстом на кузнечика ельцов взбродку. Изредка попадались и голавли, но в этот день ничего у меня не получалось, а растрепанного кузнечика теребила такая мелюзга, которую и подсечь-то было невозможно.

Ровное однообразие реки, посреди которой я стоял, утомительное однообразие скользящего по поверхности кузнечика, однообразные, гудящие в воздухе взмахи длинной удочки, короткий ночной сон и вдобавок ко всему бесклевьё — все это так расслабляло меня, что я чуть ли не засыпал, стоя на каменистом надводье, которое трудно было назвать даже островком.

Глаза мои настолько уже привыкли к постоянному движению воды, к бегущим ее струям, так глубоко в сознание вошло это упругое и звенящее скольжение, что когда я оглядывался вокруг, то и березовый лес, и застывшие в небе прозрачные облачка, и песчаные береговые откосы тоже начинали скользить и обманчиво растекаться, плавиться, терять свою прочность и незыблемость, словно бы это не истинная реальность, не твердь и не хлябь были передо мною, а невесомые, зыбкие их отражения.

Реальна была лишь бегущая вода и растрепанный, намокший кузнечик, пляшущий в ее струях. Да еще звенящий звук движения реки, который, как мне почудилось, стал усиливаться, расширяться, дробиться на какие-то глухие, топочущие звуки, нарастая с каждым мгновением, заполняя собою тишину, как бы наваливаясь, наступая на нее и затаптывая грузной и тяжелой поступью, ветровым каким-то гулом... Я подумал, что это у меня в голове зашумело от усталости. Но, поведя взглядом, наткнулся вдруг на большее стадо коров, ко-

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

торое желто-пегой массой вытекало из леса, тяжело устремившись к воде по отлогому спуску. Передние коровы уже бежали, глухо постукивая копытами по камням, приближаясь к заплесу, а задние были еще среди берез, наверху.

Река отразила их всех, всю эту текучую желто-белую массу и, бронзовато-зеленая, неяркая, осветилась пронзительной желтизной, белым мельканьем ног, которые уже у самой кромки воды в тяжком и нетерпеливом шаге хрустели на камушках.

Первая корова жадно вошла в воду, и вода взбурлилась, зашипела, и шум этот нарастал, пока стадо заходило в реку, загружая ее своей пестрой и яркой массой. Река шумела, как горная, порожистая речка, но наконец этот шум утих — стадо, словно увязнув в реке, остановилось, и стало слышно, как множество коровьих губ втягивают воду. Только изредка утробные эти звуки нарушались всплесками переступавшей с ноги на ногу коровы или подводным хрустом камней.

Над рекой плыл густой дух разомлевшего стада и парного молока.

На берегу, на ивовом кусте, я оставил свою одежду и спиннинг и, быстро смотав удочку, побрел к берегу, косясь с опаской на грязнопалевого быка.

Вместе со стадом на берег вышли два пастуха с палками вместо кнутов. Один из них, заметив мою нерешительность, мирно крикнул мне:

— Не бойся, иди — не затолкает.

Коровы же уставились на меня в тягостном недоумении, а с теплых их губ падали в реку капли.

Грязного быка я не упустил из виду и потом, когда, пригревшись, лежал на песочке, глядя, как купается пастух. В длинных черных трусах и в майке, как баба в белье, он плескался на отмели, матово бледнея жилистым, нездоровым на вид, бумажным каким-то телом, не знавшим солнечного загара, словно бы чужой в своей этой реке, несмелый, робкий, пошлепывающий себя по жидковатой груди, потирающий коричневую шею, оглядывающийся по сторонам в нерешительности, точно первый раз увидел он эту реку и удивился, что она протекает тут: шел, шел со своим стадом по жаре и вдруг — река! Удивительное дело! С чего бы это? Откуда? И река-то, главное, хорошая!

Купался он нешумно, не с полным как будто бы правом на это удовольствие.

А товарищ его вообще не глядел на реку, читая порыжевшую, старую газету.

Коровы уже напились, но все еще стояли в воде, отражаясь в ней оцепеневшей своей пестротой. Другие лежали на берегу.

Стало опять так тихо, что я услышал, как чмокались, ударяясь об воду, капли с губ молодой и статной коровы, которая в задумчивости созерцала светящийся бег воды. И все другие коровы — те, что стояли в воде, и те, что лежали в сырой осочке на берегу, — все они, казалось, находились в каком-то странном оцепенении. Рогатые их головы были высоко и горделиво подняты, и чудилось, будто коровы эти при малейшей опасности готовы как легкие, дикие животные стремглав умчаться прочь. Казалось, будто они сами по себе, по одиночке пришли сюда на водопой и случайно собрались тут вместе, а теперь, напившись, зорко смотрели вдаль, прислушиваясь и приносясь к недвижимому воздуху.

Может быть, в одомашненном их сознании проснулись здесь, на водопое, древние инстинкты сторожкости?

Тот, что читал газету, был, видимо, глуховат, потому что на мой вопрос, откуда стадо, поднял на меня мутно-голубой взгляд, напряжен-

но ощупывая им каждое мое слово, и, наверное, не все понял из того, о чем я его спрашивал. А если и понял, то, вероятно, вопрос мой показался ему слишком праздным, и он, поморщившись в ответ, снова уткнулся в свою газету и уже не прислушивался. Резиновые сапоги стояли с ним рядом. Босые его ноги, тяжелые и словно бы топором тесанные, высунувшись из помятых в сапогах брючин, в отрешенном блаженстве терлись тихонечко пятками друг о дружку, и звук от этого получался такой, как если бы кто-то поблизости аккуратно и осторожно поправлял ножичек на наждаке.

— Глухой,— сказал о нем тот, что купался.— Если чего непонятное говоришь, не слышит. Понятное слышит. А спросишь непонятное — «чего, чего?», — передразнил он его без злости.— Какую газету читаешь, Егор? Не «Красную звезду»?

А Егор и сам не знал какую: стал ее переворачивать, заглядывая на первую страницу. Товарищ его, оживившись после купания, отжимал майку с трусами, посмеивался над ним, как-то зло и угрюмо подворачивая в смехе ястребиный свой носик с тугими ноздрями. Черные его глазки светились чуть ли не ненавистью.

— А чего ж читаешь-то?! — возмущался он громко.— Это ж газета старая — еще когда? — еще май месяц... А вчера «Красную звезду» забыл у Степана взять... Эх, ты! Вчера в «Красной звезде» было такое сообщение! — обратился он ко мне привычным уже криком.— Рассказывали, будто сообщалось, что самолет летел, а у него мотор заглох... Сообщение такое было. Не в этом дело, конечно. Люди спаслись! Трое спаслось. Самолет об землю разбился, а они спаслись. Как сумели?! — воскликнул он, хлопнув себя по мокрой ляжке.— Вот что интересно почитать-то! Чего ж ты вчера не попросил у Степана-то? — крикнул он опять Егору.— Когда не надо — берешь. А когда надо — старую читаешь... Где хоть подобрал-то?

А Егор, ощупывая его блеклыми, спокойными глазами, зевнул и ответил, лениво махнув рукой в сторону бугра:

— Там, когда шли...

— Ну чего ж пишут?

— Ничего.

— Ну вот... Вчера такая интересная газета была, а ты не взял! Эх, Егор, Егор! Сейчас бы почитали, и вон товарищ послушал бы... Я так думаю, что «Красная звезда» самая интересная у нас газета,— утвердительно сказал он мне.

— Вот зараза! — тихо проговорил Егор.— На дорогу пошла.

Мы оглянулись и увидели корову, которая, словно бы понимая, что мы увлечены разговором, ходко шла к проселочной по-над рекой дороге.

— Володьк, сбегай, а,— попросил Егор.

— Так я ж без порток!

— Ну и что ж?!

— Во, ё! — встрепенулся черноглазый Володька, которому на вид было лет сорок пять, не меньше.— Точно, к дороге идет! Домой, ё, направилась. Я ее сейчас по рогам, дуру!...— заорал он матом и, вскочив, подхватил палку, побежал наперерез корове.— Куда пошла, ё! Назад!

Корова остановилась, привычная к его хлесткому голосу, а он издали запустил в нее ореховую палку, и палка, пропеллером прокрутившись в воздухе, упала в траву неподалеку от строптивой коровы. Желто-пегая развернулась и вскачь, как лошадь, кинулась обратно к стаду.

— У-у-у, собака! — кричал голый Володька, идя за палкой.— Я

тебе, сука, покажу, как домой, твою мать! Я об тебя палку обломаю, зараза толстозадая!

Разомлевшая, пустынная река подернулась невесомой, воздушной сизостью, отразив надвинувшуюся тучку, которая так мала и легка была, что даже солнечного света не смогла заслонить своей прозрачной пепельностью, но все-таки там разочек сверкнула слабая молния и рассыпался по округе ворчливый громок. Облако это с седым донышком проходило над сухим берегом, и из него, как это ни странно было видеть, посыпались вдруг, посверкивая на солнце, тяжелые и редкие капли. Одна сочно и мягко поцеловала меня в щеку, другая стукнула по ноге, третья скользнула по плечу. И кончился дождь.

А Володька, подобрав свою палку, подошел к воде и вперился в нее взглядом.

— Во дожди! Это дожди! — крикнул он с неожиданной радостью. — Одна капля по шее стукнула, а все остальные мимо. «Первая пуля ранила меня!» — загорланил он во всю мощь своей груди. — Эй, слушай, как тебя! — крикнул он мне. — Это твоя тут фляжка, что ль? Белая.

— Нет, — отозвался я. — Не моя.

Володька фляжку эту пнул сначала ногой, словно проверял, не взорвется ли, а потом поднял и, идя к нам на бугорок, отвернул на ходу крышечку.

— Вино никак было? — с сомнением сказал он, принюхиваясь. — Не-ка, не вино — тормозуха. Видать, турист какой-то бросил. — И он, опрокинув фляжку, капнул на палец остаток тормозной жидкости и тут же лизнул языком, пробуя ее на вкус. Плюнул и уже твердо сказал: — Не вино, тормозуха, точно.

— Чего ж ты ее на язык-то! — сказал я с удивлением. — Она ж ядовитая.

Он покрутил в руках фляжку, разглядывая находку и смешно подворачивая в улыбке короткий свой носик, хвастливо сказал:

— Чего ты говоришь мне! Ничего не ядовитая. Я пил, когда на дизеле работал... На Печоре... Молодой был, конечно... Это, конечно, не дело, чего говорить. А по молодости чего не бывает! Сольешь, а в систему воды накачаешь. Держат. Там вообще без тормозов можно было ездить... Дороги такие, что сама остановится машина-то. Чего говорить! А что яд — так ведь всё яд! Сигарету куришь — яд! У меня организм к ядам приученный. Вот, думаю, укусы меня змея, а я все равно не подохну... Чего там говорить. Это только пишут, что яд, чтоб не пили... А фляжечка-то аккуратная, — сказал он, любясь мягкой фляжкой. — Теперь вот буду чай сладкий в ней носить. Земляники собираю или малины, и хорошо будет. Верно я говорю, Егор? — крикнул он, хлопнув товарища своего фляжкой по ягодице.

Тот отвлекся от чтения, взял фляжку в руки, оглядел ее со всех сторон, подумал над ней и отдал молча Володьке.

— Фляжка? — спросил он после паузы.

— Нашел, Егорушка, фляжку, — ответил Володька. — Будем чай холодный в ней носить, а то и вино.

— Хорошо.

— Хорошо-то хорошо! А вот газету-то вчера не взял, «Красную звезду», — это плохо. Покою мне не дают те, что спаслись. Как спаслись? Самолет упал, а они спаслись. Во дела! Я еще слышал, как один летчик во время войны спрыгнул на парашюте, а парашют не раскрылся. Упал в овраг и живой остался. Снегу много было, он и не убили. Спасся! А ведь камнем падал! Вон как людям везет! Об этом даже книжка написана, не слышал?

— Слышал, — ответил я.

— Во! Я и говорю. А вот как эти трое спаслись — не знаю. Вот что интересно. Вечером, как придем, зайду к Степану почитать. Он «Красную звезду» получает... Терпения никакого нету! — Он посмотрел на меня с восторженным каким-то изумлением, с какой-то завистью к тем, чудом спасшимся, людям. — Ведь вот как в жизни-то бывает! Вот она, смерть-то, прямо в глаза тебе глядит, а ты спасся. Говорят, кто спасся, тот сто лет проживет.

— Не знаю, — сказал я. — Не приходилось.

А сам, в свою очередь, рассказал про один случай, слышанный мною несколько лет назад, тоже из времен войны, когда из подбитого самолета выпрыгнул штурман, которому приказал прыгать командир самолета, а парашют его зацепился за хвостовое оперение. А командир решил со страшным риском посадить самолет на лес и посадил, потому что лес был гнилой, деревья ломались, падали, выросли на болоте, и гасила скорость самолета. Пилот остался в живых, хотя и не очень надеялся, а его товарищ, которому он приказал покинуть самолет, даруя ему жизнь, погиб в страшных мучениях. Его разбитый, изуродованный труп командир тащил два дня, пробираясь сквозь болота, пока не вышел к деревне, где и похоронил своего товарища, который, может быть, тоже остался бы в живых, не прикажи он ему прыгать.

Слушал меня Володька внимательно, как ребенок, а потом в страшном изумлении спросил у меня недоверчиво, будто ничего не понял из моего рассказа:

— Да как же так случилось-то? Зачем же он велел ему прыгать-то? Зря он так поступил! Ох, зря!

— Почему же зря! Он-то ведь думал, что друг его спасется, а сам не рассчитывал спастись, самому, видно, уже поздно было прыгать. Он же не мог подумать, что друг за хвост зацепится.

— Это понятно, — сказал Володька задумчиво, и мне показалось, что он побледнел. — Вот, видишь, как бывает! Интересный случай. Я такого еще никогда не слышал. А самолет-то их горел, что ли, или нет?

— Не знаю. Может, и горел.

— А может. рули перешибло, — предположил Володька. — Может, по прямой линии мог лететь, а если по прямой бы полетели, может, там немцы были... Верно? Куда полетишь! Надо на своей территории садиться. Все правильно. Ты слышал, Егор, какой случай, а?

— На войне и не то случалось, — отозвался Егор, и я понял, что он все прекрасно слышал, хотя я и не громко рассказывал, не для него.

— Но вот что интересно! — воскликнул опять Володька. — Как же все ж таки эти трое-то спаслись? Прямо хоть беги домой и разыскай газету. Замучил меня этот вопрос.

Лицо Егора потекло в сонливой улыбке, глазки его голубые сощурились, посветлели в мокреньких, розовых щелках век, и он сказал, видимо, уже привычное для Володьки, давно знакомое:

— Любопытный ты, как бабка Устинья.

— Я любопытный? Не-ка! Это у меня не от этого... Не-ка! Это я... об жизни так думаю... Вот. Спасся, значит, хорошо. На душе веселей. Не любопытство это — нет. Характер у меня такой. — А сам засмеялся и погрозил Егору кулаком. — А ты, гляжу я, глухой-глухой, а все слышишь. Иду по правой стороне стада, а он по левой, корова с его стороны отстала, а он не заметил. Кричишь ему, орешь, а он не слышит! Приходится самому бежать за коровой. А тут все слышит! «Чего, чего»!

Егор обиженно ответил:

— Я по губам слышу, чего говорит человек. Когда ты рядом, я тебя всего слышу, а в поле ты орешь, так я думаю, ты на корову орешь. Я губ твоих не вижу.

— Ох, хитрый мужик! Всегда выкрутится! Хи-итрый...

И они шумно и зло заспорили меж собой, кто из них хитрый, а кто нет. Ни одному из них не хотелось, чтоб я подумал бы о том или другом как о хитром человеке. Никому не хотелось быть хитрым.

Не было для них на свете большего позора, чем прослыть среди людей хитрым.

Спорили они, спорили, вспоминая мелочные какие-то случаи из жизни, чтоб сразу уж стало ясно, кто из них хитрый, а кто нет, и так разошлись друг на друга, что чуть ли не в драку готовы были лезть.

Русский человек терпеть не может хитрых людей, и нет для него оскорбления болезненней, чем полусхотливый намек на какую бы то ни было его хитрость.

Смотреть на них и слушать их брань было смешно, потому что обвиняли они друг друга напрасно.

«Бог ты мой! — думал я в тревоге за них. — Да где ж она, ваша хитрость-то? Один тормозуху пил на Печоре, обхитрив самого себя, другой товарища своего не расслышал по глухоте своей. Ох, хитрецы, хитрецы! Как же легко вас самих-то обмануть можно!»

А они поссорились не на шутку. Егор поднялся, окинул белесым взглядом все еще голого своего товарища и, втиснув ноги в резиновые сапоги, которые раскалились на солнце, плюнул презрительно и пошел к стаду. Желтую газету он сложил и сунул в карман.

— Тяжело мне с ним, — сказал Володька в сердцах. — То глухим притворяется, то, глядишь, слышит все. Разве можно с таким работать вместе!

Он торопливо оделся, накинул на влажную еще майку пиджачок, подхватил фляжку и палку и, тоже не попрощавшись, пошел к коровам, которые разбрелись вдоль берега.

— Пора двигаться! — крикнул он мне издали и улыбнулся, сгоня хмарь с неказистого скуластого лица.

Солнце уже перевалило зенит, и теперь трудно было смотреть на воду — река горела белым, отраженным огнем, а плоский островок, на котором я недавно стоял, точно сгорел и обуглился в этом раскаленном добела сверкании.

Берег опустел. Остался в воздухе запах стада, но и он вскоре развеялся.

Александр Сергеевич Бугорков, как я ни упрасивал его, не решил мне брать с собой Леля.

«Я его в поле выведу только на будущей год, он у меня поле увидит только в июне будущего. А ты возьмешь его глупого, он и отобьется от рук. У него еще страсти-то охотничьей нет! А в поле потаскаешь, так и совсем заглушишь ее. Одно и останется: привязать к березе да пристрелить. А я его до года-то выдержу: чуть проснется у Лелюшки моего и силенка будет в самый раз... Он у меня — у-ух как! — полетит по лугам... Челночок поставлю в мае на пустом поле, а когда бекас на крыле будет, вот тогда и поведу его — пусть гоняет. Бекас-то вжик-вжик и ушел, а Лелюшка-дурачок с языком высунутым ко мне: «Что делать, хозяин?» Вот когда он у меня спросит, что делать-то ему, тогда я возьму его на шнурочек и к бекасу. Замечу, где бекас шумовой с лету западет, и с подветра поведу. Вот уж тогда не дам гонять! Тогда уж он мой! Охотник охотника сразу поймет. Покажу ему, что делать надо, он мне душу свою отдаст за это! Лучшего друга с тех пор не будет для него, кроме меня! Вот он сейчас и к тебе

вяжется, и к кому попало, а тогда уж — позволь! Тогда он еще поглядит на тебя. А испортить собаку — ума не надо. Ты вот вывел Лелюшку в поле, он побегал у тебя, погонялся за птичками, за бабочками, а знай, что собаку уже исправлять надо: испорчена собака-то! Исправить ее тяжелей, чем натаскивать заново, а я тебе скажу, натаскать английского сеттера — это, милый мой, ох какое искусство! Вот я сейчас-то и приласкаю его, и поглажу, пока щенок, а подрастет — у меня с ним будет строгий разговор. Не для баловства же я его кормлю! Для дела! В том-то и разница. А когда дело делать сообща, тут нужна строгость: ты свое дело делаешь, я свое... Ласка тут только мешать будет. Верно я говорю? Вот ты, например! Что ж ты, свое дело ради ласки делаешь? Ты его делаешь потому, что тебе так на роду написано. Ты, может, ничего, кроме этого, и делать-то не умеешь. А другой сделает кое-что и ходит злой: как же! не похвалили, не приласкали. Какой же это работник! Так и Лелюшка мой, — говорил Александр Сергеевич, почесывая за ушами размякшего, задремающего, качающегося щенка, — если его за всякое дело ласкать, привыкнет к этой дурости и работать будет только за ласку, а потом и вовсе избалуется. Это сейчас он маленький, ничего не понимает, сейчас его и поласкать можно. А как начнет работать, он от меня ласки не дождется. Ему ж и так работа в удовольствие будет! Какая еще ласка! Тому орден, того в газете похвалят... Лодырство в людях только развивать — больше ничего. Работаешь хорошо и работай на здоровье, получай удовольствие да еще в придачу и деньги за это удовольствие. Какое в том геройство? Знай свое дело и работай его лучше всех. Никакого геройства. Какая же награда тебе нужна? Награда, когда люди тебе спасибо скажут, — вот награда! Сам в свое удовольствие живу и людям делаю удовольствие. Верно я говорю? Приехал ко мне охотник, я его обслужил, он отдохнул, поохотился и мне еще спасибо сказал. Какая еще мне награда нужна! Никакой не нужно. Я вот, например, Лелюшку своего натаскаю, пойдем мы с тобой по бекасу или по дупелю, разве плохо?! А там, глядишь, и по тетеревиным выводкам! Вот мы с Лелюшкой-то с будущей весны челночок отработаем, а потом и на болото пойдем... Пускай погоняет! Когда он под присмотром-то моим будет гонять, это ему только на пользу. Я-то дам ему нагоняться вволю. Он вроде бы стараться будет: вот догоню, вот догоню! А я погляжу на него, головой покачаю и скажу с насмешкой: «Дурак ты, Лелюшка, дурак!» Он поймет, не думай! А когда поймет, тогда уж не зевай. На шнурочек и в болото — покажи собаке настоящую дичь, укажи ей на ее призвание, она тебе за это спасибо скажет. И уж тогда — позволь! Тогда уж по всей строгости требуй с нее настоящей работы. А как же! Мне ж не только на ее удовольствие любоваться, мне надо, чтоб от ее удовольствия я и сам тоже удовольствие имел. Все как у людей чтоб было! А другой сразу в поле ведет на шнурочке, с перепелкой бескрылой в кармане. Пустил бескрылку, она пролетела двадцать шагов, запала в траве, а он туда собаку: «Иди ищи!» Чутьишко есть, найдет, встанет. Пошла собака! Чего там — пошла! Дипломчик заработает... Как дети, ей-богу! Собака-то еще того удовольствия не знала, как за вольной птицей гоняться. Всю ее страсть шнурком затянуло, а шнурочек-то распустился, ослабился, забыла собака про него — все равно погонит птицу-то. Обязательно погонит! Вот тогда уж ее ничем не исправит. Ни плеткой, ни лаской — ничем. Для нее истинное ее призвание не радостью будет, а наказанием, потому что ее из-под палки заставляли: она еще не поняла ничего, а с нее уже работу требовали. Это как у людей худых бывает: за все по головке гладят, за все ласкают, чего ни сделай. А потом — не похвалят такого человека на собрании, он уж и в обиде... Он уж, как маленький ребенок избалованный,

только за конфетку все будет делать. Творят бог знает что! Начальство не похвалит, и затосковал. А чего тосковать, если ты удовольствии от своей работы получаешь, если ты сам понимаешь, что все сделал как надо. Не для начальства же ты на свете живешь! Не для того, чтоб тебя начальство похвалило. Разве это дело?! Так людей только от работы отучить можно и от удовольствия... Так только с детьми можно, да и то, если по-умному! Другому работа — наказание, недогадал — он и погнал... в магазин за бутылкой. Он от работы никакого удовольствия не получает, у него страсти к работе нету никакой. А сделал чего, его тут же начальство — и хвалит и расхваливать. За что, спрашивается? Вроде бы уж теперь хорошая работа — это чуть ли не геройство какое! Обыкновенно человек работает, хорошо трудится, хорошие деньги за то получает, живет как надо, как полагается. А ему за это еще орден. Скажешь, от зависти я это говорю? Не-ет! Сам не получал, не получу никогда и — слава богу. Я ведь не всю жизнь в егерях работаю, я ведь и на фронте был, я ведь и в колхозе немало поработал, тридцать с лишним годков, вот с такого возраста и косил, и пахал, и сеял, и конюхом работал, и не обижался никогда, если получать было нечего по трудодням — все было! Всяк бьется, да не всякий добивается. Я ведь помню, как у нас тут в в Лужках по вечерам и песни пели! И сам тоже пел. Видел мосток-то каменный через овраг? Видел небось и булыжник на дороге возле моста-то?! Вот там и собирались на танцы всякие. Это теперь шесть бабок да я седьмой зимуем тут, а раньше, когда шоссе не было, все тут и жили... Ничего! А теперь придут ли опять? Место хорошее. Думаю, расплодится народ, надоест кучей жить, придет и сюда. Куда ж ему деваться? Скажет, оглядевшись: во какое место хорошее! Молодцы, скажет, наши отцы... Построят домики со всеми удобствами, дороги проложат через лес... Так что я тут теперь, как сторож ночной, добро стерегу для будущих людей. Только вот что-то не едет никто жить-то оседло. Вот теперь с Лелюшкой зимовать тут буду, со своим дружочком серебряным... На меня в колхозе ругаются: на колхозной земле живешь! Отрежем землю! А я им говорю: режьте, если вам приятно будет вместо картошки куриную слепоту на огороде видеть. Вон весной-то огорода — желтые: все в Воздвиженское уехали. Иной раз думаешь, помрешь тут зимой и не узнает никто. Да даст бог летом помру! Летом тут народ... Так что вот, видишь, какие дела. Вот Лелюшку на будущей год натаскаю, веселей будет... С весны дам ему волю, нагоняется он у меня до одури, умишко проснется в нем, и хорошо будет. Он уж точно у меня будет знать, что птичек гонять ему можно, но никакого в этом интереса нет ни ему самому, ни мне, хозяину. Понял ты теперь? Вольная натаска, это тоже не простое дело: гоняй, делай что хочешь... Не-ет. Ты вот с Лелюшкой пойдешь в поле, а я тут по Лелюшке-то плакать буду, по загубленной его душе. Мало их, душ-то загубленных! Оставь уж одну мне на спасение. И не обижайся на старика. В чулане и во дворе хоть целуйся с ним, а в поле не дам. И не проси, не зли меня. А насчет того, что я тебе тут говорил, ты уж лучше никому не рассказывай, а то люди подумают, не понявши-то, что Бугорков, мол, хочет в свое удовольствие жить, отрежут огород и скажут: вот теперь живи в свое удовольствие... Так что ты уж помалкивай про наш разговор. — Он вскинул на меня недобрый, хмурый взгляд и добавил: — Да и сам-то я знаешь как! Сегодня одно на уме, завтра другое. Это ведь раньше говорили: бей русского — он тебе часы сделает. А теперь другая политика. Вот я и говорю: надо чтоб удовольствие человек получил от работы. Тут все правильно, по-моему. На земле без удовольствия жить невозможно».



Я обещал ему молчать и слово свое сдержал, хоть и не понимал осторожности Бугоркова. А теперь вот рассказываю, потому что Александра Сергеевича давно нет в живых: теперь он лежит на воздвиженском кладбище, так и не дождавшись обновления Лужков.

Я слушал его тогда без особого внимания, не вникая в суть размышлений о вольной натаске, о которой он даже «статейку» написал. Он, видимо, и сам это хорошо понимал: не жаловался на свою судьбу, а, как мне теперь кажется, вольно натаскивал меня, пробуждая во мне интерес к жизни.

Но я и теперь, признаться, не совсем отчетливо представляю себе, какой смысл вкладывал он в рассуждения о вольной натаске. Не хотел же он сказать, что и человека тоже надо натаскивать! Хотя что-то похожее и проскальзывало в его рассказе. Но, думаю, Бугорков не хуже меня понимал, что никакая натаска не годится человеку. Если же он порой и вкладывал некий таинственный смысл в свои рассуждения, то делал это, очевидно, для пущей важности, для красного словца, возвышая свое искусство воспитания вежливой собаки чуть ли не до педагогического искусства.

Мало ли живет на земле людей, которые простенькое свое занятие, милое сердцу и душе, готовы возвести до общегосударственной важности, забывая о масштабах, теряя чувство меры и сообразности.

Простим же и покойному искренние его заблуждения и помянем добрым словом. Его ли беда, что родился он на свет с задатками мыслителя, да жизнь сложилась так, что большая наука обошла его своими знаниями.

Думаю, что он и сам понимал всю непрочность, зыбкость своих суждений о жизни, сочиняя «статейку, которую можно петь».

Но ведь все-таки сочинял. Все-таки хотел сказать что-то людям! Хотел спеть!

До сих пор не могу себе простить, что не выпросил у него ту загадочную «статейку», спугнув старика неуместной улыбкой. Может быть, именно эта песня и прояснила бы мне все его мысли о вольной натаске, о жизни и о любви.

А Лель встречал меня в те далекие дни всякий раз с восторгом. Если же к моему приходу сидел он взаперти, то, заслышав, скулил и тявкал с подвыиванием. Выпущенный во двор, мчался ко мне и падал у ног, переворачиваясь на спину, словно бы прощения просил за то, что не смог меня встретить. Я его похлопывал по розовому животику, он вскакивал на ноги и, как жеребенок, начинал носиться по двору, выражая в беге высший свой восторг, полное свое счастье.

Глядя на него, старая и забытая всеми Найда позевывала звучно и нервно, а глаза ее словно бы блестели слезой. Отрывистый, глухой стон сводил ей челюсти, переходя в трубный какой-то рев. Но после хозяйского окрика Найда покорно умолкала и, снова укладываясь на соломе, звеня цепью, горестно поскуливала, постанывала, жаловалась на проклятое лето, на свою судьбину и на серебряного скакуна, который опять всколыхивал в ней воспоминания о зимней воле.

Я знал, что в Тополте водятся раки, но никогда не ловил их, не понимая вкуса рачьего мяса, чем всегда удивлял и даже возмущал своих друзей, видящих в вареном раке необыкновенное лакомство, съедающих, высасывающих, облизывающих буквально все содержимое красного панциря, хвоста, или, вернее, шейки, клешней и многочисленных ножек этих членистоногих существ.

...Однажды я шел со спиннингом вдоль камышистого плоского

берега и облавливал доступные для блесны глубокие плесы. В рюкзаке уже лежала хорошая щучка, солнце было высоко, и шел я к дому.

По-над речкой вилась с бугра на бугор дорога, по которой то трактор протрещит, постреливая голубым дымом, то протащится тяжело груженная машина, поднимая пыль волочащимися по земле длинными еловыми хлыстами, перевязанными проволокой.

Надо сказать, что леса вокруг Тополты потихонечку вырубали, но делали это без размаха, и сколько бы я ни ходил по лесам, мне так ни разу и не удалось выйти на лесоповал, а старые вырубки, заросшие мелким березняком да иван-чаем, были так невелики, и столько земляники вызревало на них, что они только радовали солнечным светом и буйством, словно бы глухой и темный лес распахивал перед тобой свое окошко.

Вот и теперь откуда-то издалека возили еловый лес.

Я уже без всякой надежды бросал блесну и вел ее тоже без всякой игры, когда сзади меня на дороге остановилась машина и шофер, выйдя из жаркой кабины, спросил у меня со смехом:

— За что ж ты ее так?

Я не понял, но тоже с беспричинным смехом спросил:

— Кого?

— Да речку-то! Хлестаешь, хлестаешь... Туда ехал — хлестает, обратно еду — хлестает. Поймал чего?

Он подошел и, проверив на вес влажный и увесистый мой рюкзак, сказал с добрым смехом:

— Выходит дело, есть за что! Так, что ли? Ну передохни малость, иди попробуй рачка печеного.

Опять я не понял его и, все больше заражаясь его дробным, неприятным смешочком, спросил опять:

— Кого попробовать?

— Рака печеного. Ел когда-нибудь?

Был он крепок и налит силой, этот странно веселый человек, замазавшийся в душной кабине. Грязная его рубашка была распахнута и выпростана из брюк. Под ней лоснилось шлифованное, чистое и гладкое, как морской камушек, тугое тело.

Он глядел на меня то с полупрезрительной насмешкой, то с истинным как будто весельем и душевным расположением, вселяя, однако, в мою душу какую-то неуверенность и даже робость своим взглядом. Он как бы подбадривал меня смехом, как бы говорил мне при этом: «Да ты не робей! Не трону, хотя и могу, если захочу. Но ты же видишь, я смеюсь. Видишь, какой я веселый».

— А где ж вы его возьмете? Рака-то печеного? — спросил я посмеиваясь, ощущая странную неприязнь к этому человеку, защищаясь от него смехом, который мне самому был неприятен, потому что не веселил меня.

— На коллекторе пекутся, — отвечал он. — Пойдем, посмотришь... Я что? Я как еду, останавливаюсь возле камушков, ловлю раков, солю их и к трубам коллектора проволокой... Пекутся будь здоров!

Посмеиваясь, подошли мы к горячей машине, от которой приятно пахло теплым маслом и бензиновым угаром, и я увидел под вздернутым капотом бурых раков, прикрученных проволокой к раскаленным трубам.

Под смех он снял их, обжигаясь и поругиваясь, протянул мне одного, а я, посмеиваясь, взял горячего рака за жесткую ножку...

— Сейчас бы пивка холодного! — сказал шофер, отрывая клешню и впиваясь в нее зубами, всасываясь в горячий и неприятный сок, чмокая от удовольствия. — Чего не ешь-то? — спрашивал он, посмеиваясь. — Ешь давай!

Со смешочками, с ухмылками мы уселись на густой траве, и он заставил меня попробовать розовую упруго-мокрую раковую шейку, от которой меня чуть не стошнило, так противна она мне показалась на вкус.

Шофер посмеялся над моей неполноценностью и, уплетая раков, смакуя каждый кусочек, каждую каплю сока, стал свою машину ругать, старый ее мотор, рубашка которого обросла накипью и который перегревался до того, что вода в нем кипела...

— Я ведь всю жизнь за рулем! В Узбекистане восемь лет на «Икарусе» шоферил — можешь мне поверить, это была жизнь! Теплица! Зимы нет! Весна ранняя! Земля цветет, душистая, как букет. А осенью урюк, виноград, дыни, арбузы, миндаль... Компот! Всего полно! Куда ни посмотришь, везде всякие фрукты! Ты бы рынок ихний видел! Это ж натюрморт! Тут все тебе — фрукты всевозможные, а хочешь шашлык — ешь шашлычок за двадцать копеек. За рубль ты и позавтракал, и пообедал, и поужинал! Это ж мясо, а не картошка какая-нибудь! Ло-вишь мысль? Белки и всякие витамины. А потом зайдешь в чайхану, чашку зеленого чая, если ты за рулем, и ты уже размяк, ты уже не человек, бери голыми руками, а ты улыбаться будешь от счастья, ты уже не на земле, а в небесах, с белыми крылышками... Сам понимаешь, конечно, что зеленый чай это в минуты слабости, а когда кровь играет и девочка щечкой о твое плечо трется, тут, конечно, чаю пьешь покрепче... А возьми ты узбекский плов! Его ж можно целое море съесть! Его тебе на блюде принесут, ты его посыплешь зернами граната, а он у тебя на языке тает... О, мама мия! Если ты не ел никогда узбекского плова, ты не знаешь, что такое плов! Ты вообще ничего не знаешь! Мне тебя просто жалко! Ты даже не понимаешь вкуса печеного рака! Тебе ж скучно жить на свете, я так понимаю. Ей-богу, мне жалко таких людей. Что это за люди? Честное слово, это бедные люди, которые даже не понимают, как они бедны духовно!

— Духовно? — со смехом спросил я.

— Так если ты не понимаешь вкуса жизни, это что? Если ты поел картошки с хлебом, выпил кринку молока и ты уже счастлив — разве это жизнь? Разве ты можешь быть счастливым? Я тебе никогда не поверю, если ты даже палец свой отрубишь в доказательство... Я просто пойму тогда, что ты обыкновенный дурак. Если ты мне будешь говорить, что ты счастлив, глядя на этот лес, я тебе тоже не поверю, потому что ты самого себя будешь обманывать. Если бы ты сейчас посмотрел на урюковый сад, ты бы сразу понял, что ты среди этого леса самый несчастный человек, потому что в лесу этом ничего нет, кроме малины, и та в крапиве растет. Река, да?! Ну хорошо, река есть, а если перед тобой озеро, в котором вот такие сазаны и зеркальные карпы плавают, толстолобики и форель, которую ты сачком можешь наловить без всяких усилий? Ты когда-нибудь форель жареную пробовал? Чтоб коньячок и хрустальные рюмочки, и чтоб девочка на тебя преданным взглядом, и чтоб оркестрик, и все как полагается... Стал бы ты здесь на траве лежать? Хрен с маслом — стал бы! А я все имел, я знаю: у меня ж девочки и оркестр какую ты хочешь мелодию исполнит, если ты, конечно, имеешь дублоны, — все у меня было. А грошей было столько, что ты даже в приятном сне никогда не видел. Жизнь была, а сейчас, как говорится, одни моменты... Когда с умом живешь, можно и на междугородном автобусе деньги заколотить. «Икарус» у меня был вишневого цвета. Мощный дизель. Разожжешь его на хорошей дороге, он тебе сто двадцать запросто дает, заложишь поворот на скорости, скаты поют, а ты только держи руль... Руль, понял? Не баранку. Это Дуня сидела за баранкой, чай пила. А я за рулем. Идешь на ста двадцати — сердце поет. Встречные шарахаются, а вышел на

обгон, реванешь клаксоном, тот, кого обгоняю, чуть ли не в кювет с перепугу. Ташкент—Алма-Ата. Слыхал о таких городах? Вот там я, представь себе, и работал. И деньги хорошие имел. Самому теперь не верится — сколько у меня было грошей! Вот ты представь себе: в Ташкенте помидоры уже созрели, а в Алма-Ате еще зеленые, их еще нет практически. Ловишь мысль? Были люди, конечно, не я один. Мое дело руль, дорога — здрасте, до свидания. Туда худой, обратно — как баба грудастая от пачек денег. Мне только приказ секретный, как из штаба фронта: «Боря, завтра Алма-Ата грузовая». «Есть», — говорю. Дизель подготовил, помидорами загрузил, ключ на стартер, в дизеле взрывы, нога на педали, руки на руле... и с прохладным ветром — здравствуй, яблочный город Верный! Один рейс — и ты обеспеченный человек. А сколько их было, этих рейсов! Сколько было! Апорт алма-атинский — слышал? А в Ташкенте его нет. Ловишь? Это ж яблоко, которое я сам очень любил. Его ж нельзя, например, в авоське нести. Оно ж такое нежное, что все в рубцах будет, заржавеет все, пока до дома донесешь с рынка. Это ж не яблоко, а душистый ананас.

— А вы что же, на грузовом автобусе работали? — спросил я с усмешкой, сбив этим вопросом свое дыхание и даже закашлявшись от волнения.

— Где ты видел грузовой автобус? Я пассажиров возил!

— А как же тогда? Помидоры? Как же билеты? Рейсы-то без пассажиров, а ведь билетам какой-то учет ведется, верно?

Он на меня посмотрел как на круглого идиота и дробно засмеялся.

— Ты, Ваня, когда-нибудь слышал, чтоб серый волк овец в стаде считал? — спросил меня этот веселый, дерзкий плут. — Он ведь овцу берет тоже без всякого учета. Ловишь? Учет у нас в карманах был. Диспетчер — свой человек, он тоже имел свое. И все было, как в моей родной Одессе: покупаешь на черном рынке американские джинсы кишиневского производства с бразильскими наклейками на заднем кармане, которые изготовил Дезик в своей подпольной мастерской... Понял теперь? Ты, я гляжу, совсем плох: раков не любишь, плов узбекский не ел и в духовной жизни ничего не смыслишь.

— Вы из Одессы? — спросил я, устав уже от предательской своей ухмылки.

— Нет, Ваня, я из Москвы, но я родился в Одессе. Во всяком случае, там родилась моя мама, потом, как мне объяснили, родился и я, но нашу семью почему-то потянуло в столицу. А человеком я был в Ташкенте. Это звездные часы моей жизни.

— А чего ж уехали от такой жизни?

— Сказку про орла слышал? Лучше один раз крови горячей напиться, чем век падаль клевать. Вот и я так жил, как Пугачев. Понял.

— Романтик, значит? — засмеялся я. — Орел!

— Почему романтик? Реалист... Я знал, на что иду. Я даже бровью не повел, когда мне срок намотали... Должен признаться, меня, конечно, огорчила оговорка насчет сто первого километра, этот лесной воздух меня уже напоил допьяна, и хочется сказать самому себе — хватит. Но меня пока что никто не понимает. Говорят, поживи еще годок, отдохни от городской пыли и шума. Нет, Ваня, я не романтик! На орла согласен, но где ж ты видел орла-романтика? Орел, Ванечка, реалист, — отвечал он мне, зло посмеиваясь, как бы прикидывая взглядом, чего я стою.

— Разве я говорил, что ты орел? — спросил я. — Комар-то, он тоже горячую кровь пьет. Верно? Пока его не прихлопнут.

— Хочешь сказать, что я комар? — спросил он, не переставая посмеиваться. — Осидеть хочешь?

— Ну зачем? Просто сказку иначе повернул. Она, по-моему, точнее по сути стала. Как считаешь?

Он остановил на мне студенистый свой взгляд, я разглядел плотно прижатые его, желтые, хищные ушки, а взгляд его был то ли смеющийся, то ли ненавидящий. Пружинисто поднялся с земли, вырос неожиданно грозно передо мной, чуть ли не наступая мне на руку стоптанной, грязной сандалией, и, посмеиваясь настороженно, сказал с блатной бравадой:

— Надо бы, конечно, по соплям тебе кинуть за оскорбление личности. Как ты думаешь?

— Да думаю, тебе тоже обломится,— ответил я, посмеиваясь и наперед почему-то зная, что он не осмелится ударить меня.

— Серьезно? — спросил он с такой ласковой улыбкой, что в ответ ему невозможно было не улыбнуться.

— Конечно,— заверил я его.

— Ну тогда, командир, я поеду дальше?

— Правильно.

Мы посмеялись на прощанье, он даже подмигнул мне, трогая машину в путь, а я, оставшись один на берегу, рядом с грудой рачьей шелухи, не мог понять, что произошло: то ли он меня, то ли я его.

Пришел я в Лужки в расстроенных чувствах. Перед мостиком увидел булыжники, густо заросшие травой, и стало совсем погано на душе. Я даже не расслышал, о чем меня спрашивал мальчонка, подбегавший с пронзительно-озорной радостью, с выражением бесконечной доверчивости на лице...

Он бежал со мной рядом, этот белобрысый живчик, и что-то непонятное продолжал спрашивать, заглядывая мне в глаза. Тогда я сам спросил:

— Сколько тебе лет?

— Я взосый...

— Что?

— Взосый...

— Не понимаю.

— Взо-сый!

— Ах, ты взрослый! Теперь ясно. Сколько же тебе лет?

Мальчонка, поджав к ладони большой палец, растопырил остальные четыре и словно бы бросил мне их в лицо с презрением, увидев мою усмешку.

Был он хорошо сложен, в меру головастенкий, пружинистый, азартный человек, взрослый этот житель летних Лужков, изнывающий от любопытства и праздности.

Наконец-то я с запозданием сообразил, что он спрашивал меня об улове.

— А как же,— сказал я, поддельваясь под него.— Вот такую щуку!

— Большую?

— Огромную!

— Такую огромную, как небо?

— Почему как небо?

— У тебя мешок огромный, как небо!

Это его «как небо» отвлекло меня и рассмешило. И я подумал, подходя к дому Бугоркова, что, видимо, не рюкзак мой показался ему таким огромным, а небо еще не вошло в сознание этого мальчишка, не удивило еще своей глубиной и бесконечностью — оттого и легко ему с такой небывалой смелостью сравнивать мой и в самом-то деле большой рюкзак с небом...

— Небо гораздо больше моего мешка,— сказал я ему на прощанье. Он, задрав голову, взглянул опять на мой рюкзак и лукаво улыбнулся.

— Не-ка,— сказал он с хитрецей.— Мешок больше.

Я так и не понял, шутит он со мной или мой мешок, нависший над ним темной тяжестью и закрывший для него небо, действительно кажется ему таким огромным.

Засыпая в своем чуланчике, я старался вспомнить свое детское небо, видел с улыбкой пролетающие над Москвой дирижабли, воздушные шары, но никак не мог разглядеть в своей памяти огромность неба, не мог вспомнить чувства удивления перед его бесконечностью. Помнил рискованный аттракцион в ЦПКиО: аэростат с подвешенной корзиной, в которой поднимали на высоту людей для обозрения, помнил свой панический испуг, когда отец принес меня, совсем еще маленького, к этому чудовищу, которое черной, раздутой, колышущейся массой опускалось прямо на меня оттуда, откуда светило солнышко, помнил свой крик и ужас, помнил взволнованного и тоже напуганного мною отца, который уносил меня, вцепившегося в его шею, боящегося открыть глаза, от этой страшной черноты, которая была, конечно же, больше и огромней, чем тысяча небес моего раннего детства.

А небо я увидел впервые, то есть взгляделся в его простор и глубину, когда мне было уже лет десять. Это было зимним вечером на Урале, в эвакуации. Мне кажется, я так удивился в тот вечер, увидев огромное количество звезд, что даже про мороз позабыл, и мне чудилось, будто я видел это небо во всем его объеме, взглядом ощупывая ближние звезды, переносясь к более дальним, а от тех дальних к совсем невозможно далеким, пылевидным, млечным звездам, и при этом я чувствовал всем существом, каждой своей жилкой расстояния от звезды до звезды — всю стереоскопию сияющего, синего, бездонного пространства, которое раскрылось вдруг у меня перед глазами.

А до этого зимнего вечера я, наверное, никогда раньше не видел неба или, вернее, не понимал всей его беспредельности и, вероятно, как этот мальчик, мог бы в то время сравнить земной предмет с его размерами.

И думая о маленьком своем открытии, отвлекшем меня от всех неприятностей, я заснул.

Заснул, чтобы не спать на ночной рыбалке: я все-таки еще надеялся поймать крупного голавля.

Лишь только я забросил и настроил свои донки, наживленные сильными, янтарно-жирными выползками — этими анакондами среди навозных, земляных и подлиственных червей, идущих на насадку,— как с того берега, из сгустившихся уже сумерек отчалила черная плоскодонка и, рассекая тихую воду плеса, поскрипывая веслами, направилась наискосок к моему костерочку.

Этого еще не хватало!

Я окликнул гребца, грубовато и бранливо сказал ему, чтоб он не наехал на мои снасти, а он остановился посреди реки и, сносимый медленным течением, спросил у меня тоже бранливо, хотя и с некоторой робостью, как у начальства:

— Чего ж теперь? Сено, что ль, нельзя взять? Иди-ка ты! Теперь-то как, можно? Не помешаю?

— Теперь давай гребь...

Босой, в засученных брюках, он вышел из неказистой лодочки, похожей на старое свиное корыто, подтянул ее к берегу и, загремев вилами, взял их наперевес и пошел к темнеющим коленкам, не удостоив меня вниманием.

Зашуршал в тишине сеном, а потом, скрывшись под лохматым санным наметом, засеменял вниз к реке, светлея в сумерках босыми ногами.

Так продолжалось долго, пока чуть ли не вся копенка каким-то непонятным образом перенесена была и уложена, увязана на маленькой лодочке. Для гребца в ней не осталось места.

— Помочь? — спросил я у него.

— Не надо. Чего помогать-то?!

— Да вот смотрю, соображаю, как вы сами в лодочке этой поместитесь.

— Помещусь, как всегда, — ответил он мне.

А через некоторое время лодочка его, превратившись в плавучую копенку, была уже на середине реки и вскоре растворилась в потемках противоположного берега.

Тишина, пропитанная запахом сена, пронизанная плывущим, блуждающим в темноте и каким-то раскачивающимся звоном кузнециков, наконец воцарилась в заснувшем мире. Лишь изредка всплескивались рыбы, а в камышах высвистывал погонщик, как будто кто-то взмахивал и рубил воздух сплеча жестким прутом, издававшим ветреный всвист.

Закрякала дикая утка в тишине. Заурчали, пронзительно заквакали на всю реку лягушки, точно включили старый патефон с заезженной пластинкой.

Робко запел поздний соловей и умолк, не справившись с затеянной песней.

Я лег на спину, положив голову на рюкзак, и с неожиданной, блаженной улыбкой вперился взглядом в светлое ночное небо.

Никакой тишины не было в эту ночь! Да и ночи как будто бы тоже не было, потому что все сущее на земле, молчавшее днем под лучами солнца, ожило, осмелело, распоясалось, расшумелось и так озвучило все вокруг криками, свистом, песнями, плеском и криканьем, что дневной гам и не шел в сравнение с шумом этой светлой, живой ночи, когда спал лишь человек — это идолище поганое, от которого в страхе пряталось днем все живое и вольное.

И сам я тоже, словно бы освободившись от человека, от власти его надо мной, чувствовал себя в эти минуты сытым зверем, потерявшим всякий страх... И мне даже не по себе стало, когда в небе на трехсотметровой высоте прошел надо мной, закрыв своей черной крестообразной тенью тусклые звезды, двухмоторный «ИЛ-14», неся во тьме красный и зеленый аэронавигационные огни на смутно угадываемых крыльях...

В его ревущем грохоте потонули все земные звуки, будто он протюжил, как танк, затоптал, разрушил тишину летней ночи, нависнув надо мной мрачным скольжением черной тени, распростертостью своих крыльев, голубым мерцанием кабины и освещенных иллюминаторов. Мне показалось даже, что лица моего коснулось жаркое дыхание его ревущих моторов и запахло в воздухе выхлопными горячими газами...

Тень его проскользила и скрылась, мелькнул на прощанье мигающий красный огонь на хвосте, а вскоре и звук уменьшился, разжился и совсем пропал, как будто его и не было.

Но перед мысленным моим взором все еще висела надо мной текучая тень его металлической оболочки, фосфоресцирующих стекол кабины, за которыми сидели, пролетая надо мной, два пилота в креслицах, сидел механик среди них, а за переборкой штурман... У них были зеленоватые лица, освещенные сияющим фосфором приборов, а второй пилот, которому, как и механику, нечего было делать в спо-

койном полете, рассказывал, может быть, веселый анекдот, и оба они смеялись, посверкивая зелеными огоньками глаз и зубов, не ведая о моем зачарованном, тайном взгляде, о пещерном моем раболепии перед пролетающим надо мной ревушим птеродактилем.

В эту ночь я опять, как в далеком уральском детстве, казалось, постиг глубину ночного неба, в котором пролетел самолет, в котором потом опять летали другие самолеты, невидимые глазом, высотные истребители, распространяя в глубинах неба звуки своих турбин, похожих на звуки мирно гудящих примусов, но вдруг взрывающих округу бомбовым каким-то грохотом, взрывом, рвущим барабанные перепонки, когда эти маленькие и невидимые самолетчики, утонув в небесах, переходили в скоростях звуковые барьеры. Потом они снова мирно гудели среди звездочек кухонными примусами... Но умолкали на время машины, и опять затевали кваканье оглушенные лягушки, снова всвистывал привыкший ко всяким грохочущим звукам погоныш, покрывала утка, собирая выводок утят, всплескивали рыбы, кричала сова в лесу и дышала река, пошевеливая заросли камыша.

Я лежал на теплой земле, еще не успевшей отдать дневное тепло, и улыбался, глядя в небо, по-детски до мурашек восторгаясь бесстрашием людей, уходящих в глубины этой бесконечности, в бездонность ночи, которой как будто бы и не было на земле.

Сбоку от меня на перекладине темнел силуэтом на фоне светлой реки закопченный котелок с остывающим чаем. Свежий воздух словно бы давил на меня всей подзвездной тяжестью, лишая меня сил подняться. Я лежал, точно был врезан в это стекловидное, прохладное и тяжелое вещество, лежал на самом дне космического океана, и мне было дьявольски приятно сознавать свое бессилие перед его бесконечностью. И в эти счастливые минуты я вспомнил что-то изречение: «Человек бессилён, но и велик, ибо сознает свое бессилие».

А иначе как же жить под этим небом? Как совместить в себе, сохранить в гармонии восторг перед звездными этажами неба и бессилие лежащего на дне, придавленного тяжестью воздушного столба, расплющенного на земле? Великие помыслы и ничтожные возможности? Как обойтись без этой спасительной фразы, улетающей взглядом в бесконечность? «Ты бессилён, но ты и велик, сознавая свое бессилие».

Все-таки хорошо, что дети не видят до поры до времени неба. Вероятно, природа мудро позаботилась об этом, лишив детей ощущения его безумной бесконечности. Перенести спокойно и выстоять перед этой недоступной глубиной способен, наверное, только возмужавший человек, с окрепшей, сильной психикой.

И может быть, неспроста чем старше человек, тем чаще и задумчивей глядит он в небо, и неспроста придумал себе красивую легенду о вознесении души после смерти... Не смог теперь, авось смогу потом.

Кто мы, земляне? Где наш истинный дом?

...Меня отвлек от праздных этих размышлений тихий, еле различимый в стрекоте кузнечиков, кваканье лягушек и шуме далекого самолета робкий перезвон колокольчика, который вдруг напомнил мне, зачем я здесь, на берегу реки. Силы проснулись во мне, и я забыл, слава богу, про небо, превратившись в малое дитя, которому очень хотелось поймать рыбу. Хорошую рыбу! Упористую, сильную, красивую и губастую рыбу! Предел мечтаний в эти славные праздные дни моей жизни, пролетавшие как легкий вздох.

Теперь я даже не помню точно, когда это было — пять лет назад или вчера. Или, может быть, все это только будет когда-нибудь: лет через пять или завтра... Тополта, текущая в песчаных берегах, ка-



ким-то чудом продолжающая течь, не проглоченная этими сухими и горячими дюнами, которые, казалось, готовы были всосать всю ее воду без остатка; настланные течением каменистые островки, поросшие острой осочкой, писк кулика-перевозчика, крестики его следов на грязи; прозрачная вода, втекающая в раскрытые пересохшие губы, ее тростниковый запах, не утоляющий жажду, шумная, гудящая и звонкая ночь над этой рекой; ныряющий синий зимородок...

Было ли это на самом-то деле? Что-то мне и самому уже не верится в это, хоть перечеркивай все написанное как выдумку, как дикую блажь уставшего от города человека, пустившегося в своем воображении в придуманную страну.

И все-таки — было.

А вот будет ли еще когда-нибудь — не знаю. Думаю, что нет, хотя и хочется верить, что будет...

## 13

Дождя как будто бы и не было. Но мостовые и тротуары не просыхали от буса, невесомо висевшего над городом, а машины по самые крышки были обметаны грязью.

В Москве на улицах он почти неощутим, этот бус. Лишь где-нибудь за городом, на опушке голого леса, на мягкой, отволглой листве среди потемневших стволов, видишь, как тают в тумане дальние деревья, как смягчены и размыты печальные поля и перелески, как черна пахота, как светятся молочно-белые капли на тонких ветвях берез, зацепившись за маленькие зимние почки. И невидимый этот дождь, это серое облако, опустившееся на желтую землю, пахнет холодными мертвыми листьями.

В Москве же это только блеск асфальта и словно бы из пульверизатора окрашенные грязью машины, машины, машины...

Из «Детского мира» вышли двое и направились вниз, к Неглинной. Он был одет в долгополое кожаное пальто с потертостями на швах. На ногах высокие большие ботинки, похожие на боты, в которые были заправлены брюки, а на голове болгарская шапочка — маленькая, с меховыми ушками, крошечным козырьчком, сидевшая на голове вызывающе некрасиво, обтягивающая голову и превращающая ее в какую-то птичью хищную голую головку. В одной руке у него был пластмассовый красный трактор в полиэтиленовом мешке, а в другой — рука женщины, идущей рядом, как ребенок.

Они шли среди людей в задумчивом молчании, точно наслаждаясь мокрой прохладой. Он, не выпуская руки, смотрел вперед, горделиво откинув стиснутую свою головку, а она смотрела под ноги. Шли они медленно, их обгоняли прохожие, а встречные напарывались на них как на препятствие и, торопясь, обходили стороной, поглядывая мельком на головку кожаного великана.

— Куда ты меня ведешь? — спросила женщина, взглядывая на него.

А он со значением ответил:

— Туда, — вызвав улыбку на лице женщины и какое-то еле уловимое движение тела, которым она как бы сказала ему: «Ну и хорошо. Я согласна. Веди меня туда».

Коля Бугорков сразу увидел, услышал, разглядел, обнял всеми щупальцами своих чувств Верочку Воркуеву, увидел ее покрасневший носик, услышал тихое ее молчание, полное покорности и любви, и ощутил даже запах ее...

Он замедлил шаги и, удивленно поглядывая на удаляющуюся пару, которая уже заворачивала на Неглинную, остановился в нерешительности.

«Неужели это она? — с испугом подумал он. — Та самая Верочка Воркуева, которая... Бог ты мой! Как же она изменилась! А это кто же? Муж ее? Странный мужик...»

Внешне Верочка Воркуева совсем не изменилась, хотя и похудела за эти годы. Бугоркова больше всего поразила внутренняя ее перемена, ее тихая, незнакомая ему покорность и умиротворенность. Он никогда, даже в лучшие минуты своей жизни, не мог бы представить себе, чтоб Верочка Воркуева была бы так же спокойна и тиха рядом с ним.

Все, кто знал Верочку Воркуеву, считали ее счастливой и беззаботной женщиной, которой повезло встретить в жизни мужчину, имевшего о семье самые лучшие и высокие представления.

Через шесть месяцев после свадьбы он уже целовал свою жену на пороге роддома, принимая из рук нянечки легкий сверточек с сыном, который, как это ни странно, был вполне девятимесячным, упитанным и полновесным ребенком. Впрочем, ускоренные роды Верочки Воркуевой никого особенно не удивили: такие случаи нередки в наш торопливый и энергичный век.

А сама Верочка, словно бы еще не совсем понимая, что с ней произошло, была очень испугана. С лица ее не сходила робкая улыбка, будто, родив мальчика, она совершила что-то такое, к чему сама еще не успела как следует подготовиться. Хотя уже и тогда, в первые минуты встречи с родными, в счастливых ее и утомленных глазах угадывалась эдакая разудалая беззаботность, точно она радовалась безмерно, что не девочка появилась на свет, а мальчик и ей еще будет с кем покуролесить в жизни.

Но больше всех, казалось, радовался сам Тюхтин, который рождением сына как бы подводил черту под недавним прошлым юной жены. Внешние проявления этой радости так умиляли Анастасию Сергеевну и Олега Петровича, что они тоже, конечно, были счастливы видеть поглупевшего от восторга зятя, этого жердяя, как называл его Воркуев, сдабривая грубоватое прозвище улыбкой.

По паспорту Верочка стала Тюхтиной, но девичья фамилия приросла к ней на всю жизнь. Никто из старых знакомых не вспоминал о ней иначе как о Верочке Воркуевой, не в силах, видимо, расстаться с благополучной и очень подходящей к Верочке фамилией. Порой даже казалось, что это вовсе не фамилия, а ласковое прозвище.

Люди говорили: «А мы Новый год у Верочки Воркуевой встречаем». Или говорили так о семье Тюхтиных: «к Воркуевым», «у Воркуевых».

Нельзя сказать, что такое положение было очень приятно Тюхтину, но он объяснял это тем, что Верочка была наделена чудесным свойством без всякого с ее стороны усилия покорять людей, распространяя вокруг себя притягательную силу своей счастливости, удачливости, воркотливую доброту и внимание к людям, которые, казалось, именно за эту счастливость и удачливость и обожали ее.

Она и всегда-то была довольно мила, а после родов, чуть-чуть похудев, еще больше украсилась, войдя, или, вернее, вбежав, в счастливую пору материнства, и почувствовала вдруг бесценность свою и необходимость присутствия на земле.

Именно это, пожалуй, больше всего остального украшало ее — чувство собственной своей бесценности и незаменимости. Ведь, если

подумать,— все, что создано природой, в высшем смысле бесценно и необходимо на земле, будь то комар, паук, рыба или ящерица...

Какое место было определено в этом многообразии самой Верочке Воркуевой, она не знала, никогда об этом не задумывалась и, конечно, правильно делала, но то, что ее присутствие необходимо на земле — в этом она никогда не сомневалась...

В ее взгляде, который всегда чутко передавал все оттенки состояния ее духа, ее настроения, после родов появился какой-то страдальческий восторг, то мгновенно и бесследно исчезающий, то вдруг чернящий ее очень живые, текучие, как серый дым, влажные от этого глубинного едкого дыма глаза. Особенно если она вдруг слышала плач своего ребенка.

Жили они в маленькой комнате воркуевской квартиры, в той самой комнате, которую до сих пор вспоминал Коля Бугорков во всех подробностях, хотя от них теперь и следа не осталось, если не считать зимнего пейзажа на стене и розового торшера.

К тому времени, когда Верочка Воркуева окончила университет, получив свободное распределение как замужняя женщина, имеющая ребенка, Тютину тоже вручили диплом инженера, и он ушел со стройки в производственно-технический отдел управления.

К тому же примерно времени Олег Петрович и Анастасия Сергеевна, устав звать к себе на «дачу» дочь, которая категорически отказывалась выезжать туда летом, продали домик и купили автомашину «Москвич». После этой покупки остались еще деньги, и Воркуев, прощая весь свой очередной отпуск в поездках, купил деревенскую избу где-то в трехстах километрах от Москвы на берегу чудесной речки, название которой он никак не мог запомнить: то ли Пополка, то ли Тотолка, но название села, конечно, не забыл — Воздвиженское. Купил за четыреста всего рублей, и хотя документов на этот дом у него не было, так как нужна была прописка в Воздвиженском, зато ему удалось оформить на избу страховку как раз на четыреста рублей, так что в случае чего он рассчитывал вернуть свои деньги.

В общем, к тому времени в жизни Воркуевых и Тютиных изменилось очень многое.

Никто из них и предположить, конечно, не мог, что село Воздвиженское стояло на речке Тополте неподалеку от Лужков, в которых доживал свой век старый Бугорков. Ничего, разумеется, не знал об этой новости и сам Коля Бугорков, который тоже к тому времени окончил институт и, направленный на работу в НИИ деревообрабатывающей промышленности, стал заниматься там довольно скучным делом: проектировал установку вентиляционных устройств в цехах мебельных фабрик, воюя при помощи пневматических отсасывающих механизмов с вредной древесной пылью, опилками и прочим мелким мусором, который потом опять использовался в производстве древесных плит.

Обо всем этом, может быть, и не стоит говорить, но несколько слов сказать все-таки нужно, потому что Бугорков, как множество молодых специалистов, мечтал совсем не о таком прозаическом деле и принялся на первых порах за свою работу в институте с некоторым холодком, подумывая о переходе на производство, но в отличие от многих быстро втянулся и со всей искренностью уверовал в то, что он занимается одним из самых важных дел на земле — охраной здоровья людей, работающих в пыльных цехах. Так оно, конечно, и было на самом деле, хотя для Бугоркова это высокое представление о собственном труде являлось своеобразным допингом на первых порах, пока он не втянулся, не привык просто и качественно делать свою работу. Все-таки привычка к работе куда как важнее и надежней высо-

ких слов, даже если эти слова и справедливы. Иначе как же быть людям, занятым менее благородным и высоким делом? А Коля Бугорков в силу своего характера быстро привык к работе, или, как теперь говорят, адаптировался, и, успокоившись душой, освободил все силы и всю энергию для той именно работы, которую ему нужно было каждый день выполнять независимо от настроения. Как, впрочем, и Тюхтин, который, перейдя с производства в управление, в «контору», как он стал говорить со временем, скучал на первых порах, заваленный чертежами, синьками и бесконечными расчетами, и тосковал по настоящему делу. Но нахлебавшись в своей жизни обжигающих, морозных ветров на бетонных площадках строящегося днем и ночью дома, заработав жесточайший радикулит, устав от постоянного неуютя стройки, от неизбежной грязи и даже от тяжелой преснятины колючего бетона, он теперь не очень-то хотел снова надеть пластмассовую каску, ватные штаны и валенки. В первые дни на новом месте он испытывал удовольствие от одной лишь мысли, что ему не надо переодеваться: можно выйти утром из дома в чистой рубашке и ярком галстуке, в отглаженном костюме и начищенных ботинках и весь день проработать в этой одежде, а в обеденный перерыв пойти в столовую вместо ближайшего магазина, в котором от тебя шарахаются, как от черта, боясь испачкаться... Конечно, и там тоже была своя, мало кому понятная прелесть обеденных перерывов, когда тебе, окоченевшему на высоте, принесут ребята из бригады мягкий батон и двести граммов колбасы, отдельной или докторской, нарезанной толстыми ломтями, а в особенно лютые морозы и сто пятьдесят для согрева, после которых ты вовсе и не опьянеешь, а, как какой-нибудь француз, привыкший с детства обедать с вином, почувствуешь вдруг блаженное тепло в голодном желудке и прилив нежности к друзьям в измазанных ватных, толстозадых стеганках... И как же вкусна покажется тогда холодная колбаса и пушистый, обломленный, или, вернее, оторванный, мягкий кусок белого хлеба в черствых твоих руках!

В отличие от Бугоркова Тюхтин знал, на что он идет, расставаясь со стройкой: тут был и проигрыш в деньгах, что для него, человека семейного, было важно; тут была та занудливая кропотливость, связанная с чертежами, которая утомляла его больше, чем прежняя работа на стройках, и, надо сказать, что Тюхтин, начиная учиться в институте, тоже мечтал о другой карьере, но пока его устраивало и это место в ПТО управления. И он не прибежал, как Бугорков, к высоким словам, чтоб удержать себя на месте и обрести душевное спокойствие. Он не то чтобы привык к своей новой работе и смирился — он себя чувствовал бездомной собакой, замерзшей на холоде, которую наконец-то пригрели добрые люди и приютили в тепле. А Верочка Воркуева была просто счастлива за него.

Но, в общем, оба они — и Бугорков и Тюхтин, — независимо от всех приходящих причин, были каждый на своем месте. Особенно, конечно, Тюхтин, хорошо знавший производство. Оба они выполняли то дело, которое им полагалось выполнять, ничем не отличаясь от великого множества незаметных тружеников, которые утром без особой охоты встают по будильнику, стараясь обмануть время и хоть на минуту забыться после звонка в сладком сне, а придя на место, включают в привычный ритм своих дел и работают, как все, и зарплату получают, как все, не забывая о своих личных интересах, о свободном вечере, о субботе и воскресенье, не особенно переживая за производство, когда врач районной поликлиники выписывает им больничный лист, зная отлично, что производство в эти дни обойдется без них...

Есть какая-то завидная простота и прочность в их отношениях с жизнью! Когда подворачивается случай придумать что-то новое, они

придумывают и внедряют, радуясь премиальным деньгам. Они лишены каких-либо комплексов, с полным основанием считая, что в жизни им нужно делать именно то, что они и делают, и что никакими особыми талантами они не отличаются, а стало быть, и нечего дурака валять, стало быть, надо как следует выполнять основную работу, чтоб не пришлось потом краснеть перед начальством и переделывать сделанное.

Со временем в таких людях вырабатывается приятный профессиональный скепсис, которым они бравируют друг перед другом, ибо этот наигранный скепсис, это утонченное брюзжание и даже как будто пренебрежительное отношение к своей работе возможно только у людей с огромным профессиональным опытом. Это своего рода престижное дело. Ничего общего с неудовлетворенностью или отчаянием неудачника. Вовсе нет! Хотя и такие случаи, конечно, бывают. Полу-детские их игрища напоминают порой похвальбу известного монтера, которому связать три провода легче, чем палец... обмочить.

То есть эти люди со временем начинают как бы небрежничать по отношению к делу, как бы выполнять свои обязанности без прежнего старания и напряженности. Как опытный шофер, который, сидя за рулем, словно бы не машину ведет, а чай пьет у тещи — никакого напряжения в руках и во взгляде, и кажется порой, что не он крутит руль на повороте, а сама машина без его помощи поворачивает в нужном направлении, а он только небрежно помогает ей вписаться в поворот, хотя обманчивое это впечатление мгновенно исчезает возникни на дороге аварийная ситуация: строгий расчет, интуиция, глазомер, координация движений — все тогда приходит в действие, и шофер преобразается на глазах, так и эти люди, уставшие от высокого профессионализма, позволяют себе некоторый скепсис, некоторую расслабленность и как будто бы полупрезрительное, полунасмешливое отношение к делу своей жизни.

Свежему человеку могут они показаться очень неприятными субъектами, особенно если этот свежий человек горит какой-нибудь новой идеей.

Начальство редко балует их похвалой, но им достаточно, если их не ругают. К похвалам же относятся они с юмором, хотя этот юмор обладает скорее защитными свойствами, чем сатирическими.

Для летчика высшей оценкой его профессиональных качеств является слово «надежный». То же самое можно сказать и о них — надежные инженеры. На свете нет людей добросовестней в работе и честней, чем они. А если надо, они могут работать и в выходные дни.

У каждого из них в свободное время, когда они отключаются от дел, есть свои увлечения: шахматы, рыбная ловля, цветы на садовом участке, если он есть, или фруктовые деревья, автомобиль, у кого он есть, хотя чаще всего у них нет автомобилей, а если и есть, то не дорога и не скорость волнует и увлекает их, а возможность покопаться в моторе, отрегулировать клапаны или тормозные колодки, заменить какую-нибудь деталь или поставить электронное зажигание взамен старого. Кстати, для усовершенствования рыболовных снастей они не жалеют ни времени, ни сил, изобретая поплавки особой конструкции, которому не страшна волна и который не ныряет то и дело под воду, а все время находится на поверхности; изобретают ледорубы, режущие лед, как масло; конструируют самоподсекающие донки, но, увы, мало кто из них может похвастаться хорошим уловом: в рыбной ловле чаще выручает интуиция и шестое чувство, чем усовершенствованная снасть.

Бугоркову и Тюхтину было, конечно, еще очень далеко до той надежности в работе, которая отличает истинных профессионалов от только что вступивших на этот путь.

Но, разумеется, Тюхтин продвинулся в этом смысле гораздо дальше Бугоркова, еще не знавшего производства и практически не нюхавшего жизни.

Тюхтин вообще очень многим отличался от Бугоркова, о котором он был слышан, хотя и не знал его лично. Тюхтин, например, о деньгах имел свое собственное суждение. Он считал, что современный мужчина обязан зарабатывать деньги, и чем больше, тем лучше. Ибо деньги, как он полагал, что-то вроде добычи доисторического охотника — чем толще бумажная пачка, тем больше убитый кабан, которого он приносит в свою пещеру. Современный мужчина ассоциировался у него с охотником, который уходит из дома добывать пищу, одежду и возможность отдохнуть, так сказать, у костра.

Именно за это любил он деньги и самолично вел домашнюю бухгалтерию, не доверяя тонкого этого дела жене. Верочка Воркуева долго не могла привыкнуть к этой странности мужа, и поначалу ей казалось, что муж ее скряга, о чем она даже подумать боялась всерьез. Но со временем убедилась, что Тюхтин не жаден, что она сама так же свободна, как и он, в отношении общих денег, и если ей нужна была какая-то незначительная сумма для незапланированной покупки чулок или модных туфель, муж беспрекословно выдавал ей эту сумму, хотя и отмечал в своей тетрадке потрату.

«Когда ты начнешь работать, нам будет легче», — часто говорил ей Тюхтин.

Им и в самом деле стало легче, но Верочка Воркуева без всяких на то намеков со стороны мужа первую же свою зарплату всю до копейки вручила ему, по привычке отчитавшись в сделанных по дороге домой покупках, в том числе и в бутылке водки и «шампанского на пропой».

Странное дело! Ей при таком образе жизни легко было оставаться беззаботной, как в детстве, и как будто бы даже счастливой от сознания, что ей не надо вести денежное хозяйство, думать о расходах, о квартплате, о сбереженных на удовольствие рублях, но она почему-то очень стеснялась говорить об этом людям, скрывая это положение вещей даже от близких. Словно бы о ней могли подумать как о несвободной, обиженной ~~мужем~~ женщине, которой не доверяют вести домашнее хозяйство. Она-то понимала, что ничего подобного нет и не может быть никогда, но что-то в ней самой протестовало порой против заведенного обычая отдавать все деньги мужу. У нее все время оставалась в душе какая-то странная и непонятная ей самой надежда на свою будущую свободу, как будто бы впереди ее ждала какая-то новая, более приятная и вольная жизнь, когда она, получив зарплату, сможет сама распорядиться ею по своему усмотрению, по прихоти, по капризу... Хотя это было и в самом деле очень странное чувство, потому что Тюхтин, забирая у нее деньги, удовлетворял любой ее каприз, любое ее желание, если, конечно, оно реально.

Видимо, все-таки дело-то было в том, что, когда она отдавала деньги мужу, у нее сразу же пропадала всякая охота делать что-нибудь непозволительное с точки зрения логики и все ее прихотливые желания, с которыми она шла домой в дни получек, сами собою как бы переставали существовать и казались ей непозволительными и несерьезными порывами, на которые она не имела никакого права. Ну, спрашивается, зачем ей перекупать втридорога у спекулянтки, которая приходила в дни зарплаты, витая по этажам неуловимой, ускользающей тенью, наимоднейшие сапожки с перламутровым пере-

ливом, если у нее и так уже есть хорошие и прочные сапоги. Ей, конечно, хотелось — очень хотелось! — пройтись по улице в этих сверкающих высоких сапожках, но она, краснея от возбуждения и мучающих ее страстей, снимала с ноги легкий сапожок и говорила что-нибудь насчет подъема, который слишком мал для ее ноги, хотя подъем был в самый раз, или вообще притворно морщилась, жалуясь на тесноту, хотя сапожки ей были в самую пору... Но — сто двадцать рублей! Это же надо еще взаймы просить у кого-нибудь, чтобы купить роскошные, до зависти приятные, легкие, точеные, посверкивающие лаком французские сапоги... С ума сойти!

В такие дни она приходила домой усталая и разбитая, отдавала деньги мужу, который раскладывал их, как пасьянс, на столе, красные купюры к красным, зеленые к зеленым, синие к синим, и говорил при этом: «Милая моя охотница! Ты своей стрельбой сегодня свалила быстроногую газель... Ты у меня тоже стреляешь без промаха! Молодец!»

А когда она за чаем рассказывала ему с нарочитым равнодушием о сапогах за сто двадцать рублей, он удивленно спрашивал у нее: «Что же ты не купила? Тебе понравились? Ты меня, ей-богу, обижаешь! Почему же ты не купила?»

Она сама тоже с удивлением поглядывала на мужа и, веря в его искренность, очень довольна была, что не потратила денег на сапоги, поражаясь недавним своим страданиям. «Зачем они мне? — спрашивала она с благодарностью. — У меня же есть. А потом, тебе надо покупать новое пальто...» На что он ей возмущенно отвечал: «Мне никакого пальто не нужно! А вот красивые сапоги тебе очень нужны. Все-таки ты работаешь в таком месте, где это не просто новая обувь, а дело престижа... Обязательно купи в другой раз!»

Нет, она не имела права жаловаться на мужа! Она даже благодарна была ему за то, что он освободил ее от забот. Она уже не могла представить себе, как бы вдруг стала хозяйничать по дому, откажись он от этого дела. Она, например, понятия не имела, сколько они платят ежемесячно за электричество, и очень смутно представляла себе квартплату, не говоря уже о расходах на прачечную, в которой она ни разу не бывала за все время жизни с Тюттиным. Она только пришивала номерки к белью и складывала грязные простыни, наволочки, пододеяльники, полотенца, а уносил все это Тюттин, возвращаясь из прачечной с чистым бельем.

Еще бы ей жаловаться! Любая женщина могла позавидовать ей, и они завидовали, когда Верочка рассказывала об этом и еще о том, что муж ее даже полы моет в прихожей, когда наступает очередь. Посуду мыла Верочка Воркуева сама, но и тут успевал ей помочь Тюттин, вытирая мокрые тарелки и чашки кухонным полотенцем, перекинутым через плечо.

Никто из Воркуевых не проводил столько времени с маленьким Олежкой, сколько сам хлопотливый отец, который любил своего сына безумно, просыпаясь всегда первым, если среди ночи раздавался плач или хотя бы чуть слышное хныканье, кряхтенье, бессонное сопение маленького человека. Верочка Воркуева могла преспокойно спать, а он подбегал босой к кроватке сына и нашептывал ему, наговаривал испуганным ночным голосом что-то бессмысленно-ласковое, поглаживал потное, горячее его тельце, менял пеленки, откликаясь на сонный вопрос Верочки успокаивающим: «Спи, спи... Я обойдусь...», после чего Верочка тут же засыпала, а Тюттин кормил из бутылочки малыша. Если же надо было, вынимал его из кроватки и баюкал, прижимая к волосатой груди. Пеленал он сына лучше, чем Верочка и Анастасия Сергеевна вместе взятые, хотя женщины и опасались на первых порах, что папа оторвет сыну руку или ногу, но Тюттин быстро освоил

нехитрую эту науку. Они хоть и читали, что пеленать якобы вредно грудных детей, но остались все же верными бабушкиным традициям.

Чем старше становился Олежка, тем больше забот проявлял отец. Он не пропустил случая погулять с сыном, выкатывая вначале поскрипывающую коляску из дома, а потом, вынося Олежку, одетого по погоде, клал его, а со временем сажал в легкую, немецкую коляску, высоко поднятую над землей, с прозрачным козырьком на случай дождя или снега, и выезжал с сыном на улицу, получая огромное, ни с чем не сравнимое удовольствие от трогательных, мечтательных прогулок с сыном, ловя его полуосмысленные и какие-то восхищенно-удивленные взгляды, откликаясь на эти взгляды улыбкой, кивками и причмокиваниями, воздушными поцелуйчиками, глуповато-радостными, бессмысленными вопросами: «Эй, привет! Ну что? Что, маленький? Что, мой хороший? Что ты хочешь сказать?» Олежка в ответ тараторил на отца и, напрягаясь, краснея от напряжения, пускал слюни, изображая на лице подобие улыбки, которая для Тюхтина была самой красивой, самой радостной и самой осмысленной улыбкой, какой когда-либо одаривали его в жизни.

В коляске всегда был чистый и мягкий платок, которым Тюхтин утирал сыну слюни, делая это с заботливостью и аккуратностью ничуть не меньшей, чем это сделала бы мать.

Кстати, один чужестранец, встречая на улицах Москвы молодых отцов, гуляющих с детьми в колясках, был приятно удивлен. Ничего подобного в своей стране и вообще в европейских странах он никогда не видывал и, кажется, сделал вывод, что русский мужчина, как ни один мужчина в мире, любит своих детей, считая вполне приличным прогуливаться с детскими колясками в общественных местах... Признаться, сам я тоже ни в одной стране, в которой бывал, не видел ничего подобного.

Очень может быть, что это и в самом деле уникальное явление именно наших городов, и в частности Москвы, когда молодой и сильный мужчина везет перед собой детскую коляску с ребенком, а встретив друзей возле дома, таких же молодых, как и он сам, не проявит и тени смущения, скорее даже наоборот, подвезет свою коляску к ним, стоящим у подъезда и обсуждающим чисто мужские дела, поздоровается и вяжется в разговор, не забывая при этом о ребенке, а бездетные его приятели, которые в это время могут соображать насчет «картошки дров поджарить», ощупывая в карманах свои возможности, с пониманием дела отвлекутся от маленьких этих забот и спросят на всякий случай у занятого ребенком друга: «Толик, ты, конечно, пас?» А «Толик», кивнув на сына, ответит с усмешкой: «Заменя пацан уже бутылку высосал... Мы с ним еще погуляем... Валяйте, ребята, без меня...» И его хорошо поймут как человека, занятого святым делом.

Вот и Тюхтин не испытывал ни малейшего смущения или тем более стыда, выходя гулять с сыном, с Олежкой. Больше того, он гордился своим занятием, хотя никак и не проявлял этой гордости, до того увлекаясь сыном, до того забывая обо всем на свете, что иной раз опаздывал к очередному кормлению, за что получал нагоняй от Верочки и от тещи, которая вообще-то нахвалиться не могла зятем. Доволен им был и Олег Петрович, издавна считавший Тюхтина самым подходящим человеком для дочери.

Была еще одна особенность у Тюхтина, которая тоже поначалу не очень была понятна Верочке Воркуевой, но потом он сумел убедить ее в своей правоте: он подчеркнуто любил хорошие, добротные вещи, относясь к каждой приобретенной вещи, будь то костюм, стол или кухонная полочка, очень бережливо и, как это ни странно звучит, с



душевной теплотой, что, естественно, не очень-то нравилось Верочке в муже. Вещь и есть вещь, считала она, привыкнув не обращать особого внимания на свое «барахло».

Первое, что сделал Тюхтин, переехав жить к Воркуевым, купил хорошие деревянные плечики для прихожей, на которые заставил Верочку вешать пальто, плащ и зимнюю шубку, чтобы они не мялись. Потом купил плотную гардинную ткань и аккуратно занавесил вешалку, чтобы одежда зря не пылилась. Привел в порядок все щетки, выбросил старые, купил новые для одежды и для обуви. Под вешалкой всегда были банки со свежим гуталином — бесцветным, черным и коричневым, и Тюхтин иной раз с вечера начищал до блеска свои ботинки, Верочкины туфли или сапоги, с усмешкой уверяя жену, что он это делает с удовольствием и при этом с пользой для обуви, которая становится не только приятнее на вид, но и носится дольше... «Вещь надо беречь», — говорил Тюхтин с пугающей Верочку убежденностью в глосе.

Однажды они поссорились из-за пустяка, из-за серебряной чайной ложечки, в которой Верочка Воркуева пережигала сахар и, выколавшая его оттуда, немножко поцарапала ее ножом, за что ей Тюхтин сделал выговор. Олежка был простужен, сильно кашлял, и Верочке показалось чудовищным это замечание мужа по поводу какой-то старой ложки, она раздражилась и сказала в сердцах: «Плевала я на эту ложку! Не до нее мне! Отстань!»

«Как это плевала! — тоже раздраженно возразил ей Тюхтин. — Ты знаешь, кто сделал эту ложку?»

«Откуда я знаю!»

«Ее сделал человек! Он вложил в нее свой труд, умение, душу, частичку самого себя, потому что это была его жизнь — делать ложки, а ты плюешь! Начиталась всякой ерунды, из своих книжек носа не высовываешь — мещанство, мещанство! Мещанство, когда ты плюешь на дело человеческих рук. Вот уж действительно мещанство! Этот шкаф, стол, кровать наша, скатерть на столе — все, что вокруг нас, — оно что, само по себе, что ль, возникло? Не-ет, дорогая моя! Все это сделали люди, такие же, как мы с тобой. Как же можно плевать на все это! Это, мол, так, чепуха, глупость, я, мол, гораздо выше всего этого... Вот уж мещанство так мещанство! Человек всю жизнь имеет дело не с пустым звуком — вещь! Вещь — это одухотворенный предмет, потому что ее делал человек. Она может быть лучше или хуже, но даже какая-нибудь паршивенькая вещица, вроде твоих заколок, — даже эта заколка имеет право на уважение. А ты испортила серебряную ложечку, старинную вещицу, и бессовестно говоришь, что плевала на нее! Как тебе не стыдно?! Вот ты приди на какую-нибудь ювелирную фабрику с топором и поруби там все на мелкие кусочки, тебя ж за это судить будут. И правильно: люди старались, делали, а ты все испортила. А попала эта вещица к тебе в дом, ты уже перед ней как какой-нибудь помещик перед крепостным, самодур — чего хочу, то и ворочу... А ты с ней будь поласковой. Она тебе всю себя отдает, она твоя, но ты цени это ее покорство. Человек, который сделал ее, может быть, любовался ею, а ты плевала на нее...»

«Ты замолчишь или нет? — перебила его Верочка. — Что ж мне теперь, кланяться шкафу прикажешь?»

«Упаси бог! Ты его протирай от пыли, и этого достаточно».

В тот вечер, когда кашлял Олежка, оба они были излишне раздражены и не хотели понимать друг друга, но когда в более спокойной обстановке Тюхтин напомнил Верочке об этом разговоре, она с ним охотно согласилась, ей даже показалось вдруг, что муж ее как никто другой имеет право именно так думать о вещи, потому что сам

в своей жизни сделал много добра для людей, ей даже стыдно стало перед ним.

«А действительно,— сказала она.— Как просто! Ведь правда — куда ни посмотришь, все сделали люди. Этот дом, эту стену, комнату, обои — все!»

«Конечно! — сказал с удовлетворением Тюхтин.— Природа создала лес, реку, поле... Ты ж не плюешь на это?! А человек сделал дом, стол, подушку, чтоб ты могла отдохнуть... Вещи — это одухотворенное дело человечества, их надо беречь и любить. А то ведь иначе и другие люди будут плевать на то, что делаешь ты... Разве приятно тебе будет?»

«Ты у меня мудрец! — сказала Верочка Воркуева.— С тобой не поспоришь».

И почему-то на память пришел старый дворник, который недавно умер и которого хоронили с оркестром за счет жэка.

Звали его дядей Федей. Он ходил в белом фартуке, надевая его зимой поверх ватной стеганой пары. В руках у него всегда была метла с совком, а зимой скребок или ломик с приваренным к обушку топором, которым он скалывал с тротуара лед, или же широкая, бело поблескивающая в морозный день дюралевая лопата, с которой он чаще всего шествовал по своему участку как с секирой, взятой на плечо. Работал он азартно, с утра до вечера, никогда не оставаясь без дела, и никогда, как другие, не пользовался солью: тротуар вдоль дома в снежные зимы сухо пестрел чернотой между снежных сугробов, слегка присыпанный ярко-желтым песочком; ни слякоти, ни грязи, как на соседних участках. А весной все газоны около дома и двор были выметены с такой любовью и тщательностью, что влажная еще земля казалась сотканной из каких-то маковых крупинок: ни окурка, ни бумажки, ни горелой спички на этой крупчатой земле.

Люди хорошо знали дядю Федю и боялись его, потому что он был очень злой. Во всяком случае, он всем таковым казался, когда мрачно и медленно шел по своим владениям, ни с кем не здороваясь, не отвечая ни на чьи приветствия, а только ворчливо ругаясь, если видел беспорядок.

Верочка Воркуева однажды зимой очень испугалась, когда он, подняв с пегого тротуара окурок сигареты с оранжевым, промерзшим фильтром, взглядом, полным жестокости и презрения к преступнику, которого и след простыл, окинул проходившую мимо Верочку и процедил сквозь зубы: «За это четвертовать надо...» На плече у него был ломик с топором, искаженное злобой лицо было так страшно, что Верочка с ужасом услышала хруст костей казнимого и, ни жива ни мертва, прошла мимо дяди Феде, подобострастно здороваясь с ним.

Недавно он умер. На его место заступила молодая женщина, поселившаяся в комнате одинокого дяди Феде, и только тогда всем стало ясно, каким хорошим человеком был старый дворник и как много добра он делал людям своей злой работой.

«Ты чего так загадочно улыбаешься? — спросил у нее Тюхтин.— О чем задумалась?»

«Так, об одном человеке...» — ответила Верочка Воркуева.

«О Бугоркове?»

«При чем тут Бугорков?! Я о дворнике нашем вспомнила, о дяде Феде. Он однажды окурок с земли поднял и говорит: «За это четвертовать надо!» Я испугалась ужасно. Лицо у него оспой изрыто, носик плоский, глаза злющие, а голос как у злодея какого: «За это четвертовать надо...» Мы его ужасно боялись и ненавидели, потому что он все наши каталочки ледяные разбивал... Мы накатаем, а он разобьет. Такой противный был, а какая чистота всегда вокруг дома! Зимой су-

хо, а летом он из кишки все польет, и в любую жару, в зной у нас зелененькие газоны и земля сырая».

«И все?»

«И все... А что еще-то? Разве мало? Такие люди живут, а от них вроде бы одни неприятности. А умер такой человек — и понимаешь, что он людям только приятное делал всю свою жизнь. А когда жил, никто как будто и не замечал ничего».

«Что-то я не пойму твоих обобщений. Это я, что ль, неприятный, делающий приятное?.. Так, что ли, надо тебя понимать?»

«Какие обобщения? Я никаких обобщений не делаю... При чем тут ты? Ты про вещи говорил, а я сразу про дядю Федю вспомнила — и все... Чистый тротуар — это ведь тоже вещь... Вот и все...»

«Ох хитра! Ох хитра! — сказал Тюхтин с усмешкой. — Бежала козочка по мосточку, слизнула козочка листочек... Так я и поверил тебе!.. Признайся уж, что ты меня с дворником тем сравнила. Я ведь не обижусь, глупая... Ведь каждый человек в каком-то смысле дворник, у каждого свой двор или дворик, квартира, комната. Я свои ботинки чищу, которые сделали другие люди, а он тротуар чистил, который тоже настелили другие... Верно? Так и каждый из нас, если, конечно, есть уважение к чужому труду».

«Честное слово, я ничего и в мыслях не держала!» — радостно призналась Верочка Воркуева.

Своего мужа она считала очень умным человеком и удивлялась порой, как легко и просто умел он рассуждать о той обыденной жизни, в которой, казалось бы, нет и не может быть ничего интересного. Он словно бы всякий раз каким-то чудесным и непонятным образом делал из мухи настоящего слона, поражая Верочку, которая, в общем-то, с детства привыкла смотреть на муху с тем пренебрежением, какого заслуживало это вредное насекомое. А Тюхтин с легкостью необыкновенной доказывал ей, что это вовсе не муха, а слон. И что самое удивительное — она легко соглашалась с ним, ей даже приятно было сознавать, что она до сих пор заблуждалась в своих отношениях к мухе, которая на самом-то деле — огромный, добродушный и очень сильный слон. А мух как будто и вовсе не было, не было в жизни ничего такого маленького и незначительного, на что не стоило бы обращать никакого внимания. Тюхтин незаметно ввел и ее в мир совершенно новых, незнакомых ей чувств, заставив полюбить то, к чему она раньше относилась с пренебрежением или равнодушно.

Он совсем иначе измерял этот мир, чем это делала сама Верочка Воркуева, оставаясь при Тюхтине несмышленной девочкой, которую наконец-то взял за руку мудрый учитель жизни и повел туда, куда нужно...

«Куда ты меня ведешь?»

Вопрос этот был, конечно, случаен, но он странным образом заключал в себе истинный и тревожный смысл неосознанного еще, но очень серьезного вопроса к Тюхтину. А он отвечал ей:

«Туда».

В ответе этом, тоже, конечно, случайном и невразумительном, не было никакого разрешения ее вопроса, но зато как бы сразу вырос перед ней многозначительный, сильный слон, на покато, толстокожей спине которого было легко и приятно ехать, покачиваясь и поглядывая по сторонам, не испытывая особенных забот и волнений, пребывая в мире незнакомых чувств и ощущений, неизвестных большинству людей.

Она словно бы лишней раз хотела узнать, услышать, ощутить, что она — ведомая, а он — надежный, испытанный жизнью ведущий. Так ей, наверное, было спокойнее и приятнее идти среди толпы, идти за своим мужчиной — туда...

## 14

Вряд ли кто-нибудь из знавших это семейство мог хотя бы туманно, неосознанно заподозрить в непрочности этот брачный союз. Все выглядело со стороны самым благополучным образом. Всем казалось, что молодые люди нашли друг друга, вытянули счастливый билет и можно только радоваться, глядя на них, и завидовать их счастью. Именно так все и поступали. И были правы, потому что не было ни малейшей причины для тревоги. Даже лучший друг Тюхтина, школьный его товарищ, хирург по специальности, мечтавший в школе о карьере историка, но неожиданно для всех поступивший в медицинский институт, — даже Сизов, часто гостящий по вечерам у Тюхтина со своей болезненной и очень впечатлительной женой, не сумел почувствовать, что привычка к супружеской жизни для этих людей, то есть для Верочки и Тюхтина, была просто привычкой к совместному времяпрепровождению, а не переросла в нечто большее, как это бывает, когда люди старятся друг с другом, дряхлеют телом, а с ними как бы тоже старится, дряхлеет их романтическая любовь, естественно соединявшая их всю жизнь до могилы, меняясь год от году, но не становясь от этого хуже или лучше.

Жена Сизова была влюблена в это семейство: Тюхтин был для нее олицетворением мужчины, а Верочке Воркуевой она чуточку завидовала, особенно после того, как та сказала ей по секрету, что муж по утрам приносит ей в постель чашку кофе, варить который он был мастер.

Сизовы поругались в тот вечер, вернувшись домой, и она, едва сдерживая слезы, очень жалела себя, обвиняя Сизова в черствости и равнодушии. Когда же наутро в знак примирения он, улыбаясь, вошел в комнату с дымящейся чашкой кофе, который они вообще редко пили, она рассмеялась, ей смешным показалось это обезьянничанье, и мир опять воцарился в их доме.

Пальма первенства осталась за Тюхтиным, хотя сказанное по секрету Верочкой насчет утреннего кофе было большим преувеличением, таким же, как если бы она сказала, что муж носит ее на руках... Но какой же мужчина не носил на руках любимую женщину!

Сизов был спокойным и скромным человеком. Не имея детей, он любил, придя к Тюхтиным, разговаривать, играть с Олежкой, который просил Сизова, нарисовавшего однажды ему человеческий скелет: «Дядя Сереж, нарисуй скелет... ты же обещал». «Зачем тебе?» — спрашивал Сизов. «Нужно...» «Совсем тебе это не нужно... Давай я лучше расскажу тебе о войне тысяча восемьсот двенадцатого года».

Но иногда Олечка все-таки уговаривал Сизова, и тот в подробностях рисовал карандашом скелет человека, объясняя зачарованному мальчику назначение каждой кости и косточки. Олечку еще не коснулось чувство мистического страха, которым, кстати, страдала впечатлительная жена Сизова, ужасавшаяся всякий раз, когда муж рисовал скелет: она это воспринимала так, будто Сизов рисовал ребенку самое смерть.

Флегматичный Сизов не оживлялся даже после нескольких рюмок спиртного, он тяжелеел, как губка, пропитанная водой, глубоко

садился в единственное кресло в комнате и с блуждающей, доброй улыбкой смотрел на своих друзей.

А Верочка Воркуева, в минуты веселья совершенно забывавшая о муже, как, впрочем, и он о ней, была неузнаваемо и бесконечно хороша в своем легком возбуждении, в головокружительной своей радости. Казалось, она любила тогда всех своих гостей, но особенно благосклонна была к мужчинам, и в частности к Сизову, хотя эта ее благосклонность была особого свойства. Никакого намека на чувственность, на какие-либо страстишки — ничего этого не было в кокетливом и доверчивом поведении Верочки Воркуевой, которая чаще выбирала именно Сизова предметом своего ласкового и неназойливого внимания, словно бы вдруг находила в нем родственную душу или что-то такое хорошее, чего он и сам не мог разглядеть в себе.

«Какой ты славный человек! — как бы говорила она ему. — Но посмотри и ты на меня. Я тоже очень добрая и хорошая... Давай друг друга любить за это... Просто так... Разве нельзя? Я понимаю, у тебя жена, а у меня муж. Но давай все равно потихонечку любить друг друга. Кто это выдумал, что нельзя...»

Что-то в этом роде наговаривала порой Верочка Воркуева дремотно-счастливому, улыбающемуся Сизову, которого никакими силами нельзя было вытянуть из глубокого и удобного кресла. Но зато, как мудрый и глазастый осьминог, он сам запускал из своей засады щупальца — взгляды, ловя ими и притягивая к себе доверчивую и раскрытую душу милой хозяйки, понимая эту ее доверчивость по-своему. В его осоловшем взгляде появлялась тогда какая-то алчность, и казалось порой, что он готов перейти границы дозволенного, тревожа всякий раз чувствительную свою жену, которая остреньким взглядом как бы проникала в тайное тайн мужа, ужасаясь дьявольской черноте его помыслов... Она очень возбуждалась в такие минуты и чуть ли не висла на шее у Тюхтина, не отказываясь от его полупьяных дружеских поцелуев, которые порой бывали и не такими уж дружескими. Но было заметно, что она это делала в отместку Сизову. Впрочем, она и не скрывалась, играя свою какую-то роль в этой игре.

В общем, это бывали вечера масок, или, вернее, были маскарады без масок, если можно так сказать, вечера дрессированных бесенят, запертых в железные клетки, трусливо поджимающих хвосты, но все-таки бесенят, норовящих перегрызть прутья клеток и выскочить наружу. А укротителем была Верочка Воркуева, которая словно бы сама придумывала возбуждающие душу трюки, когда эти черные, хвостатые зверята, казалось, готовы были уже опрокинуть все преграды, рычали и замахивались на нее черными своими лапами, скалили клыки и не подчинялись, забегали со спины для неожиданного нападения, но, отрететировав все эти ложные выпады, в конечном итоге покорно рассаживались под арапником на отведенные места.

«А я видела, как ты целовался, — говорила после таких вечеров Верочка мужу. — Можно было и не так откровенно».

«Ну нет, дорогая моя! — отвечал ей Тюхтин. — Это ты ставишь меня в дурацкое положение. Я только стараюсь не отстать от тебя».

«А что я такого сделала? Разве я с кем-нибудь целовалась?»

«Нет, ты всего-навсего смотрела, но я-то ведь видел, как ты смотрела... Мое целование — детская забава по сравнению с твоими взглядами...»

И он, пожалуй, не преувеличивал, говоря так. Тюхтин всякий раз по-своему прочитывал ее взгляды, которые, как ему казалось, можно было читать по буквам и которые Верочка раздаривала с необыкновенной щедростью — никаких особенных знаков, тайного шиф-

ра, скрытной и сложной игры: все просто и ясно. Она как бы говорила своим зыбким, отрешенным взглядом: «Ты мне очень нравишься, ты безумно красивый мужик, ты самый сильный в мире, и я готова с тобой на все... Но очень боюсь. Ужасно боюсь!»

С некоторых пор Тюхтина, который спокойно относился к этим Верочкиным заигрываниям, стала не на шутку настораживать откровенность и беспечность жены, ее безоглядная вера в порядочность мужчины, который ей почему-либо нравился.

Она, казалось, и в самом деле считала, что если все знают о ее замужестве, то уж никто никоим образом не заподозрит ее в низменном намерении. И в первую очередь, конечно же, тот, кому она уделяла больше внимания, чем другим. Если ей нравился мужчина, или «мужичок», как Верочка частенько называла близких друзей, она сразу же наделяла его всеми добродетелями, какие только могли существовать на свете, и очень обижалась и разочаровывалась, если этого «мужичка» не устраивала ее платоническая, непопулярная в наш век любовь... Никто толком не знает, что это такое, но, видимо, то чувство, которое пробуждала Верочка Воркуева, увы, не имело ничего общего с этим неземным, невинным и богобоязненным любованием, на что и рассчитывала она, очень огорчаясь, когда понимала всю тщетность своих надежд. По ее понятиям один только Сизов был настоящим «мужичком», способным на рыцарское поклонение.

Увы, она и тут ошибалась, не принимая во внимание лень и флегматичность этого человека.

Женщины, счастливые в своем замужестве, вспоминают о старых подружках, когда семейное благополучие начинает тускнеть. А Верочку Воркуеву все считали счастливой, беззаботной и чуточку бесшабашной женщиной, которая хотя и допускала некоторые вольности, но на которую невозможно было обижаться всерьез. В ней отсуптвовали свойства, которые без всяких оснований обычно приписывают женщинам, то есть она казалась людям бесхитростной и очень доверчивой, неспособной ко лжи, обману и, уж конечно, к обольщению чужих мужей.

Прощаясь с друзьями, она так искренне и так просяще-жалобно говорила им на пороге: «Приходите, ребята... Так хорошо, когда вы приходите!..» — что после этих просьб-приглашений ни у кого не оставалось сомнения, если они вдруг возникали, в ее доброте и удивительной человечности. Чуть ли не все, кто хоть раз побывал у Воркуевых, обязательно приходили снова, привязываясь к ним и говоря потом с легким вздохом приятного воспоминания: «Какие милые люди...» или «Какой приятный вечер...» — словно бы всякий раз, приходя к Воркуевым, они попадали на праздник, хотя ровным счетом ничего особенного не происходило в эти вечера в маленькой, тесной комнате. Просто людям было хорошо.

Обладая способностью легко ужиться с людьми, Верочка Воркуева без особого труда заслужила доброе к себе отношение и в издательстве, точнее сказать в иностранной редакции издательства, в которой она год спустя после окончания университета стала работать. Поступить в это издательство даже на должность младшего редактора было очень сложно, но ей помог дальний родственник отца, имевший кое-какой вес в этих сферах, которого Верочка совершенно не помнила и, кажется, даже ни разу не видела, хотя отец и уверял ее, что на похоронах бабушки он был и она должна это помнить.

«В синем костюме,— говорил отец,— голова вся белая, благородный такой... У него еще на лацкане маленький такой значок был красненький, блестященький, как из стекла... Ну как же ты не помнишь?! Кожа под волосами розовая... Он еще о бабушке хорошо так

сказал, про ее трудную жизнь, помнишь? Чем труднее жизнь, тем труднее с ней прощаться, а, дескать, легкой жизни и жалеть нечего... Неужели не помнишь?»

Но Верочка не могла вспомнить, хотя у нее и сложился образ «благородного» покровителя, которому она готова была поклониться в ножки за помощь, но не сделала этого, увидев маленького, лысенького, с двумя белыми волосиками, розового человечка, который ни с того ни с сего сам поцеловал ее руку, сказав при этом что-то о воркуевской породе, о селекции, о прогрессе, то и дело поглядывая на Верочку жирненькими глазками старого ловеласа.

Благодетель бесследно исчез с горизонта, а Верочка Воркуева прижилась на новом месте, и ей даже странным уже казалось, как это она могла когда-то жить без новых своих друзей; без стеклянного шкафа, сбоку от которого она сидела за столиком, приклеив под стекло шкафа черную копирку, служившую ей черным зеркалом; без «девочек», как она называла новых сотрудниц, очень приятных и умных женщин, следящих за модой, за новинками литературы и снова за модой, но и за всеми событиями в беспокойном мире, хотя опять все-таки за изменчивой модой; как могла она жить без Венечки Шубина, который с первых же дней коршуном набросился на новую «девочку», и Верочка, обмирая душой, замечала, как он приводил своих приятелей из других редакций полюбоваться новенькой, «случайно» знакомой с ней, хотя милый этот Венечка, которого про себя она прозвала «гребешком» за его петушиные манеры и высокую прическу золотистых волос, был, конечно, отвергнут со всеми его ухаживаниями; как могла она обходиться раньше без ворчливой справедливости заведующей редакцией, обожавшей людей, которые умели жаловаться на свое житье-бытье без нытья, тайно презирав в людях самодовольство, это величайшее грехопадение, и любившая потолковать со своими подчиненными «за жизнь»; как она могла жить без всего этого, без сыроватых и рыхлых «чистых листов» новой книги, без кропотливого вычитывания текста, которое доставляло ей одно лишь удовольствие, хотя именно за эту работу она и получала деньги,— как жила на свете без всего этого — она теперь и представить себе не могла.

Кстати, в редакции ее сразу же все стали называть не иначе как Верочкой Воркуевой, хотя никто не подсказывал людям это ласкательное образование...

Она же так полюбила новых своих друзей, с такой восторженностью преклонялась перед ними, что и обидеться-то ни на кого из них не могла, даже если с ней обходились порой без должного уважения и такта... Она словно бы чувствовала и сознавала, что единственной защитой ее пока была только добросердечная улыбка и лишь в некоторых случаях выражение печального и досадного недоумения: за что?

Правда, этого оружия было маловато, чтобы с достоинством защитить себя в особо сложных ситуациях, но их пока что у Верочки не было, и они, эти сложности, как будто бы и не предвиделись. Лишь однажды доведенный до отчаяния «гребешок», который со временем потерял всякую надежду на «оккупацию новой державочки», как он называл свои любовные предприятия, сказал ей, отбросив доску и галантность: «Вы были бы совершенно неотразимой женщиной, Верочка, если бы осмелились изменить хоть разочек мужу. Пска же вы полуфабрикат, сырая котлета, что-то несъедобное, извините...» — на что она сразу почему-то не обиделась, не нашлась что ответить, хотя вся оцепенела от предвкушения бешенства, но промолчала, а потом уже было поздно.

С тех пор у нее установились с Шубиным довольно сложные отношения — она лишний раз улыбалась ему, а он лишний раз самым изысканнейшим образом отвешивал полупоклон: ронял голову на грудь, руку к сердцу и замирал, не смея поднять очей своих.

Впрочем, она сумела нечаянно отомстить Шубину, хотя помогла ей в этом глупая случайность, мелочь, одна-единственная буква в малознакомом слове, которая и повергла Шубина в позор. Нельзя сказать, что Верочка Воркуева вышла победительницей из этого курьезного случая, она тоже пострадала, но для нее самой главное заключалось в том, что Венечка Шубин, неуязвимый «золотой гребешок», был уязвлен.

Редакцию навестили как-то зарубежные гости с туманных берегов Балтики, довольно сносно говорившие по-русски. Их приняли как коллег по издательским делам в кабинете заведующей, приготовив кофе, шоколадные конфеты, печенье и коньяк. Была приглашена на встречу и Верочка Воркуева, которая к тому времени стала уже не младшим, а просто редактором, приглашена не потому, что была очень умной собеседницей, а скорей как украшение стола, как предмет для отвлечения от серьезных дел... Был, конечно, и Шубин — знаток литературы той страны, откуда пожаловали гости.

Все было очень мило. Когда же принесли кофе, а в рюмки налили коньяк, обе стороны подняли тосты за успех дальнейшего сотрудничества на поприще культуры; от нас выступила заведующая, а от них элегантный мужчина в светло-сером костюме. После официальной части Венечка Шубин улучил момент рассказать невинный анекдот, гости подчеркнуто громко посмеялись и тоже, в свою очередь, рассказали что-то непонятное и скучное, после чего наши тоже дружно грохнули... Потом разговор растекся ручейками, речь зашла после третьей рюмочки о жарком лете на Балтике, о нудизме, процветающем на балтиморских пляжах, о странной неловкости, которую чувствует человек, будучи на этих пляжах в купальном костюме... «Это нефосомшно, нет,— говорили гости.— Это абсурд. Надо всё прочь... Так... мужчина и женщина, все... так... купаться...»

Верочка Воркуева, которая не выпила ни одной рюмки, только пригубивала, смутно догадывалась, о чем идет речь, но не могла понять, почему все это происходило, в чем абсурд и что именно невозможно... В порыве бесхитростного любопытства она задала гостям вопрос о нудизме... Гости в ожидании улыбались, вслушиваясь в ее речь и любуясь ею, а Шубин, который в момент ее вопроса как раз отхлебнул из чашечки кофе, вдруг поперхнулся, страдальчески хрюкнул носом и, фыркнув, окатил брызгами черного кофе коллегу в светло-сером костюме, сидевшего напротив. В следующее мгновение бедный Венечка Шубин с каким-то бешеным ужасом в глазах бросился вон — как потом выяснилось, он побежал почему-то за солью, — а покрасневший гость, приговаривая: «Ничефо, ничефо», — вежливо благодарил Шубина, который старательно прикладывал зачем-то соль и салфетку к желтым пятнышкам на костюме.

Все были смущены, хотя в конечном счете гости покинули редакцию с самыми дружескими улыбками, а коллега в светло-сером костюме хлопнул по-дружески Шубина по плечу и весело сказал: «Ничефо! Надо все прочь... так... купаться...» — жестом показывая, как надо «все прочь».

Стоило им удалиться, как заведующая тут же вызвала к себе в кабинет, в котором не успели еще ничего убрать, Воркуеву и Шубина. Бывшая фронтовичка, она по-бабьи зло накричала на них, обвинив в хулиганстве и безграмотности.



«А что я такого сказала? — очень обиженно удивлялась перепуганная Верочка Воркуева. — Спросила и все... Никакого политического смысла я не вкладывала в свой вопрос...»

«Какой политический смысл! — кричала заведующая. — Ты не смысл, а букву перепутала! А Шубину я выговор влеплю за игривое воображение. Надо же, испортил прекрасный костюм человеку! Теперь пятна будут... Как не стыдно!»

Шубин стоял с повинной головой и все время странно покашливал.

Верочка Воркуева ничего не могла понять.

«Какую букву, объясните, пожалуйста!» — говорила она чуть не плача.

Заведующая редакцией крикнула ей с отчаянием в голосе:

«У мужа! У мужа своего спросите, он вам все объяснит, если он у вас не такой же остолоп, как вы, сударыня, простите меня... А иностранным гостям могли бы задать вопрос и поумнее, все-таки редактор крупного издательства... И не ревите, пожалуйста... Терпеть не могу... О, господи боже мой! Детский сад... Идите все отсюда и не попадайтесь на глаза.»

В тот вечер Тюхтин, успокаивая жену, предположительно сказал ей, какую именно букву она могла перепутать.

«Ну и что из этого? Да нет! Как я могла перепутать! — кричала теперь она на мужа. — Я же знаю, что такое «ню»... Ты меня за полную идиотку считаешь, да? Я ничего не могла перепутать, а если крму-нибудь послышалось, я не виновата! А этого Шубина-пошляка я завтра убью! Какой мерзавец, ах, какой мерзавец... Ну так ему и надо! Я очень довольна... Он был просто жалок! Он, знаешь, хрюкнул сначала, а потом как фыркнет изо всех сил, я даже испугалась сначала. Думала, он нарочно... Ну так ему и надо! Его бог наказал. Но я, честное слово, ничего не могла перепутать... Ты мне веришь?»

«Конечно, о чем речь!»

«А почему ты смеешься? Вы все! Боже мой, какие вы все испорченные люди!»

«Да нет же! Я не над тобой! Я Шубина этого вдруг представил, как он хрюкнул... Ты уж не убивай его завтра. Он и так небось убивается... Всегда очень стыдно бывает, когда вот так вот...»

«Нечего жалеть! Так ему и надо...»

Она в этот вечер долго стояла под душем, прежде чем немножечко успокоилась.

Кстати, когда ее повысили в должности, она не сразу сказала об этом мужу, решив те лишние деньги, которые она стала теперь получать, скрыть до поры до времени от него. И в первую же зарплату с заколотившимся от волнения сердцем припрятала довольно внушительную разницу, словно бы украла ее у себя.

Но тицеславие победило. Она по телефону позвала друзей, купила по дороге домой вина и закусок, а когда чуть позже обычного вернулся с работы муж, стол был накрыт, Верочка бросилась Тюхтину на шею и, целуя, стала восторженно приговаривать:

«Вот, вот, вот! Видишь! Это я еще не все истратила... У меня еще немножко осталось! Я теперь буду получать на целых двадцать шесть рублей больше. А сегодня мы гуляем! Вот!»

Тюхтин тоже очень обрадовался прибавке и, поздравив, сказал:

«А что я тебе говорил? Я говорил, ты у меня отличный стрелок! Ты принесла сегодня еще одного кабана. Это уже совсем хорошо! Молодчина! В этом лесу не так-то просто подстрелить кабана! Особенно лишнего! Ах ты моя добытчица! Поздравляю от всей души! Как это тебе удалось?»

Обычно гости сами приносили что-нибудь выпить, но на этот раз Верочка Воркуева строго-настрого запретила это делать, и Тюхтин с ней согласился.

За столом были и родители. Олег Петрович рассказывал о ночном бое, о том, как он со своей ротой выбил немцев из окопов, налаживая оперативное взаимодействие наших частей, в расположении которых остался клин, занятый противником. «Выполнили задачу,— говорил он, поблескивая глазами.— Потерял четверых в этом бою, докладываю, а мне говорят: «Плоховато...» Ничего себе плоховато! Ночной бой! Не поймешь, где кто, пули трассирующие, суматоха... Четверо погибли в бою, а мне «плоховато» — вместо орденов-то... Вот так было... Это все равно что, знаете, партийного работника не хвалят. Помалкивают — значит, хорошо работает, а в основном поругивают... Так и мы, когда воевали... Редко хвалили... Я даже и не помню, честно говоря, чтоб меня командир похвалил. Не за то воевали! Так и партийный работник не за похвалу работает, а за совесть».

Его вежливо слушали, а дочь все время старалась отвлечь его от войны, но у нее ничего не получалось.

Поздно вечером на кухне он говорил своему соседу, с которым немножко добавил втайне ото всех: «Мы с тобой, Андрюша, военные люди. Военные не те, что сейчас в новеньких формах щеголяют: они войны не знали! А те, что в штатском ходят, как мы с тобой... Мы настоящие военные! А те еще не военные, они только форму военную носят!»

И сосед соглашался с ним, хотя пытался уточнить:

«Воевать они не воевали — это точно... Но и то верно, случись что — им первым воевать. Мы с тобой вряд ли пригодимся... Не дай бог им тоже, конечно...»

«Я не о том, Андрюша, дорогой! Я говорю, мы с тобой военные. Истинные военные! Нас с тобой не на полигонах учили, верно? Мы в настоящем бою науку эту постигали... Ну так кто же, по-твоему, военные — мы или они? Военный-то от слова «война». А если у них войны не было? Значит, они военнослужащие, а мы с тобой истинные военные люди, бойцы...»

«Да я-то какой боец! — возражал ему сосед. — Ты — это верно, боец».

Так бы они до утра проспорили, если бы Анастасия Сергеевна не увела своего Анику-воина, напомнив ему о завтрашней работе.

## 15

Ах апрель, апрель — заиграй овражки! Сколько прохладного солнечного ветра, сколько тихих пасмурных денечков, когда снег тает, как пена, когда размягченная половодьем земля чернеет непрочным и зыбким островком среди толкущихся всюду мутных вод, среди шума весеннего мироздания, когда в небе текут стаи перелетных птиц, а над разлившейся Тополтой, над глинистой ее хмуростью, над затопленными кустами ранним утром купаются в голубом воздухе селезень-чирок с серенькой уточкой. Она улетает, а он, в брачном наряде, высвеченный низким еще солнцем, догоняет ее, одурманенный страстью, скользит в голубых потоках утренних лучей, поблескивая ярким оперением, зелеными зеркальцами на острых крыльях и точеной головкой, врезанной в небо.

В полях бормочут тетерева, разжигая шипеньем тлеющие свои

страсти, забываясь в драках, чернея головешками в желтой стерне, над которой вдруг проскользнет в стелющемся полете пестрая тень голодного ястреба. И в треске, в мелькании черно-белых крыльев забьется на стерне, теряя перья, потащит на своей спине ястреба сильный петух, чудом вырвется из когтей и, куцый, помчится над полем к лесу, все убыстряя лет. А ястреб кинется вдогонку за упущенной добычей, теплая кровь которой уже обагрила его когти, но отстанет и долго будет кружить над лесом, в котором скроется черный петух, оставивший свою лиру на току — груды атласно-черных, гнутых перьев, пушистое белое подхвостье.

Умолкнет хлябкое, стернистое поле, над которым все с той же нежностью и безмятежностью будут петь словно растворившиеся в небе жаворонки.

Деревню Лужки перережет бурный ручей, бегущий из заснеженных лесных оврагов, захлестнет каменный мосток и совсем отрежет от мира этот еще обитаемый остров, добраться до которого можно только на лошади или на тракторе.

А над Тополтой, над коварными ее разливами, в дымно-красном небе вечерних и утренних зорь, над затопленными пойменными лугами, над кочкарниками, залитыми водой, стонут в апрельском упругом воздухе острокрылые бекасы, пикирующие с высоты. Невидимо взмывая ввысь, они вновь и вновь несутся к земле, вибрируя в воздушной струе, словно бы являя всему миру свое искусство резать воздух, высекают из него рыдающе-страстные ветреные стоны.

Когда же спадет вода, совет себе нехитрое гнездышко среди кочек пестрая самка бекаса, а летом поднимутся на крыло легкие ее птенцы, и старый Бугорков придет с серебряным Лелем на мокрый и ржавый кочкарник, поросший яркой осочкой.

По ночам ему снился туманный этот бережок, кошачья потяжка молодого Леля, первый миг его безумного оцепенения перед птицей, которая где-то там, впереди, в седой от росы осоке, среди мохнатых, зыбких кочек, над ржавой грязью, невидимая, но уже пойманная, посаженная на чутье, запала перед стремительным взлетом... Короткая подводка — и над тихой осокой какой-то выпрыгнувшей вдруг рыбой всплеснется белым брюшком и сизыми подкрыльями, тревожно щакнет, бросившись в воздух и метнувшись из стороны в сторону, понесется вдаль молодой бекас, бросив белую капельку помета на лету...

В минуты таких видений Бугорков просыпался и звал к себе Леля, который, услышав в ночи голос хозяина, с особенной радостью подбегал на зов и, гундосо похрапывая от привалившего счастья, от хозяйских ласк, бил, как палкой, хвостом по стулу, тычась масляной головой в жесткие и добрые руки, словно бы то, что видел во сне хозяин, видел и сам он, и ликовали они вместе, хорошо понимая друг друга, деля на двоих великое это счастье охоты, пока хозяин не посылал его на место спать.

Но ни Лелю, ни Бугоркову не суждено было наяву потешить души. В первый же выход в поле, когда только-только принялся Бугорков приучать к челноку горячего Леля, резкая боль в груди и тьма в глазах остановили старика, когда он кинулся по-молодому в сторону, увлекая за собой собаку, чтобы потом повернуть ее свистом в другую сторону и опять увлечь за собой... Он хотел крикнуть, испугавшись этой горячей боли, но грудь его как будто окаменела, и не нашлось в ней сил вдохнуть воздуху для крика... Ему стало так страшно, как никогда еще не было. Обмякшие его ноги подогнулись, и он, не чувствуя ничего, кроме разрывающей грудь обессиливающей боли, упал, завалившись на бок, со стоном выдавив из себя ос-

татки воздуха. Над ним опрокинулись молодеющие в листве кусты, а он почувствовал себя так, будто не твердая земля под ним, а глубокая жижа болота, посреди которого он очутился вдруг, будто бы он тонул, и холодная, затягивающая жижа стискивала ему грудь, и одни лишь губы остались на поверхности. Из последних сил он вытолкнулся из темной глубины, чтобы вздохнуть, но глоток воздуха, который он сделал, был так мал и такой болью отдался в изрубленной, избитой, еле живой груди, что ему опять пришлось выдохнуть его с утробным аханьем как что-то инородное и причиняющее боль; но тут же опять неимоверным усилием толкнулся он из тьмы на поверхность и опять хлебнул боли, не видя уже ничего и не слыша, а только подсознательно чувствуя, что ему надо выкарабкаться из мокрой и холодной тьмы, надо дышать болью, ловить губами эту пронзающую боль, хотя бы полглочка драгоценной, радостной боли, которая, казалось, все глубже проникала в грудь, возвращая сознание и снимая пелену с помутившихся глаз.

Бессильный и жалкий, он лежал на боку и, продышавшись, приспособившись к короткому и частому, но уже надежному дыханию, боялся пошевелиться, пугаясь при одной лишь мысли о страшной боли, которая как будто бы только на время отпустила, притаившись в теле, ожидая своего часа, чтобы снова рассечь грудь ударом.

Он забыл о собаке, забыл, что она вообще существует на свете, думая лишь о том, как бы обмануть тлеющую в груди, кроваво-горячую, разлившуюся, но уже терпимую боль.

Он ни разу не подумал о смерти, словно бы знал, что не умрет. Он очень боялся повторения пытки, незнакомого доселе, животного, окаянного какого-то страха перед ней, перед своим жалким бессилием. Он все это время немо кричал, в нем жалобно билась, не находя выхода, немая просьба не причинять ему больше страданий. Он слышал этот плачущий крик плоти, ее стоны и жалобы, мольбу о пощаде... И ему было страшно слышать все это и сознавать свое бессилие.

А Лель тем временем носился по полю, тоже забыв о хозяине, не видя его и не слыша, а видя только и слыша взлетающих птичек, манящий их полет, тонкое их попискивание, порхающие замедления в полете и неожиданные исчезновения легких летуний. Он очумело останавливался, теряя из виду птичку, которая только что мелькала перед ним, и снова мчался по полю, зная, что новая птичка выпорхнет из травы и он обязательно догонит ее... Он не чувствовал усталости, он упивался волей, он даже не чувствовал запаха всего, что окружало его, не умея еще пользоваться чутьем, он только видел и слышал взлетающих птичек и знал, что это именно то возникало вдруг перед ним, маня своим полетом, ради чего он родился, рос и вырос на земле, набрав силы для вольной этой жизни. В нем проснулся дикий предок, добывавший себе пищу погоней, проснулся охотник, ненужный человеку, хотя этот человек и привел его сюда, в это поле, для того чтобы пробудить в нем дикого охотника, а потом своим умом и терпением приспособить для своих утех его страсть.

Но вольная эта натаска началась несчастливо для человека и для собаки, которые забыли друг о друге: собака — увлеченная молодой своей страстью, а человек — своей болью.

Бугорков, отлежавшись, наконец решил подняться. Его мутило от слабости, словно бы он поднялся на непривычно разреженную воздушную высоту. Прижав руку к груди, он огляделся, ища собаку, вспомнить о которой нашлись уже силы, и, вложив свисток в непослушные губы, стал тихо свистеть.

Но собака не слышала его.

Теряя силы, он сел на землю и, вперившись в кусты, в тугую их и прозрачную еще листву, в каком-то тяжком оцепенении засвистел опять Лелю, зная, что молодая собака вряд ли одна найдет дорогу домой, и больше всего страшась теперь этого.

Прошло много времени, прежде чем Лель, нагонявшись вволю, услышал знакомый свисток. Он остановился и, наклонив голову, прислушался, вспомнив о пропавшем хозяине. Потом, не поняв направления звука, метнулся совсем в другую сторону, бежал с такой же прытью, как за птичкой, за этим звуком, но тот вдруг тоже исчез, как и птичка. Лель опять остановился и опять наклонил голову, освободив ушную раковину, прислушался.

Все было тихо вокруг, а хозяин, которого он привык всегда видеть рядом, не появлялся. И снова Лель услышал свисток, к которому был хорошо приучен, но и на этот раз тоже ошибся в направлении, кинувшись к дальнему лесу. Звук свистка еще доносился до его слуха, человек вообще бы не услышал его на таком расстоянии, и Лель никак не мог понять, откуда манил его хозяин...

Ему казалось — из леса... Оттуда и в самом деле доносились явно слышимые свистки, но они совсем не были похожи на звуки хозяйского манка. Это очень озадачило Леля, который уже в страхе остановился на опушке среди кустов. Даже дрозды, взлетевшие перед ним, не взволновали его.

Он убежал так далеко от хозяина, что слабый звук его почти непрерывного свистка уже не долетал до него.

Лес, который солнечно возвышался над ним, весь был пронизан тончайшими птичьими посвистами, и однажды Лелю показалось, что среди этих звуков запел вдруг и свисток хозяина. Он в панической радости кинулся на этот обманувший его свист, веря и не веря во встречу с хозяином, лес расступился перед ним, как болото, и втянул его в себя навеки...

Скорей всего, конечно, Лель не погиб в этом лесу, а, гонимый страхом, пробежал многие километры, вышел к какому-нибудь жилью, к какой-нибудь деревне, и, может быть, нашлись люди, приютившие потерявшуюся собаку, возможно даже, что он попал к человеку, понимавшему толк в собаках и знающему охоту с ними, вполне вероятно, что Лель до сих пор жив и здоров....

Но ничего этого не знал несчастный Бугорков, который в темноте только доплелся до своего дома и, как ребенок, проплакал всю ночь. Превозмогая слабость и не отпускающую боль в груди, он все-таки дошел до леса, в котором скрылся Лель, долго свистел и звал, кликал свою собаку, долго, до самых сумерек ждал ее на поле, не зная, куда идти и где искать Лелюшку, и, страдая душой, стонал от сознания ужасной беды, вскрикивал вдруг, как будто к нему возвращалась боль, снова шел к лесу и снова возвращался, боясь, что Лель вернется без него на поле и, не застав хозяина, снова кинется на поиски и пропадет. Но он не вернулся.

Сколько потом ни разыскивал его Бугорков, сколько ни спрашивал о нем у прохожих и у жителей окрестных деревень, никто ничего не знал. Лишь месяц спустя молодой тракторист ответил Бугоркову, что вроде бы он видел такую собаку. «Где, милоч?!» — спросил с надеждой старик, а тракторист сказал ему со смехом: «Да по шоссю бежала, чуть я ее не задавил, как слепая все равно. Я еще подумал: ну все! Не жить собаке...» «Давно видел-то?» — спросил Бугорков, вскидывая на него пугливый взгляд. Тракторист ответил: «Как тебе сказать! Года полтора, а то и два назад». Бугорков даже улыбнулся от счастья. «Не он это, не он! — сказал, отмахиваясь от

парня, который чуть было не убил его своим рассказом.— Я тебя про охотничью собаку спрашиваю... про серую такую, серебристую в крапе, а ты про что?» «Я и говорю про охотничью, только та была гончая, а не по дичи».

Лель пропал. Горю старика не было предела. Что за боль с ним случилась в поле, он так и не узнал, не сходяв к фельдшеру. Но летом слег и как-то весь притих, со всем смирился в жизни и стал слабеть с каждым днем и сохнуть.

Над ним сжалилась жена и пришла к нему из Воздвиженского, не узнавая бедового своего муженька, чувствуя сердцем, что он умирает. А он и сам понимал это и отмахивался, когда уговаривали его показаться врачу и лечь в больницу, отвечал на это с тихой улыбкой на лице: «Верти не верти, а надо умерти. Я со своей смертушкой обнимусь и помру... И она помрет вместе со мной, моя-то смертушка. У каждого она своя, живет с тобой то подальше, то поближе, а то и совсем близко. Ей ведь тоже помирать-то неохота, ее зови не зови, она не придет, когда не хочет. А теперь, видать, и ей пришла пора помирать, вот она и меня хочет с собой взять. Верти не верти...»

Говорил это Бугорков с такой доброй и словно бы не своей улыбкой, что вскоре и люди все стали знать, что он умирает. И так привыкли к этой мысли, что иначе уже и не думали о нем.

Он почти не выходил из дома, был послушен, безропотно выполнял все, что ему приказывали, а если и выходил, то недалеко и ранним утром, пока все еще спали. Садился где-нибудь под деревом, а внучка, приехавшая опять на лето, звала его своим шепелявым голосочком: «Дедушко-оу! Иди-и жавтрако-оты! А то мамка жовет!» И он улыбался и тихо шел, говоря за столом, как дальний родственник, как нахлебник, зажившийся у добрых людей: «Живу, как барин, завтракать зовут, обедать зовут, ужинать зовут... Живи да и только!» — слыша в ответ стук ложек об тарелки.

Даже родные стали думать о нем как о человеке уже простившемся с жизнью, приучившем их всех к своей собственной смерти... Никто не желал ему смерти, конечно, но стал он для них как бы носителем другого какого-то начала, так все привыкли уже к тому, что он умирает и вот-вот помрет, так он сам спокоен был, ожидая смерти, что и они все неволью так же спокойно, как и сам Бугорков, ждали его смерти, как ждут, например, родов беременной женщины, зная, что они обязательно наступят.

Летом приехал в Лужки Коля Бугорков и очень обрадовал деда, который, правда, стеснялся на людях своей радости, будто уже не имел на нее права: все-таки умирать собрался — чего уж радоваться.

«А я в окошко-то гляжу, какой-то каблучник лохматый идет,— говорил он внуку, слабая от радости.— А это Николашка! Сразу-то и не признал: богатым быть. Я тут один-то среди баб живу, сны их разгадываю, так соскучился, веришь... Помирать, Николашка, собрался, но погожу малость, пока ты гостить будешь...»

«Рановато, дед, рановато»,— говорил ему внук, пряча взгляд от похудевшего, неузнаваемо бледного дедовского лица, от почерневших его глаз, подернутых неистойвой лиловостью, никак не совпадающей с его умиротворенной благостью и душевной тишиной.

Но старик не соглашался с ним, уверяя его с тихой улыбкой, что скоро умрет, хотя и прожил еще целых шесть лет в своей странной телесной немощи под присмотром брошенной когда-то жены, ухаживающей все эти годы за ним с терпеливостью необыкновенной, с неземным каким-то милосердием.

И через несколько лет он был все такой же, с той же неистовостью в почерневших глазах и благостью одновременно. Он только

совсем уже не выходил из дома без особой нужды, почти ничего не ел, молча лежа дни и ночи в чистом белье на печи, и стал такой же белый, как и белье на нем, отпустив седую бороду на грудь, сползая оттуда, с печи, только если его просили об этом или если приезжал Коля Бугорков, Николашка, который обычно весело спрашивал с порога: «Дед! Здорово! Жив?»

«Жив, Николашка, жив, прости меня грешного. Никак меня смертушка моя не приберет».

«Полстаканчика выпьешь?»

Дед молча и с какой-то неторопливой поспешностью и ловкостью стекает с печи, нащупывая босой узкой стопой с натянутыми от каждого пальца струнами сухожилий лавку под печью, и прямо в белье присаживается к столу, с глуповатой улыбкой глядя на пустой стакан, а потом легко выпивает водку и убирается опять с глаз долой на печку под темный потолок умирать дальше.

Даже внук стал разговаривать с ним с некоторой долей иронии, как с несерьезным человеком, которому нельзя ни в чем доверять. Хотя кто-кто, а уж Коля-то Бугорков очень радовался всякий раз, заставая деда своего в живых. Глядя на него, не верил, что именно этот человек с белой бородой вел его когда-то по ночному лесу на глухариный ток... Коля клал руку на его плечи, но под рукой словно бы и не было ничего: острые кости под белой рубашкой — все, что осталось от некогда жилистого и резвого мужика, от «детинки с морщинкой», как он сам себя называл в ту пору.

Сядет за стол с людьми, а что-то уже подмывает его, какая-то сила тащит обратно на печку, как будто у него там дел невпроворот и некогда ему тут рассиживаться в праздности.

«Посиди с нами, куда тебе торопиться»,— просит его внук, и Александр Сергеевич покорно останется за столом, пока жена не скажет ему: «Иди-ко ты, отец, отдыхать, а то вон глаза у тебя от тоски запустились».

А Коля Бугорков с жалостью глядит на деда, который споровисто забирается на печь, обходясь без посторонней помощи, и странные мысли приходят в голову. Он думает, что всякое техническое изобретение, усовершенствование, любое новшество в технике можно рассматривать только с той точки зрения, насколько оно, это новшество, расширяет и дополняет природные данные человека. А перед ним человек, настолько гармонично вписанный в самую природу, настолько потребности его и радости бытия уместены в природные возможности, что ему в его жизни словно бы и не нужен весь этот дымный, грязный и смрадный прогресс. Его природные данные не нуждаются в расширении и усовершенствовании, вполне их достаточно, чтобы он чувствовал себя человеком и чтоб его организм полноценно функционировал...

И ему приятно так думать о деде, ибо выходит, что старик был счастлив в жизни, хотя сам Коля Бугорков не пожелал бы себе такого счастья. И когда он возвращается в Москву, к своей старой матери, которая ждет его и очень всегда радуется встрече с сыном, ему кажется в предсонном блаженстве в чистой постели, что он не просто Коля Бугорков, а какой-то только что изобретенный летательный аппарат, способный легко переноситься из лесной деревушки с заколоченными домами в гремящий день и ночь шумный город. В город, в котором даже древние старушки не только не боятся проносющихся мимо автомашин, а как бы норовят перейти им дорогу, когда они с бешеной скоростью и ворчанием мчатся мимо перекрестка... Встанет такая старушенция посреди улицы, не успев на зеленый светофор, а в сантиметрах от нее несутся начиненные всякими при-

борами, проводами, огнеопасным бензином полуторатонные, раскаленные снаряды, эдакий град смертоносных ядер, среди которых стоит скучающая от вынужденной задержки старушка и нисколько не боится их — не старушка, а легендарный гусар на поле боя. Но из этого города можно легко перенестись в другой совсем мир, в деревянную городьбу усадебок, в седину растрескавшихся изб и, поглядывая на сухонького деда, на белую, долгополую стопу умирающего славянина, с удивлением подумать, что он ведь прожил свою жизнь, переходя другие перекрестки, совсем не так, быть может, как хотел, но бывал ведь и он тут счастлив, если счастье вообще возможно, бывал и весел и азартен, и женщин любил, проклиная самсоновскую кровь... А теперь вот умирает. Сохнет, словно лист, оторвавшийся от ветки, и ждет своей смертушки на последнем перекрестке жизни. И уж инстинкт не жизни, а смерти властвует над ним.

Ах, как хотелось Бугоркову думать, что дед его был счастлив в жизни!

А Александр Сергеевич, кстати, думал иногда о Самсонове, о своем предке, вспоминая давно умершие мифы о том, что один из Самсоновых кончил жизнь самоубийством, перерезав себе горло бритвой. Якобы он участвовал в заговоре против царя, а когда заговор раскрылся, успел уехать в имение и покончить с собой. Вот Бугорков и жалел теперь, что не узнал все подробности раньше, когда еще живы были легенды: какого царя-то хотел убить его предок? Бугорков теперь простить себе не мог, что не расспросил стариков об этом деле. Может, он потомок какого-нибудь героя?! Все ж таки, шутка сказать, царя хотел убить! Вот только какого — неизвестно. Очень обидно ему было сознавать, что теперь, когда не было сил уйти из дома дальше двора, он не сможет проверить, правду ли говорили о Самсонове. Да и где проверишь?! Он ведь и сам еще был молодой, когда слышал эту историю. А рассказывали старики.

Люди ошибались, думая, что Бугоркова вел к могиле инстинкт смерти. Он просто был снисходителен к людям, делая вид, что ему хочется умереть. И вот еще что беспокоило его: он боялся, что кинутая им когда-то жена, стареющая Клавдия Васильевна, вернувшись в его дом, простив ему все грехи, может вдруг собраться среди зимы и уйти к себе в Воздвиженское. Какая ей нужда сидеть с немощным стариком! Вот он и обещал всем, что скоро умрет, что, дескать, недолго осталось ждать. Но годы шли, а он не умирал. И выходило, что он обманывал людей, а главное, Клавдию Васильевну опять обманывал, как когда-то... Он и сам не рад был, что зажился на свете.

В этих страданиях и заканчивал свою жизнь Александр Сергеевич Бугорков, о котором люди при встрече с Клавдией Васильевной привыкли уже спрашивать: «Он-то жив еще?» На что Клавдия Васильевна с усмешкой отвечала: «А то нет! Намедни внук приехал, так он с ним и вина стаканчик выпил. С печки на лавку, а с лавки опять на печь. Вот и вся его жизнь... Но ведь не бросишь! Греха на душу не возьмешь. Вот и живу вдовой при живом-то муже. Иной раз вспомнишь, каким он раньше был, и сама себе не поверишь... Нет!.. Совсем другой человек...»

Олег Петрович Воркуев, наездив за два с половиной года шесть тысяч километров на своем «Москвиче», так и не овладел искусством вождения. Ездить с ~~ним~~ боялись все: и Анастасия Сергеевна, и Ве-



рочка, и Тюхтин. Один Олежка, кажется, получал удовольствие, залезая на мягкое сиденье.

С этой машиной у Олега Петровича было столько мороки, что он наконец-то решился продать ее, а на вырученные деньги построить однокомнатную квартиру, оставив комнаты, в которых стало тесновато, Верочке с мужем и Олежкой.

Как только появилась у Воркуева эта машина, он сразу же купил сборный металлический гараж, хотя места для него, конечно же, не было. Он писал в райисполком заявления с просьбой выделить ему место под гараж, но ему резонно отказывали. Тогда он нашел старую родственницу, жившую неподалеку, и уговорил ее, чтобы она написала заявление... «Тебе не откажут, тетя Марусь, что ты!» — говорил он, подсовывая ей чистый лист бумаги.

Родственница писала, что она очень старая и у нее больные ноги... «Машина,— писала она,— единственное средство общения с народом».

Но и это не помогло. Воркуев с трудом продал ржавеющее железо, потеряв на этой коммерческой операции около пятидесяти рублей. Машину пришлось ставить возле дома, заезжая всякий раз правыми колесами на тротуар. Первый месяц он вообще не спал: пройдет ли град величиной с зерно гречихи, он уже бежит смотреть, не побил ли град машину; услышит ли среди ночи звук отъезжающего «Москвича», тоже торопится на улицу: не его ли машину угнали.

Ездил он так осторожно, с такой тщательностью соблюдал все правила движения, что именно за эту подозрительную осторожность его однажды остановили у поста ГАИ, когда он ехал в Воздвиженское. Убедившись, что водитель не пьян, отпустили, но до смерти перепугали Воркуева, который еле доехал в тот день до дома. Ночь перед всякой поездкой была для него бессонной ночью, в голову лезли кошмары — перевернутые, разбитые, сгоревшие, расплюснутые автомобили, стоны оставшихся в живых, кровь погибших в катастрофе... Утром он садился за руль как после похмелья и просил не отвлекать его разговорами.

Решение его продать машину было встречено в семье ликованием. А в день, когда Воркуев наконец-то договорился с покупателями и должен был оформить продажу, Верочка Воркуева не находила себе места, работа валилась у нее из рук, она очень волновалась, подбегала к каждому телефонному звонку или с надеждой вслушивалась, не ее ли попросят к телефону... Все в редакции знали о том, что отец Верочки Воркуевой продавал в этот день автомобиль, и тоже очень волновались. Даже заведующая два раза спрашивала у нее: «Не звонил?»

«Нет,— отвечала ей Верочка с испуганным выражением на лице.— Может, его уже в тюрьму посадили?» — пыталась она шутить.

Дело в том, что Олег Петрович решил спекулировать автомашиной и получить за нее на целую тысячу рублей больше ее стоимости. Покупатели нашлись, потому что машина была совершенно новая и, к счастью, нигде не побитая и даже не поцарапанная, мотор тоже, хоть и плохо обкатанный, работал прилично. Но что это были за покупатели, никто не знал. Воркуев, конечно, очень рисковал. Единственным его оправданием были те два года, на протяжении которых он потратил столько нервов, что ни за какую тысячу их не вернешь. Так он подбадривал себя с вечера, повторяя, что его здоровье стоит гораздо дороже. Но утром было не до шуток: его ждали в условленном месте деловитые и мрачные покупатели, с которыми он **познакомился на толкучке.**

День подходил к концу, а отец не звонил.

«Вот еще не хватало печали! — говорила Верочка Воркуева, когда к очередному звонку подзывали опять не ее. — Посадят еще за спекуляцию! Ну, папочка! Хоть бы догадался позвонить откуда-нибудь».

Ей все сочувствовали в редакции, один только Шубин говорил что-то о передачах, о свежем лесном воздухе, о регулярном питании.

Но, к счастью для Верочки, все обошлось благополучно, и когда позвонил отец, она отругала его, чуть ли не впадая в истерику, а когда бросила трубку, счастливо рассмеялась и воскликнула: «Господи! Унес у меня год жизни! Разве стоит этот год проклятой тысячи?!»

А Шубин, не отрываясь от рукописи, сказал:

«Разумеется. Эта тысяча обернется лишней комнатой для тебя. Я правильно понимаю? А лишняя комната сэкономит три года жизни. Три минус один — получается два года жизни. Чистый выигрыш. Как тебе моя арифметика? А теперь иди к черту, не мешай работать: весь день только и беспокоился о твоей афере. Дети не отвечают, конечно, за своих родителей, я это знаю, и твоя радость, конечно, понятна — отец ускользнул от карающего меча, но я и трети своей работы не сделал сегодня.. Это ты меня втянула в сообщники, ты!»

«Шубин! Ну почему я никогда не обижаюсь на тебя? — спрашивала счастливая Верочка Воркуева. — Почему? Скажи.. Ты, наверное, все-таки очень хороший мужичок!»

Мрачная заведующая, увидев Воркуеву, спросила: «Звонил? Все в порядке? Ну то-то! А что я тебе говорила? Тоже мне бизнесмены!»

Она даже отпустила в этот день Верочку Воркуеву пораньше домой, понимая, что та уже не сможет сегодня работать.

Это было 17 апреля. А 20-го случилось несчастье — тяжело заболел Олежка.

Ничто не предвещало беды, но после вечернего чая Олежка погрустнел и задумался, с недетским каким-то вниманием поглядывая на взрослых, не отвечая на их вопросы. Веки его заблестели, а глаза потухли. Он раньше времени попросился в кровать, которая тогда стояла в проходной комнате у бабушки с дедушкой, и уже в постели, когда Верочка с беспокойством поглядывала на градусник, не веря в ту катастрофически высокую температуру, которую он показывал, Олежка грустно и задумчиво посмотрел на мать и на бабушку, вздохнул и очень серьезно сказал, поразив и испугав всех этой недетской серьезностью:

— Мама, у меня очень болит голова. Очень болит!

Никто не нашелся, что ему ответить на это, словно бы вовсе не Олежка это сказал, а умудренный жизненным опытом, умный и мужественный человек, увидевший вдруг бездну, разверзшуюся у него под ногами, и беспокоящийся не о себе, а о тех, кто был рядом с ним, предупреждающий именно их об опасности, которую он уже почувствовал.

Температура была очень высокой! Верочка укутала сына, дав ему аспирин, и Олежка вскоре забылся в сне.

Все ходили на цыпочках в этот вечер, с надеждой щупали лобик спящего. Но не надо было близко подносить руку, чтобы понять бесполезность аспирина: над кроватью Олежки словно бы светился в полутьме комнаты влажный и обжигающий душу жар.

Воркуев хотел вызвать «неотложку», волнуясь больше других за внука, но все решили, что надо подождать до утра, и в этой непроходящей тревоге улеглись спать, оставив в комнате гореть ночничок.

Никогда в жизни, даже в самые жуткие минуты войны, Олег Петрович Воркуев не кричал так, как он закричал в эту ночь, увидев

судорожно бьющегося в каком-то страшном припадке, умирающего, как ему показалось, внука.

Животный этот крик обезумевшего от страха человека, способного только проговаривать одно имя внука, продолжая вскрикивать и безумствовать в отчаянии, вызвал тут же и другие крики, другой ужас... Закричала ничего не понимающая спросонья Анастасия Сергеевна, рыдающим ором откликнулся вскочивший с кровати Тюхтин... Одна лишь Верочка с криком: «Что?! Господи? Что?! «Неотложку» немедленно!» — сохранила самообладание.

Но она тоже, как и все, не знала, что делать. Она схватила дергающегося, землисто-бледного, синегубого, с закатившимися глазами сына и своей силой пыталась унять, осилить безумную силу корчей, в которых захлебывался, задыхался — умирал ее сын.

— Полотенце! — выкрикнула она. — Мокрое! Сейчас же!

И Воркуев, сорвав со стола скатерть, сбив на пол грохнувшуюся вазочку с подснежниками, кинулся на кухню...

— Успокойте его в конше концов! — закричала Верочка, имея в виду отца.

Но муж ее и Анастасия Сергеевна кинулись к ней и стали отнимать Олежку...

— Уйдите все! — спокойно и зло сказала Верочка. — «Неотложку» вызвали? Вы с ума сошли! Ты-то, дурак! Что ты-то! Сейчас же беги за машиной... Непременно ждать. Беги, хватай любую и повезем в Морозовскую...

Тюхтин после этого жесткого и точного приказа взял себя в руки наконец и стал быстро, как только мог, одеваться.

А Воркуев, оставив на кухне хлещущую струю воды, ворвался с белым комом в руках и, раздавив ногой стекла на полу, сразу же потянулся к внуку, наваливая на него эту влажную скатерть... Ему бросилась помогать и Анастасия Сергеевна.

— Уйдите! — закричала Верочка на отца и на мать. — Вы что! С ума сошли?!

Она положила в постель Олежку, дыхание которого, казалось, вот-вот остановится, стиснутое, спертное, зажатое, прорывающееся рыдающими, взрывными толчками, и, схватив мокрую и холодную скатерть, стала махать ею, нагоняя на сына прохладный воздух, от которого он, как показалось Верочке, стал успокаиваться и обмякать.

Это были самые страшные моменты, потому что ей стало казаться, что сын уже задохнулся и та замедленность, та утихающая ярость конвульсий, которая уже заметно освобождала тело мальчика, распластывая его на простыне, могла быть страшным исходом, концом всех признаков жизни...

— Олег! — звала она сына требовательно и настойчиво: — Олег! Как ты себя чувствуешь? Ты слышишь меня, Олег? Олежка!

— Олежка! — позвал сквозь слезы и Воркуев, который никак не мог выйти из панического страха и, совершенно неуправляемый, подчинялся только злым окрикам дочери, гнавшей его от кровати.

А Тюхтин, сорвав с вешалки плащ и натянув его в беге только на одну руку, мчался к площади, по дороге пытаясь найти другой рукав и не находя его, пока ему, на счастье, не попалась свободная машина...

— Пожалуйста! — крикнул он. — Слушай, у меня сын! Я не знаю, жив ли... Умирает! В больницу, пожалуйста!

— В какую? — спросил испуганный шофер.

— Это потом! Я не знаю...

— А куда ехать-то?

— А-а-а! Черт! Да вот сюда, прямо... тут рядом... Вон он, дом! Подожди меня тут, дружище, я мигом! — попросил он шофера, когда они подъехали к дому. — Я сейчас.

Не дожидаясь лифта, он через три ступени кинулся вверх, не чувствуя под собой ног от панической жути, которая преследовала его по пятам.

Но когда Тюхтин, оттолкнув проснувшегося соседа, ворвался в комнату, он увидел Верочку, сидящую на стуле возле кровати и помахивающую белым уголком скатерти над сыном, увидел Воркуевых, во все глаза глядящих на него, а главное, он не увидел бесноватых движений рук и ног, головы, глаз спокойно спящего сына...

— Ну что? — спросил он громким шепотом.

— Машина? — спросила Верочка отрешенным голосом. — Внизу? Ты с машиной?

— Да.

— Скажи, чтоб подождал... Иди сам туда... вниз... жди. Я сейчас. Не забудь взять деньги...

— Сколько?

Верочка Воркуева смерила его взглядом и ничего не ответила, продолжая помахиывать влажным веерочком, передавая из своих рук в руки матери этот уголок скатерти, чтобы та продолжала обмахивать воздухом успокоившегося, ослабшего, обессиленного Олежку, губы которого были все так же темны, пугающе резко выделяясь на приглушенно освещенном лице. Но это уже не мертвенная синева, а прихлынувшая кровь темнила их, пугая Воркуева, который даже спросил у Анастасии Сергеевны, когда Верочка ушла к себе одеваться:

— А губы у него? А? Какие-то черные...

— Не черные, — в скорбном спокойствии ответила Анастасия Сергеевна, — а красненькие, — не сводя глаз с внука, с испугом следя за малейшим его движением, прислушиваясь к каждому вздоху, к каждой заминочке, к каждой хрипотце.

Верочка, полуголая, выглянула из-за двери и громким шепотом спросила:

— Ну что же вы его не одеваете? С ума сойти, ей-богу!

Тюхтин не мог сидеть в машине. Ходил и топтался вокруг, томясь в ожидании. Подумал, что уже рассветает. А когда услышал стук лифта, кинулся навстречу и принял из рук тестя огромный байковый сверток, из которого с одной стороны торчали коричневые кожаные ботиночки, и осторожно понес к машине. Шофер отворил дверцу, помог Тюхтину сесть с ребенком.

Анастасия Сергеевна с Олегом Петровичем в скорбном молчании провожали их, а дочь, усевшись впереди, сказала с нетерпением:

— Идите сейчас же домой! И с ума не сходите... Какой-то кошмар! Идите же!

Машина развернулась и покатила по рассветной, только что политой, сизо поблескивающей, пустынной улице...

Тюхтин, склонившись над спящим, обессиленным сыном, шептал ему каким-то знахарским, заклинающим тоном:

— Все хорошо... Я с тобой. Все хорошо. Ты со мной, мой мальчик. Я тебя никому не отдам.

И ему казалось в эти минуты, что сын его слышал и как бы успокаивался душою, впитывая в себя силы отца. Но самого Тюхтина этот шепот, эта трагическая растворенность с сыном, с его болью, эта мистическая вера в силу своих слов — все это так расслабляло самого Тюхтина, что он тихо плакал, прижимая к груди испуганный, горячий, большой комочек жизни — своего сына.

Дежурный врач, встретивший их в приемном отделении, был еще так молод, что бессонная ночь отложила на его лице чуть ли не физическую боль и страдание. Казалось, он не в силах был бороться со сном. Веки его то и дело опускались на глаза, и он с огромным трудом поднимал их, выслушивая Верочку Воркуеву, разглядывая, а потом и слушая стетоскопом больного ее сына. Худенький, сутулый, носастенький мальчик в белом халате и в потрепанных кедах с рваными шнурками — он был теперь, несмотря ни на что, тем человеком для Тюхтина и для Верочки, который способен был распорядиться их судьбою, он был для них в эти минуты самым важным и могущественным судьей, которому они готовы были подчиниться беспрекословно, веря в его знания, но надеясь на милосердие, ожидая от него, как от оракула, одного лишь милосердия, надеясь на его сострадание...

Они не сводили с него глаз и, обратившись во внимание, даже дышать громко боялись, чтобы не помешать этому мальчику выслушать сына.

«Ну, пожалуйста! — как бы говорили они. — Скажите нам, что ничего страшного нет, что это бывает. Скажите, пожалуйста, что наш Олежка будет скоро здоровым... Мы вас очень просим, скажите нам, что все хорошо».

А он, как будто услышав их мольбу, сказал с бесконечно приятным, обнадеживающим равнодушием в голосе, с полусонной какой-то гнусавинкой.

— У детей это бывает от высокой температуры, — говорил он, что-то записывая в журнале. — Ничего страшного я пока не вижу. Судороги спровоцированы высокой температурой... Но картина сейчас стертая... Я ничего не могу сказать... Надо мальчика оставить до утра, а утром его посмотрит специалист.

— Ну зачем же оставлять! — воскликнула Верочка Воркуева. — Лучше дома! Лучше мы утром вызовем врача... и... он...

— Нет, надо оставить. Вы сейчас поезжайте домой, а часиков в одиннадцать приходите. Мы к тому времени успеем уже...

Он не договорил и, казалось, на мгновение вдруг уснул, поддерживая голову худенькими белыми пальцами облокоченной руки, прикрывшись этой рукой от посетителей.

— А сейчас возьмите, — продолжал он, — одеяло... Оно здесь не понадобится...

— Доктор! — взмолилась Верочка. — Может быть, не надо его оставлять? Я понимаю, вы хотите как лучше, вы обязаны...

— Зря вы так волнуетесь, — прервал он ее и опять умолк, опустив голову над журналом.

Ах, если бы не это одеяло, которое они уносили из больницы! Одеяло, которое теперь какой-то странной легкостью напоминало о сыне, точно угрожая им этой своей легкостью, бесплотностью, пугая их непривычностью положения: он остался там, а одеяльце, в которое он был завернут, здесь... Он — там, а оно — здесь... Казалось даже, что если бы Олежку оставили вместе с одеялом, то было бы спокойнее на душе. А то как-то уж очень необычно: отдали одеяло, а сына оставили. Они знали, или, вернее, Тюхтин знал в своей жизни совсем другое: он принес когда-то одеяло, в которое ему завернули маленького сына и отдали этот теплый легкий сверток. Теперь же пустое одеяло, уносимое из больницы, было пропитано несчастьем. И чувствовали они себя так, будто бы совершили страшную глупость, сделали непростительную ошибку, обменяв сына на это одеяло. И главное, не с кем было посоветоваться, не у кого спросить, правильно ли они поступили

Вот что еще было очень неприятно во всей этой печальной истории: Верочка Воркуева не чувствовала никакой потребности, никакой заинтересованности в муже, ей совсем не нужна была сейчас его поддержка, какое-нибудь доброе слово, своим присутствием он как будто бы даже мешал ей сосредоточиться на чем-то очень важном, собрать все свои силы и пережить несчастье...

Тюхтин, в свою очередь, чувствовал нечто совсем противоположное: он думал, держал теперь в памяти, мысленно и вслух обращался только к жене, которая, как ему казалось, одна была способна сделать что-то самое главное для спасения сына. Себя же он как бы отодвигал на задний план, закрывая глаза на все происшедшее и боясь заглянуть в будущее... При этом он готов был немедленно, сейчас же исполнить любое желание жены, малейшее ее распоряжение, лишь бы она освободила его от необходимости опять идти в больницу, разговаривать с врачом или врачами, узнавать от них, не дай бог, пугающие какие-нибудь подробности, какой-нибудь жуткий диагноз.

Они шли домой пешком по пустым еще улицам, слыша шаркающие свои шаги в гулкой тишине каменных плоскостей, на вертикалях которых раздавались жирные звуки стонущего воркованья голубей, липкий треск их крыльев, и то Верочка, то Тюхтин опять и опять возвращались в полумрак приемного покоя, где они оставили сына, и то она, то он вновь и вновь пытались вспомнить, отыскать какие-то успокоительные нотки в голосе врача, какие-то слова, которые способны были бы поддержать надежду в их душах.

Но всякий раз, когда говорил Тюхтин, Верочка в нетерпении перебивала его и с раздражением отрицала все, что он говорил, стараясь в словах своих быть более реально смотрящей на все происшедшее, чем ее муж, а он при этом не возражал и соглашался с ней, еще больше тем самым раздражая жену, которой, как это ни странно, все время хотелось слышать от мужа наивную его веру в благополучный исход болезни сына и тут же отрицать все это, чтобы опять услышать обнадеживающие рассуждения и опять перечеркнуть их с раздражением и злостью.

Как только они пришли домой, Верочка Воркуева тут же отослала мужа к Сизову, чтобы тот, если будет возможность, подъехал в Морозовскую больницу и самолично переговорил с врачами, а сама разделась и ушла в ванную под душ.

В больнице, в том самом приемном покое, где они были с мужем на рассвете, ей назвали номер корпуса, куда был направлен ее сын, а там, в этом приземистом красном корпусе с желто-белыми крестообразными наличниками на окнах, ее, испуганную и побледневшую от отчаяния, провели в бокс, где на плоской, без подушки кровати лежал распластанный на спине, чуть живой, не пришедший еще в сознание, бледный, как простыня, с почерневшими глазами Олежка, которому только что, после повторных корчей, начавшихся в семь часов утра, была сделана пункция. Иглой была проколота тонкая кожица на бугристом, худощавеньком на вид позвоночнике, был пробит хрящ, упруго соединяющий позвонки, и в своей неумолимости стальная эта полая игла вонзилась в нестерпимую боль, сковав мальчика ужасом и, казалось, убив в нем самую жизнь. И теперь, безжизненного, привезли его в бокс, предложив Верочке Воркуевой, если она захочет, остаться с ним в этом боксе...

Конечно же она захотела! «Но, боже мой,— спрашивала она с мольбой и слезами в голосе,— зачем же ему сделали пункцию? Неужели так плохо?!» «Плохо,— сказали ей.— Подозрение на менингит».

Ей дали халат, стоптанные тапочки. Она сидела над Олежкой и молча плакала, слизывая с губ слезы, когда он пришел в себя и, повзрослевший, неузнаваемый, с каким-то страшным спокойствием поглядев на мать, сказал ей:

— Мама, не надо плакать.

— Хорошо, хорошо,— отозвалась она.— Я не буду... Нет, нет, я не буду плакать, милый мой. Видишь, я уже не плачу,— говорила она, вытирая слезы мокрыми руками и, распухшая от слез, слюдянистой улыбкой встречая ожившего сына, боясь при этом взглянуть в глубь его каких-то опустошенных, потухших, отстрадавших уже глаз.— Ты что это нас пугать вздумал?! — лепетала она, сжимая в своей руке его холодненькие пальчики.— Ты это брось, пожалуйста! Разбойник ты эдакий! Лето на носу, нам на дачу, в деревню ехать, в речке купаться, а ты вздумал болеть. Нет, нет, я не согласна! Тебе надо скорее выздоравливать, Олежка! Нельзя болеть...

А сын задумчиво и серьезно смотрел на нее и, как ей казалось, с каких-то своих высот, неведомых ей, жалел ее, забыв о себе.

Верочка Воркуева долго еще не могла избавиться от этого взгляда, от душевного своего смятения, которое она испытывала в те жуткие минуты, когда сидела над сыном, лепеча ему несусветную чушь, словно бы она сама была очень маленькой, больной и беспомощной, а сын, умудренный жизненным опытом, грустно наблюдал за ней.

## 17

Река Тополта делает в этом месте крутой поворот, как бы накидывая прохладную и живую петлю на зеленые лужайки, поросшие дубняком и ольшаником, беря их в плен, образуя в своей прихотливости что-то вроде полуострова, выступ которого возвышается над водой навалами мелкого и чистого, прохладно-плотного песка. Внешний же берег этой круто изогнутой речной струи возносится темным лесистым пологом, захламленной чащобой, которая дыбится по всему изгибу над рекой, отражаясь зеленой тьмою в мелкой воде. Дубки и березы напряженно карабкаются по крутизне, спасаясь от вечно бегущей вниз, режущей струи Тополты, которая подмывает берег, обнажая слои синей и красной глины. Кажется, будто под мокрой этой стенкой, нависшей над водой, затаились черные глубины, хотя на самом-то деле всю Тополту в этом месте можно перейти вброд, вскарабкаться, держась за какую-нибудь коряжину, на илистый и жирный, как серое мыло, неприветливый, колючий бережок, в рыжих обрывах которого гнездятся пронзительно-голубые зимородки.

Здесь же, внутри петли, в летние, жаркие дни так много радости дано человеку, так приспособлено все для безмятежной и праздной жизни, что диву даешься, как же туристы или какие-нибудь профсоюзные деятели не освоили еще это заповедное местечко. Хотя, надо сказать, в субботные и воскресные дни, особенно в засушливые годы, и сюда уже добираются на своих автомашинах любители палаточной жизни, оставляя после себя черные дыры кострищ среди прибрежных кустарников.

В июле месяце молодой Бугорков гостил у деда. Лето стояло засушливое, дождей не было, с утра до вечера палило в небесном мареве солнце, выжигая даже пойменные травы, на остатки которых выгнали злых и непослушных, обреченно мычащих коров.

По песку невозможно было ходить босиком. Вода в Тополте до того согрелась, что из нее не хотелось вылезать, хотя она и не освежала.

Плавал Бугорков плохо, хотя и смог бы переплыть Тополту, но его выручала старая, черная коряга, остов упавшего когда-то в реку дубка, упругий и скользкий сук которого высывался из воды, пластаясь над ее поверхностью. Глубина под ним «по шейку», течение сильное, и если обхватить эту корягу руками, струи воды поднимают невесомое тело, и оно словно флюгер полощется на течении в блаженном безволии, без всяких усилий удерживаясь в горизонтальном положении.

Более приятного занятия нельзя было придумать в эти знойные, душные дни. Бугорков был в отпуске, в самом начале бесконечно долгих, счастливых, бездельных и бездумных дней. Он лежал в воде, чувствуя каждым своим волосочком скользящие струи теплой воды, ее уверенную силу, слыша ее журчание у себя над ухом и не видя ничего вокруг, кроме серого неба, в котором сияло раскаленное, обезумевшее солнце, черной коряги и коричневой от загара руки с порыжевшими волосами. Если он слишком остывал в воде, он выходил на песок и, выбрав не очень горячий склон в этих сверкающих под солнцем дюнах, падал с приятной дрожью в теле в рассыпчатое тепло песка, который обваливал его, как рыбу на сковородке, наливая на мокрую кожу. Песок быстро высыхал и обсыпался, и только на спине между лопаток на загорелой коже мутно светлел он, пока струи воды, в которых опять нежился Бугорков, не смывали его.

Я и сам любил в былые времена приходиться на этот дикий пляж и так же, как Бугорков, подтягивался на упругой коряге, забирался на нее, вытаскивая из воды тяжелеющее тело, прыгал с естественного этого мосточка, выскакивал из воды, облепленный мокрыми волосами и брызгами, и снова лез на разогретую корягу, скользя ногами по ее подводной, слизистой крутизне, мутной тьмою уходившей в глубину.

Ах, какое это чудное было время! Пески, совсем еще не тронутые человеком, перемешались с нежно-зеленым мятликом, остужающим босые ноги, обожженные на песке. Ивовые кусты росли на песках непролазными грядами, еще не прореженные топором, а в их зеленых чащобах, в глубоких песчаных впадинах млели под солнцем неиссякающие прудки с черными доньшками от перегнивших листьев. После половодья оставались порой в этих ямах, отрезанных от реки, крупные рыбы, которые, как правило, не выживали в перегретой воде, но поймать которых тоже не было никакой возможности: они носились в теплой своей клетке как угорелые, взмучивая воду, поднимая черную гниль со дна, и даже при самых благих намерениях я так и не смог поймать однажды пятнистого щуренка, попавшего в беду.

Чуть выше этих кустов, за грядами прилизанного песка, поющего под ногами, в дымчатых зарослях ольхи, в прошлогодних, грифельных листьях, в хрустящем, прожженном солнцем хламе, пронизанном острой и жестяно-жесткой травой, грелись черные ужи, которые вдруг пугали меня вороненым, маслянистым отливом своих скользящих тел, текучим, шуршащим бегством, стремительностью движения среди мутно-серой неподвижности сухих листьев, серой коры, упавших деревьев, среди солнечных пятен и полутьмы... И трудно было побороть мгновенный порыв к бегству, унять постыдную слабость в коленях, хотя я и знал, что это не гадуки, не аспиды, а беззащитные ужи с золотой короной на гладкой головке шуршали в листе у меня под ногами. Застигнутые врасплох на краю зарослей, они с шипением вываливались на песчаный откос и, беспомощно извиваясь, черные на изжелта-белом, катились вниз к воде, в которую стремительно вскальзывали обтекаемой своей головкой и легко плыли на ту сторону, сносимые течением.



Иногда мне казалось, что некоторые ужи признавали во мне старого приятеля, который не трогал их, и совсем не боялись меня, когда я обходил их свернувшиеся в черную кучу тела. Однажды я ловил с поваленного дерева плотву в проводку и, чтобы не терять времени, накатал заранее несколько шариков из теста, положив их сзади себя на гладкий, ошкуренный временем крутой комель. Поймал плотвичку, потянулся рукой за насадкой и не нащупал ни одного шарика. Накатал еще штук пять, но их снова не оказалось на месте, с которого они никак не могли сами скатиться... А это маленький ужонок, толстой с карандаш, воровал их у меня из-под бока. Я обнаружил его, когда положил на то же место хлебный катушек, исподтишка поглядывая на него. Комель дерева был привален к земляному обрыву, и вдруг из путаницы сухих корешков черным кинжальчиком выскочил ужонок, ловко схватил кусочек теста и тут же убрался восвояси... Не скажу, что это очень обрадовало меня, но рассмешить — рассмешило: очень хитрым и сноровистым воришкой показался мне этот прибрежный чернокожий житель, который наверняка знал, что красть у человека его запасы, когда этот человек горой возвышается над тобой, очень опасно, а ведь все-таки крал, надеясь на удачу. Именно крал, выжидая удобный момент для своего стремительного броска. Я никогда не испытывал любви к ползающим рептилиям, но этот чертенок мне понравился, и я, забыв про рыбалку, досыта накормил храброго своего соседа, не забывая о том, что этот мир принадлежал не только мне, но и ему.

В далекие те времена на утренней заре можно было вдоволь налюбоваться зимородком, который синим ядрышком вылетал из черного жерла своей норы в обрыве, облепленном лучами восходящего солнца, и стремительно проносился в текучем каком-то полете над водой, сияя тропической, нездешней окраской, и вдруг исчезал в реке, бесшумно, как в масло, уходя под воду, и с той же масляной пластичностью вылетал из нее в воздух, поражая и восхищая всякий раз своим чудодейством, словно бы птица не за добычей для птенцов, которые ее ждали в норе, ныряла под воду, а фокусы показывала, свою удаль и никем не превзойденное искусство.

Много всяких чудес было в ту пору на милой моей Тополте! А если встречались мне люди — косец ли на лугу, пастух, разыскивающий корову, или женщина, бредущая по берегу в поисках пропавшего табунка гусей, — мы здоровались с уважением и расходились, не мешав друг другу жить на этой чудесной земле как каждому из нас хотелось.

Чудеса, конечно, и теперь случаются, и порой то, что в рассказе может показаться нелепейшей выдумкой, происходит наяву, хотя я и склонен думать, что чудо, случившееся с Верочкой Воркуевой и с Бугорковым, могло произойти только лишь благодаря каким-то сказочным особенностям речки Тополты, потому что встреча их на берегу реки просто не могла быть в реальности, ее невозможно было себе представить, даже обладая очень вольной фантазией.

Это, разумеется, понимал и сам Коля Бугорков, когда он, весь в брызгах, вышел из реки на песок и среди тех немногих отдыхающих, которые приходили сюда из Лужков и из Воздвиженского, увидел вдруг ее сидящей на черной корме затонувшей, затянутой песком плоскодонки.

И что самое удивительное во всей этой нелепости: он вышел не в стороне от лодки, а прямо на нее, словно бы какая-то чудотворная сила, таящаяся в реке, вывела его к черной корме, на которой присела отдохнуть и остыть после жаркой дороги разомлевшая, но уже готовившаяся искупаться Верочка Воркуева. Хотя, конечно, если бы он **в стороне вышел на берег**, он все равно бы увидел ее, потому что она

как-то очень заметно сидела над водой и еще потому что кожа ее была туманно-белой, отсвечивающей голубизной, какая бывает с нутряной стороны речной ракушки,— она вся светилась этой худосочностью рядом с загорелыми, жирно поблескивающими телами, разбросанными на песке и на байковых одеялах под кустами. Все, кто был в этот час на пляже, обратили внимание на эту болезненно-хилую женщину, еще не тронутую солнцем, и, конечно, Бугорков тоже бы заметил ее и если не сразу узнал, то, во всяком случае, засмотрелся бы на нее издали, на это призрачное изваяние, сидящее на черной, затянутой в песок лодке, или, вернее, на обломленной ее корме, торчавшей из воды. Синие лоскутья купальника еще резче выявляли немощную белизну женского тела, тени под круто изогнутыми ключицами, отчаянную худобу ее спины и ног.

Но он ничего этого не увидел, а сразу натолкнулся на нее, занятый своим утробным ознобом, который выгнал его из реки, и оцепенел от испуга.

А она тоже очень испугалась и, ничего не понимая, в надменном каком-то удивлении вздернула бровь, но в то же мгновение испуг исчез в ее взгляде, исчезла и оборонительная надменность, с которой она машинально встретила остановившегося перед ней мужчину, и глаза ее наполнились таким стыдом, когда она узнала Колю Бугоркова, такое мучительное смущение исказило ее лицо, так нервно повела она головкой, словно бы бежала прочь от испугавшего ее видения, так напряглись ее губы в немом крике, так она вся преобразилась сразу и зарделась в необузданном волнении, что Бугорков, который тоже еле удержался на ногах, почувствовав что-то вроде внезапного головокружения, затмившего разум, успел за какие-то доли времени понять ее страшное возбуждение, но не более того, и все-таки он пересилил свою немоту и сказал:

— А я тут живу,— удивленно глядя на Верочку Воркуеву и опять произносил бог знает что:— Я тут, в Лужках... В отпуске.. Что ж теперь... делать! А вы?.. Как тут вы-то? Ничего не понимаю. Вы ведь Вера Воркуева? Да? Я не ошибся, черт возьми?

Что-то большее, чем стыд, какое-то никогда еще не испытывавшееся ею чувство, что-то неукротимо-страшное, с чем она уже не могла справиться, сорвало Верочку Воркуеву с места, она в паническом ужасе бросилась в воду, с разбегу плюхнулась на мели, но, снова поднявшись, побежала дальше, молотя мелькающими и высоко задираемыми коленями нерасступчивую воду, и, закидывая назад голову, рухнула наконец плашмя, подняв брызги, и поплыла.

А когда, запыхавшись, понуро выходила на берег, опять увидела Бугоркова и, уже в воде осознав случившееся, стыдя себя за дикое бегство в воду, издали усмехнулась ему и, загнанно дыша, сказала с привычной уверенностью в себе:

— А я тут... впервые... Мы там... в Воздвиженском... там тоже хорошо.

— Верочка,— сказал в восторженном недоумении Бугорков.— Я не могу поверить... Вы ли?.. Ты ли это?

— А что случилось?— В голосе ее прозвучала уже насмешка.— Разве я так страшна, что и узнать уж невозможно?

Она прошла мимо Бугоркова, обдав его, опять разогретого на солнце, мокрой прохладой, и он с обмиранием почувствовал кожей ноги, как какая-то крошечная капелька, сорвавшись с Верочкиного тела, кольнула его. И эта невидимая капелюшечка вскружила ему окончательно голову...

— Верочка, я никогда! Слышишь?! — говорил он, идя за ней следом по заплесу и не видя любопытных глаз, которые провожали их.—

Я ни за что! Никогда! Если ты даже... Нет! Этого никогда не может быть! Как же ты этого не понимаешь?

Верочка с застывшей на губах усмешкой понимала все, что хотел он сейчас и не мог сказать, но все-таки спросила его, только теперь наконец с удивлением сознавая, что она встретила не с кем-нибудь, а с Колей Бугорковым, который изменился за это время внешне, став даже ростом как будто повыше, и что особенно смущало ее и удивляло, был теперь вполне взрослым мужчиной с золотисто-курчавой шерсткой на груди, да и весь он был покрыт теперь этой густой и короткой шерсткой, чего она, как это ни странно казалось ей теперь, никак не ожидала от него, — она все-таки спросила:

— А что никогда-то? Я действительно ничего не пойму. Откровенно говоря, мне бы не хотелось... Я хочу сказать, да, смешно, конечно, — взяли вдруг и встретились. И где? Боже мой! Но не в этом дело!

— Я все понимаю! — воскликнул тоже очень догадливый в эти минуты, на все согласный Бугорков. — Я, конечно, не посмею даже... Что ты, Верочка! Я все понимаю. Я хотел сказать, что я никогда... Я вообще убил бы того, кто осмелился бы сказать о тебе, что ты... ну, как ты сказала! что ты... страшная... Ты совсем не изменилась! Нет! Что ты! Тебе очень к лицу эта бледность, ты знаешь? — И он засмеялся, давая понять, что ему это приятно ей говорить, и только. — Я никогда не думал... Я считал, наоборот, что ты после замужества располнеешь, а ты вон какая молодец! Сколько же у тебя детей?

— У меня сын, — ответила Верочка Воркуева, которой было приятно слушать Колю Бугоркова и верить, что он ничуть не изменился, а как был простодушным и искренним человеком, так им и остался, не научившись лгать и притворяться. — Боже мой, сын! — повторила она со вздохом. — Я из-за него приехала сюда... А ты знаешь, это смешно! — вновь воскликнула она. — Это дико смешно! Мой отец здесь, в Воздвиженском, купил по дешевке избу, и мы в ней живем.

— Это невозможно хорошо! То есть я хотел сказать, — поправился Бугорков, — что здесь чудесные места и твой сынишка... А почему ты не взяла его с собой?

— Ему нельзя. Ему только в тенечке... Он чуть не умер у меня этой весной.

— Что же это с ним? Как же? — испуганным, приглушенным голосом спросил Бугорков, замедляя беспечный и веселый шаг.

И Верочка опять отметила про себя его удивительную способность так искренне реагировать на чужую боль. И она вкратце, боясь долгих и подробных воспоминаний, рассказала ему о тех ужасах, которые пришлось пережить ей с сыном, о том, как долго не могли поставить верный диагноз, пугая ее и менингитом, и полиомиелитом, хотя у него было очень опасное менингеальное осложнение после гриппа, и с каким трудом Олежка выкарабкался из этой беды.

— Нет, я не хочу вспоминать... Я просто не могу! Ты извини, я... это слишком... близко снова... Нет...

— Господи! Я ведь не знал! — взмолился Бугорков. — Бедняжка! Сколько же тебе пришлось испытать! Прости меня! Забудь об этом... Все теперь хорошо!

Верочка Воркуева даже остановилась, пораженная той тревогой, которая сочувственно звучала теперь в голосе Бугоркова. «Бедняжка! — снова услышала она. — Сколько же тебе пришлось испытать!»

— Пора возвращаться, — сказала Верочка. — Ну, а ты? Женат? Дети? Сколько?

Коля Бугорков впервые осмелился взглянуть ей в глаза и сказал с улыбкой и с каким-то неожиданным заиканием:

— Я... женат... н-н-на одной-единственной... П-п-прости меня, если можешь, за эту чертовщину... Я б-больше никогда не буду... Нет, я не женат. Не получилось ничего. Так уж вышло... Не думай, нет! Я не жа-лею нисколько. Н-не мальчик, конечно, были увлечения, но вот... ви-дишь, так бывает...

Теперь он жадно ощупывал ее глазами, точно наедался впрок ее плотью, скользил взглядом по каждой ее морщинке, по каждой складочке на похудевшем ее теле, по каждому бугорку выступающих ребер и позвонков, и делал это в открытую, пользуясь коротким мгновением, заминкой, которую как будто специально для него устроила Верочка Воркуева, в задумчивой улыбке отвернувшаяся к реке.

— Пора возвращаться,— повторила она.— Здесь и в самом деле хорошо.

— А ты не хочешь попить? — спросил Бугорков с надеждой.— Здесь совсем близко, за поворотом, родник... Будешь знать, что вот и родник тут есть... А? Пошли...

«Я там все оставила», — хотела сказать Верочка, но постыдилась, боясь обидеть Бугоркова, чувствуя себя так, будто пришла к нему в гости, в его дом.

Они шли по сырому и гладко прилизанному речному заплесу; справа текла река, а слева горбились чистые пески. Но уже совсем близко подступили к реке полураздетые в этом жарком году бурые кусты, а в воде с замшевым сереньким доньшком росла яркая осока.

Над осокой шуршали синие стрекозы, порхали над живой водой, над серыми спинками косо отплывающей от берега рыбьей молодежи, и в воздухе пахло рыбой, как пахнет грибами в сыром лесу.

В благостном каком-то исступлении, в полной отрешенности от мира шел Бугорков рядом с Верочкой Воркуевой, не веря в реальность всего происходящего, ощущая рядом с собой не человека, не женщину во плоти, а нечто высшего порядка, какой-то воспаривший над ним и над всем миром дух. Восторг его был так велик, что он совершенно не чувствовал себя, не понимал, что происходит с ним. Лишь какими-то сверхчувствительными, неподвластными ему токами он все время ощущал рядом с собой присутствие высшего начала всех своих начал, предел всех своих мечтаний, материализованное свое желание, которое шло, легко ступая босыми ногами по зализанному песку.

Белокожие ее стопы словно бы чуть прикасались к поверхности мокрого песка, но влага, пропитавшая песок, на какое-то вспыхивающее мгновение уходила вся из песка, выдавленная тяжестью тела, и тогда вокруг стоп как бы тоже вспыхивали на миг светлые ореолы.

И Бугорков в боголепном своем восхищении, замечая эти светлеющие пятна мокрого песка, понимал вдруг и с колеблющимся сердцем ощущал рядом с собой тепло тяжелой женской плоти и свое собственное присутствие, свое собственное «я», которое захлебывалось от привалившего вдруг счастья не в силах просто и ясно представить себе, что рядом с ним шла та самая Верочка Воркуева, которая когда-то прогнала его, но которая все-таки, которая все-таки, все-таки! «Боже мой,— думал он,— неужели это она? И этот мизинец с розовой потертостью — ее мизинец? И эта голубая жилка на бедре — ее жилка?»

— Зря мы пошли,— сказала Верочка Воркуева.— У меня очень мало времени.

— Нет, нет! Вот видишь обрывчик? Это там... Там плаха долбленая и родничок.

В эти минуты он мог думать только о предметных вещах: вот река, вот песок, вот кусты, а там родник. Все в душе его как будто распалось на части, которые невозможно было соединить логическими какими-то связями. Все как бы стало само по себе, и ему приходилось в

мучительном напряжении разума постигать эти связи заново. Вот река, омывающая песчаный берег, вот он сам и она, идущая по гладенькому и прохладному заплесу, вот жесткий хруст мокрого песка, а вот мгновенные вспышки от их шагов, выжатые тяжестью их тел, а главное — вот она, та самая Верочка Воркуева, которой надо что-то сказать, о чем-то спросить, удержать ее внимание... Но как? Но что? Но о чем?

Вот река, а вот сидит синяя стрекоза на осоке, и сейчас она взлетит... Вот она заплясала в воздухе... А вот и родник...

— Ну вот и родник,— сказал Бугорков, млея от предвкушения счастья.

Не того счастья, что он напьется сейчас ледяной воды, а того, что Верочка Воркуева наберет в пригоршни этой воды, к которой он привел ее.

Железисто-красные, радужные натеки и монотонный плеск тоненькой струйки...

— Ой, какой тут песок! — сказала Верочка Воркуева. — Ледяной!

Плавающий, размытый берег был пропитан подземным холодом. Струя воды, крученым хрусталем падающая с замшелой плахи, выбила себе ямку, выложенную цветными камушками. Из этой ямки, из чистого ее ведрышка, переполненного водой, выбегала узкая струя, прорезав глинисто-серое русло, которое около реки сходило на нет, а струя воды широко растекалась по песчаному наплыву, светло вдававшемуся в реку мягким языком.

Следы босых ног, глубоко и резко вдавившихся пальцев...

— Ты попробуй,— сказал Бугорков.— Ты в жизни не пробовала такой воды!

Ах, как старалась Верочка Воркуева нагнуться к струйке так, чтоб получилось это изящно! Как легко она присела на корточки! Как гибко выгнула спину, протягивая сомкнутые ладони к воде! Как улыбнулась, ополаскивая руки! Как поднесла к губам сочащуюся сквозь пальцы воду и впиалась в нее губами!

И как пружинисто поднялась она, смывая мокрыми руками жар с лица, словно совершая молитвенный обряд, мусульманское какое-то омовение... И засмеялась, довольная собой, блеснув тоже омытыми как будто зубами!

Бугорков смотрел на нее как на чудо и, угнетенный, не мог сказать ей ни слова, хотя и готов был прокричать о невыносимой тоске, которая вдруг вернула его на землю.

Он увидел перед собой чужую жену, мать чужого ребенка, которая очень скоро вернется в свою семью, к мужчине, семя которого выносила она в утробе, в муках родив сына, похожего, наверное, на отца...

Это жуткое, как ему показалось, превращение, перерождение Верочкиной плоти, кошмарный, как ему представилось вдруг, процесс зачатия, тяжелой брюхатости, прислушивания к развивающемуся плоду, тяжкая поступь с выпяченным животом и наконец роды — все это вдруг такой вопиющей нелепостью, таким несоответствием, такой тоской прошлось по сердцу, так он вдруг отчетливо представил себе безумное и отвратительное переплетение двух тел, занятых заботой о продолжении рода, что в холодном каком-то и черном поту, чуть ли не теряя сознание, стал на колени в ледяной холод земли и, зажмурившись, сунул голову под струю... Потом встряхнулся, как собака, всей головой.

И опять увидел ступни Верочкиных ног, серую глину, застрявшую между пальцами, между перстами, как он подумал о ее пальцах, увидел мраморно чистую легкую щиколотку с крошечной родинкой на

полированном бугорке, и снова не поверил, что именно здесь, на берегу Тополты, у родника, он смотрит и видит наяву свою Верочку Воркуеву.

«Не-ет! — подумал он с вожделением. — Она моя! А потом уже... потом... Моя, конечно, господи боже мой! Ты ведь моя! — хотелось сказать ей. — Ну о чем ты сейчас думаешь? Ну скажи, пожалуйста! Неужели ты сама ни разу не подумала об этом? Ты ведь помнишь, да? Ну почему же тогда, господи! Почему же кто-то имеет право, а я, твой первый, лишен его? Ведь ты помнишь! Ты же моя!»

Чего бы он ни отдал за то, чтобы узнать сейчас, как и что о нем думала в эти минуты Верочка Воркуева! Каким вошел он в ее сознание?! Узнать бы эту тайну, увидеть ее глазами, ее сетчаткой, ее хрусталиком, ее мозгом, узреть себя в ней! Ведь как-то же он отразился, как-то вошел, как-то осознан ею?!

Бугорков ошибался. Она ничего не помнила. Лишь первое мгновение их встречи, когда она бросилась от него в реку, первый взгляд на Бугоркова что-то ужасное вдруг напомнил ей, но в тот момент, когда она вышла из воды, она ничего не помнила и только поэтому не оттолкнула от себя Бугоркова. Конечно, она могла бы все вспомнить, но ей не хотелось, потому что в отличие от Бугоркова воспоминания эти были предельно неприятны ей, как если бы она вспомнила что-то постыдное, о чем люди вспоминать не любят.

Верочка Воркуева как бы уговорила свою память забыть обо всем, что с ней случилось в семнадцать лет. Она ведь даже Тюхтину не сказала в свое время, что это был Бугорков, а придумала какого-то несуществующего человека, уехавшего в Ленинград. Это могло показаться со стороны глупой и непонятной ложью, но именно таким вот нелепым образом она вычеркивала из сознания неприятную ей историю с Колей Бугорковым.

Выдуманного своего любовника она инстинктивно отправила в город на Неве и поселила в голове мужа, тем самым стерев в памяти Колю Бугоркова. А раз перестал существовать Бугорков, то и то, что было у нее именно с Колей, перестало быть реальностью.

Теперь она так уже привыкла к этой иррациональности, к этой мистической фигуре уехавшего в Ленинград, о котором знал даже муж, что она и Коле Бугоркову легко вернула все его прежние добродетели и была в конце концов рада встретить его здесь, потому что это был уже не тот, который причинил ей в жизни столько неприятностей, тот давно уже жил в других местах — в сознании мужа и в Ленинграде.

Если бы Верочка помнила все, она бы и разговаривать с Бугорковым не стала. Так что в некотором роде ему повезло: будь он другим человеком, с менее строгими нравственными устоями, и посмей он распуститься, увлечься своими страстями, неизвестно, чем бы это кончилось, как бы повела себя новая Верочка Воркуева с новым Колей Бугорковым, даже во внешности которого она нашла столько приятных и неожиданных перемен.

Но он остался все тем же Колей, который когда-то погнался за птичкой, был жестоко избит за это и теперь как никогда раньше умел смирять свои страсти, боясь хуже смерти новых побоев. «Работал», как хорошо поставленный, вежливый лаверак: жмурился и трясся в нервном ознобе от страсти, но «умирал» в стойке, не преступая заветной черты.

Здесь, у родника, он даже запах Верочки услышал — запах ее разогретой на солнце, горячей кожи, которая вовсе не пахла рекой, как порой утверждают романтически настроенные прозаики, или спелой рожью, полевым цветком или земляникой, — она душновато пах-

ла человеческим потом с чуть приметной и неприятной примесью дешевых духов или какого-то крема или лосьона, которым пользовалась Верочка Воркуева, протирая им лицо на ночь или с утра, с привычной регулярностью массируя пальцами вокруг глаз, разглаживая морщинки, питая кожу пахучим и целебным жиром. Какая уж тут река!

Но для Бугоркова, который поспешая шел рядом с Верочкой, это был ее родной запах — этим или же почти этим запахом были пропитаны до сих пор хранимые театральные и концертные билеты, с этим запахом приходили ему на память ее комнатка, ее пальцы, ее волнение, когда запах этот слышался явственнее, ее усталость — с этим запахом он вспоминал и как пахли ее губы...

Совершенно обессиленный, он доплелся до пляжа, заметил боязливо озирающийся взгляд Верочки, увидел ее платье и босоножки в кустах... И странное дело! Усталость его так разрушающе действовала на него, так безвольно подламывались ноги, что и купанье не помогло, не освежило. Ему казалось, что прошла вечность с тех пор, как он увидел Верочку, он даже почувствовал, что ему очень хочется, чтобы она поскорее ушла...

— Я тебя провожу,— сказал он, сопротивляясь этому неожиданному чувству.

— Ни в коем случае.

— Но ведь... это... Верочка, а как же? Я очень бы хотел... На полпути я уйду... ты одна придешь домой...

— Я сегодня, наверное, сторела. Плечи горят,— ответила она, вдевая мокрые, облепленные песком ноги в босоножки.

— Давай я подержу тебя за руку, ты помоешь ноги, а то ведь натрешь...

— А! Чепуха! По дороге обсыплется. Я опаздываю, обещала к часу прийти...

— Боишься мужа?

Она хотела сказать, что муж в Москве, что ему не дают отпуск, но промолчала, нахмурившись.

— Прости, пожалуйста... Верочка, а придешь ли ты завтра? Я буду ждать. Если сочтешь нужным не говорить обо мне своим, не говори... Даже лучше, если не скажешь... А если у тебя будет время и охота, приходи сюда, ладно? Если, конечно, ты придешь с мужем, я даже и... вообще... ты можешь быть спокойна.

— А что мне беспокоиться?

— Нет, конечно, но я просто так, на всякий случай... Глупость, конечно... Но придешь ли ты?

— Если приду, то опять в это время... Мама часика на три отпускает, не больше... Я только четвертый день как приехала, а муж в Москве на работе,— сказала она машинально, забыв, что только что скрыла это от Бугоркова.— Конечно, одной в незнакомом месте... Там я все знаю, а тут, конечно, красота удивительная... В общем, не знаю, если приду, то опять так же, часов... часов...— Она нахмурилась, словно ей доставляла величайшую неприятность эта необходимость называть время, какая-то брезгливая гримаса появилась на ее лице.— Ну не знаю... ну часов в десять, одиннадцать. Какая разница! Но слушай, а вода в родничке — чудо! Такую воду в Москве продавать можно. Я думаю, о чем-то я все! Вроде что-то забыла сделать, а это я воду забыла выключить! — Она громко рассмеялась.— Ну там, на родничке, льется и льется... Ушли, а она льется! Жалко. А потом — привычка кран закрыть... Ладно, пока...

И в этом оживлении, душевном каком-то подъеме, взяв под мышку свернутое платье и белье, она тяжело побежала прочь по песку,

позвякивая жестяными пряжечками на босоножках, оставляя за собой остродонные лунки обсыпавшихся следов...

Ни она, ни Бугорков не слышали, как две женщины на одеяле, провожавшие Верочку Воркуеву взглядами, лениво перебросились меж собой:

— Надо же, хворь какая! Глядеть страшно.

— Куда-то с мужиком ходила...

— Куда, куда! Куда надо, туда и ходила. Ишь, побежала, костями загремела. Страшна-то, страшна-то, господи. Небось думает — красавица.

И обе они, упитанные, сильные, толстые и разомлевшие, как в бане, посмеялись так же лениво и равнодушно, как лежали, как смотрели на реку, на бесформенные свои ноги и на все, что их окружало.

А Бугорков, оставшись один, с разбегу влетел в воду, как недавно это сделала Верочка, так же плюхнулся и поплыл к коряге, но река снесла его, и он, вцепившись ногами в текучее, песчаное дно, уже по грудь в воде, пошел навстречу течению, помогая себе руками, как веслами. Вода была так ласкова, так упруго и нежно напирала она на грудь, так тяжело было преодолевать этот напор, что когда Бугорков уцепился руками за корягу, он почувствовал себя парящим между небом и землей... Вода журчала возле самых ушей, заглушая все звуки, струи ее, охватывая тело, завихрялись, гладили кожу ветровыми порывами, поверхность реки, тугое ее верхнее полотнище скользило, непрерывно и мощно двигалось на уровне глаз, голубая ниточка Тополты, еле заметная на карте областного масштаба, казалась теперь единственной в мире, могучей, неукротимой, великой, как Амазонка, таинственной рекой, а порой даже чудилось Бугоркову, стоило закрыть глаза, будто не река неслась ему навстречу, а он сам, уцепившись за черный плавник какого-то чудовища, стремительно мчит с глиссирующей скоростью на ее поверхности, и если он вдумывался, впивался в это свое воображаемое скольжение в воде, оно становилось чуть ли не реальностью, и только взгляд по сторонам выводил его из этого состояния, только подмытый, уходящий вверх правый берег, только навалы левобережного песка останавливали его, возвращали в тихую и безмятежную реальность. Шумно купались женщины, с повизгиванием и оханьем погружая лоснящиеся свои, глазированные тела в равнодушную воду, дети их копали ямы в сыром песке заплеса, строили из мокрого песка колючие крепости, в небе парил коршун, правя вильчатым хвостом, а на коряге сидела стрекоза.

Село Воздвиженское стало с того дня для Бугоркова целым государством, о котором он думал то как завоеватель, то как слабосильный, немощный сосед с разбитой наголову армией. То он победителем входил в это покорное ему царство, то постыдно бежал и скрывался, делая заячьи сметки, запутывая следы, и снова ждал своего часа, тайно надеясь на реванш.

Когда Верочка Воркуева долго не приходила на пляж, он, разжигая в себе боевой дух, шел в Воздвиженское, но как только церковь и крыши села показывались из-за деревьев, дух его слабел и он возвращался бесславно назад.

Он даже в магазин теперь боялся ходить и отказывался под любым предлогом, когда Клавдия Васильевна или одна из гостящих в Лужках теток просили его услужить им в хозяйстве. Лишь однажды, перед днем рождения Клавдии Васильевны, который Бугорковы, закусав от будней, решили торжественно отметить, он отправился за



вином, натерпевшись страха в кислом духе сельпо, слабея при одной лишь мысли, что каждую минуту в магазин может войти Анастасия Сергеевна или же Верочка с мужем.

Даже рябой гусак, который зычно, всполошенно расказакался посреди асфальтированной дороги, вызвал в нем тревожное чувство, словно бы одуревший от жары и пыли водоплавающий лапотник оттого только и очутился напротив открытых дверей магазина, что обнаружил вдруг опасность, нависшую над селянами, и бил теперь во все свои скрипучие колокола.

Старик в магазине, покупая целую наволочку сахарного песка, ругал своих пчел на чем свет стоит за злобный нрав, но тут же гнев сменял на милость, оправдывая пчелиную злость отсутствием цветов, которые все повыгорели под солнцем. «Видал, где собака зарыта!» — восклицал он, притоптывая ногой и хлопая рукой по колену.

Это успокоило Бугоркова: старик не заподозрил в нем чужака.

«Вон где собака-то зарыта!» — говорил воздвиженский обыватель на все лады таким загадочным и таинственным шепотом, будто он и в самом деле знал, где зарыто несчастное это животное.

Бугорков даже позволил себе пошутить, спросив участливо: «А чего собаку-то зарыли? Подохла, что ль?»

И сделал это напрасно, потому что пчелиный радетель умолк и стал подозрительно приглядываться к нему. Бугорков опять напрягся, ожидая ежесекундно угрожающе-таинственный вопрос местного жителя: «Уж не тот ли ты Бугорков, который трутнем в Лужках живет? Люди добрые, хватайте вора, сажайте его на кол, окаянного!»

Ничего этого не случилось, к счастью; Бугорков купил вина и две тяжелые, расплывшиеся буханки черного хлеба, но когда он на обратном пути проходил мимо пруда, на него откуда ни возьмись выскочила коротконогая, грязная собака, шерсть которой вся была всклокочена, забита репейником, и с таким остервенением стала подбрасываться к его ногам, так злобно скалила зубки, что он с полверсты шел по тропинке боком, отгоняя вязкую и назойливую сучонку, которая вся изошлась в визгливом лае, кляня бога за маленький свой росточек, хрипя, давясь и кашляя от обиды... А в голову Бугоркову лезла всякая чертовщина.

Дело в том, что копанный пруд, дубы и березы были когда-то самсоновским владением. Среди этих картинно-тяжелых дубов и плакучих берез стоял давно уже спаленный воздвиженцами ненавистный помещичий дом, а собака выбежала, казалось, именно оттуда, из бурьяна, из кустов шиповника и бересклета с алыми плодами, похожими на окровавленные рыбы глаза на ниточках, выскочила так неожиданно, как если бы он вдруг наступил на осиное гнездо и на него набросились бы осы. «Вон где собака-то зарыта!» — вспомнил он с холодком в груди. И как ни бодрился, как ни подшучивал над своими страхами, тоскливая тревога не оставляла его, он поговорку дедовскую вспомнил некстати: «Из пустой хоромины либо сыч, либо бешена собака!»

Года четыре назад как-то на рассвете пришел он с удочками на этот пруд под дубами и березами. Еще не поднялся туман, и деревья в старом парке стояли сизыми тенями, растворяясь в отдалении. И вдруг он увидел среди дубов толстую женщину в резиновых сапогах, с накинутаой на плечи телогрейкой, проходившую мимо пруда, то скрываясь за стволами, то вновь появляясь на туманном берегу. Когда она приблизилась, внимательно поглядывая на Бугоркова, он улыбнулся и спросил по-свойски: «Привет, мамаша! Есть тут у вас караси-то?» А женщина остановилась как вкопанная и очумело-громко, крикливо спросила: «Какой карасин?» И тут же исчезла в дубах.

«Там водит»,— убежденно сказал Александр Сергеевич, когда услышал об этой встрече.

Бугорков и о женщине вспомнил, спускаясь по тропинке в душный овраг, в котором было так много опавших, скрюченных от жары листьев, что каждый шаг его гремел, как если бы он шел по железной крыше.

Видимо, хруст опавших среди лета листьев, небесное марево, запах дыма и жгучее солнце угнетающе действовали не только на пчел, гусей и собак, но и на него тоже.

Спасением была, конечно, река! Особенно если он обнаруживал на песчаном берегу Верочку Воркуеву, приходившую всегда неожиданно, всегда являвшуюся ему уже в купальнике, уже как бы ожидающей его, но в то же время и с выражением приятного удивления на лице: «Как?! И ты, оказывается, тут? Очень мило!»

Она собирала свои волосы в незаплетенную, перехваченную бархоткой пушистую косу, очень внимательна была к себе, к каждому своему движению, день ото дня все более оживляясь, как яркая бронзовка, согретая солнцем, летающая и кружащаяся над цветущим шиповником, копошащаяся в розовых лепестках...

Кожа на плечах у нее шелушилась пепельно-тонкими кружевами. Она накидывала на плечи шелковый платок, завязывая его узелком на груди, и, не сговариваясь с Бугорковым, шла к роднику, зная, что он идет рядом, но словно бы и не замечая его.

Она хорошела с каждым днем, набиралась сил и надежд на полное выздоровление сына, рассказывала без умолку об Олежке, а Бугорков с обожанием слушал ее.

— Ты знаешь, о чем я все время хочу тебя спросить? — сказал он ей однажды. — Ты мне скажи, только честно! Ты и в самом деле идешь сейчас, вот здесь, рядом со мной, идешь по берегу, существуешь? Или мне это только кажется? Я никак не могу верить, привыкнуть! Честное слово! Мне все время хочется дотронуться до тебя, прикоснуться кончиком пальца. Можно?

А она в ответ спросила у него с игривой усмешкой, с незнакомым доселе жеманством:

— Ну, а как ты сам-то живешь? Расскажи о себе.

— Я очень хорошо живу,— ответил Бугорков, хотя и почувствовал, что она не такого ответа ждала от него, спрашивая о чем-то более важном и существенном, о какой-то запредельной, неизъяснимой жизни его духа. Казалось, она спрашивала: «Скажи мне, ты, значит, до сих пор меня любишь, да?»

Но Бугорков и представить себе не мог свой ответ на этот смутно звучащий, кажущийся ему вопрос, он даже не складывался в его сознании — это было действительно за пределами его возможностей, ответить, или, вернее, просто сказать ей обо всем, что он чувствовал, находясь рядом с ней. Он оскорбить боялся своими чувствами Верочку Воркуеву, живущую только сыном, говорящую, мечтающую только о сыне, оживающую вместе с сыном, которая и его-то обладала своим вниманием только лишь потому, что он был восхищенным ее слушателем, был живым существом того внешнего мира, для которого она выхаживала сына и перед которым как бы держала теперь ответ за него и за себя. Она как бы говорила всякий раз с восторженным умилением в сердце: «Вот видите, люди, я родила вам сына, а он заболел у меня, но я все сделала для того, чтобы он остался с вами в этой удивительной жизни. Я буквально все сделала для этого! Поверьте мне — все! Теперь я буду очень стараться, чтобы мой сын понравился вам. Примите же его с миром».

Что-то молитвенное, какая-то истовость слышалась в ее голосе,

когда она рассказывала о сыне, словно бы она к небесам обращалась с закливанием: «Да придет Сын человеческий во славе своей!» И глаза ее восторженно сияли при этом.

Он не узнавал Верочку Воркуеву в эти минуты, разум его затуманивался, воля расслаблялась, и он способен был лишь из птичьего своего далека любоваться ею...

Отвечал, как школьник, на ее вопросы, рассказывая о работе, объясняя ей, что такое «паук», «фонарь» или «циклон». Если же она не совсем ясно понимала, он чертил на песке прутиком схему коллектора трубопроводов.

— Вообще-то я сам против этих «скорофонов»,— говорил он с улыбкой.— Я за строгую техническую терминологию, но, черт побери, привыкаешь... Русский язык никак не хочет мириться с громоздкостью: «приточный насадок»! Что за приточный насадок? «Фонарь»! Или, например, циклон-промыватель конструкции института СИОТ, что означает — санитария и охрана труда. А их попросту «сиотами» зовут или «циклонами». Ну, циклон — это правильно. А вот «паук», или «фонарь», или, например, «свищ». Я против этого, хотя и привык сам... Ну почему «свищ»? Протертость в трубопроводе, дырка... Так нет же, все зовут «свищом». Тебе интересно это? — спрашивал он с сомнением.

На что Верочка Воркуева поспешно и убежденно отвечала:

— Очень! Я ведь редактор, мне это может пригодиться в работе. Но ты расскажи лучше о себе. Как ты живешь-то? — возвращалась она к своему вопросу.

А он опять слышал: «Скажи мне, ты до сих пор еще любишь меня, да?»

Никогда, ни до ни после этой вневременной жизни в Лужках, Бургорков не испытывал такой душевной напряженности, никогда раньше не приходила к нему мысль о том, что он мог бы тут прожить бесконечно долго, не так, конечно, праздну, как он жил теперь, а занимаясь каким-то простым и ясным от начала и до конца трудом на своей земле, лишь бы рядом с ним была Верочка Воркуева. Никогда прежде не думал он об этой земле так, как думал теперь, сердцем понимая, что это его земля, его река, что он не гостит тут «дачником», а живет на родной своей земле, завещанной ему прародителями.

Возникшее это чувство своей земли так остро пронизывало все его существо, сердце так колотилось, а рассудок так помутнялся, что он и о Верочке Воркуевой стал думать с какой-то неожиданной стороны. Ему стало казаться, что она недаром поселилась на его земле, недаром так полюбила его реку. Он стал видеть во всем этом тайное предзнаменование. Ему даже стало казаться, будто бы Верочка пришла в его дом.

Это чувство своей земли бывает порой удивительным движителем человека.

В зимней Ялте прошел снег и похолодало. Снег растаял тут же, оставшись лишь в горах. Вышло опять солнце, горы засветились огромным облаком над холодной зеленью оттаявшей Ялты, над черно-зелеными кипарисами, над газонами, на которых шуршали в опавших листьях сторожкие черные дрозды, скачущие в пугливом зимнем молчании. Снег как бы приглушил все звуки, напомнив и людям о декабре. Помрачнела и набережная от темных одежд, протянулись очереди в винных подвалах и в магазинах. И хотя похолодание это продолжалось всего лишь два дня, многие в доме, где я жил, простудились. А пожилая супружеская пара за моим столиком даже не

пришла к ужину. Я и сам опоздал в этот день, все уже поужинали, а тарелки моих соседей стояли с нетронутым творогом. На кухне гремели вилками и ножами, когда пришла моя соседка, кутаясь в шерстяной платок, привычно пожелала мне приятного аппетита, я ей ответил тем же, спросив:

— А что же супруг, не заболел ли?

— Да,— сказала она.— Такая неудача! Нам уезжать послезавтра, а у него температура тридцать восемь и три. В такую погоду,— продолжала она, усмехаясь,— уезжать, конечно, приятно. Да и соскучились мы по своей земле, но все-таки жаль... Мы ведь, знаете, на своей земле живем,— сказала она с каким-то особенным чувством, как бы рассчитывая, что я обязательно заинтересуюсь этой «своей землей».

Но я сказал, занятый другими мыслями:

— У каждого своя земля.

— Нет, но у нас совсем своя. Мы с мужем из Новокузнецка. Он у меня на гидромониторе работал, подмывал гору гидромонитором, а потом разжиженную землю транспортировали по трубам и обвалывали болото. Понимаете? А потом уже серединку-то болота заливали жидкой землей... Понимаете? Это все муж мой делал. А после того как земля просохла и осела, укрепилась, на этом месте дома построили и дали нам с мужем квартиру. Вот я и говорю — мы на своей земле живем. Понимаете?

И она с тайной гордостью улыбнулась.

— Соскучились? — спросил я удивленно.

— Еще бы! Все-таки своя земля. Предложи мне райский сад вместо нее, а я подумаю да и не поеду. А муж-то точно не поедет. Какая-никакая, а своя земля. На ней отдыхаешь душой. Вроде бы как по заслугам... Очень соскучились, особенно муж... Да вот неудача — заболел не вовремя.

А уехали они в ясный и теплый день. Я случайно увидел отъезжающую машину с шашечками, разглядел за чистыми ее стеклами своих соседей, которые приветливо замахали мне на прощанье. Лица их были блаженны и счастливы от предвкушения скорой встречи со своей землей на болоте.

...В кипарисах опять по-весеннему чирикали воробьи. Термометр на солнце показывал шестнадцать градусов. На жирной земле газона сидел черный дрозд, и когда машина поравнялась с ним, он как бы выпрыгнул в прохладный воздух и стремительно полетел в зеленые заросли самшита.

Бугорков именно так, как эта супружеская пара, почувствовал вдруг свою землю, ту самую землю, которую холили в нелегком труде, на щедрость которой уповали все его предки, истлевшие в ней же, в милой ему земле.

Острое это чувство мутным водопольем заливало его душу, рождая силы, которым он не мог найти применения. Эти силы мучили его, звали к действию, но он не знал, как ему быть и что делать.

Вместо радости он ощущал в себе сосущую какую-то тревогу и тоску.

Он в нервном нетерпении ждал в этот день Верочку, с хозяйской уверенностью рассчитывая на что-то такое, о чем не смел и подумать еще вчера. Его не успокаивало и купание в реке. Он выходил на колкий, высохший луг. Под босыми ногами громко хрустела сожженная солнцем трава, с огненным треском вылетали из-под ног кузнечики, искрились красными, прозрачными крыльями в помраченном от жары воздухе и снова звенели на все лады стеклянными, ломкими лап-

ками, празднуя свой звездный час, свое благополучие под жгучим солнцем.

Было особенно жарко и душно в этот день. Все время хотелось пить, но он не мог один уйти на родничок, не дождавшись Верочки Воркуевой. В воспаленном, встревоженном сознании путь к родничку без нее представлялся ему чуть ли не бедою. Она должна была прийти во что бы то ни стало, а он на пути к родничку должен был ей сказать о том, о чем он до сих пор молчал, позволяя себе только ночью вволю поговорить с ней, притаившись в душном дедовском доме, когда даже прикосновение простыни к телу казалось невыносимо горячим и тяжелым, вызывая приступ липкой потливости, доводящей до содрогания.

Теперь же ему чудилось, что она много дней и ночей тоже жила в его огромном, только что обретенном доме, а он лишь сейчас узнал об этом. Будто бы сама земля помогла ему, приманила Верочку Воркуеву и постаралась все сделать так, чтоб она прижилась здесь, а он ничего этого не понимал до сих пор. Теперь, наверстывая упущенное, он с какой-то паучьей жестокостью думал о ней, поджидая ее как бы в засаде, готовя всего себя к вожделенной встрече с ней.

Но она не пришла.

Это случалось и раньше: она не каждый день приходила на реку. Но в этот раз он не мог найти себе места, не мог ни о чем думать. Силы, переполнявшие его, обернулись ватным, глухим бессилием. Ему казалось, что он не доживет до следующего дня. Все его внимание, все мысли, чувства, ощущения были направлены на Верочку Воркуеву. Он заново переживал все подробности их встреч, а некоторые ее жесты, которые прежде вовсе не казались ему значительными, теперь приобретали особый какой-то смысл и значение. Каждый внимательный ее взгляд, который раньше был просто приятен ему, перерождался теперь в многозначительный, тайный, наполненный скрытого смысла взгляд женщины, ждавшей от него действия, поступка, решительности.

Ему все становилось понятным, все было пугающе ясным. У него в голове складывалась какая-то примитивная схема его будущих действий, эдакая торжествующая песнь инстинктов — он, набрасывающийся на нее, и она, не сопротивляющаяся ему.

Что-то сломалось в нем: ему, как плохо натасканной собаке, показалось, что силой своих мышц сможет догнать взлетевшую перед носом птичку. В нем уже начался этот безумный гон, он уже гнался за тенью прежних их встреч, как молодая собака за собственным хвостом, он уже забыл о тех уроках, которые преподала ему жизнь, и ждал лишь одного — птичку, выпархивающую перед ним, и радость безумного своего гона, ветра в ушах и пьянящей воли.

И теперь, сбитый с толку, не знал, что ему делать.

Знаменитый боксер рассказывал однажды, как он готовился к очень серьезному бою, положив на это много сил и нервов. Собранным в комок вышел он на ринг, готовым к бою, а противник драться отказался, признав себя побежденным. Победитель же пробежал сразу же после этого несостоявшегося боя километров десять по улицам Москвы, прежде чем пришел в себя, освободив таким образом свою психику от страшного напряжения.

Так же и Бугорков, не дождавшись Верочки Воркуевой, бежал по жаре до дома и, обливаясь потом, чуть не упал возле крыльца в помороку, заставшую ему глаза чернотой, напугав Клавдию Васильевну, которая была как раз в это время во дворе, стегая больные свои ноги жесткой шуршащей крапивой.

Ноги у старой женщины разболелись не случайно. Никто не верил, что наступит ненастье, но Клавдия Васильевна оказалась права.

К вечеру, когда Бугорков опять возвращался с реки, так и не увидев в этот день Верочку Воркуеву, хотя все-таки надеялся застать ее на пляже после полудня, солнце, клонящееся к закату, стало слишком рано наливаться багровостью, тускнеть, четко очерчиваться, круглиться мутно-красным шаром, на который можно было смотреть не щурясь. Закатный край неба подернулся как будто пылью. Стрекотание кузнечиков, вплетенное в тишину, как бы отделилось от нее и стало учащенное, азартнее, чем обычно, и громче... А то вдруг совсем исчезали эти звенящие звуки, чтобы с новой силой начаться. Они, как догорающие огни, то вспыхивали ярко, то еле теплились, умирая. С натужным гулом пролетел чистой стороной самолет, торопясь прочь от густеющего с каждой минутой мрака. Провизжали над головой взявшиеся неведомо откуда стрижи и смолкли. Солнце совсем померкло в разрастающемся пылевидном куполе, из которого погрозил вдруг гром, грохотнув хмуро и мрачно, и умолкнула надолго, словно бы уйдя в онемевшую землю. Рваные багрово-черные предтечи тяжелой тучи пронеслись над головой с пугающей скоростью, гонимые верховым ветром, который еще не коснулся земли. Луг перед деревней, крыши домов, березы — все помертвело, оконные стекла блеснули кроваво-дымной жутью живых глаз, солнце, уже невидимое за тучами, просачивалось к земле, багровым подсветом окрашивая округу в тревожный огнистый цвет; клочкастые, рваные тучи разъяренно текли над кирпично-красной землей, и в быстром, оцепенелом их скольжении было что-то змеиное.

Бугорков с трудом сдерживал себя, чтобы не побежать, но, рассчитав, что успеет до грозы спрятаться под крышей, только убыстрил шаг.

Из леса, с его опушки за лугом, послышался шум, протяжный и стройный, все усиливающийся, как вой, и в шуме этом звонко щелкнуло вдруг пересохшее дерево, тут же сломалось и другое, так же резко и звонко щелкнув.

Туча уплотнилась тьмою, мрачно и мокро посинели, выцвели в небе кровавые краски, земля подернулась серостью сурового полотна, а туча, содрогнувшись от струй света, загремела. Гром этот родился где-то очень далеко, но словно гонимый шумным, буревым ветром, он все разрастался, все крепчал, сердито наваливался грохотом, ширясь, набирался сил и наконец потряс землю оглушающе тяжким ударом.

Ветер набросился и на луг, пронизав погребным холодом Бугоркова, который уже стоял на пороге дома озябший, продрогший вмиг и очень злой на эту ледяную тучищу.

Серой стеной надвинулся дождь, и все утонуло в его реве. Даже громы, взрывая этот рев воды, глохли, ворчливо бормоча без устали в бесконечно мерцающем, непрерывном свете молний. Лишь однажды близкий разряд молнии оглушающе стукнул молотом по исполинской наковальне, да так страшно, что у Бугоркова даже язык онемел во рту и присох к небу.

В избе было жарко. И только потоки воды за окнами сумеречным светом да мерцание молний выхватывали из тьмы испуганные лица.

Казалось, грозе этой не будет конца, но она ушла еще до заката солнца, громы утихли, из мутно-оранжевого неба сыпал легкий золотистый дождь, и вся земля блестела золотом: каждая лужица, играющая с редкими каплями дождя, плела кружево золотистых тонких ко-

лец, непрерывно возникающих, расходящихся, сплетающихся с соседними кольцами, каждый ручеек отражал закатное небо, каждая капля золотилась, онемев в холоде на стеблях травы... Все, казалось, ожило, торопилось блеснуть, покрасоваться до наступления тьмы. В промытом и холодном воздухе висели невесомые нити дождя, особенно заметные на фоне отошедшего к востоку, утихшего мрака. Люди были рады-радешеньки, что остались живы и невредимы после этой страшной бури.

А Бугорков, любуясь с мокрого крыльца мерцающим дождливым закатом, ежась от холода, думал в радости, что завтра опять взойдет с утра солнце, согреет землю, высушит песок и он опять увидит Верочку Воркуеву.

Но он ошибся. Утро наступило холодное и пасмурное, и он почувствовал себя так, будто его обманули и уже нет никакой возможности исправить положение, вернуть упущенное, догнать ушедший поезд или что-то похожее на поезд, что-то такое, что только во сне можно почувствовать, проснувшись в испуге и тоске... Только во сне ощущал он такие же потрясения, такой же тоскливый стон в груди, когда казалось — самая жизнь уплывала из-под ног и что-то очень важное уходило и пропадало навеки, без чего он уже и сам не сможет жить.

Так и в это серое утро он погрузился в странный сон, когда нужно было что-то догнать, что-то вернуть, но ни сил, ни умения, ни возможности — ничего этого не было, и он мучился, не находя выхода из болезненной тоски, которая так глубоко и прочно угнездилась в душе, что ее, казалось, не выгнать оттуда никакими силами...

Тоска эта приобретала с каждым днем, с каждым новым порывом холодного ветра чуть ли не физические очертания: какая-то тяжесть давила ему грудь, словно бы там возникла и разрасталась с каждым днем страшная опухоль, мешавшая дышать.

Это даже и не тоска была, а что-то холодное и живое, поселившееся в душе, какая-то предсмертная кручина, которая, казалось, одна и жила, угнетая и обессиливая все мысли и чувства.

Четыре пасмурных дня Бугорков лежал пластом в холодном чулане, укрывшись лоскутным тяжелым одеялом, не брился, ничего не ел, а только смотрел в потолок, считая коричневые сучки в досках, и ждал перемены погоды.

Клавдия Васильевна не на шутку стала беспокоиться за него, и даже Александр Сергеевич припелся однажды к нему в чулан, подерживая подштанники...

— Чего, Николка? — спросил он, прощамкав сухими губами, просвистев слабым, немощным голосом, и, обессилев сразу, уставился на внука горящими, мученически запавшими, страдальческими глазами.

А он ему ничего не ответил и даже отвернулся от деда к стене, потому что и сам в себе тоже, как и дед, не чувствовал жизни.

Но на пятый день побрился с утра, съел тарелку горячего перлового супа и, натянув на ноги дедовские резиновые сапоги, ушел из дому подышать, как он сказал, свежим воздухом.

Дождя не было, дул сильный ветер, по осенне-синему небу густо шли, теснясь, крутые, как вареные яйца, голубоватые облака с сизыми днищами. Луг перед лесом то вспыхивал в солнечном свете, то холодно мерк, леденя лужицами среди травы. Влага выпало так много за эти дни, что пересыхавшая земля уже не принимала воду, образовавшую среди травы и кочек чистые болотинки, идти по которым после недавней жары было странно и приятно, слыша под ногами плеск прозрачной воды, видя искрящиеся в солнечном свете брызги.

Необходимость встречи с Верочкой Воркуевой стала до того естественной, так прижилась в сознании и окрепла за эти дни, что Бугорков и не думал о последствиях этой встречи, а видел перед собой только одну-единственную, реальную, ближайшую цель — Верочку. Его беспокоило лишь одно: как бы она не уехала в Москву, испугавшись ненастья. А сама встреча, то есть даже не встреча, а какое-то статическое положение, в котором он представлял Верочку, стоящую перед ним,— эта нарисованная сцена встречи как бы врезалась в его сознание приятной картинкой, и он бездумно шел к ней, подспудно мечтая об избавлении от нее или, вернее, желая нарушить эту статичность, сдвинуть с места, расшевелить, увидеть движение, услышать смех, голос, учуять запах картинки — оживить ее.

Он целиком был подчинен желанию почувствовать себя рядом с улыбающейся Верочкой Воркуевой, ощутить себя в ее поле зрения... Эта душевная оголтелость и безоглядность упрямо вела его в Воздвиженское. И не было для него цели более высокой, чем эта; ничто не смущало его, ничто не могло остановить — он шел с фанатической уверенностью в свои права на встречу с Верочкой, зная, что легко найдет дом, в котором она живет, легко объяснится с ней, а она легко и радостно поймет его и скажет, как говорила когда-то: «Ну почему так бывает? Я подумала о тебе, а ты пришел».

Но этот бред, бесовское это наваждение было где-то за картинкой, которая стояла перед его глазами. На картинке же была нарисована Верочка Воркуева с черной бархоткой в волосах, круто изогнутые ключицы, обожженные плечи, светлеющий плотный, мокрый песок, ореолы вокруг ее стоп, ее радость, обращенная к сыну, которая, как ему казалось теперь, была обращена к нему и только к нему... Как же он раньше этого не понимал?!

В этом бредовом состоянии, ничего не видя вокруг, он шел, как шел когда-то к поющему глухарю, задыхаясь от нетерпения. И очнулся вдруг на берегу помутневшего от дождей, коричневого, болезненно вспухшего пруда. Бессознательно ощущал взглядом снежные комья уток под нависшими ветвями ивняка, серую рябь сторожких гусей, которые медленно отплыли от берега, когда он проходил мимо.

Из глинистой хляби выбрался на подсохшее шоссе и понял наконец, что пришел в Воздвиженское. По обе стороны дороги стояли дома, голубея тонкой решеткой террас, и как будто смотрели на него, как и люди, ожидавшие автобуса в бетонной будке на обочине...

Они-то как раз и нужны были ему.

— Здрасьте,— в нетерпении сказал он, обращаясь сразу ко всем.— Скажите, пожалуйста, а где тут у вас живут Воркуевы? Они москвичи, но у них здесь дом... Понимаете? Они купили здесь дом.

— А где же у нас Воркуевы живут? — спросила одна женщина у другой.

Никто не знал такой фамилии, и тогда Бугорков подсказал:

— У них дочь... красивая, молодая, и маленький внук... Ее Верой зовут, а сына Олегом, в честь деда Олега Петровича Воркуева.

Женщины стали перебирать в памяти всех дачников, живущих в Воздвиженском, а молчавший до сих пор мужчина со школьным портфельчиком в руке переспросил с неожиданной злой усмешкой:

— Красивая-то? Красивая... Так это,— обозленно бросил он женщинам, не глядя на Бугоркова,— в Степанидином это доме они живут. У нее сын, верно,— жестко сказал он и шагнул в сторону, повернувшись ко всем спиной, словно ему был противен весь этот разговор.— Красивая,— проворчал он брезгливо.

Когда Бугорков нашел «Степанидин» дом и постучал, слабея от волнения, в окошко, на крыльцо вышла полная, с пышными, как у от-



кормленной крольчихи, щечками, черноокая и очень приветливая молоденькая женщина. Бугорков даже с каким-то облегчением понял, что Верочка Воркуева не ходит в красавицах. Красавицей была именно эта толстушка с румянцем и с брусневеющими сочными губами. Она очень приятно удивилась, очень приятно и жеманно улыбнулась, но зато дала Бугоркову точный адрес Воркуевых, мимо дома которых он, оказывается, прошел.

Домик их стоял в самом начале села, неподалеку от старого парка. Из окон этой развалюхи видна была, наверное, заросшая осокой, мелкая окраина пруда. Перед избенкой росли две жидкие рябины с гроздьями неспелых оранжевых ягод. Тонкие их стволы были привязаны потемневшими бинтами к кольям: видно, посажены новыми хозяевами. А сам домишко уже почернел от старости: давно пришла пора менять прогнившие венцы, перестилать позеленевшую крышу да и вообще поправлять весь перекосившийся сруб, поведенные, пьяно-пляшущие наличники окон. Этот дом и продали-то, наверное, как хлам, хотя Бугорков и знал по рассказам Верочки, что бывшая хозяйка вышла замуж и уехала к мужу в другую деревню — оттого и продала.

На веревке во дворе сушилось что-то голубое и розовое, шевелясь на ветру. К крыльцу был привален старый, облезлый и очень грязный велосипед. Валялась красная пластмассовая сабля.

«Да здесь ли это? — подумал Бугорков. — Тут ли она живет?»

Развалюха никак не вязалась с образом Верочки Воркуевой.

Бугорков вошел во двор и, поднявшись на истертую ступеньку крыльца, робко постучал в высокое оконце, в волнистое и чистое стекло, в черноте которого отражались белые облака... Дребезжащий стук остался без ответа. Он постучал еще раз, чувствуя слабость в животе, и — невольно изобразив на лице подобие улыбки, как бы опережая чей-то возможный взгляд со стороны, объясняя этой улыбкой добрые свои намерения, — инстинктивно оглянулся.

И увидел перед собой самое страшное, что он мог только представить себе в этот миг.

Увидел и сразу понял, что перед ним муж Верочки Воркуевой.

## 19

Он стоял под высоким кривым частоколом, в полосатой игре резких светотеней и внимательно смотрел на Бугоркова. В руках его была мотыга, которую сразу же с ужасом заметил Бугорков, пораженный неожиданной встречей... Одет он был в какое-то серое тряпье, из-под коротковатых брючин виднелись старые галоши, надетые, как тапки, на босу ногу.

Густые, рыжеватые полубачки придавали лицу злобную подозрительность.

Бугорков чувствовал, как силы оставляют его, и знал в эти мгновения, что если Тюхтин нападет, то у него не хватит их даже на защиту.

А строгие глазки хозяина как бы размылись вдруг, утратили всякое выражение, отразив внутреннюю борьбу и словно бы тоже какой-то неосознанный еще страх: Тюхтин тоже был ошеломлен этой встречей, тоже сразу же понял, что перед ним Бугорков, хотя ни разу не видел его в жизни, и теперь не знал, что ему нужно делать, защищаться или нападать, — для нападения у него еще не было злости.

Бугорков же испытывал омерзительное состояние униженности, глядя в свирепеющие, как ему казалось, мутно-злобные, вепристые глазки Тюхтина, который был тут полновластным хозяином и который спросил с мрачным вызовом в голосе:

— Вам кого надо?

Бугорков неловко шагнул, споткнувшись о порог, на землю и, поражаясь дикости своего ответа, не успевая мыслями угнаться за ним, услышал свой одеревеневший голос:

— Моя фамилия Бугорков... Я тут был... живу тут, в Лужках... узнал, что Анастасия Сергеевна и Вера здесь... А вы ее муж? Очень рад...

Слышал в каком-то шуме свой голос и панически боялся слов, которые без его ведома звонко звучали в усиливающемся, болезненном этом шуме, бегущем и струящемся в ушах, как Тополта... А он словно бы повис в невесомости на стрежневом ее течении, но вместо неба увидел над собой сильного и опасного мужчину, на лице у которого появилась теперь снисходительная усмешка.

Именно она-то и привела Бугоркова в чувство.

— Ну и что? — услышал он вопрос Тюхтина. — Я сразу понял, что ты Бугорков. Но дальше-то что?

Это совсем отрезвило его, он собрался с мыслями и тоже с усмешкой ответил:

— А ничего... Я давно, как вам известно... раньше вас знаю вашу жену, вообще эту семью... А если вы знаете, кто я такой, то и все остальное должны... Но наши встречи на речке... Нет! Это, я вам клянусь, было совсем другое... Простые прогулки к родничку. Она рассказывала о сыне. А вы когда-нибудь купались у родника? Там чудесно! А это было... Нет! Я даже в мыслях не смел, честное слово! Но как интересно! Почему вы поняли, что я Бугорков? Главное, я сам сразу понял, хотя и видел вас однажды, мельком... я тоже сразу понял, что вы Верочкин муж. А где же она? Уехала? Ее нет дома? Простите, я даже не знаю, как вас зовут...

Тюхтин, хмуро вслушиваясь в этот поток признаний и клятв, обескураженный младенчески чистым и светлым взглядом Бугоркова, блуждающей его доброй улыбкой, покраснел, смутился, даже пот выступил у него на лбу и на верхней губе от того жара, который вмиг охватил всего его.

— Постой,— сказал он.— Откуда ты взялся? Ты о чем? Что мне известно?

— Я ж вам говорю! Я живу в Лужках, в четырех километрах отсюда. У меня там дед старый... Мой отец тут родился, а я здесь в отпуске... в гостях... Ничего этого Верочка тоже не знала. Я тоже не знал, что вы здесь, а она очень удивилась, как и вы, когда увидела...

— Я удивился! — воскликнул Тюхтин.— А чего мне удивляться?

— Ну как же! — воскликнул и Бугорков, уже не чувствующий ни малейшего страха перед этим человеком, который был очень смущен и который показался ему очень симпатичным, добрым и застенчивым.— Ну как же?! — повторил он, чуть ли не смеясь от внезапной радости.— Я думаю, это естественно. Ошибки молодости, слезы — все было... И вдруг опять явился... Зачем? Просто так... Хотя, конечно...

— Постой, постой,— перебил его Тюхтин.— Ну, допустим... А что, собственно, все-то? Ах да... Это был ты? А-а, черт возьми... Не то... Не может быть...

— В каком смысле?

Тюхтин был так смущен, так мучительно искал сам в себе силы выйти из предательского смущения, что даже Бугорков с тоскою понял, что наболтал лишнего, утверждая себя в праве прийти к Верочке, точно не муж ее стоял перед ним, а ее брат...

— Нет, но вы ведь сами понимаете,— сказал он и осекся, видя в покрасневших, набухших от стыда глазах Тюхтина истинное страдание и чуть ли не слезы.— Простите... Но почему же вы сказали, что

вы сразу узнали... и поняли, что я... Я ведь тоже, поверьте, не хотел... Но вы сами... Я думал, так будет лучше...

— Ну что ты бормочешь тут? — брезгливо морщась, проговорил Тюхтин. — Что лучше?

А Бугорков в отчаянии бросился к нему, схватил его за плечи, обнял.

— Прости, — полушепотом сказал он. — Прости... Может, это... может, только это в моей жизни... Понимаешь? Я не знаю, что говорю... Зачем же обманывать друг друга?.. Она любит тебя... Ты счастливый... Прости меня, друг. Но я тоже...

— Ты что?! — услышал он у себя над ухом свирепое сипение, и тут же страшная сила вывернула ему руку, он почувствовал боль в запястье и толчок в спину, который отбросил его в сторону. — Ты что, гад козломордый! Тебе что здесь надо?! Вали отсюда немедленно! — уже не говорил, а ревел Тюхтин.

И Бугорков покорно и виновато пошел к калитке.

— Прости, слушай! — снова сказал он, остановившись. — Я не хочу тебе зла. Но почему-то мы все боимся... Все! Что же делать? Это ведь правда... Я ведь не испугался, я к тебе как к другу.

А Тюхтин, зверея, с такой силой метнул в него мотыгой, что, если бы попал, быть бы беде. К счастью, мотыга стукнулась о землю, вырвала черный клоч дерна и, скользнув, врезалась с треском в городьбу.

— Зря! — сказал ему Бугорков, бледнея. — Зря, понимаешь?

Он закашлялся и заплакал от обиды и, словно незрячий, вышел за калитку.

Когда-то он слышал от своей бабушки из Замоскворечья историю о говорящем попугае. Этот большой попугай жил у хозяина мясной лавки, а когда приходили покупатели, он веселил народ, громко выкрикивая: «В очередь, господа! Не все сразу! В очередь, господа!» Дела у хозяина шли хорошо. Но однажды попугай пропал, улетел из дома, и кто-то рассказывал потом, что видел попугая, сидящего на помойке. Над ним кружились вороны, били его, клевали, а он, чуть живой, кричал: «В очередь, господа! Не все сразу! В очередь, господа!»

Теперь, плача от обиды, которая казалась Бугоркову незаслуженной, он вспоминал эту грустную байку, и ему казалось, что он тоже был попугаем, знавшим в жизни две фразы, или, вернее, твердящим всем — кому надо и кому не надо — эти фразы: «Ну что же мне делать? Я ведь ее люблю. Что же мне делать?!»

Дома он собрал свои вещички, распрощался со всеми, расцеловал деда и, расслабленный, побитый, уехал навсегда в Москву.

## 20

Дела Тюхтина и вся его жизнь, все то, что раньше пребывало во времени как бы само по себе, протекало привычно и плавно, если не считать поправимых неудач или даже бед, таких, как болезнь Олежки: нормальные отношения на работе, душевный комфорт дома, здоровье — все это дало вдруг трещину. Он сам не смог бы рассказать со всеми подробностями о случившемся. Да и, спрашивается, кому интересно слушать о том, как ведет себя печень после рюмки спиртного и какие у него отношения с начальством. Кому и зачем это нужно знать?!

Хотя иногда ему хотелось без конца рассказывать о себе, потому что все это стало сильно его беспокоить.

Порой ему казалось, что он очень болен, и тогда он старался уве-

рить самого себя и всех, кто соглашался его выслушать, что он убежденный фаталист. Во всяком случае, он хотел думать о себе именно так, отрицая разумность каких бы то ни было вмешательств в дела судьбы.

Он и в самом деле давно не ходил к врачам, но не ходил потому, что был здоров, хотя и боялся их. Особенно он боялся попасть в такое положение, когда какая-нибудь милая женщина в белом халате, вполне здоровая и благополучная, с холодными, как у всех врачей, пальцами, прощупает его, тепленького, заглянет с помощью всевозможных аппаратов и приборов в его пугливо прислушивающееся нутро и поймет или хотя бы только заподозрит, что перед ней неизлечимо больной несчастный человек, который еще молод и едва-едва успел перевалить зенит среднестатистической жизни, отпущенной якобы человеку вообще. Она-то поймет, но ему ничего не скажет, а под каким-нибудь предлогом направит в другой кабинет, чтобы и другие специалисты, покопавшись в нем, убедились бы тоже в его биологической бесперспективности, в несчастье его.

Не смерти Тюхтин боялся, как он уверял себя, не болезней, а людей, которые могли бы узнать гораздо раньше его самого, что он уже не жилец на этом свете.

— Ничего себе положеньице! — восклицал он в нервном возбуждении. — Ты строишь планы, ничего плохого еще не предчувствуешь, а милая эта женщина, смотревшая тебя днем, наденет вечером тапочки и скажет мужу что-нибудь в эдаком роде: «Был у меня на приеме молодой мужчина, а у него вся печень (или что-нибудь еще)... превратилась бог знает во что...» Короче говоря — не жилец. А я ничего еще не знаю! На кой черт мне нужен вершитель моей судьбы в тапочках! Знать я ее не хочу! — говорил он, все больше возбуждаясь. — Никогда не мог и не хочу представить себе положение, чтобы кто-нибудь за моей спиной шушукался о моем несчастье, о котором я сам еще не догадываюсь. Если бы у меня спросили, кто мой самый главный враг, я бы ответил: свидетель моего несчастья. А знаешь, как надо жить? По принципу: когда родился — не помню, когда умру — не знаю. И не ходить к врачам, хотя ты и сам врач... Но ты, Сизов, хирург. Ты честный мужик.

Они сидели, не снимая плащей, за голубым дюралевым столиком в стеклянном кафе. В тарелках стлы дряблые, переваренные пельмени, а в стаканах жирно блестел недопитый коньяк.

— Не придумывай себе болезни, ты здоров. Ты просто устал.

— Устал! С чего мне уставать? Это, знаешь, как журналисточка какая-нибудь спрашивает у передовика какого-нибудь: «Вы любите свою работу?» А человек смущается, мнется... «Люблю, — говорит, — а как же!» Словно про жену его спросили! Работу не любить, а делать надо! Чего ее любить! Должен! Чувство долга выше всякой там любви, а этого никто не хочет понимать! От «любви» устать можно, это верно. А если я должен? Тут шутки в сторону. Люби жену свою или чужую или соседку, когда она есть. Верно? А если я, например, люблю свою работу, а ты нет. Что получится, если на этом уровне? Люблю — не люблю! Любит — не любит, как на ромашке? Зарезал на столе человека... Ну что ж! Ты ведь не любишь свою работу, с тебя взятки гладки... Чушь собачья! У мужика должно быть развито, обострено чувство долга. Вот чего нам всем не хватает, черт побери! А ты говоришь — устал. До пронзительной боли в сердце чувство долга! Тогда ни усталости, ни пьянок, ничего этого не будет. А любовь пора бы оставить в покое...

— Ты о чем?

— О том самом, что не устал я ни черта, нет! — вскричал Тюхтин

и зло повел взглядом вокруг.— Я не устаю от работы, потому что я ее не люблю, а просто делаю! Не устал я, а разозлился... Так что диагноз твой — липовый.

В маленьком битком набитом кафе люди с настороженным вниманием поглядывали на него и на Сизова, решив, вероятно, что они поссорились спьяну, хотя ни тот, ни другой пьяными не были, выпив по глотку коньяка, который только согрел их в этот пасмурный и холодный вечер.

В кафе, казалось, праздновали общую какую-то радость: люди были возбуждены и шумели не в меру. Пахло мокрой одеждой, дождем и пельменями. Улица отлого спускалась к тесной площади, к трамвайным путям, к кинотеатру, к метро... И люди мутными тенями шли сверху вниз, плыли за густо запотевшими стеклами, за которыми так же мутно и расплывчато загорались красные огни стоп-сигналов, отражаясь в мокрой мостовой, а в высоте так же нереально, в каком-то тумане менял свои цвета игрушечный светофор. Хлопала дверь. Старая посудомойка собирала бутылки, брала их, ворчала и уходила.

В этот неурочный для Сизова суматошный час пик его случайно встретил на улице Тюхтин и затащил в кафе.

— Что с тобой случилось? — спросил он.— Чего ты психуешь? Целое лето не виделись, а встретил как все равно врага. Ну что ты разорался на меня? С Олежкой, насколько я знаю, все в порядке. Верочка звонила нам, радостная, веселая, а ты... Погода на тебя так действует?

— Разве похоже, что психую? Пожалуй, погода тут ни при чем... Ты ведь знаешь, мы лето в деревне жили. Веру отпустили на два месяца с работы, а я наездами... Там река, лес... Жара была дикая! Олежке нельзя на солнце, мы с ним в дубах гуляли, гамачок ему там подвешивали... Олежка с деревенскими ребятами по очереди качался... Он у меня компанейский парень! Только вот возбудим не в меру... Ему это, сам знаешь, нельзя. Да и гамак этот надоел, слава богу... Сейчас гамаки без этих... без узлов... а в общем, гамак тут ни при чем. Дожди начались, похолодало. Грибы пошли... Ужас сколько грибов! Дубы под дождем мокнут, стволищи их потемнели, трава легла, а дубы, как мамонты под дождем, ушами своими зелеными пошевеливают от удовольствия. Я как дубы увижу старые... Знаешь, есть такие великаны. Растут не густо, прочно, даже ветвями друг друга не касаются. Я как увижу такие дубы, так у меня мамонты вымершие на уме. Ноги видны черные, а сами будто спрятались в зеленой листве. И трава под дождем полегла, словно ее дубы — эти мамонты — вытоптали. А пруд мутный, берега, как мыло, скользкие. Не захотел к нам приехать, а я бы тебя карасями угостил. Хорошие карасики — с ладонь... Гамак мокрый, все мокро, все блестит... Грустно и радостно. То дожди, то солнце...

Тюхтин с улыбкой допил коньяк, Сизов сделал маленький глоток, а остаток разлил поровну.

— Не могу, — сказал он.— Ты вот придумываешь себе болезни, а у меня камушки в пузыре.

— Да у меня небось тоже что-нибудь есть, — отмахнулся Тюхтин.— Если пойду к врачам, обязательно что-нибудь найдут. И не спорь, я знаю... Слушай, давай сегодня все-таки напьемся! До чертиков, а?!

— Нет, — решительно отказался Сизов.

— Ты ведь знаешь, я один не могу, а с кем же тогда? Чего-то давно не пил, хочется.

— В другой раз.

— Скучный ты человек, Сизов! — Тюхтин вдруг рассмеялся и про-

должал: — Тут меня один таксист насмешил. Говорит... А-а, ладно! — нервно перебил он сам себя. — Что-то он там говорил смешное, хрен с ним... Как он пить бросить пытался... Ребята по рублю скидываются, а он не дает, не буду, говорит. Те ему — жалеешь, мол, рубль. Ладно, дает рубль. А те ему — пошли. Не идет, не пойду, говорит, домой надо. А те ему — жену, дескать, боишься... Идет с ними, пьет минералку, ждет, пока они и его рубль пропьют. Доказывал таким образом, что он не жадный и жену не боится. Ведь до чего компанейский русский мужик! Потом, говорит, надоело рубли бросать и время тратить.

— Типичная историйка. Пример коллективной психологии: а что скажет тот? что подумает этот? — а что скажу я сам о себе, не важно. Что я сам о себе подумаю — мелочь.

— Плохо, что ль?

— Конечно, плохо. Если человек сам себя, свои желания уважать и ценить не может — ничего в этом хорошего не вижу. Если люди тебя не хотят понять, уважить твое право отказаться, так я плюю на таких людей.

— И на меня плюешь?

— Ты же меня понимаешь? — сказал Сизов с усмешкой. — Ты меня уважаешь? Ладно, ты мне зубы не заговаривай. Говори, что у тебя? Я же вижу, ты никак не разродишься. Давай выкладывай все.

Тюхтин грубо и сильно стукнул стаканом по стакану Сизова, вылил в себя крохи коньяка, резко поднялся.

— Пошли отсюда к чертовой матери! — сказал он и, протискиваясь между сидящими за столиками, не дожидаясь Сизова, пошел к двери, шаря на ходу рукой по плащу в поисках болтающегося пояса.

На улице он сказал, поднимая воротник:

— С чего ты взял? Мне тебе выкладывать нечего. Все у меня хорошо. Ты же меня знаешь, если даже будет очень плохо, даже если так случится, то ведь я все равно тебе не скажу ничего. Ты же знаешь, я ж говорил тебе, терпеть не могу свидетелей не только несчастий, но и просто моих неудач... Ну, допустим, нашлась в жизни моей мелочь какая-нибудь медная, какое-нибудь ничтожество, которому руку подать и то противно... Тебе ж неинтересно... У всякого что-нибудь в этом роде... У каждого свой подонок: живет, ходит, нравится женщинам, дует в свои паруса. Думаешь, у тебя их нет? — Он злобно усмехнулся. — Сейчас начальство знаешь как называют? Слышу тут как-то на стройке, два парня про начальника участка: «Бугор уехал?» Бугор... на ровном месте. Вот так. А у меня все в порядке... Слушай, мы с тобой белые люди. О чем может быть речь? Я понимаю границы своих прав и возможностей, стараюсь не поднимать камень, который могу уронить себе на ногу. Но уж тот, который мне под силу, подниму и перенесу куда надо...

— Как Верочка? Здорова?

— Здорова... Черт побери, погода мерзкая. Надо, наверное, зонт купить. Я иногда думаю, люди когда-то носили калоши и зонты. Сухие, чистые ботинки на кожаной подошве, сухие пальто... А? Не дураки были, верно.

Тюхтин проводил Сизова до трамвая — ему тут рядом. А сам заторопился в метро. Машинально бросил двугривенный в щель автомата, с лязгом и позвякиванием тут же высыпались из него пятаки, один из которых он тоже машинально втиснул в другую щель другого автомата; по его одежде скользнул желтый лучик фотозлемента; наконец он и сам автоматически ступил на ребристую ленту гудящего эскалатора и поплыл вниз, в яркий подземный мир.

В вагоне метро он так же автоматически вперился взглядом в нарядную девушку с лакированными, похожими на парик волосами. На

ее лице-маске искусно покоилась продукция наверняка очень известных косметических фирм всего мира.

Эта милая девушка, казалось, была для того только и придумана, чтобы снимать усталость и раздражение у людей, смотрящих на нее.

Тюхтин успел заметить, что многие мужчины, как и он сам, любовались ею. У всех у них были блекло-туманные, замороженные глаза младенцев, над потной и душной колыбелькой которых появилась вдруг низка целлулоидовых разноцветных шариков.

Было приятно и грустно смотреть на эту яркую игрушку, на милую гейшу переполненного вагона метро, украсившую собой подземный мирок на колесах.

## 21

О своем знакомстве с Бугорковым Тюхтин никому не сказал ни слова. Даже Верочка ничего не узнала об этом, хотя воздвиженская красавица успела сообщить ей с самой доброжелательной улыбкой об очень симпатичном молодом человеке, который разыскивал ее. По описанию наружности Верочка сразу узнала Бугоркова и испугалась не на шутку. Но испуг этот скоро прошел, и она уверилась, что Бугоркову хватило на сей раз благоразумия не заявляться в их дом.

Прогуливаясь без мужа, она однажды пришла на холодный пляж. Горы подсохшего после дождей песка были как будто покрыты серой рябой корочкой, такой непрочной, что она не ощущалась под ногами. Лишь следы на песке, мелкие, маленькие воронки, четко светились на паутиной серости этой корочки, будто дождь принес с собой и вбил в песок небесную пыль.

С улыбкой Верочка прошла до родника, постояла над его бормотанием и с приятной грустью вспомнила о Бугоркове, подумав при этом, что случайные встречи их кончились как нельзя кстати и хорошо, что они так естественно кончились. Они были приятны ей, приятно волновали, теперь же ей было приятно думать, что на свете живет человек, который почтет за счастье, если она вдруг придет к нему.

Она опять уверовала в себя, как будто до этих встреч с Бугорковым была очень одинока, теперь же объявился человек, или, точнее, какая-то неясная, живительная сила, которая наполнила ее собою.

Только так она и подумала о Бугоркове, решив, что всего этого вполне достаточно ей: иметь в жизни надежную силу про запас. Все же истинные, открытые чувства она с новой энергией направила на мужа: от вины перед ним до тайного торжества своей непонятной победы над ним, своего освобождения от одиночества. То есть она вновь почувствовала себя способной нравиться и быть любимой. За это она и была благодарна Бугоркову, хотя ей и страшно было подумать, что о встречах с ним может узнать муж. Она даже хотела как-то предупредить Бугоркова, найти Лужки, отыскать Колю и очень хорошо попросить его сохранить в тайне все их встречи. Она знала, что ради нее он сделает все. Но не решилась, потому что это слишком волновало ее. К тому же она надеялась на благоразумие Бугоркова, и время подтвердило эти надежды — он, как думала Верочка, тоже не решился на глупость. Увидел их дом, прошел мимо и, может быть, искал с ней случайной встречи, наблюдал за ней издали, но прийти не решился...

Игрой своего воображения она прятала Бугоркова всюду, где только появлялась сама, и вела себя так, будто он наблюдал за ней — ей всюду чудилось его любованье ею. Все это долго еще придавало ей живости, все это вносило в ее душу волнение и украшало внешне.

Даже Тюхтин заметил эту перемену в ней и был молчалив и загадочно задумчив, как никогда. Верочка ловила порой на себе его оставившийся подлобный взгляд, незнакомый доселе. Но не догадыва-

лась о причине хмурого внимания мужа, ни разу не почувствовав сердцем тревоги. Наоборот, ей казалось, что Тюхтин наконец-то опять увидел ее красоту, ее утраченную было живость, а поэтому и смотрит на нее в странной зачарованности.

А Тюхтин, скрывая от нее свои чувства, никак не мог понять одного: кем же был для Верочки тот, который, по ее словам, навсегда уехал в Ленинград? Значит, она обманула его? Был и тот, и этот, и еще кто-то?

С мрачным удивлением смотрел он на жену, как бы спрашивая ее: «А кто же тогда и какой по счету я у тебя?»

Он начисто был лишен чувства ревности к прошлому. Ни грана зла не испытывал он к жене. Одно лишь озабоченное удивление томил мозг. Мозг, получивший информацию, никак не мог справиться с ней. В сознании все время как будто бы что-то пьяно приплясывало, нарушая привычный порядок, путало мысли и лихо восклицало: «Ай да Вера! Ай да тихоня!»

Как это ни странно, но ему даже начинало казаться порой, что Верочкина тайна каким-то непонятным образом сближала их, в чем-то еще больше роднила, делала Верочку проще, доступнее и понятнее. Он теперь хорошо понимал свою жену и, сочувствуя ей, нисколько не осуждал. И даже приятнее она ему казалась, когда он бывал теперь близок с ней. Он теперь хорошо знал и чувствовал, что получил от нее вольную, получил право на что-то такое, о чем он пока еще не думал всерьез: право на свою какую-то тайночку, легкую, приятную и ни к чему его не обязывающую.

Он бы и сам не смог никому объяснить сложное это свое состояние, похожее на пьяную радость, но при всей сложности оно как бы позволяло ему в супружеских отношениях быть более легкомысленным и не особенно заботиться об утомлявшей его чистоте чувств.

А именно это больше всего устраивало Тюхтина. Как человек практичный, он теперь искал случая подчеркнуть Верочке ненароком трезвость своих взглядов на современную семью, на супружескую верность, которая в конечном счете ни больше ни меньше как просто фарисейство...

И когда поздней осенью в кафе он рассказывал Сизову о лете, о грибах и о мамонтах под дождем, он ничуть не насилдовал себя. Он и в самом деле отлично себя чувствовал после того дня, когда прогнал Бугоркова, которого вскоре даже пожалел, великодушно посочувствовав ему в беде...

Все в его жизни складывалось очень хорошо.

До тех пор, пока не стал он сначала с усмешкой, а потом и с раздражением вспоминать чуть ли не каждый день слезы Бугоркова, его прерывистый, сумасшедший бред, выкрики о любви...

Чем дальше отдалялась от него во времени встреча с Бугорковым, тем мучительней и чаще он думал об этом человеке и, как когда-то сама Верочка, спорил с ним, раздражался, не верил ему, обвинял в ханжестве, в бесхребетности, оспаривая свое право жить так, как ему хочется. В чем он только не обвинял его, стараясь доказать самому себе, что прав именно он, а не Бугорков.

Он притягивал за уши психологию голодного человека, у которого отняли последний кусок черствого хлеба, сравнивая Бугоркова с этим голодным безумцем, для которого нет ничего дороже и вкуснее отнятой корки. И ему удавалось на время избавиться от Бугоркова, от его маниакальной навязчивости, с которой талдычил он о черством куске, не замечая яств.

Однако вскоре эти доводы как бы теряли свою силу и остроту, и Бугорков опять выплывал в сознании какой-то очень цельной и, в об-



щем-то, до отвращения праведной натурой. По разумению Тюхтина, таких людей не было в жизни и не должно быть в наш практичный век, когда от мужчины требуются ум, сила, умение делать дело и зарабатывать деньги. Тогда он начинал думать, что Бугорков, конечно, любопытная, но не вовремя родившаяся личность. Он старался быть великодушным. Но у него это не получалось. Он со снисходительной усмешкой опять притягивал для подтверждения своей правоты массу расхожих мыслей о технической революции, о том, что в торопливый наш век куда важнее и интереснее получать полезную информацию, чем примитивное наслаждение, известное и предкам, низводя Бугоркова до уровня чувственного животного. Он злился и гнал всякие воспоминания о нем.

Но проходило время, и Тюхтина опять не устраивала, не удовлетворяла эта оценка Бугоркова. Он тоже в конце концов понимал, будучи человеком неглупым, что никакая информация, как бы полезна она ни была, не заменит людям ни чувственного, ни духовного наслаждения. Он, черт побери, начинал понимать, что и сам Бугорков своим феноменом, своим присутствием в сознании постоянно, с завидной последовательностью и упрямством посылал в его мозг информацию, которую он не способен был расшифровать. Легче всего было обвинить Бугоркова, этого «козломордого гада», во лжи и фарисействе, в притворстве, в слюнявой сентиментальности. Но он тут же с бешенством вспоминал его старые письма, которые ему прочитывала когда-то Верочка, видел опять его слезы, слышал торопливый и порывистый его полусшепот-полукрик: «Прости... Может, это... Может, только это в моей жизни...»

«Что он хотел сказать? — думал Тюхтин. — «Только это в моей жизни». Что это? Любовь? Врет, подлец! Конечно, врет — и себе и людям! И что значит — только это? Бабушка истерика! А где же все остальное?! Ум, работа, мужество, дело жизни? Где? Все побоку? Обыкновенное фарисейство! Я и раньше подозревал, что он фарисей».

Но брюзгливые эти проклятия не приносили ему освобождения. Они только раздражали его самого, и он готов был обвинить Бугоркова в обыкновенной дурости. Но это было слишком явной натяжкой и никак не вязалось с образом напряженно-страстного человека.

К чести Тюхтина надо сказать, что он сам понимал всю подлость такого примитивного суждения. Он сам себя ненавидел в эти минуты, стыдясь низости своих обвинений...

Этот внутренний спор с человеком, которого он почти не знал, доводил порой Тюхтина до зубного скрежета. Если бы сам Бугорков узнал или хотя бы почувствовал, в какие нелепые одежды наряжал его Тюхтин, делая это не из ревности к жене, а из-за несогласия своего с ним, Бугорковым, он крайне бы удивился такому вниманию к своей особе и был бы, конечно, очень польщен.

Тюхтин и сам удивлялся, как много места в его жизни занял этот человек. Гнал его мысленно от себя, топтал ногами, посылал кс всем чертям, но Бугорков был неистребим.

В своем затянувшемся споре с ним Тюхтин бессознательно, нечаянно отторгал от себя, изгонял из своей души и сердца все то, что хоть как-то напоминало ему о Бугоркове.

Невольно это коснулось и его отношений с сыном. Он стал слишком строг, требуя от мальчика беспрекословного и тупого подчинения, доводя его часто до слез своими нелепыми приказами съесть какую-нибудь кашу, от которой Олежку уже тошнило. Мальчик плакал с полным ртом каши, Верочка сидела бледная, ненавидя в эти минуты мужа, но боясь ему прекословить при сыне. Олежка тоже стал бояться грозного отца, но, как говорится, большие порядки приводят к ве-

ликим беспорядкам. Однажды маленький Олежка расплакался, обиженный отцом, и в безумном своем горе крикнул ему: «Не люблю тебя! Дурак!»

Тюхтин сдержался, но несколько дней не разговаривал с несчастным мальчишкой, которого он заставил трижды просить прощения, доведя ребенка до истерики.

Верочка на этот раз не стерпела. Была гнусная, мерзкая ссора, в ход пошли все обидные слова, какие были в запасе у каждого... Но и в бешенстве ссоры Тюхтин старался быть холодным и адски расчетливым, чтобы нанести жене удар побольнее, хотя ни единым намеком не затронул Бугоркова, своего страшного свидетеля, которого он уже начинал бояться.

Но ссора не расплзлась, не растянулась надолго, и на следующий же день мир вернулся в это семейство. Все были снова счастливы, и каждый любил друга друга по-своему. А Тюхтин весь вечер читал Олежке «Серебряные коньки», чего он никогда раньше не делал.

Даже выражение его лица со временем изменилось в худшую сторону — искривилась улыбка, запали щеки, и на них выявились тонко змеящиеся морщины, в глазах что-то погасло, они тоже как будто сморщились в болезненном прищуре. Он весь покрылся налетом какой-то серой скрытности, стал молчалив с женой, приучив ее не удивляться позднему возвращению с работы, а то и к сомнительным ссылкам на затянувшийся до утра преферанс, играть в который он был большой охотник, выигрывая иной раз довольно много денег. Был случай, когда он выиграл восемьдесят два рубля.

Со временем у него образовался прочный круг друзей, помешанных на картах, куда уже не входил Сизов.

Незаметно для самой себя Верочка Воркуева привыкла укладываться спать без мужа, скрывая это по возможности от сына и от родителей, которые, построив квартиру, переселились в Теплый Стан. У нее тоже к тому времени образовалось нечто похожее на кружок, и она тоже порой уходила на весь вечер из дому, оставляя Олежку на попечении дяди Андрея, который нянькался с ним, как старый дядька при барчуке.

«Ну как живы, братцы?» — спрашивал иногда Сизов, появляясь из небытия. «Где сам?» — спрашивал он у Верочки, если Тюхтина не было дома. «Где сама?» — если дома не было Верочки.

«У нее свои друзья», — отвечал Тюхтин. — Тебя это удивляет? Странно. Не будь ханжой!»

«У него свои друзья», — отвечала Верочка. — У меня свои. Ты знаешь, а нас это вполне устраивает. Я уважаю его право на личную жизнь. Чего ж в этом плохого? Наоборот, по-моему, все очень хорошо. Большую часть времени мы вместе, ты что! Просто так совпало, что ты приходишь, а то меня, то его нет... Да брось ты глупости гворить!».

Со временем Сизов вообще перестал приходить в этот дом, если его не звали. А звали его теперь очень редко.

У Тюхтина появилась молоденькая женщина, о которой, конечно, не догадывалась Верочка, но о которой знали все друзья его круга. Она как будто бы и не нужна была Тюхтину, он не любил ее, но ее однокомнатная квартира стала для него тем местом, где он забывал обо всем на свете, отдыхал, как он говорил друзьям.

Верочка Воркуева страшно бы поразилась и не поверила, если бы ей сказали о женщине, хотя порой она и допускала такую возможность, оставаясь в одиночестве. Но как тяжело и безнадежно больная не верит до конца в свою роковую болезнь, так и она уверяла себя, что ничего страшного не происходит: просто язва, просто кашель,

просто невралгия... Она-то уж знала своего Тюхтина! С некоторых пор она вообще считала его холодным и очень спокойным человеком, не наделенным природой мужской страстью и силой.

В квартирке же на окраине Москвы Тюхтин как бы старался доказать обратное. Его друзья, зная об этой связи, не придавали ей никакого значения, самым искренним и приятнейшим образом улыбались Верочке, пили за ее здоровье, за счастье семьи, за Олежку, искренне любя и Верочку, и ее мужа, и Олежку, и все они очень бы оскорбились, взорвались бы в негодовании и даже полезли бы в драку, если бы их кто-нибудь назвал лицемерами. И что самое удивительное — они были бы по-своему правы в искреннем возмущении, потому что никто из них никогда не испытывал подлинной любви. Они слышали о ней, но не верили в нее, ибо не знали. Просто не знали! Природа не наделила их этим чувством. Ну просто обошла, как обходит дождевая туча выгорающие в пересохшей земле растения. Что же тут поделаешь! Судьба! Они не верили даже, что это иногда случается с людьми, живущими с ними рядом...

Наверное, поэтому такие люди ищут себе подобных и объединяются друг с другом, инстинктивно видя в этом спасение, утверждаясь на примере других в своей собственной правоте. Им охотно помогают женщины, тоже обойденные природой. В этом мирке укороченных чувств каждому живется совсем не плохо! Они даже не подозревают о своей беде. И нельзя их в этом винить, как нельзя винить человека за то, что он не умеет петь тенором. Ну просто не может и не поет!

Тюхтин не случайно избрал этих людей своими друзьями. Теперь с их помощью он легко избавлялся от назойливого Бугоркова, от его слез и писем — он рассказывал о нем своим приятелям, и они вместе смеялись над ним.

Он наконец-то нашел верное средство.

## 22

К несчастью или счастью, об этом ничего не знала Верочка Воркуева. Со стороны семья их выглядела вполне благополучно. И именно к ним как к высшим судьям и защитникам пришла Анастасия Сергеевна перед тридцатым Днем Победы жаловаться на мужа, обливаясь слезами и мучаясь ужасно. Именно перед ними оправдывался и тоже искал защиты растерянный и обескураженный Олег Петрович, с глубокой тревогой в душе объясняя им, как все было на самом деле, и уверял их, что он не виновен перед Настенькой.

А случилось вот что: из Омска пришло письмо на имя Олега Петровича от какой-то Шаповаловой Александры Андреевны. Он распечатал конверт и, недоумевая, стал вслух читать при жене, с каждой строкой, с каждым словом понимая, что письмо из далекого прошлого, от дорогой и полузабытой Шуручки, санинструктора роты, которую ранили при нем и при нем же увезли в медсанбат и с которой он спустя год в читинском госпитале встретился за обеденным столом: она, выздоровев, но еще не окрепнув, работала на раздаче, а он только начал ходить после ранения...

Чем дальше читал он это письмо, тем труднее ему становилось читать вслух, потому что Шуручка, нашедшая его после стольких лет, изливалась ему в такой нежной любви, так много восторженных восклицаний было в письме, что Воркуеву становилось не по себе под пристальным взглядом жены. Он глупейшим образом улыбался и, отвлекаясь от письма, говорил своей Насте:

— Елки-палки! Это ж наша Шуручка! В роте у меня санинструк-

тором была, представляешь?! Такая девчушка хорошенькая... Ребенок совсем! От нее письмо-то. Вот чудеса!

Анастасия Сергеевна, видя страшное смущение мужа, с затаенной тревогой, с коварной какой-то, бледной улыбочкой требовательно приказывала:

— Читай, читай... Шурочка! Что-то ты никогда не рассказывал об этой Шурочке...

— Да ты чего? — спрашивал Воркуев, стараясь изобразить на непослушном лице удивление.

— Читай!

Шаповалова Александра Андреевна, закончив свое письмо не совсем подходящим воспоминанием о том, как она встретила его в Чите и каким родным он стал для нее человеком, назначала ему свидание возле Большого театра в День Победы.

— Ну вот и спасибо! — бешеным сипом выдавила из себя Анастасия Сергеевна. — Дожила и я до светлого праздничка! Вот и живи с ней! А я тебя... Я видеть тебя и знать не хочу! Ты и не рассказывал о ней никогда, потому что она была твоей женой... Бросил ее, а теперь вот так тебе и надо! Я очень рада! Поздравляю вас, Олег Петрович, с законным браком! Подлец! Ах, господи! Какой подлец! И я прожила с ним столько лет...

Олег Петрович тоже побледнел и выпалил ей во всю глотку:

— Замолчи, дрянь! Как ты смеешь?! Я ее и пальцем не тронул!

— Да знаю я этих фронтовых подружек! — закричала визгливо и очень неприятно Анастасия Сергеевна, пускаясь в слезы.

А Воркуев не сдержался и ударил ее по щеке, тут же бросившись к ней с испугом просить прощения. Но было поздно.

Анастасия Сергеевна, ахнув от удара, прикрыла лицо руками, а когда к ней кинулся муж, умоляя простить его, сказала ему неожиданно спокойным, чужим голосом, сдавленно-низким баритоном:

— Мне все ясно...

— Милая, прости, я нечаянно... Но ты тоже, — торопливо объяснял ей Воркуев. — Ты тоже! Разве так можно? Это ж мой фронтовой товарищ... Девочка еще совсем... Что ты! Ничего у нас с ней не было и не могло быть! Скажешь тоже — жена! Какая жена! Мы ее все любили, и никто не посмел бы тронуть ее... У нас с ней...

— Замолчи. Мне все ясно.

— Да что тебе ясно?! Ну вот девятого мая вместе пойдем, ты увидишь... Ты у нее сама спроси... Она тебе все расскажет. Ей-то ты поверишь?

Но Анастасия Сергеевна вопреки всякой логике кипятила в душе ненависть к мужу, впервые в жизни не веря ни единому его слову, в полной опустошенности слыша только собственные слезные восклицания: «Ах, какой подлец! Негодяй! Имел жену и скрывал от меня! Ах, мерзавец!» Никакие доводы мужа не могли поколебать ее, зашедшую в какой-то темный тупичок, из которого как будто не было выхода.

Воркуев, отчаявшись, снова накричал на нее и снова готов был ударить упрямое и тоже вдруг ставшее ненавистным, плачущее, некрасивое, гнусное существо.

Ссора их перешла все границы и, как все ссоры между мужем и женой, была отвратительна. В ход шли слова, которыми каждый хотел как можно больнее ударить друг друга, унижить, оскорбить. И со стороны казалось, что этих людей ничто уже не в силах будет объединить в жизни, примирить. Все было опошлено, испоганено, брошено в грязь под ноги, истоптано и умерщвлено. Ни о каком пути назад не могло идти речи.

Анастасия Сергеевна ни за что не хотела простить мужу предательского, жуткого смущения, какого она еще ни разу не видывала на его лице, и конечно же пощечины, а Олег Петрович не мог простить жене тупой бабьей ревности к святая святых его юности — ревность эта казалась ему кощунственной и он чувствовал себя совершенно правым. В то время как Анастасия Сергеевна низводила мужа до уровня лживого пошляка, бросившего когда-то первую жену. Она так накручивала на свою душу эту идею, так страдала от ненависти к нему, что порой ей начинало казаться, будто у Олега и той женщины есть и ребенок, о котором даже Олег мог ничего не знать. Иначе с чего бы это стала его разыскивать после стольких лет какая-то санинструктор!

Накричавшись, измучившись и устав от взаимных оскорблений, обессилев, супруги наконец умолкли. Анастасия Сергеевна, тщательно вымыв лицо, смотрела с состраданием на себя в зеркало, на распухшие, красные веки, несчастно горящие глаза и, не в силах оставаться с мужем в одной квартире, начала пудриться, причесываться...

А Воркуев тем временем мылся не в ванной, а на кухне и тоже не мог оставаться с женой под одной крышей. Оделся, хлопнул дверью и вышел на улицу.

Быд уже поздний час. Холодная, не просохшая после снега, жидкая земля резко пахла глиной. Редкие прохожие шли по бетонным мосткам от автобусной остановки.

Воркуев прошелся до опушки рощицы, слыша чавкающие свои шаги, и вдруг заторопился к дому, решив с блаженной радостью на душе во что бы то ни стало помириться с женой.

Вся их ссора показалась ему сплошным недоразумением, и он, как всегда уверенный, что будет прощен, чуть ли не со смехом отбросив только что жившее в нем раздражение, злость и мстительное желание переночевать на вокзале, взбежал к себе на этаж.

Но Анастасии Сергеевны дома не было. Хорошо еще ключ оказался в кармане.

Воркуев прождал больше часа, вновь ненавидя ее и беспокоясь за нее, сидел не раздеваясь на стуле, прислушиваясь к шагам за окном и на лестнице, выходил на улицу и опять возвращался.

Ах, как он злился на нее в эти мучительные минуты! И как боялся за нее! Никогда еще в жизни ссоры их не затягивались так тревожно надолго. Никогда еще в жизни, казалось, он не ощущал в душе такого тоскливого одиночества. Все, что до сих пор имело в его жизни какую-либо ценность, что недавно волновало его, заботило, заставляло задумываться, радоваться или огорчаться, — все это нестерпимой душевной болью переполнило его, сверля мозг и сердце одной лишь заботой: увидеть скорее Настеньку, помириться с ней и доказать, что никакой «фронтальной жень» у него не было...

И как ни обидно было сознавать, что ему придется доказывать недоказуемое, то есть он будет доказывать, что белое есть белое, человеку ослепленному, он все равно мечтал о той минуте, когда это будет возможным.

Он уже не на шутку стал волноваться за нее. Время приближалось к одиннадцати, а пустынная в это время окраина Москвы, потемки черных пустырей были далеко не лучшим местом для ночных прогулок.

Он долго не мог поверить, что она решилась поехать к дочери, его пугала и эта возможность, но уж лучше бы она поехала к Верочке, думал он, хотя и не знал, как быть ему самому: ждать ли ее дома или ехать следом за ней.

Но он все-таки поехал, чувствуя всю неловкость своего положе-

ния, веря и не веря, что она сейчас у дочери, боясь напугать своим поздним появлением, всполошить и Верочку и ее мужа, если Насти не окажется там. Пропала жена! Дикое положение... не заявлять же в милицию, черт побери!

Кажется, не было на свете человека несчастнее Воркуева, ехавшего в полупустом вагоне метро, жалевшего к тому же еще о том, что забыл оставить жене записку. Настя все-таки могла и не поехать к дочери, а вернуться наконец домой. И что тогда?

Александра Андреевна Шаповалова и представить себе не могла бы, какой переполох она вызвала своим добрым письмом в семье Воркуевых.

Олег Петрович, прежде чем войти в дом, прошел во двор и взглянул на окна: они ярко светились в темноте ночи — Анастасия Сергеевна была у дочери.

Нет, она не хотела его видеть, не хотела ни о чем говорить с ним, снова плакала, вызывая жалость у дочери и гневные взгляды, которыми та мерила вконец растерявшегося, несчастного отца.

— Уйди,—говорила Верочка отцу.—Уйди на кухню и посиди там...

Вместе с Воркуевым вышел на кухню и Тюхтин, который тоже был возбужден, хотя и скрывал это нервной зевотой.

— Что случилось-то? Какое письмо? — спросил он у тестя, выражая крайнее удивление на лице.

— Какое, какое! Обыкновенное письмо, черт побери... От моего санинструктора, Шуручки... А она приревновала неизвестно к чему... Теперь эта истерика. С ума сойти можно! Раненная тоже была, в госпитале опять встретились... В общем,—говорил Воркуев, морщась как от боли,—обыкновенно все... Вспомнила, нашла, написала по адресу, который нашла, что замуж не вышла, живет одна и вообще... Она на волоске от смерти была... Пуля ей височную кость задела, изуродовала лицо... А человек она чудный! Вот и вспомнила...

Тюхтин усмехался, слушая Воркуева, и, кажется, ничего не понимал. Он опять спросил:

— Ну а что же Анастасия Сергеевна-то так расстроилась? Вы бы ей все рассказали, раз она так переживает... Хотя это, конечно, странно.

— Конечно, странно! — подхватил Воркуев.— Ну а что говорить? Она ничего слушать не хочет... Главное, ничего ведь не было! Была война и эта девчушка... Она тогда еще девчушкой была! Жалели ее, да... А как же не жалеть? С мужиками, с парнями в окопах... Господи! Любили, конечно, ее, а когда ее ранило, чуть не плакали, думали, не выживет — висок все-таки... Обидно теперь слышать... глупость эту...

Пришел на кухню и сосед. Воркуев и ему все рассказал, находясь в таком отчаянии, что слезы порой сдавливали его голос и он с трудом справлялся с этой болью, повторяя как заклинание:

— Главное, ничего ведь не было! Всякое бывало, а тут — ну ровным счетом ничего! Просто добрая душа вспомнила обо мне, нашла и написала. Вспомнила, понимаешь! Это ж такой человек, Шуручка наша.

Говорил он с надеждой и так смущен был при этом, так серьезен и тревожен был его болезненно-страдающий взгляд, что и Тюхтин и Андрей Иванович, конечно же, верили ему, молчаливо осуждая Анастасию Сергеевну.

А в это же самое время Анастасия Сергеевна впервые в жизни жаловалась дочери на мужа, скрывая лишь про его пощечину, плакала, раздражая докрасна слизистую глаз, носа, губ, являя собой распухшее, мокрое, горячее и жалкое существо, совершенно не похожее на прежнюю Анастасию Сергеевну.

Жалость дочери, ее сочувствие еще глубже погружали Анастасию Сергеевну в какую-то горькую, но, как это ни странно, приносящую облегчение безысходность. Казалось, будто бы она нарочно решила выплакаться наконец-то за многие годы, за все обиды, которые причинял ей муж, и рада была теперь, что плачет и что ее жалеет взрослая и все понимающая дочь.

Но пришло время и ей успокоиться, или, вернее, перестать лить слезы. Она даже попросила у дочери прощения «за беспокойство», как она выдавила всхлипывая.

Верочка гладила седеющую голову матери и, наплакавшись с ней вместе, думала теперь, что пришла пора помирить ее с отцом, ненавидя его в эти минуты.

Парламентером вызвался быть Андрей Иванович, который мрачно сказал:

— Ладно, матросы. Пора кончать, спать надо.

И повел безвольного и глупо улыбающегося, седого «матроса» в комнату.

К счастью, он попал именно в тот момент, когда женщины вдосталь наплакались и сложилась благоприятная ситуация для перемирия.

Анастасия Сергеевна отвернулась к стене от мужчин, терпеливо выслушала мужа, который даже осмелился мягко упрекнуть ее в жестокости, прося у нее прощения при этом, и высказал радостно прозвучавшее недоумение по поводу ее слез, прибавив при этом:

— Ты меня прости, но нельзя же так реагировать (он чуть было не сказал — ревновать) на письмо фронтового товарища... Это просто мой товарищ. Ты хоть это-то понимаешь теперь?

Анастасия Сергеевна глухо отозвалась:

— Я-то понимаю... А сам-то ты?

И тут вступили на два голоса Верочка и Тюхтин, уговаривая их не валять дурака, помириться, поцеловаться и никогда больше не ссориться. А сосед, видя, что дело идет на лад, махнул рукой и, не попрощавшись, ушел спать.

— Оба вы не правы, — говорил Тюхтин.

— Нет, я считаю, что каждый из вас прав по-своему, — говорила Верочка и удивленно смеялась, уже ничего не понимая, не в силах осознать причину ссоры родителей, все больше запутываясь в своих догадках и разгадках. — Папа! — говорила она. — Ну подойди к маме, обними ее и поцелуй.

Анастасия Сергеевна, чувствуя неловкость положения, первая посмотрела в глаза мужу, и на ее распухшем, безобразном лице родилась очень застенчивая улыбка.

— Ладно, Верочка, — сказала она вяло. — Это уже слишком.

Но ей смешно было не оттого, что их мирили как маленьких, а оттого, что вдруг почувствовала она себя виноватой перед мужем и поняла, что все уже простила ему, хотя ей и самой неясно — что же это все: пощечина, письмо, его смущение, ее слезы? Или же все — это вообще все, что было плохого у них в жизни и что наконец-то переполнило ее неожиданно и обернулось ссорой?

Во всяком случае, она чувствовала себя виноватой: ссора их стала известна дочери, зятю и даже «матросу», на участие которого она уж никак не рассчитывала.

Воркуев, увидя улыбку на лице Настеньки, бросился к ней и стал ее целовать, приговаривая в каком-то восхищенном возмущении:

— Ну, ты дурочка! Ей-богу, дурочка! Довела и себя, и меня, и детей черт знает до чего! Господи! Какая же ты у меня дурочка... Ну

поцелуй меня, слышишь? Не потом, а сейчас, сию секунду... Поцелуй и прости...

Когда же она дотронулась губами до его щеки, он сразу присмирел и, с благодарностью посмотрев на нее, оглянувшись и, не увидев дочери и зятя в комнате, нежно, как только мог, сказал ей:

— Я не могу без тебя. Понимаешь? Без тебя я пропаду.

Верочка с мужем оставили «стариков», уйдя на кухню, и неловко молчали, точно прислушивались, как шумит в тишине голубой огонь под чайником, точно это сейчас больше всего остального занимало их. Они так и не сказали друг другу ни слова о том, чему были свидетелями, делая вид, что ничего ровным счетом не произошло, как бы соревнуясь друг с другом в хладнокровии.

— А где мы положим их спать? — спрашивал Тюхтин. — На полу?

— Придется нам, наверное, на полу, на матрасе, а их на кровать. Подай мне чай...

— А где он?

— В шкафчике... Где же еще ему быть?

Оба они чувствовали тягостную неловкость друг перед другом, и каждый из них, томясь в безделье на кухне, не мог никак решиться вернуться в комнату, точно там их ожидало неприятное какое-то зрелище — объятия обезумевших от счастья примирившихся родителей.

— Ты долила воды в чайник?

— Да. Надо еще подождать... пусть настоится покрепче.

Они услышали, как отворилась дверь комнаты и как в прихожую вышли Олег Петрович и Анастасия Сергеевна, о чем-то шепотом переговариваясь.

А через некоторое время они заглянули в кухню уже одетыми и стали прощаться с ними.

— Как?! — воскликнула Верочка. — Вы совсем с ума сошли! Уже два часа ночи.

— Мы на такси, — отвечала ей Анастасия Сергеевна, щурия в улыбке распухшие глаза.

— Мы на такси, — вторил ей Олег Петрович шепотом. — Или пещочком... к рассвету доберемся. — И лицо его расплывалось в блаженной улыбке.

— Это несерьезно, — возражал им Тюхтин. — Вам ведь завтра работать?

— И вам тоже, ложитесь скорее спать, а на нас не сердитесь. Я завтра тебе позвоню на работу, — говорил Воркуев. — И тебе тоже. С утра. Ладно, не ругайте нас и... мало ли чего не бывает! А девятого мы у вас, как всегда...

И они ушли, осторожно, без стука прикрыв за собою входную дверь.

В эту ночь Верочка никак не могла уснуть, думая о том, что они с Тюхтиным еще ни разу не ссорились всерьез. То ей казалось, что именно так и нужно жить мужу и жене, а то ей как будто бы чего-то не хватало в жизни...

— Ты чего не спишь? — спросил у нее Тюхтин, который только что сладко храпел, но вдруг проснулся в какой-то тревоге.

— Слушай, а почему мы с тобой ни разу не поссорились? — спросила Верочка с бессонной усмешкой.

— Потому что на эту блажь надо иметь время и энергию. Я тоже, конечно, хотел бы расслабиться, но это слишком большая роскошь.

Верочка хотела сказать ему: «Ты так говоришь, будто мы нищие, а они богачи, купающиеся в роскоши». Но ей стало скучно и захотелось спать.



— Может быть,— сказала она со вздохом.

И уже в полудреме вспомнила крутые горы песка и восторженное, солнечное сияние бегущей, искристой, улыбчивой реки... Она частенько теперь засыпала, представляя себе эту поблескивающую в памяти картинку. Но, странное дело, при этом она никогда не вспоминала о Коле Бугоркове, хотя он незримо присутствовал всякий раз, точно был весь растворен в сиянии реки, в солнечном блеске и бормотании ключевой воды... Картинка эта успокаивала ее, и Верочка словно бы в каких-то тайных, неосознанных надеждах на что-то неясное засыпала.

Однажды ей приснился сон, будто бы она была близка с мужчиной, которого не могла запомнить, или, вернее, которого как бы и вовсе не было, но близость была так неожиданна и приятна, что она весь день жила под впечатлением греховного сна, чувствуя при этом неприязнь к мужу и беспокойство. И думала весь день о лете и о Воздвиженском.

Она не знала о том, что умер старик Бугорков и что дом его заколочен. А Клавдия Васильевна, похоронив мужа на воздвиженском кладбище, переехала жить в большое село на шоссе на дороге...

Умер старик тихо. Последние свои дни он лежал в чулане, будучи уже не в силах взбираться на печку. Было еще тепло, хотя и приближалась осень.

Клавдия Васильевна ушла на огород подкапывать картошку к обеду, а внучке, гостившей в Лужках, наказала сидеть возле дедушки. Она-то чувствовала, что конец близок, и не отходила сама от мужа. Внучка тоже знала, что дедушка умирает, но не понимая еще, что такое смерть, не боялась и не жалела деда. Клавдия Васильевна сказала ей, что если дедушка застонет или позовет, чтоб она тут же кликнула ее. Но когда, нарыв картошки, вернулась, Александр Сергеевич был уже мертв, а внучка играла на полу как ни в чем не бывало. «Что же ты, ах ты господи, не позвала-то меня? Умер ведь дедушка-то твой!» — сказала в слезах Клавдия Васильевна. А внучка ей ответила без всякого испуга: «Нет, у него глазки открыты... Вон... открыты глазки...»

Ничего этого Верочка не знала, и смутные ее надежды на самой ей неясное продолжение чего-то неопределенного были напрасны.

Собственно, у нее и не было никаких надежд, она ничего не ждала от новых встреч с Бугорковым, ей просто хотелось еще хотя бы раз пережить все то, что осталось в ее памяти солнечным сверканием, огромной и доброй улыбкой...

Этим она и жила, хотя и понимала с грустью нереальность своих мечтаний.

Девятого мая в старых комнатах Воркуевых был, как обычно, накрыт праздничный стол и среди привычных гостей, собиравшихся здесь всегда, сидела за этим столом неузнаваемо состарившаяся Шурочка. Слезы у нее стояли так близко, что трудно было отличить улыбку на ее лице от гримасы сдерживаемого плача. Вмятина на виске возле глаза придавала ее лицу страдальческую печаль. Глаз с какой-то обнаженной исковерканной нежностью и тоскою смотрел на мир, будто бы сильно косил... И казалось, Александра Андреевна сама еще не успела привыкнуть и стеснялась своего взгляда, отводила глаза в сторону или опускала их. Другой же глаз был живой и веселый. Оттого, видимо, и создавалось впечатление, что Шурочка как бы все время находилась на грани слез и радости, шутила ли она или говорила что-то серьезное, вспоминая войну.

Анастасия Сергеевна была бесконечно внимательна к ней, любила каждое ее слово, старалась угодить во всем. Шурочка называла ее просто по имени — Настей и тоже испытывала к ней добрые чувства. Анастасия Сергеевна даже выпила с ней рюмку водки.

Не пил за столом один лишь Воркуев. И как ни уговаривала его Шурочка «хоть бы одну стопку за победу», он был неумолим. Даже Анастасия Сергеевна, легко опьянев, выразительно и молодо поглядывала на него и тихо подсказывала:

— Ну выпей одну... От одной ничего не будет...

А он хмурился в веселой раздумчивости и просил гостей не обращать на него внимания.

— Пейте, братцы,— говорил он.— Я с вами... Честное слово, я не могу! Но я с вами все равно! Настенька моя в жизни в рот не брала, а сегодня вместо меня с вами выпила... Она выпила, а я пьяный... Я очень пьяный бываю в этот день и без вина. А сегодня — тридцать лет. Мне нельзя... Ну не мучайте меня своими просьбами, прошу вас, братцы...

И «братцы» оставили его в конце концов в покое.

Никто никогда не видывал Анастасию Сергеевну такой счастливой и веселой, какой она была в этот День Победы. Кроме Шурочки, все понимали причину ее радостного смеха, улыбок и даже песен, которые она запевала и пела громче и азартнее всех. Понимал это, конечно, и сам Воркуев и, любуясь женой, был торжественно светел в этот день. А Шурочка думала, конечно, что Настя всегда такая веселая и что Олегу Петровичу повезло с женой. И она была недалеко от истины, думая так об Анастасии Сергеевне и о своем бывшем ротном.

В этот день пережил только Тюхтин. Мрачный и злой, он, к счастью, онемел от алкоголя, ему отказывал язык, и он лишь взмыкивал порой, невразумительно требовал что-то, пока силы не оставили его и он не заснул.

Верочка, очень расстроенная поведением мужа, уложила его спать на диване, вернулась к столу и с некоторым усилием улыбнулась, а улучив минутку, потихонечку сказала отцу:

— Это вроде эстафеты какой-то получается! Тебе не кажется, что он опьянел, потому что выпил твою долю? Ты, папочка, сачкуешь, а он напился... Очень хорошо!

Она сказала это со смехом, но все-таки злой упрек прозвучал в ее голосе.

— Вер, ничего! Пусть,— ответил Воркуев с искренностью кающегося человека.— Ничего страшного! Ты его держишь в таких рукавицах, что если разочек и напился, это ничего... Все хорошо будет. У вас, милая, все хорошо! Мы с мамой всегда радуемся за вас. Ты уж его прости! И меня тоже... Это я маме обещал не пить сегодня. Видишь, какая она у нас хорошая сегодня! Все хорошо! Пейте, братцы, я с вами! Сегодня можно! — крикнул он расшумевшимся гостям.— За победу!

В этот день Воркуев был счастлив вдвойне: за Настеньку и за себя. Он даже не рассказывал свои старые истории, не вспоминал о боях и ранениях. Вспоминала об этом сегодня Шурочка. Ему же порой слезы застилали глаза, когда она вспоминала и о нем. Он готов был расцеловать санинструктора, которая ничего не забыла и хорошо помнила своего ротного.

В Подмосковье снег, температура минус семь, пасмурно и тихо. У меня перед глазами, когда я шел по теплой и солнечной Ялте, стояла такая картинка: небо темное, как осенняя вода, темнее земли,

усланной снегом, на которой ни тени, ни яркого пятна... Белый провал. Глазу не за что зацепиться. Не холодно, и воздух тих. Слышно, как машет крыльями серая ворона, перелетая через реку.

Ах ты господи! Вот и меня потянула моя земля.

В Ялте теплынь, как перед летней грозой. Даже стеклянно-голубые горы и те потептели, точно покрылись бурой шерстью. Ожили.

Там, в горных, диких лесах, бушует осень: красные, желтые, бурые листья. А здесь, на набережной возле порта, глянцевет на солнце толстокожая зелень, сытостью и довольством дышит жирная земля... На стапелях, прямо на набережной белеют морские прогулочные катера, пахнет краской, сверкает электросварка.

А за маяком стелется дымом до самого горизонта море...

Сколько раз смотрел на море и никак не могу привыкнуть, что это вода, много воды, бесконечно огромное количество соленой воды... Чудится, будто это что-то совсем другое, какое-то непонятное еще, неузнанное вещество...

Я шел, прощаясь с Ялтой и с морем, не веря и не надеясь, что когда-нибудь опять побываю здесь. Нарочно не верил, нарочно не надеялся, чтобы сбылись желания. Но чтоб они сбылись потом, не скоро, когда-нибудь. А теперь я скучал по своей земле. В кармане у меня лежал билет до Москвы на завтра, в чемодан уже уложены темно-зеленые бутылки массандровского хереса, мадеры, кокура, сосновая шишка и веточка самшита. Осталось только позвонить жене, купить на рынке знаменитый синий лук и адамов корень. Тогда все дела будут закончены на этой теплой и душистой земле. Наступит томительное, бездельное времяпрепровождение, когда не останется у тебя как будто ни прошлого, ни настоящего, одно лишь будущее замаячит перед глазами, настраивая на свой лад твою душу и обленившуюся плоть. Нет на свете скучнее и неприкаянее отъезжающего человека.

На рынке астры и хризантемы всевозможных оттенков, мандарины, лук, лечебные травы и корни, розовые с восковым, парниковым блеском помидоры, огурцы, чеснок, ветки зеленого лавра, крымские пластинчатые, паутинно-серые грибы и колкие на звук, тонкоскорлупые, светлые грецкие орехи.

Со мной отдыхал шахтер, охотившийся за юмором... Он подходил ко мне по вечерам и, мутно поблескивая стальными зубами, которые цветом были под стать светло-серым улыбчивым глазам, говорил мне с южнорусской мягкостью и какой-то нежностью в голосе: «Та шо это такое?! Опять никакого юмора... Портовый город, набережная, базар, а где же юмор? У нас в Макеевке в любом магазине стой и записывай народный юмор... Пожалуйста! Но его ж надо обработать, а это же искусство... Я так считаю, что весь юмор из народа. Он нигде в другом месте не вырастает до зрелого возраста. Я вам так скажу, я большой любитель юмора, много читал юмористических произведений, но лучше народного юмора не знаю. Я так вам скажу, можно какую-нибудь трагедию придумать или какое-нибудь грустное художественное произведение... Это можно. А вот юмористическое произведение придумать нельзя. Юмор можно только в народе услышать, а потом все это соединить, обработать и напечатать в газете или в книжке. Юмор — это когда сам человек не знает, что он скажет другому человеку... бац! И сказал юмор! Вдруг взял и сказал без всякого придумывания. Вот тогда это действительно юмор... А тут, я вам скажу, который уж день хожу по рынку, по набережной, в порту среди рыбаков — никакого результата... — Он улыбался и говорил с удивлением: — Так с чем же, спрашивается, я к ребятам домой вернусь? Они ж меня съедят, если я им юмора не привезу».

Мне нравился этот охотник за смехом, я впервые в жизни видел подобного человека и при каждой новой встрече стал сам у него спрашивать, не повезло ли ему, не услышал ли он что-нибудь подходящее.

Но однажды, заметив его еще издали, я понял, что он шел ко мне с добычей, которую еле нес. Лицо его было похоже на лицо очень веселого пьяницы, смех, казалось, сочился через все отверстия и поры — смеялись, не говоря уж о глазах, уши, нос, подбородок, багрово-красная шея, острый кадык; смехом исходило все его существо, даже в ногах хлипко вздыхало неудержимое веселье, а на лицо с надувшимися жилами невозможно было смотреть — в нем клокотал огнедышащий, готовый взорваться молодой вулкан, справиться с которым уже никто из смертных не мог. Губы его были слюнявы, как у ребенка, глаза, превратившись в щелки, слезились, в носу что-то тихонечко похрюкивало, посвистывало, изо рта вырывались ойкающие, страдательные какие-то звуки. В общем, приятель мой был неуправляем.

Наконец он выдвинул из себя что-то похожее на слова:

«Тетня... дачно... Ой! Очень дачно... на базаре... Не могу просто! Я у него...»

Но стоило ему сказать «я у него...», как силы опять оставили его, лицо побагровело и обметалось сливовой какой-то голубизной, а изо рта снова вырвалось фырканье, сипение, горячее журчание тонюсенького писка... ноги подкосились в коленях, а правая рука замахала перед лицом, словно он держал в ней невидимку-веер.

Он долго еще не мог преодолеть это «я у него...», но наконец справился и слабым, измученным голосом стал рассказывать. И я, видя, как он боится сорваться опять в истерический свой смех, чувствуя неимоверное его напряжение, сам уже еле сдерживал свой собственный смех, боясь обидеть им неумелого рассказчика.

«Мужик на базаре... орехами грецкими торгует,— чуть слышным, тоненьким голосочком рассказывал он.— Я у него... Мужик местный... наверно... Я у него... говорю,— вымолвил он умирающим голосом,— говорю, почем орехи... А он — четыре рубля кило. Я говорю... а дешевле можно? — Тут мой приятель закрыл глаза рукой и натужно закричал, сдавливая пальцами глаза, перебарывая таким образом смех. Справившись с наваждением, он продолжил плачущим голосом: — А он отвечает, можно. Два рубля полкило...»

Он кончил свой рассказ, и мне показалось, что он и в самом деле заплакал беззвучно и жалко. Лицо его болезненно смеялось, глазки совсем пропали в слезах, рука опять замахала невидимым веером, а левая нога стала притоптывать по асфальту. Мне даже страшно сделалось за него.

Теперь и я на грецкие орехи смотрел глазами моего забавного охотника.

— Почем орехи? — спросил я у торговца.

— Четыре рубля кило.

— А дешевле можно?

Но это был не тот мужик. Этот не удостоил меня даже ответом, а только поморщился.

Картинка опять появилась у меня перед глазами: снег, как белый провал, сизое небо тяжелее земли, серая ворона чернее неба...

Все кабины были заняты, я держал в кулаке монеты и ждал возле московского таксофона своей очереди. Пухленькое, золотистое существо с красным ушком сидело в кабине и набирало номер. Очень приятная женщина из Москвы. Землячка.

— Алле! — кричит она громко. — Алле! Позовите, пожалуйста, Никифорова... Это жена. Я из Ялты, девушка... позовите, пожалуйста... Я из Ялты звоню... Алле! — говорит она, розовая в выжидательной улыбке. — Ну привет... Как вы там? Как ты? Как дети? Ты только не обманывай меня... Все в порядке? Потому что я беспокоюсь. Что-то у меня на душе такая тревога, ты себе представить не можешь, — громко жалуется она. — Вы мне каждую ночь снится... В чем дети ходят гулять? Теплей их одевай. И сам тоже не простудись...

Я невольно подслушиваю этот разговор, боясь потерять очередь, и улыбаюсь. А женщина жалуется:

— Соскучилась ужасно! Здесь холодно, ветер сильный и вообще скучно. Целую тебя, целую! И я тебя тоже... Целую!

Монеты у нее кончились, таксофон отключился, погас в кабине свет, она, вся розовая, выскользнула из кабины и направилась к молодому мужчине, который поджидал ее в сторонке.

Я успел услышать, как она сказала ему, беря под руку:

— Все в порядке... пошли.

И они вышли на белую, согретую солнцем, пыльную площадь. На женщине был легкий летний костюмчик. Ухо, сдавленное трубкой, пунцово светилось в солнечном луче.

В жаркой кабине пахло ее духами. Трубка была горячая.

Я улыбался, прощаясь с Ялтой, нес в авоське два килограмма лилового, плоского, как репа, лука, почему-то называемого синим, и с удивлением думал о своей землячке, которая только что искренне жаловалась по телефону мужу на ялтинскую погоду, на свою тревогу. Надо быть дьявольски прозорливым человеком, чтоб уличить ее или хотя бы заподозрить во лжи. Я думаю, далекий отсюда Никифоров поверил своей жене и стал теплее одевать детей, а свое горло стал тщательнее обматывать шарфом... Я думаю, что жена его тоже поверила в свои собственные слова, сказанные с таким неподдельным добросердечием. Мне и самому вдруг показалось, когда я шел по набережной, что в Ялте и в самом деле холодно, и ветер сильный, и вообще скучно.

Я не мог без улыбки думать о милой своей землячке. Чем-то она напоминала мне Верочку Воркуеву, хотя та и была придумана мною с начала и до конца. Но даже мой приятель-весельчак допускал такую возможность — «придумать грустное художественное произведение».

Я все придумал! Придумал череду картинок, записал их, как сумел, на бумаге, а когда картинки кончились — кончилась и моя повесть.

Осталась одна лишь пронзительно-яркая картинка перед глазами — земля, засыпанная снегом, замерзшая река и милое моему сердцу тяжелое зимнее небо, в котором слышно, как машет крыльями летящая куда-то ворона.

В Москве и Подмосковье снег, температура минус семь, пасмурно и тихо.

Как же я соскучился по своей земле! Как давно не комкал в руках чистый, хрустящий снег!

А в Ялте холодно, ветер сильный и вообще скучно...

Ну что ж, пусть будет так.



---

---

## ФЕОДОСИЙ ВИДРАШКУ



## ПЕТРУ ГРОЗА

### *Главы из книги*

Наш народ навсегда сохранит в своей памяти светлый образ доктора Петру Грозы, пламенного борца за свободу, прогресс и процветание родины, за укрепление дружбы и союза с социалистическими странами, за мир и сотрудничество со всеми народами земли.

*Николае Чаушеску,  
Генеральный секретарь РКП,  
Президент Социалистической Республики Румынии.*

### РОМАНТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО

#### I

**А**дам Гроза, сын бэчийского батюшки Адама, собирался в дорогу. Он только что был назначен приходским священником в село Коштеюл Маре и теперь ехал туда на рождество. Жена его оставалась совсем одна в старинном доме на краю Бэчии, небольшой деревушки на берегу горной реки Стрей. Она ожидала первого ребенка.

— Не уезжай, я боюсь...

— Не бойся, все будет хорошо, ведь тебе еще не скоро... И соседи помогут, — успокаивал он жену.

За невысоким плетнем сосед Грозы Михэилэ Михок собирал в копны сено, разбросанное для просушки после долгих дождей.

— День добрый, бачу<sup>1</sup> Михэилэ.

— Целую ручку, барин.

— Какой я барин? — горько улыбнулся Адам Гроза. — Вот переводят меня. В Коштеюл Маре. Далеко. За добрую сотню верст отсюда. А жена на сносях. Нескладно получается... Наведывайтесь к нам. Неровен час — позовите, пожалуйста, повитуху.

— Не беспокойся, батюшна. Позову.

— Не хочется мне ехать, но на то воля господня.

Молодой Адам Гроза, потомственный служитель церкви, искренне верил, что все предопределено всевышним. Он надеялся, что жена родит ему сына и Адам сделает его тоже священником, верным служителем бога.

---

Эта книга, которая полностью выходит в свет в издательстве «Молодая гвардия», основана на подлинных фактах и документах.

<sup>1</sup> Так в северо-западных районах Румынии называют мужчин, трудом своим завоевавших уважение окружающих. (Здесь и далее примечания автора.)

Зазвенел бубенчик, и двуколка покатила на запад, вдоль Стрея. Возница осторожно правил: раскисшая после долгих осенних дождей земля замерзла, а снег еще не выпал, узкая дорога вся в ухабах — того и гляди перевернешься.

Впервые за много лет покидая свое родное село, Адам Гроза задумался о его названии. Не потому ли его называют Бэчия, что парни в селе все как на подбор статные, широкоплечие, и более мелкий народ из соседних селений обращается к ним «бачу»? А может быть, потому, что когда-то здесь собирались бесстрашные пастухи — бачи, которым вся округа доверяла своих овец? Бачи угоняли овец в горы, устраивали там стыны, — овечьи стоянки, — а поздней осенью, в день святого Димитрия, возвращали овец их хозяевам вместе с приготовленной за лето брынзой, с состриженной шерстью, со шкурами баранов и выросшими ярочками.

Луна отбрасывала желтый свет. Ее окружали три сверкающих пояса. Адаму Грозе доводилось видеть такие пояса вокруг луны и раньше, но сегодня они казались куда более яркими.

И оттого, что он оставил дома беременную жену, и оттого, что не знал, как его встретят там, в Коштее, и от этой необычной луны на душе у Адама Грозы было тревожно.

Заметил странные пояса вокруг луны и Михэилэ Михок. Он знал, что они предвещают бурю. Значит, вот-вот подует с гор ветер, повалит снег. «Но как это я его не предупредил, что буря приближается? — заволновался бачу Михэилэ. — А впрочем, — решил он, — вдоль Стрея много деревьев, устроится где-нибудь».

Бачу Михэилэ торопился. Вот уже ночь наступила, а он все никак не управится с сеном. Вдруг он услышал крик. Через некоторое время крик раздался вновь. Кричала женщина. Бачу Михэилэ перепрыгнул через забор и кинулся к дому Грозы. Постучался. Никто не откликнулся. Он открыл дверь. В доме темно: видно, окна занавешены. Пахнет базиликом. Бачу Михэилэ быстро достал из кармана кресало и кремь, высек искру и поднес горящий трут к бумаге.

— Где лампа, домницэ\*?

— Не зажигайте свет, не надо!.

Он не стал зажигать лампу, лишь раздвинул плотные занавески, и в комнате стало светло от луны.

— Это вы, бачу Михэилэ?

— Я, домницэ. Все будет хорошо, доченька, все будет хорошо. Я побегу сейчас за повитухой.

— Ой, не уходите! Ма-а-ма-а-а!.. — Она ухватилась за спинку кровати. В никелированных шипках отражался слабый свет луны.

И бачу Михэилэ не пошел за повитухой. Жена родила ему уже пятерых. Двоих он сам принял в горах, в тесной стыне. Одного летом — тогда ему удалось отправить чабанов на улицу, — а другого зимой, в лютый мороз. Все обошлось.

— Не бойся, домницэ, — все приговаривал он, — стисни зубы, чтобы не кричать... Это только первый так тяжело дается, потом будет легче...

К утру домница родила мальчика. Бачу Михэилэ перевязал ему пуп, показал на своих грубых ладонях. Ребенок заорал.

— Ох-хо! Шуми, малыш, шуми!.. Серьезный будет парень, домницэ! Ну-ка, погляди на него!

Было 7 декабря 1884 года.

## II

Бачу Михэилэ дал знать Адаму Грозе о рождении сына через странствующего гэзара — торговца керосином и стеариновыми свечами. В старом доме устроили скромные крестины. Новорожденного нарекли Петру.

Жена родила Адаму Грозе еще двух сыновей — Ливиу и Виктор, — после третьих родов скончалась. Ей тогда шел двадцать третий год.

\* Домницэ — обращение к молодой замужней женщине.

Священникам не разрешалось вступать в брак вторично, и Адаму Грозе пришлось самому воспитывать детей. Скончался он в 1932 году.

Когда умерла мать, Петру было шесть лет. Он запомнил ее всегда тихой и немногословной женщиной. Она никогда его не ругала, не наказывала. Отец часто брал сына с собой в церковь, Петру наблюдал за тем, как отец медленно ходит по большому, всегда холодному храму, со стен которого глядят бородастые святые. Время от времени отец скрывается за позолоченными воротами алтаря, но маленькому Петру туда доступа нет. Однажды на пасху отец вышел из церкви и стал ходить между расставленными на траве корзинами с высокими куличами, пасхами, раскрашенными яичками и бутылками вина. Петру какое-то время походил за ним, однако вскоре это ему надоело и он вернулся в церковь. Всегда запертая боковая дверца неожиданно оказалась открытой. Петру очутился в небольшом помещении. В печке горели дрова, сильно пахло ладаном. Он открыл следующую дверь, побольше. И увидел огромную икону во всю стену, на ней был бог, такой же, как у них в божнице, только громадный-прегромадный. Прямо перед богом стоял высокий стол с чашей и золотым крестом — его отец выносит, когда звонят колокола и верующие падают на колени, а потом подходят к отцу, целуют этот крест и руку отца. От стола до самого потолка уходит вверх черная стена, такая черная, что Петру становится страшно. Только потом он догадался, что эта страшная стена — обратная сторона иконостаса, того блестящего и сверкающего иконостаса, у которого, как говорил отец, нет возраста и который сделал самим богом. «А если бог сделал одну сторону такой красивой, почему он и другую не сделал такой же? — подумалось мальчику. И решил: — Наверное, с той стороны рай, а с этой — ад. Только вряд ли. Тогда отец не стал бы сюда заходить».

Хор снова запел «Христос воскрес», зазвонили колокола. Послышались чьи-то шаги. Петру незаметно выскользнул на улицу. И кто знает, может быть, именно в то пасхальное утро и пришло к нему неожиданное для родителей решение:

— Я не буду попом! И учиться на попа не буду!

Мать в ответ подняла на Петру глаза и тихо сказала:

— Священники — слуги господа бога, они самые счастливые люди. И ты, Петруц, не должен так говорить. Бог рассердится...

— Который?

— Тот, который на небе.

— А этот не рассердится? — Петру показал на икону с изображением бога.

— Бог на небе, он сердится, когда о нем говорят так, как ты говоришь.

— А сколько всего богов?

— Один.

— Тогда почему же здесь один и еще один в алтаре, а у тетушки Асинефты я видел еще одного? Как же так?

— Когда ты станешь взрослым, Петруц, бог откроет тебе и эту тайну.

В памяти у Петру Грозы сохранился этот разговор с матерью и слова, которые она повторяла ему не раз: «Когда станешь взрослым, Петруц, перед тобой откроются все тайны».

А вскоре после этого разговора шестилетний Петру станет еще перед одной тайной, страшной тайной. Посреди комнаты на двух сведенных вместе столах установят белый гроб — в нем лежит мать. Мальчик смотрит на нее, ожидая, что она вот-вот откроет глаза. Она закрыла их, просто чтобы не видеть, как всю ночь дурачились взрослые, хлестали друг друга ремнем, играли в жмурки<sup>3</sup>.

Мальчику хочется верить, что и мать играет с этими дядями и тетями, а кончится игра — и она встанет. Потом его и двух младших братишек уводит к себе тетушка Асинефта. Она убаюкивает их сказками о мертвых царевнах, которым добрые молодцы на быстрых скакунах достают живую воду из далекого царства, где источник сторожат горы; чтобы отпугнуть пришельцев,

<sup>3</sup> В Румынии принято ночью «веселить» усопшего, близкие друзья и родственники проводят ночь с покойным, это называется «привегь».



они сталкиваются вершинами. И только самым храбрым молодцам, которым все нипочем, под силу добыть эту воду у недремлющих гор. Стоит окропить живой водой мертвую царевну — и она откроет глаза, проснется...

Ночью Петру во сне явился Фэт-Фрумос. Но чуда все равно не свершилось. Мать не проснулась. Утром она была такая же, как накануне. В комнате горело много свечей, по краям гроба тоже горели свечи, а рядом с матерью лежала длинная, во весь ее рост свеча. На сложенных крест-накрест руках — серебряная монета. Когда уже после похорон он спросил тетушку Асинефту, что это за свеча, она ответила, что это не свеча, а посох, на который опирается душа по пути к царству небесному, а денежку она платит ваме <sup>4</sup>.

Когда мать опустили в землю, Петру еще не верилось, что он уже никогда ее не увидит. Может быть, думал он, она походит-походит по тому свету с этим длинным посохом, заплатит ваме и вернется домой.

За детьми Адама Грозы стала присматривать его сестра Асинефта. Приходила помогать и другая сестра — Мария, крестьянка из Бэчии, но она приходила редко, потому что с утра до ночи работала в поле. А у Асинефты муж был церковнослужителем, и она больше хлопотала по дому. Тетушка Асинефта приучала Петру к мысли, что он старший в доме и в отсутствие отца (тот больше находится в Коштее) остается за хозяина.

А когда пришла пора учиться, Петру поднял первый в своей жизни бунт.

В то время Трансильвания находилась во владении Габсбургов. Школьное обучение велось на немецком и венгерском языках, и румынское население могло обучаться грамоте на родном языке только при церквах. Так что священнослужителям приходилось быть еще и просветителями.

Богу и просвещению служило не одно поколение семьи Гроза. И потому велико было удивление Адама Грозы, когда его старший сын заявил, что не желает быть священником и не пойдет учиться у попов.

— Это что еще такое? — разгневался Адам Гроза.

— Я сказал, что не буду священником, и не буду, — ответил упрямец.

— Почему?

— Я хочу быть как все люди.

— И давно ты это решил?

— Я еще маме говорил...

Адам Гроза не стал продолжать разговор. После вспышек гнева он обычно умел прийти в себя и все спокойно взвесить. Эту черту его характера унаследовал и Петру.

Когда же Петру сказал матери, что не хочет быть священником? И почему она не сказала ему, Адаму, об этом? Что делать с этим упрямецем? Он совсем от рук отбил. Целыми днями пропадает на речке, а Асинефте и Марии где за ним углядеть, им хватает хлопот и с остальными двумя. Придется забрать Петру в Коштей и отдать его там учиться. Но куда? В венгерскую школу, где детей воспитывали в католической вере. Грозе посылать сына не хотелось. Не пристало сыну православного священника заниматься у католиков. Нет, нет. Этому не бывать! Но что же тогда делать? И он забрал Петру из Бэчии в Коштей.

— Петруц, — возобновил он разговор в Коштее, — ты у меня самый старший, на тебя вся моя надежда. (Священник давно уже заметил, что сын развит не по возрасту и часто рассуждает как взрослый.) Мне хотелось, чтобы ты был продолжателем нашего семейного дела. Нам от бога дано служить людям словом.

Сын не слушал. Он смотрел в окно, на белые, в цвету, ветки черешни, и представлял себе, как он, когда эта черешня созреет, вскарабкается на самую верхушку и наберет полную пазуху упругих спелых ягод. Он отнесет эти ягоды слепому Янку, с которым подружился здесь, в Коштее. Янку такой добрый и ласковый...

— Ты будешь священником, — громко говорил отец, — а может быть, и выше пойдешь...

Петру отвлекся от черешни и сказал спокойно:

<sup>4</sup> Вамма — небесная таможня. По пути в рай, согласно поверью, их семь.

— Я не буду попом.

Адам Гроза решил привести самый, казалось бы, убедительный довод:

— И что ни говори, и жить будешь в достатке, не то что эти голодранцы... — И отец показал пальцем на мальчишек, поджидавших Петру за воротами церковного дома.

— А почему они живут бедно? — дерзко спросил Петру.

— Они лентяи, — ответил Адам Гроза.

— А я все равно не хочу быть священником! — решительно сказал Петру.

И Адам Гроза с ужасом подумал, что если этот ребенок вышел из повиновения уже сейчас, что с ним будет дальше? «Я тебя прочу!» — подумал он и сказал со злостью:

— Пойдешь в синагогу, не хочешь учиться с православными — занимайся с жидами!

— Ну и пойду, — ответил Петру. Ему было интересно узнать, а как учатся там, в синагоге, как она выглядит и какой у евреев бог.

### III

Бог у иудеев оказался таким же, как у православных, только книги складывались из других букв и читались начиная с последней страницы, в обратном порядке. Петру было смешно и совсем не трудно. Он быстро привык и понимал все, чему учил ребе. Дома он держался замкнуто и почти не разговаривал с отцом. Над Адамом Грозой смеялись в округе. Весть о том, что православный священник отдал сына в синагогу, очень быстро дошла до церковного начальства. От Адама Грозы потребовали объяснений.

Неизвестно, как объяснил свой поступок Адам Гроза. Известно только, что на следующий год Петру пошел в бэчийскую школу. И его снова стала воспитывать тетушка Асинефта. Эта скромная, истинно талантливая женщина оказала сильное влияние на ребенка, очень рано начавшего осмысливать окружающий мир. Она прививала племяннику чувство любви к родному краю, к хлебоборам, пастухам и роботарям<sup>5</sup>, уважение к крестьянскому труду, учила слушать народные песни и плачи, радоваться скупым, редким радостям крестьян. Он видел, что крестьян никто не защищает, что над ними издеваются на каждом шагу. Однажды местные жандармы избили жителей Бэчи за то, что по их недосмотру стадо овец потравило посевы соседнего помещика. Одиннадцатилетний Петру сказал тогда тете: «Когда я вырасту, стану защитником — буду защищать бедных людей».

Бездетная тетушка Асинефта очень привязалась к племянникам. Она была мастерица рассказывать сказки о героических Фэт-Фрумсах — добрых молодцах, вызволяющих из беды обиженных и несчастных, о деспотичном и безжалостном, но всемогущем карлике по имени Стату-палмэ-барбэ-кот, что по-русски означает ростом-с-ладонь-борода-с-локоть. Этот хитрый и коварный карлик никому не давался в руки. Тетушка и сама сочиняла сказки, слагала песни и стихи. Внимательно слушал Петру ее ласковый, задумчивый и полный тайны голос. Откуда она столько знает? Петру не осмеливался спросить ее.

Кто там ходит по селу,  
 Степенно, гордо ходит?  
 Это жандарм выступает, как павлин, —  
 Быть ему убитым!  
 Кто там изможденный ходит,  
 Пасет на лугу волов?  
 Это крестьянин-страдалец —  
 Быть ему хозяином!..

И кто знает, может быть, эти незатейливые стихи заставили Петру Грозу задуматься над тем, что же все-таки можно сделать, чтобы увидеть этого стонущего от гнета и горя крестьянина действительным хозяином своей земли?

<sup>5</sup> Роботарями называли в народе рабочих, добывающих в Западных Карпатах золото и уголь.

Тетушка Асинефта помогала ему понять и полюбить природу, наблюдать смену ее состояний... Вот катит свои воды любимый им Стрей, каждой весной обновляется сад, зеленеет на косягах новая трава, на месте старых деревьев в саду сажают новые, все меняется, обновляется, молодеет... А почему же ничего не меняется в селе Бэчия? Почему ничего не меняется в Коштей? Почему такие приземистые, обшарпанные хаты у крестьян? Почему у его товарищей нет обуви, хотя бы самой простой, даже постолов нет, и они из-за этого не могут посещать школу? Почему финансовый инспектор чуть не каждый день ходит из хаты в хату и забирает у крестьян последние тряпки в уплату налогов? Где та справедливость, о которой так красиво говорит в своих проповедях отец?

Он спросил однажды об этом свою любимую тетю.

Асинефта посадила его рядом с собой на лавочку в глубине сада, где любила отдыхать в свободные минуты, и в ответ спела ему песню. Видно, она слыхала ее недавно, потому что Петру никогда ее не слышал.

Дует ветерок весенний  
И зовет меня в чистое поле  
Собирать прекрасные подснежники,  
Слушать птичьи голоса,  
Потому что в небе солнце  
И поле все в цветах.  
Ветер, я был бы рад  
Тебя послушать,  
Но вокруг такое горе,  
Что не верится в приход весны...

Но Петру песня не понравилась. Как это так можно — не верить в приход весны? Верь не верь, а весна все равно придет!

— А почему вы поете,— спросил он,— «и не верится в приход весны»?

— Я не о той весне, что после зимы приходит,— объяснила она.

— А о какой же?

— О той весне, Петруц, которая приходит в душу человека. Я о такой весне говорю...

Летом 1894 года отец, как обычно, взял Петру на каникулы в Коштей. Но на этот раз тихий дом священника был неузнаваем. То и дело приходили и уходили люди. Они спорили, возмущались. Все говорили о каком-то меморандуме, будто невинные люди пострадали из-за какой-то бумаги. Приходили священники из соседних деревень, до поздней ночи разговаривали, читали газету «Трибуна». Как-то Петру, оставшись один, заглянул в газету. Заголовок над фотографией гласил: «Процесс меморандистов в Клуже». Он стал читать статью, но мало что в ней понял. Вечером после ужина он спросил отца:

— Тата, что такое меморандум?

— Меморандум? Откуда ты такое слово знаешь?

— В «Трибуне» про него прочитал, но не понял, что это такое.

«Что он поймет, я так мало могу ему рассказать. И как бы ему объяснить попроще? Да и надо ли ребенку об этом знать?» — подумал Адам Гроза.

— Эти люди хотят, чтобы тебе было хорошо,— ответил он.— Чтобы всем было хорошо.

— А разве за это судят?

— Христос тоже хотел, чтобы всем было хорошо, и его тоже судили. Борьба за доброе дело не бывает легкой. Христос пролил за это кровь... А они,— отец показал на фотографию в газете,— хотели вызвать добрые чувства у этого вот человека,— показал он на настенный календарь с портретом Франца Иосифа,— а он их не послушал.

Петру зло посмотрел на портрет:

— Вот бы пнуть его хорошенько!

Позднее Петру Гроза узнает, что после жестокого подавления революции 1848 года группа трансильванских румын в знак протеста против социального и национального гнета отказалась принимать участие в политической и общест-

венной жизни — тактика эта получила название «пассивизма». Но такое «непротивление злу насилием» мешало борьбе, и постепенно «пассивисты» изменили свою тактику и приступили к действиям. В 1881 году была создана Румынская национальная партия Трансильвании. Ее программа требовала автономии, использования румынского языка в судопроизводстве и административных делах, привлечения лиц румынской национальности к государственной службе, школьного обучения на родном языке, пересмотра закона о национальностях, расширения избирательного права. Руководители «пассивистов» пытались осуществить свою программу при помощи целой серии меморий — прошений, адресованных венскому императорскому двору. Эти прошения подолгу писались, редактировались, обсуждались, но и после этого зачастую долго лежали без движения в ожидании «подходящего момента». Наиболее яркий пример ожидания «подходящего момента» — работа над «Меморандумом». Еще на учредительной конференции Румынской национальной партии<sup>6</sup> в 1881 году было решено написать документ о тяжелой доле румынского населения Трансильвании и послать его императору. Больше десяти лет готовился этот документ. В нем разоблачались национальный гнет, коррупция, злоупотребления властей, фальсификация выборов, обезземеливание крестьян. Составители «Меморандума» и несколько сот активистов отправились пешком в Вену. Они надеялись, что император Франц Иосиф примет их, выслушает и постарается облегчить страдания своих подданных. Но Франц Иосиф не пожелал принять делегацию, а текст «Меморандума», даже не распечатав пакета, приказал переправить будапештскому королевскому правительству. Активных составителей «Меморандума» предали суду. В мае 1894 года в Клуже состоялся суд над меморандистами. Десятки людей были приговорены к длительным срокам заключения в тюрьме. Так потерпела крах попытка воззвать к совести всеильной австро-венгерской монархии.

В те дни в доме коштейского священника только и разговоров было что о процессе. Тетушка Асинефта сочиняла стихи и песни о страдальцах, молилась по ночам за их спасение. Все это не ускользнуло от внимания любопытного мальчика.

Он часто не мог уснуть и все думал — отчего такая несправедливость царит кругом? Отец молит бога за всех страдальцев. Когда же бог услышит его молитвы? Когда же он спустится на землю, чтобы свершить суд, о котором так часто упоминает тетушка Асинефта?

Среди осужденных по делу о «Меморандуме» был отец Лукач. Петру хорошо его знал, отец Лукач дружил с Адамом Грозой, он тоже был священником. Как же его могли осудить? Почему бог позволил это? Мальчик не мог найти ответа на мучившие его вопросы.

Злодеи, принимавшие образ Стату-палмэ-барбэ-кота из сказок тетушки Асинефты, посещали его во сне, и не только во сне. Подростающий мальчик видел их на улице, они глядели на него со страниц газет, с портретов.

Однажды, задолго до того, как в пражском трактире «У чаши» бессовестные мухи загадили портрет императора Франца Иосифа, старший сын Адама Грозы устроил над таким же портретом своеобразную экзекуцию — выколол императору глаза, один ус отрезал, другой закрасил фиолетовыми чернилами, пририсовал широкополую шляпу, а ко рту пришил булавкой живого майского жука. Потом позвал слепого мальчика, которого очень любил, и объяснил ему, как он разукрасил портрет, а когда жук зажужжал, пояснил: «Это его величество обращается к народу».

Придет время, и Петру поймет, что не имеет смысла уродовать портреты императора. В каждом селе есть свой Франц Иосиф. Их так много, что со всеми и не справиться.

— Так всегда будет? — спросил он отца.

<sup>6</sup> Румынская национальная партия — буржуазная партия трансильванских румын, созданная в 1881 году.

— На то божья воля, — ответил Адам Гроза.

Когда Петру спрашивал учителей, почему так плохо на земле, они отвечали, как отец: на то божья воля. И Петру стали одолевать сомнения: а вдруг он неправильно поступил, отказавшись идти путем отца? Если б он был ближе к богу, он мог бы спросить его, что нужно делать для того, чтобы на землю пришла справедливость.

Он заметил, что среди борцов за справедливость было много выходцев из семей священников, встречались среди них и священники, как отец Лукач. Почему же тогда им не помогает бог? Он спрашивал у венгерских детей, помогает ли им их католический бог. Спрашивал у еврейских, помогает ли им их еврейский бог. Но дети не могли ответить на его вопрос. Взрослые тоже.

А восставшие всегда терпели поражение.

И всегда несправедливость одерживала верх над справедливостью.

Почему так получалось?

Адам Гроза не мог ответить на настойчивые вопросы сына.

— Ты, Петруц, сам ищи ответы на свои вопросы, учись, сын мой, а я тебе буду помогать.

Ответы на многие «почему?» приходили с трудом. Но Петру Гроза задавал их себе всю жизнь.

#### IV

Через пятьдесят лет Петру Гроза скажет своему гостю, индийскому профессору Мохамеду Хабибу: «Прежде всего надо усвоить, что ты обязан учиться до гроба. Всегда следует исходить из того положения, что имеющихся у тебя знаний недостаточно, что надо приобретать новые. Разница между мной и многими современниками одинакового со мной социального положения лишь в том, что они считали, будто знают уже достаточно, а я неустанно стремился к новым знаниям, искал правду во время крутых поворотов, когда становилось ясно: то, что вчера еще считалось истиной, сегодня перестало быть ею...»

Своего старшего сына Адам Гроза отдал в венгерский лицей. Лицей этот находился в городке Орэшттия, в нескольких десятках километров от Девы. Он славился строгим режимом. Учащихся там воспитывали в духе преданности трону и «великой Австро-Венгерской империи». Обучение велось на венгерском языке.

Педагоги сразу обратили внимание на энергичного, способного и дисциплинированного мальчика. Он отличался исключительной любознательностью. Много читал.

Детство, проведенное в Бэчии и Коштее, прогулки с мальчишками по тайным горным тропам, ежедневные походы в девскую крепость, расположенную на высоком холме, купание в любое время года помогли ему стать отличным спортсменом.

Петру вскоре стал одним из лучших учеников. Он получил золотую медаль за отличные успехи в венгерском, немецком языках и литературе.

Об исключительных способностях юноши из Бэчии стали писать местные газеты.

Однако чем дальше, тем ненавистней становилась Грозе шовинистическая обстановка орэшттийского лицея. Постепенно он пришел к мысли, что люди разных национальностей неминуемо должны найти общий язык. Но для этого надо бороться против национальной розни, разжигаемой имущими классами. Те, кто знал его в этом возрасте, свидетельствовали, что молодой Гроза шел к пониманию дальнейшего своего пути последовательно и, естественно, не без взрывов и ошибок, так свойственных молодости. Это был единственный для него путь — служение классу угнетенных крестьян.

В 1903 году Гроза заканчивает среднее образование и дирекция лицея дает ему рекомендацию в Будапештский университет.

Стояла осень 1903 года. Крестьяне выходили на помещичьи поля снова

сеять хлеб. Возвращаясь поздними вечерами домой, они заливали горе крепчайшим винарсом<sup>7</sup>.

Готовясь к отъезду в Будапешт, Петру зашел попрощаться к своему «повиальному отцу» бачу Михэилэ. Тот только что вернулся с работы — он уже несколько лет ездил на заработки в Хунедоару, на металлургический завод. Бачу Михэилэ любил вспоминать декабрьскую ночь 1884 года.

— Ну как, пуп еще не развязался? — спрашивал он Петру, хлопая его по животу.

— Еду в Будапешт, бачу Михок. В университет. Ну, а если развяжется, как-нибудь подвяжем.

Михэилэ Михок, который впервые слышал слово «университет», сказал серьезно:

— Что ж, Петруц, езжай... Только нас не забывай...

— Не забуду, бачу Михэилэ...

Прощавшись с близкими, Гроза уехал в Будапешт. И вскоре, как и в орештйском лицее, становится лучшим студентом факультета юридическо-экономических наук Будапештского университета. Ректор университета, писатель Генрих Густав, восхищенный политической развитостью молодого румына, его красноречием и умением держать себя, берет его под свое покровительство. Работники университетской библиотеки удивлялись многообразию его интересов. Литература, география, политические, экономические, юридические науки — Гроза интересовался буквально всем. Своими вопросами он нередко ставил в затруднительное положение самых опытных преподавателей. Гроза настолько выделялся своими способностями, что журнал «Пести Вилаглап» («Будапештское обозрение») публикует целую статью о нем и помещает его портрет.

Через два года, блестяще сдав экзамены, Гроза завершает университетский курс в Будапеште. Осенью 1905 года он переезжает в Берлин и поступает там на факультет права и политической экономии. Учеба в Берлинском университете сыграла большую роль в формировании молодого Грозы. Он просиживал дотемна в богатой библиотеке, насчитывавшей более миллиона томов, пытаясь проникнуть в тайны философии Гегеля, перед которым тогда все благоговели. Массивные тома «Науки логики», «Феноменологии духа», «Энциклопедии философских наук», лекции Гегеля по истории философии и эстетике будоражили мысль. Гроза представлял себе этого патриарха немецкой философии престарелым мудрецом с чертами Саваофа, а на пьедестале недавно воздвигнутого Гегелю памятника возвышался скромный юноша. Может быть для того, чтобы исправить положение и поселить вблизи памятника идею вечности, Гроза весенним утром посадил у памятника три платана. Эти деревья разрослись и стоят до сих пор в самом центре Берлина.

По воскресеньям, когда библиотека не работала, Гроза выходил на Унтер-ден-Линден, на эту аллею, куда два раза в год приходит весна, потому что там дважды цветут липы — в мае и в августе, и шел через Бранденбургские ворота за город. У тихой пристани на Шпрее он садился за весла и плыл на лодке, часами обдумывая прочитанное. Ему нравилось бродить пешком по окрестностям Берлина, любоваться тихими озерами и сосновыми рощами, сравнивать здешние места с горами и речками своего любимого края, по которому очень скучал. Сложная философия Гегеля хотя и «мучила мысль», по выражению Грозы, не давала ответа на его вопросы. Грозу удивляло, что лишь немногих студентов интересовали те же проблемы, что и его. Просторные аудитории университета нередко пустовали, иногда профессора читали лекции для него одного. А как-то раз, когда он, опоздав, робко открыл дверь, профессор читал очередную лекцию пустой аудитории.

В Берлине Петру Гроза впервые услышит о Марксе. Оказывается, он тоже учился в этом университете, ходил по этой же аллее. Гроза ищет сочинения Маркса, начинает изучать их. В Берлине же молодой румын впервые услышал о Ленине.

<sup>7</sup> В и н а р с — крепкий напиток из фруктов и зерна.

В это время Гроза начинает знакомиться с русской литературой. Между 5 и 12 ноября 1905 года прочитаны «Преступление и наказание» Ф. Достоевского и рассказы М. Горького.

Здесь, в Берлине, его не покидают мысли о доме. Он часто переписывается с отцом, не прерывает связей с Будапештом, где у него осталось много друзей среди преподавателей и студентов.

Уже в Берлине Петру Гроза заявляет друзьям, что готовит себя к политической деятельности.

В одном из писем он признается отцу, отношения с которым стали более теплыми: «Если я займусь общественной деятельностью — сейчас или через много лет, — этот шаг будет продиктован общественной необходимостью, а не личными мотивами».

Чтобы пополнить свое образование, Гроза весной 1906 года едет в Париж, Лондон и Брюссель, а следующей осенью поступает в Лейпцигский университет. Он сдает экзамен за курс коммерческого права и политической экономии, знакомится с жизнью Иены, Дрездена, Веймара и других немецких городов, приобретает и изучает произведения социалистов. В 1906 году возвращается домой, в Коштей, и там в отцовском доме готовит работу на звание доктора. Летом 1907 года он едет в Будапешт, получает там университетский диплом с отличием, а также степень доктора экономических наук и доктора государственных наук. «Трижды доктор и ни разу врач», — шутил, бывало, Гроза. Тут следует заметить, что элита трансильванского общества стремилась к тому, чтобы их отпрыски во что бы то ни стало получали звание доктора, не важно, каких наук, но только «доктора».

В эти же годы Петру Гроза завязывает дружеские отношения с выдающимися изобретателями, писателями, художниками, композиторами. Деятельный, активный, общительный, свой интерес к людям он сохранит до конца жизни.

В Париже Петру Гроза знакомится со своим земляком, будущим изобретателем летательных аппаратов Траяном Вуйа. Друзья много думают о том, что высокие цели требуют серьезности, упорства; им чужда шумиха, декларативность, дешевая демагогия. Народная мудрость высмеивает уток, которые, перелетая лужу, наполняют округу криканьем, и восторгается орлом, молча взмывающим к самому небу.

Поездки по странам Западной Европы сыграли большую роль в становлении Грозы — общественного, политического деятеля. Он говорил, что, знакомясь с жизнью других народов, можно лучше понять, что происходит в собственной стране, научиться ценить то, что привычно не замечаешь в повседневной жизни. Он с презрением говорил о тех, кто, неумеренно восторгаясь жизнью в других странах, хулит родное гнездо. Его вывод прост — нужно не презирать свое гнездо, а бороться за то, чтобы оно стало теплым и чистым.

К этим мыслям он возвращался очень часто. «Пришло то время, — скажет он, — когда я могу наконец использовать полученный опыт для достижения общей цели. Я не буду сидеть сложа руки».

Толчком к началу политической деятельности послужило предложение стать председателем просветительного общества румынских студентов в Будапеште, носящего имя просветителя XVIII века Петру Майора. До отъезда в Берлин он состоял библиотекарем этого общества, основанного еще в 1855 году. Но теперь Гроза не может довольствоваться работой среди студентов, большинство которых к тому же — представители имущих классов. Его тянет земля, зовут крестьяне Бэчии и Коштейа, тысячи обездоленных, которым он «должен чем-то помочь», как пишет он отцу. И он отказывается от заманчивого предложения остаться жить в прекрасном городе на берегу Дуная и возвращается в родные края. Братья его успели подрасти и по его примеру тоже не захотели следовать семейной традиции — стать церковниками. Надо было помочь им получить светское образование, а для этого нужны были деньги.

И Гроза поступает в адвокатскую контору города Лугожа. Два года, проведенные там, убеждают его в гнилости буржуазно-феодального правопорядка. Суд

судил бедных, босых, оборванных и истощенных изнурительным трудом крестьян за малейшие провинности перед господами — будь то румын, венгр, серб, немец или кто-либо другой. Процесс выигрывал тот, у кого были деньги. Один помещик цинично заявил адвокату Грозе, защищавшему крестьян: «Я, молодой человек, если захочу, могу их убить и расплачусь чистоганом».

Потом Гроза назовет буржуазно-феодальный суд «публичным домом богини Юстиции».

Присутствуя на судебных процессах, Гроза постоянно думал: что можно сделать, чтобы облегчить жизнь несчастным крестьянам? И он решает идти в народ.

В свободное от адвокатской практики время Гроза сколачивает группу чтецов и хористов и вместе с ними отправляется в просветительские походы по селам и деревням. Песни тетушки Асинефты, народные песни, небольшие сценки, рассказы о том, что происходит в мире, привлекали внимание крестьян. Адам Гроза, обладавший сильным низким голосом и хорошим слухом, помогал хору и часто пел сам. Охотно ездили с Петру и его младшие братья Ливну и Виктор.

Когда на импровизированную сцену в поле или на открытую веранду крестьянского дома выходил высокий молодой богатырь с дерзко жорчащими усами и в сбитой набекрень мерлушковой шапке, все затихали. Даже отец ему завидовал: во время его проповедей редко когда в церкви стояла такая тишина. Петру держал речь, вкрапывая в нее популярные стихи, и читал прозаические отрывки.

Однажды в селе Кизэтэу труппа Грозы пела перед крестьянами вместе с хором, созданным еще в 1855 году. В репертуаре этого хора было много песен на слова Михаила Эминеску. Его стихи распространялись в списках и перекладывались на народную музыку. В тот день в Кизэтэу звучало завещание народного певца:

Тоскую лишь о том,  
 Чтоб в тихой могиле  
 На берегу моря  
 Меня схоронили.  
 И снился бы мне сон,  
 И лес недалекий  
 С лазурью глубокой  
 В воде был отражен.  
 Не надо мне свечей,  
 Венков славословья —  
 Из молодых ветвей  
 Сплели б изголовье,  
 Пусть слез надо мной  
 Никто не роняет —  
 Осеннею листвою  
 Лишь ночь покрывает.  
 Пока журчит волна  
 Пастушьей свирелью,  
 Над темною елью  
 Скользила б луна...  
 И пусть издалека  
 Сквозь старые липы  
 Доносятся всхлипы  
 Ночного ветерка.  
 Забуду навсегда  
 Земные скитанья,  
 И наметут года  
 Сугроб воспоминаний.  
 Звезда лишь в вышине —  
 Друг верный покоя —  
 Сквозь темную хвою  
 Пусть улыбнется мне,  
 От боли жестокой  
 Плачет ветер морской,  
 А я сольюсь с землей,  
 Совсем одинокий...<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Перевод Ю. Кожевникова.



Хор еще пел, а Петру собирался с мыслями, готовясь читать некролог Богдана Петричейку Хашдеу на смерть Эминеску.

Когда хор кончил петь, Петру Гроза сделал два шага вперед.

— «Эминеску будет жить, хотя умер сумасшедшим,— читал он.— И он должен был умереть сумасшедшим. Страшно произносить эти слова! Если бы он не скончался в больнице для умалишенных, он умер бы от голода. Он будет жить вечно, хотя умер сумасшедшим. Эта трагедия была неизбежна. Во все эпохи поэты нередко вынуждены были, чтобы не умереть с голоду, склонять чело перед всевластием. Но во все эпохи жили и могучие, смелые и бесстрашные люди, достойные своего божественного предназначения. Они никогда не протягивали руку, не просили милостыни у сильных мира сего, которые склонны забывать, что не бедные омывали ноги Христа, а Христос омывал ноги бедным. Таким поэтом и был Эминеску. Он будет жить, хотя умер сумасшедшим. А те мудрецы, которые допустили, допускают и будут допускать, чтобы Эминеску сошел с ума, умрут для вечности».

Тут Гроза остановился, сорвал с головы шапку и закричал:

— Но в этом я не согласен с Хашдеу! Так будет не всегда! Придет время, когда мы не позволим, чтобы люди, подобные Эминеску, умирали в домах для умалишенных!

Ему долго хлопали, раздавались возгласы:

— Да здравствует!.. Да здравствует!.. Многие лета!..

## V

Один лугожский друг Грозы говорил: «Этот человек готов вступить в бой с целым мирозданием. Он не знает преград, и если они попадают на его пути, он преодолевает их быстро и решительно».

В 1908 году ему исполнилось двадцать четыре года. В уезде Караш-Северин проводились выборы в местную конгрегацию. Это был своего рода уездный совет, половина которого назначалась из среды богатых хозяев, а другая половина избиралась. Члены конгрегации в основном были венгры. Румыны, даже выдающиеся деятели, туда допускались редко. Несмотря на возражения руководства Румынской национальной партии, Гроза выставил свою кандидатуру на выборах и победил подавляющим числом голосов.

В эти же годы Гроза принял участие в выборах депутатов в синод митрополии Сибиу. С этих пор он станет постоянно участвовать в работе местных и верховных выборных руководящих органов православной церкви Румынии.

Известный румынский литератор и журналист Джордже Ивашку объясняет, что Гроза проявил мудрость политика, участвуя в выборах руководящих органов церкви, потому что православная церковь сыграла известную положительную роль в борьбе за сохранение румынских национальных традиций, способствовала развитию письменности, летописной литературы и живописи.

Выборы в руководящие органы церкви приобретали характер своеобразных политических сражений, когда вступали в борьбу представители различных политических течений. Эти схватки можно было использовать, чтобы высказать открыто свои мысли, заявить о себе как о политическом деятеле, о своем желании вести политическую борьбу. Именно «поэтому,— пишет Ивашку,— Гроза всегда поддерживал хорошие отношения с церковью. С ее помощью он оказывал влияние на некоторые слои трудящихся, привлекал их к себе».

Летом 1914 года, когда прогремел выстрел в Сараеве, Петру Гроза готовил новую программу для выступления своей просветительской группы.

Вэчийскому же фельдфебелю даже просветительская деятельность казалась подозрительной, поэтому, встретив Грозу, он заревел:

— Снова хочешь выступать против государя императора?— и забрал его в полицейский участок.— Раз так, пойдешь воевать!

От фельдфебеля Петру Гроза узнал, что началась мировая война и «все нации великой Австро-Венгрии должны с оружием в руках до последней капли крови защищать императора и целостность империи».

Франц Иосиф глядел с портрета старческими глазами, и Петру Гроза улыбнулся, вспомнив, какую он устроил экзекуцию над этим добродушным дедушкой там, в Коштее, много лет назад.

Рядом с полицейским участком был призывной пункт. Сейчас Грозе стало ясно, почему уже много недель подряд огораживали высоким забором большой участок.

Полиция и воинские уполномоченные сгоняли крестьян с полей, хватали их на дорогах и горных тропинках. Босые, в изодранной одежде, в видавших виды фетровых клобуках и потертых барашковых шапках, понуро шли трансильванские румыны, венгры и сасы, чтобы стать под знамена государя императора. Гроза с болью наблюдал за этим молчаливым потоком. Что будет? Скольким из этих несчастных суждено снова увидеть родные горы, речку Стрей, своих любимых, жен и родителей? Что суждено ему, Петру Грозе? Отец его сейчас в Коштее, может быть, он и догадается приехать, попрощаться с сыном перед уходом на фронт. Нет, вряд ли. В Бэчии беспрестанно звонят колокола: значит, священники служат молебны за победу австро-венгерского оружия и благословляют уходящих на фронт. Наверное, занят тем же и отец его в Коштее.

Но тут он увидел в толпе растерянных, плачущих женщин у входа в участок тетушку Асинефту и попросил у дежурного разрешения выйти.

— Иди,— сказал тот сквозь зубы,— тебе от нас никуда не убежать, ты малый приметный.

Тетушка Асинефта пришла не одна. С ней был постаревший, но еще крепкий бачу Михэилэ Михок. Он принес Петру свежей брынзы и горсть горных орехов, а тетушка — веточку бусуйока, счастливой травы, охраняющей от вражеской пули.

— Ты, Петруц, будешь командиром,— сказала тетушка Асинефта,— ты образованный человек. Война делает сердце каменным, не каменей, Петруц, не обижай этих бедных...

Петру чуть не вспылил: неужели тетушка может думать, что он станет обижать своих земляков? Бачу Михэилэ заметил, как вспыхнул его «повивальный сын», и вспомнил старую шутку:

— Смотри, чтоб не развязался, Петру, одной рукой винтовку держи, а другой...

На второй день явился и Адам Гроза. Из уважения к сану его пустили в полицейский участок.

— Вот, батюшка,— жаловался старший офицер,— уговариваем вашего сына идти в офицерскую школу, а он отказывается.

— Почему бы тебе и впрямь не пойти в эту школу? — спросил Адам Гроза. — Пока ты будешь учиться, война может кончиться.

— Кончиться? — удивился Петру. — Не для того она началась.

— И все же лучше было бы стать офицером. Понимаешь, сын...

— Я все понимаю, отец. Ты хочешь, чтобы я вел этих несчастных на смерть...

— Нет, нет! — перебил сына Адам Гроза. — Просто мне думается, что под началом разумного и образованного человека им будет легче. Понимаешь?

— Я все понимаю,— повторил Петру. — Но я не хочу быть причастным к их гибели. Чем вести их на смерть, лучше я пойду рядом с ними таким же рядовым, как они.

Петру Гроза был непреклонен. Он стоял перед отцом — сформировавшийся, зрелый мужчина. Жаль вот только, что он не успел обзавестись семьей. А впрочем, может быть, не стоит об этом жалеть. Один бог знает, что его ждет там, на фронте.

Более чем через пятьдесят лет, на закате жизни, Петру Гроза так вспомнит об этих днях: «В первые же дни войны меня направили в венгерский полк про-

стым солдатом. Я прослужил четыре года в австро-венгерской армии, всячески саботируя войну. Я не прекращал политической борьбы, за что не раз попадал в карцер. Когда отгремела война, я демобилизовался простым солдатом, так и не дослужившись за четыре года в армии до офицерского чина. Но годы, проведенные среди простых солдат, не пропали даром, они были для меня настоящей школой».

В 1916 году Петру Гроза добивается краткосрочного отпуска, приезжает домой и женится на Анне Молдован — дочери богатого окружного врача. Сразу же после венчания ему приходится вернуться в полк.

Так как Гроза не пожелал учиться в офицерской школе, его использовали на тыловых работах вместе с нестроевыми. Они заготавливали сено для лошадей, собирали продовольствие для армии, рыли окопы, готовили оборонительные линии. Во время перекуров вокруг Петру всегда толпились солдаты, и господа офицеры опасались, как бы острый на язык Гроза не внушил рядовым армии его императорского величества крамольные мысли. Они замечали, что после разговоров с Грозой солдаты становятся непокладистыми, задают дерзкие вопросы. Офицерам нечего было противопоставить влиянию остроумного и живого Грозы, поэтому они избавлялись от него самым доступным способом — то и дело отправляя его в карцер. Особенно часто они стали придирааться к нему после его возвращения из отпуска. Их пугало то, что солдаты использовали теперь каждую свободную минуту, чтобы узнать у Грозы, как там, дома. Гроза ничего утешительного не мог им ответить — села опустошены, все чаще слышен поминальный звон: извещения о погибших приходят каждый день. Из уст в уста передавалось двустихье Петефи:

Что ела ты, земля,— ответь на мой вопрос,—  
Что столько крови пьешь и столько пьешь ты слез?»

Грозу выпускали из карцера лишь для того, чтобы снова туда отправить. Гроза загрустил. К тоске по родному краю, по дому и друзьям прибавилась мучительная тоска по молодой жене, оставленной дома. Пожилой бачу Юстин из банатского села Тикванул Мик был очень привязан к Грозе. Он часто пробирался к зарешеченному окну карцера.

— Когда у тебя тоскливо на душе, Петруц,— советовал он,— вспоминай песни и пой их про себя. А пока нас не заметили, послушай.— и он доставал из-за пояса дудочку из бузины и играл ему чабанские мелодии. Гроза тихо подпевал, пока их не прерывал грубый окрик стражи.

Лишь через два года Петру Гроза сможет вернуться в Бэчю к своей молодой жене. Анна станет ему верной и преданной спутницей. Она будет помогать ему в работе, возьмет на себя заботы о хозяйстве и воспитании их пятерых детей — Лучии, Марии, Петру, Октавиана и Ливну.

## VI

Семнадцатый год.

Под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции национально-освободительное движение народов Австро-Венгрии наносит все новые и новые удары по прогнившей ласкутной империи Габсбургов. Получают возможность осуществить свое стремление к национальному освобождению и народы Трансильвании.

После службы в армии Гроза с еще большей энергией включается в политическую борьбу. Он принимает активное участие в подготовке и созыве Великого Румынского национального собрания, состоявшегося 1 декабря 1918 года в Алба Юлии, выступает там с горячей речью, в которой призывает к объединению Трансильвании с Румынией.

Ему кажется, что пробил самый счастливый час в истории Трансильвании.

\* Перевод Л. Мартынова.

Пройдет немного времени, и Гроза, как и другие борцы за объединение Трансильвании с Румынией, поймет, что иго бухарестских Гогенцоллернов для трудового народа не легче, чем иго Габсбургов. Через несколько лет Гроза во всеуслышание скажет, что нужно менять не монархов, а социальную систему.

А пока что он молод и энергичен. Он живет в Бухаресте, неподалеку от королевского дворца, в роскошной гостинице «Атене палас», состоит в Народной партии<sup>10</sup> генерала Авереску, он получил портфель министра по делам Трансильвании и полон замыслов и надежд.

Прежде всего он хочет осуществить аграрную реформу. Всем крестьянам независимо от того, какой они национальности и какому богу молятся, нужно дать землю. Безвозмездно и без всякого выкупа.

Этой мыслью Гроза делится со своим коллегой, известным поэтом Октавианом Гогой. Гога, как более опытный житель Бухареста, посоветовал:

— Ты поосторожнее с этим лозунгом, это лозунг большевиков.

Гроза не раз слышал в армии это слово «большевик». Он знал, что любой солдат или офицер, заклеенный этим словом, подвергался самым жестоким наказаниям и издевательствам. Значит, здесь, в Бухаресте, запретно не только это слово, но и то, что напоминает о действиях большевиков, — их лозунги.

— А чем же их лозунги плохи? — спросил он Гогу.

— Не будем об этом, — предупредил поэт, — нас могут услышать.

Было что-то отвратительное в снисходительном предупреждении Гоги, но Гроза не придал этому значения. Он радовался тому, что проект аграрной реформы опубликован, думал, что во время обсуждения проект можно будет улучшить. Тогда Грозе еще казалось, что, несмотря на нерешительность и оппортунизм, махинации и нечестность представителей «исторических» партий<sup>11</sup>, он сумеет способствовать установлению в Румынии демократического строя. Поэтому он неоднократно участвовал в буржуазных правительствах, активно работал в Народной партии Авереску. И все же чем дальше, тем меньше он уверен, что эта деятельность приведет к каким-то результатам. В конце 1919 года он писал: «Беды нашего времени огромны. Никто не хочет сгущать краски. В этом нет нужды. В интересах каждого гражданина по мере сил облегчать положение своей страны. Это особенно важно сейчас, когда нам предстоит после столь длительной и кровавой войны построить новую жизнь. Надежда на лучшее будущее, которое даст нам личное счастье и гражданские свободы, согревает каждого из нас. Надежда эта определяет все наши решения и наши шаги».

Надежда!

Чего только не предпримет Петру Гроза для осуществления этой надежды!

В Бухаресте, увидев в непосредственной близости тех буржуазно-националистических лидеров, которые, пока Трансильвания входила в состав Австро-Венгрии, казались преданными «борцами за национальное возрождение румынского народа», Гроза поймет, что национально-освободительная борьба для них превратилась в борьбу за осуществление собственных частных интересов. Началась борьба вокруг «казана с мясом»... Он открыто выступит против руководителей старой Национальной партии Трансильвании, и в особенности против ее льстивого и лицемерного лидера Юлиу Маниу...

С 1918 по 1922 год меняется одно за другим пять правительств, идет бесконечное перераспределение министерских портфелей.

На выборах 1920 года побеждает Народная партия во главе с генералом Авереску. Благодаря своему названию и предвыборным лозунгам этой партии удалось привлечь на свою сторону простых избирателей и представителей молодой, энергичной, жаждущей деятельности интеллигенции.

<sup>10</sup> Народная партия — буржуазная крестьянская партия, созданная под руководством генерала (впоследствии маршала) А. Авереску в апреле 1920 года.

<sup>11</sup> «Историческими» принято называть две наиболее влиятельные реакционные буржуазные партии (национал-либеральную и национал-царанистскую), на протяжении длительного времени сменявших друг друга у власти в королевской Румынии.

## VII

Шестидесятилетний Авереску молодецвато шагал по роскошным залам королевского дворца. Ему предстояло принести присягу королю. Эта процедура была ему не внове: всего два года назад генерал здесь же представлял королю Фердинанду I свое первое правительство. Правда, тогда его правительство продержалось немногим более месяца. «За два прошедших года, — думал Авереску, — я укрепил свою партию, у меня в экипе<sup>12</sup> энергичные, авторитетные ребята. Среди крестьян самый популярный — Петру Гроза. Молодой, образованный, мыслящий. Правда, именно это и может ему помешать. Его нужно удерживать от резких порывов, умело использовать его знания и популярность».

Мысли генерала прервал голос чиновника, приглашавшего всех в тронный зал.

На троне восседал Фердинанд I, сын Карла I Гогенцоллерна. Справа от него, облаченная в дорогие одежды, увенчанная короной с алмазами, застыла ее величество королева Мария. Чуть поодаль замер бородастый священник в парчовом облачении. Обеними руками он держал раскрытую Библию.

Началась процедура присяги. «За страну и короля! И да поможет мне бог!» — должны были повторять за священником члены нового правительства.

Петру Гроза с любопытством разглядывал королевскую чету, посмеиваясь в душе над этим спектаклем. Король-пруссак и королева-англичанка принимают присягу на верность от правительства Румынии.

«Не буду я им присягать!» — решил Гроза и, когда подошла его очередь, повторил за священником только первые два слова — «за страну», а про себя сказал: «За вас, мои земляки, за вас, роботары моего края!»

Священник, которому давно наскучило принимать присягу: правительства то и дело сменялись, — не заметил, что Гроза не повторил всего текста присяги. А своей очереди ожидал следующий министр...

Строптивый молодой человек на министерском посту приносил немало беспокойства премьеру. Он со знанием дела взялся изучать проект аграрной реформы, и хотя являлся министром по делам национальных меньшинств, активно высказывался по всем вопросам, выдвигавшимся на обсуждение. Именно в это время он заслужил прозвище «взбунтовавшийся дак»<sup>13</sup>. Ему три раза меняют министерство, а затем оставляют в должности министра без портфеля. Но Гроза только рад этому. Он получает возможность больше ездить по стране, изучать положение крестьян, узнавать их нужды.

В одной из таких поездок он знакомится со знаменитым «красным принцем» Скарлатом Каллимаки, с которым его свяжет крепкая дружба, перешедшая в тесное политическое сотрудничество.

Энергичный и любознательный, Петру Гроза изучает жизнь «старого королевства», как называли тогда объединившиеся в 1859 году княжества Валахию и Молдову, пытается понять политическую структуру страны. А для этого нужно было заводить самые широкие знакомства, сопоставлять жизнь столицы с жизнью дальних окраин, какими считались Дева и родные места Петру Грозы. И в этом Грозе очень помогал худощавый молодой человек с пронизательным скептическим взглядом, остроумный и смелый. Это и был «красный принц». Скарлата Каллимаки, прямого наследника знаменитого рода молдавских господарей Каллимаки, прозвали так за то, что он открыто приветствовал Октябрьскую революцию. В условиях буржуазно-помещичьей Румынии для этого нужно было огромное мужество.

Петру Гроза любил и уважал мужественных людей, восхищался ими. И хотя был старше Каллимаки, он видел в нем одного из своих учителей.

<sup>12</sup> Экипа гувернаментале — правительственная команда, этим футбольным термином обозначали часто меняющиеся правительства.

<sup>13</sup> Дак и — жители древней Дакии, покоренной римлянами в начале нашей эры.

После крестьянского восстания 1907 года, начавшегося в селе с выразительным названием Флэмынзь («Голодуха») и завершившегося зверской расправой над безоружными крестьянами, против которых было применено все — от нагайки до крупнокалиберных пушек, не раз вставал вопрос о необходимости аграрной реформы. В правительстве, на совести которого была кровь одиннадцати тысяч крестьян, убитых в 1907 году, разговоры об аграрной реформе велись еще перед первой империалистической войной. Война, хотя Румыния и вступила в нее только в 1916 году, отодвинула вопрос о реформе: у правителей Румынии теперь были другие насущные заботы.

После войны оставшиеся в живых солдаты возвращались домой, по дорогам страны брели сотни тысяч калек, вдов и сирот. Они требовали земли. Гроза не раз слышал, как в селах декламируют стихотворение Георге Кошбука «Мы хотим земли!». Это стихотворение он знал наизусть, много раз сам читал его с подмостков перед крестьянами во время хождения в народ.

Без крова, голоден, раздет,  
Стою, оплеван, пред тобой,  
И плеть ты поднял надо мной,  
Исчадьё ада, мироед!  
Тебя к нам ветры занесли,  
Мы для тебя ничтожней тли,  
Мы псы смердящие — так бей,  
Мы скот — так что же, не жалей,  
Мы от побоев только злей —  
Хотим земли!  
На кладбище ваш алчный плуг  
Выкапывает кости тех,  
Кто там лежит. А это грех!  
Отец, и мать, и лучший друг,  
Все те, что в вечность отошли,  
В земле покоя не нашли.  
И нас прогнали из домов,  
Нам нет защиты от ветров,  
Но мы за наших мертвецов  
Хотим земли!  
Что, если станет невтерпех  
Ходить нам с нищенской сумой,  
Что, если встанем мы стеной  
И спрятанный достанем нож?!  
Вы до того нас довели,  
Что кровь земле мы предпочли,  
И будьте вы Христом самим,  
Мы все пути вам преградим  
И скрыться даже не дадим  
Во тьме земли!<sup>14</sup>

Правящие классы Румынии понимали, что под влиянием революционных преобразований в России 1907 год может повториться, и вынуждены были пойти на осуществление аграрной реформы.

В 1921 году парламенту представляются на утверждение три закона об аграрной реформе, составленные министром земледелия крупным помещиком К. Гарофлидом.

Землевладельцы засыпали министерство Гарофлида многочисленными меморандумами, заявлениями, бесконечными предложениями. В результате их предложений был создан половинчатый проект реформы, сохранивший на долгое время феодальные пережитки. Земля передавалась крестьянам только в пользование и в их собственность переходила лишь после уплаты 20 процентов стоимости надела. В реформе содержались многочисленные оговорки, дававшие возможность произвольно устанавливать размеры помещичьих владений.

Шесть миллионов гектаров земли, отрезанных у помещиков, очень долго распределялись, и все это время крестьян эксплуатировали по-прежнему.

<sup>14</sup> Перевод Н. Подгоричани.

Для практического проведения аграрной реформы в жизнь была создана целая иерархия исполнительных органов, которые всегда принимали сторону крупных землевладельцев. Верховной инстанцией стал Высший аграрный комитет при министерстве земледелия, куда входили одни помещики. Входил в этот комитет и Гроза.

В январе 1922 года правительство Народной партии пало, а сам Авереску, как скажет о нем позднее Гроза, показал, что он не способен ничего осуществить и не может оправдать надежды народа. Его популярность развеялась.

Но вокруг «казана с мясом» шла еще более ожесточенная борьба. Министры и высшие правительственные чиновники даже не считали нужным скрывать свое стремление обогатиться.

В Высшем аграрном комитете Петру Гроза вступает в споры с помещиками, пытается добиться таких решений, которые хотя бы отчасти шли на пользу крестьянам.

Выступления Грозы в комитете становились широко известны, его популярность благодаря им росла как среди крестьян, так и среди правительственных чиновников на местах, которые считали за честь быть знакомыми с доктором Петру Грозой. Но «взбунтовавшийся дак» не идет ни на какие компромиссы со своей совестью и не хочет иметь ничего общего с участниками «национального шабаша вокруг казана».

25 ноября 1922 года префект уезда Хунедоара Дублешин попросил Грозу быть почетным гостем в день введения земельной реформы в коммунах Фолт, Бобылна и Приказ. Префект сообщал, что этот день — день первой раздачи земли, и хорошо бы, чтобы на этом торжестве присутствовали не только крестьяне, но и господа парламентарии, проживающие в уезде. Гроза, прекрасно знавший антинародный характер реформы, ехать на торжества отказался и на обратной стороне приглашительного билета написал:

«Я отказался принять приглашение моего недавнего друга доктора Г. Дублешина потому, что аграрную реформу провели не для парадного выхода господ политиканов. Они инсценируют празднества с музыкой, цветами и букетами, разукрашивают волов, как павлинов, прокладывают первую борозду и переходят к следующим селам, на долю же «надежного» земель крестьянина достается мучительный труд безо всякой механизации, безо всяких признаков облегчения этого труда, а лозунг политических партий прежний: «Обогащайтесь, господа!»».

Гроза свидетельствует: нередко случается и так, что крестьянина, получившего с такой помпой землю, выбрасывают вон с участка, как только у помещика, у которого отрезали эту землю, появится своя рука в правительстве. Тогда это дело передается в высшую аграрную инстанцию. Этот комитет, как и другие подобные ему учреждения, защищает не трудовой народ, а богатство и власть кучки имущих.

«Казан с мясом» кипел, от него шел аппетитный запах, и разжиревшая помещичья и промышленная свора еще яростнее дралась за лучший кусок. Пусть даже в этой драке придется оттолкнуть бывших друзей — это не имеет никакого значения.

К Грозе, популярность которого все время росла, поступают предложения одно другого заманчивее. Ему предлагают высшие посты в правительственных учреждениях, выбирают его почетным членом различных промышленных объединений и предприятий, членом верховного органа румынской православной церкви.

Находясь в оппозиции, Гроза тем временем становится председателем Союза промышленников Румынии, Союза лесной промышленности, членом Центральной таможенной комиссии, членом Комиссии по экспорту и импорту, а также входит в состав административных советов нескольких десятков частных предприятий, банков и акционерных обществ. Гроза, по его собственному признанию, за это время «приобрел опыт, которым располагали немногие».

В это время Гроза познает все тайны государственной кухни. Он все больше и больше задумывается над тем, что происходит в стране, и начинает понимать, что желудок трудящихся масс не сможет слишком долго переваривать все то, что готовится на этой кухне.

«Руководимый еще не вполне осознанным чувством ответственности перед своим народом, я после четырехлетнего интервала (1922—1926 гг. — Ф. В.), — говорит Гроза, — снова вошел в правительство, образованное тем же Авереску, и снова предпринял попытку хоть как-то бороться с царившими в то время делачеством и семейственностью, столь характерными для «исторических» партий, тесно связанных с членами королевской семьи — королями, королевами, принцами и т. д. Я думал, что мне удастся приоткрыть форточку и проветрить атмосферу, зараженную спекуляциями, интригами, направленными в конечном счете к дележу богатств страны.

Результат моей деятельности был предопределен — я вошел в конфликт со всем этим миром, включая короля и королеву, с которыми до тех пор сотрудничал. Я разоблачил и их как дельцов. И поставил под угрозу существование самого правительства, министром которого являлся».

По указанию короля Грозу отстраняют от дальнейшей работы в правительстве. Пресса по-разному оценивает это событие. Друзья восхищаются смелостью Грозы, недруги смеются. «Дак предпринял попытку измерить глубину моря при помощи собственного пальца», — издеваются они.

Под угрозой правительственного кризиса Авереску попросил аудиенции у короля.

Король выглядел усталым и больным. На его здоровье сказался недавний скандал, происшедший с его прямым наследником принцем Каролом. Непозволительные для члена королевской семьи интимные связи, участие в финансовых махинациях стали известны широкой публике, и правящая либеральная партия провела через парламент указ о лишении Карола права наследования престола. В канун 1926 года Карол был изгнан из страны. Король тяжело переживал эту семейную трагедию, он часто хворал.

Авереску попытался объяснить Фердинанду, что энергичного и пользующегося известностью трансильванского деятеля нельзя оставлять без присмотра, лучше держать поближе к правительству, к трону. Король ответил не сразу; через несколько дней Авереску снова вызвали во дворец, и король сказал:

— Я согласен с вами, премьер, пусть будет так. Но не давайте ему ни портфеля, ни министерства, пусть просто числится нашим советником...

У Грозы снова оказалось время для встреч с друзьями.

Весной 1927 года по дороге на нефтепромыслы района Кымпины он услышал странный металлический перезвон. Казалось, будто тысячи колоколов перекликаются друг с другом. Он попросил водителя остановить машину, выключить мотор.

— Что это за звон? — спросил он водителя.

— Это звон Дофтаны, — ответил водитель. — Слыхали? «Бьют склянки по всей Дофтаны...»<sup>15</sup>

— Нет. Что это значит? — спросил Гроза.

— Там сейчас избивают коммунистов, господин министр. Их пытаются. А чтобы не было слышно их криков, стражники бьют молотками по кускам рельсов. Я это сам видел, когда возил туда господина генерального инспектора министерства внутренних дел.

— Едем к Дофтаны! — приказал Гроза шоферу.

Тот послушно повернул машину.

Но дежурный офицер не пустил в тюрьму «советника короля». Дофтаны могли посещать только господин министр внутренних дел и лица, получившие его специальное разрешение.

У доктора Петру Грозы такого разрешения не было.

<sup>15</sup> Песня узников самой страшной тюрьмы буржуазной Румынии.



## VIII

На этот раз правительство Авереску продержалось у власти еще меньше. Народная партия никак не могла выработать позицию, которую следует занять руководству в случае смерти безнадежно больного короля Фердинанда.

В 1927 году, рассказывал Гроза, в результате закулисных интриг правительство пало.

Король умирал, камарилья билась с «историческими» партиями за власть.

События принимали шекспировский размах. Королева Мария, женщина очень опытная в политических делах, активно навязывала в качестве главы правительства своего любовника Барбу Штирбея, не пользовавшегося никаким авторитетом.

На экстренно созванном ночном заседании Совета министров Петру Гроза делает следующее заявление:

«Королева отстраняет от руководства страной храброго полководца, а на его место хочет поставить своего любовника, которого она вытащила из-под собственной кровати. Я умываю руки, я оставляю политическую арену — не желаю ждать финала этой трагедии. Уеду в свою трансильванскую берлогу и буду там думать год, два, семь — сколько потребуется для того, чтобы выяснить, какой дорогой идти дальше».

В эту ночь старший сын священника Адама Грозы расстался со старым миром. Потом он скажет, что расставался он с ним тогда по соображениям эмоциональным, интуитивным.

На целые семь лет отошел Гроза от активной политической деятельности. Годы эти прошли в исследованиях и учебе. Гроза пристально следит за всеми политическими движениями в своей стране и за ее пределами. Он пересматривает все, что исповедовал. Многочисленные связи с зарубежными друзьями, культурными и политическими деятелями своей страны дают ему возможность приобретать необходимую литературу и документальные материалы. Связи со Скарлатом Каллимаки, с Петре КонстанINESКУ-ЯШЬ и другими активистами Коммунистической партии Румынии<sup>16</sup>, находившейся в глубоком подполье, облегчают доставку в Бэчию и Деву марксистской литературы, с которой он до сих пор, в силу целого ряда обстоятельств, был недостаточно знаком.

Сейчас он более глубоко изучает Маркса, Энгельса, Ленина. Следит с огромным вниманием за строительством первого в мире социалистического государства — Советского Союза, анализирует пятилетние планы и их результаты.

«Для того, чтобы добывать эти материалы, — пишет Гроза, — а они в то время находились под запретом, — я наладил связи с членами находившейся в подполье коммунистической партии. Здесь хочу заметить, что я тогда еще не участвовал в их деятельности. Но они, видя, как я интересуюсь коммунистическим движением, охотно доставляли мне необходимые материалы... Эти семь лет, если характеризовать их кратко, явились для меня новым университетским курсом, обогатившим меня богатейшим фактическим материалом. Я стремился подойти к этому материалу объективно, чтобы не впасть в односторонность...

Исследуя законы развития человеческого общества сквозь призму новых знаний, анализируя новые явления в национальном и международном плане, я пришел к ясным выводам».

Гроза готовился к новому этапу своей политической карьеры. Он переходил от стихийного бунта против существующих порядков — несправедливости,

<sup>16</sup> Коммунистическая партия Румынии была создана 8 мая 1921 года в Бухаресте. С весны 1924 года по 23 августа 1944 года находилась на нелегальном положении, руководила народными массами через многочисленные организации рабочих и крестьян. Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Румынии Георге Георгиу-Деж в политическом отчете состоявшейся в октябре 1945 года Национальной конференции партии подчеркивал, что, уйдя в глубокое подполье, компартия «утвердила свое право на существование, продолжая мобилизовывать рабочие массы, продолжая быть фактическим организатором и руководителем освободительной борьбы рабочих, крестьян и интеллигенции».

обмана и коррупции — к осознанной, организованной борьбе против существующего строя. И на этом пути его ожидало немало неудач и разочарований, но он старался идти только вперед.

Буржуазная газета «Ромыния ноуэ» («Новая Румыния») писала об этом периоде жизни доктора Петру Грозы:

«Он отказался от министерских привилегий, от всех соблазнов политической карьеры. Он вернулся к мамалыге с луком. Вместо отдыха он выбрал борьбу, вместо обогащения он выбрал жертвы. Карьера Петру Грозы завершилась, но его политическая деятельность только начинается...»

## IX

«Добрый день, господин министр!» — приветствовали Грозу крестьяне Бэчин, Коштя и всей Зэрандской округи. Они гордились тем, что их земляк — знаменитый на всю страну человек. Они называли его своим министром.

«Добрый день, господин министр!» — иронически поддевали его сильные мира сего.

Крестьянам Гроза сердечно пожимал руки, противникам учтиво кланялся, поднося правую руку к шляпе.

Внешне все будто бы обстояло благополучно. Он вернулся в свою Бэчию, здесь родительский дом, большая усадьба, можно разбить великолепный парк. Он посадит парк сам, вместе с женой, так что расходов будет мало. Жена тоже любит землю. Неподалеку по долине Стрея — небольшое имение, унаследованное ими от родителей жены. Гроза будет разводить там крупный рогатый скот. Скот у него будет только лучших, прославленных в Европе пород. Он добьется, чтобы у каждого крестьянина Зэрандского края была высокоудойная корова. Крестьянским детям при отсутствии многих очень нужных продуктов питания необходимо жирное молоко. Надо непременно приобрести несколько породистых коров в Дании. О датских коровах он прочел недавно в бюллетене министерства земледелия. И еще вот что. Он откроет банк, будет выдавать крестьянам ссуды. А то им, чтобы расплатиться наконец за наделы, полученные по реформе 1921 года, приходится брать деньги у ростовщиков. Банк свой он назовет «Дечебал» в честь непокоренного короля даков. За ссуды будет брать меньше процентов, чем все 1122 банка, выросшие после аграрной реформы, как грибы после дождя. И еще откроет в Деве небольшую гостиницу. Пока только он один знает, для чего она нужна ему, эта гостиница.

Занятый серьезным пересмотром своих взглядов, Гроза почти не знал отдыха. Но однажды он все-таки решил отдохнуть. Об этом дне нам расскажет сам Петру Гроза, и мы увидим, что этот человек умел говорить о себе горькую правду. Говорить не только себе, не только близким, но и печатно.

В библиотеке Румынской академии под инвентарным номером 112 539 хранится экземпляр небольшой книжки, размером с ладонь двухлетнего ребенка. Книга написана за один день — 23 марта 1928 года. Она издана по всем правилам — с обложкой и титулом. Текст книжки я приведу здесь полностью.

На обложке четким крупным шрифтом наискосок набрано название: «Не предавайся гневу, человек!» На титуле под названием стоит подзаголовок: «Совет бывшего королевского советника самому себе».

Прочитаем строчку за строчкой этот «совет» бывшего королевского советника и попытаемся проникнуть в душевное состояние автора и соизмерить его с дальнейшими поступками Грозы. Итак:

### «НЕ ПРЕДАВАЙСЯ ГНЕВУ, ЧЕЛОВЕК!»

Я решил поехать из Девы в Стрей, проверить, как идут дела в имении и в мельнице, как подобает хорошему хозяину. А я — хороший хозяин.

Конец марта.

Я встал пораньше — утро предвещало чудесный день, — как хорошо, что

вчера мне пришла в голову прекрасная мысль поехать в Стрею! Меня охватило теплое, всепронизывающее чувство блаженства, чувство единения с матерью природой. Я растворялся в победном сиянии зари, в жизнетворном восходе солнца, разливающимся над любимым краем моего детства, я чувствовал, что это мгновение приближает меня к постижению таинства всемогущей жизни.

Машина мчалась по долине Стрея, по дороге, ярко освещенной солнцем. Мы проехали через наше родное село Бэчию, и эти места вернули меня от поэзии к действительности. Рядом со мной в машине пионами горят щеки моих пятерых детей, сидит сияющая жена. Их вид вызывает во мне гордость, а разум мой занят реальными здравыми рассуждениями.

Как трудно бывает подчас понять человека! Желанное твое счастье рядом. Бери его! А ты заведомо обходишь его стороной, ищешь в другом месте. Я спрашиваю себя: «Почему столько буйства в моем существе? Почему я так суетлив, так шумен, почему не могу удержаться от грубых выходов по отношению к тем, кто не по своей воле оказался подвластным мне?»

Да, скоро я перестану возмущаться. Успокоюсь. Разве не грешно так бунтовать, не пора ли жить в мире с самим собой, когда вокруг столько красоты! Ведь в нашем распоряжении остается все меньше и меньше времени для того, чтобы наслаждаться этой красотой...

Когда мы подъехали к Стрею, я не был связан ни зарокон, ни клятвой, но у меня родилось желание стать другим человеком, и я мысленно представлял себе эту счастливую, радостную метаморфозу.

В сознании, проясненном светом того весеннего утра, я открыл, мне казалось, истинное свое «я», прятавшееся в морщинах повседневности. Я усвоил эту истину с благодарностью человека, жаждущего чистого счастья.

В этом душевном состоянии я начал осмотр своих владений.

Я люблю свое хозяйство, горжусь своими красивыми, отборными животными. И поэтому я начал с коровника. Видели бы вы, какие у меня красавицы коровы! Они стоят в ряд и тихо жуют. Коровы до лоска начищены, в коровнике пахнет парным молоком, свежей извесью и чистотой. Я был очень доволен и хотел идти дальше. И вдруг я увидел перед собой чудовище — неказистую, худую, кривоногую корову, настоящий урод рядом с такими красавицами! Во мне поднялась буря чувств. Честолюбие собственника овладело мною, подмяв те добрые мысли и чистые чувства, с которыми я сюда приехал.

— Откуда эта уродина?! — гневно заорал я.

Скотники стали робко объяснять, что корову эту привел управляющий, он купил ее в Хунедоаре.

Как же так? Ведь я категорически приказал управляющему убрать всех хилых, некрасивых животных, оставить только элиту. Вот почему появление здесь этой коровы показалось мне неслыханной дерзостью, чуть не издевательством.

Позвали управляющего — передо мной предстал приземистый, коренастый крестьянин из местных секуев<sup>17</sup>, с толстой, мускулистой шеей. Маленькие, хитрые глазки непрерывно мигают. Видно, он втайне гордится, что до меня работал у знатных — не чета мне — помещиков.

— Откуда здесь это чучело? — спросил я, еле сдерживаясь.

— По деньгам и покупка, — ответил он туманно.

Ответ показался мне преднамеренно дерзким. Неужели это он бунтует против ненавистного хозяина? Я вышел из себя и заорал:

— Собирай свои монатки и убирайся вон!

Управляющий попытался меня урезонить. Он сказал, что с моей стороны нехорошо поносить его при подчиненных. Это показалось мне еще большей дерзостью, и я чуть не ударил его невесть откуда взявшейся плеткой.

И тут последовало нечто жуткое, чего никак не объяснишь. Приступ бешенства, дикие крики, занесенная для удара плеть вывели меня из равновесия. Вне

<sup>17</sup> Секуи — народность, живущая в Трансильвании.

себя от ярости я метался по двору, мне было стыдно, но я никак не мог успокоиться. Увидел, что какие-то люди чинят забор. Ни с того ни с сего накинулся на них, но тут мне снова попался на глаза управляющий. Он глядел на меня нарочито уважительно и, видно, выжидал подходящего момента, чтобы объяснить со мной. Я рассеянно слушал, даже не вникая в смысл его слов. Я думал, насколько этот человек лучше меня, и ругал себя за неоправданную ярость. Я смотрел, как этот несчастный стоит передо мной, как ему обидно оттого, что я его обругал, и вдобавок ко всему он же и виноват и должен терпеливо нести свой крест слуги — ведь он во всем зависит от меня. В эту минуту я отдал себе отчет в том, как недостойно унижать и оскорблять такого человека.

Я молча анализировал свой поступок, а он безропотно ожидал в нескольких шагах от меня.

— Что это у вас за манера разговаривать с хозяином? Как же это так получается: я вам задаю вопрос, а вы отвечаете мне туманно? Вы поступили нехорошо. Видите, к чему это может привести!

— Вы, конечно, правы, господин, — начал он дрожащим голосом, — но что же мне оставалось делать? На хорошую корову у меня, вот вам крест, не было денег...

— Как? Это ваша корова?

— Да, моя, ведь вы мне разрешили купить себе корову и держать ее здесь, вместе с вашими...

Да, так оно и было. Управляющий имел право держать свою корову в моем коровнике. Это условие было записано в договоре, но я забыл о нем, потому что с тех пор прошел целый год, а он до сегодняшнего дня не воспользовался этим правом, по всей вероятности, из-за отсутствия денег.

За всю мою жизнь я не переживал столь тяжелых минут. Я понял, что совершил несправедливость. Я чувствовал себя несчастным, запутавшимся и виноватым. Чего бы я только не отдал, чтобы не видеть этого человека, который так виновато смотрел мне в глаза! Я все продумал, посоветовался со своей совестью, хотел выйти с честью из этого позорного положения, принести извинения ни в чем не повинному работнику. Я попросил его зайти в коровник и позвал туда всех свидетелей этой некрасивой сцены.

Перед сборищем удивленных скотников я признал свою ошибку, свою вину и попросил у управляющего прощения. На большее меня не хватило. Кончив покаяние, я стремглав убежал из коровника.

Солнце величественно поднималось к зениту, но я не мог радоваться ни его ласковому теплу, ни пробуждающейся природе, потому что в душе моей бушевала буря. Я загнал ее внутрь, но она не утихала, меня трясло.

Я осквернил день, который мог бы стать для меня днем блаженства. Деспотичный человек, злой и неуравновешенный, кто вернет тебе этот ясный день, который ты так непростительно испортил опрометчивым и недостойным поступком?

Этот случай должен остаться в моей памяти навсегда. Вспоминаю, как в доме у одного моего друга не раз останавливался взглядом на висящем на стене афоризме: «Не предавайся гневу, все проходит. Не гневайся». Прежде до меня не доходил его глубокий смысл. Сейчас же в этом немудреном изречении я нашел выход из тупика, куда меня загнал рассказанный выше случай. Но для себя я решил: ничто не должно пройти бесследно, поэтому я навсегда запомню этот заголовок и буду неоднократно перечитывать этот рассказ, который я с тем и записал, чтобы не забыть его...

Дева. 23 марта 1928 года».

В то время в Деве не было типографии. Записав эту историю, Петру Гроза отправился за многие десятки километров в Клуж к знакомому печатнику. Тот тут же сдал рукопись в набор и отпечатал несколько десятков экземпляров. Гроза забрал весь «тираж» и поехал к себе домой.

И может быть, именно в этот весенний день Петру Гроза принял неожиданное для окружающих решение порвать со своим классом, отдать накопленное богатство крестьянам и посвятить всю свою жизнь делу освобождения трудящихся.

## X

Министры получали солидные оклады, а Гроза не был расточителем. Годы, проведенные на скромные студенческие достатки и в армии, приучили его к бережливости. Министерское жалование, отчисления от предприятий, которыми он руководил, доходы от поместья сложились в немалый капитал, и Гроза решает строить для своей семьи дом в уездном городе Деве. Оттуда рукой подать до его родного села. Он долго выбирал место и наконец остановился на каменистом участке у подножия крутой горы, увенчанной развалинами древней крепости. Молодая супружеская пара, ученики знаменитого Корбюзье, составляют проект, нисколько не считаясь с канонами румынской архитектуры. Из-за этого дома у Грозы возникают конфликты с городскими властями, которые обвиняют его в неуважении к национальным традициям, но он упрямо возводит дом, не похожий ни на один дом в Румынии. «Через десяток лет вы будете у меня учиться, как строить», — говорил он властям.

Гроза не ошибся. В 1936 году в путеводителе для иностранных туристов его дом приводился как образец архитектурной смелости, там же подчеркивалось, что он построен с учетом всех последних достижений техники.

Посетитель дома Петру Грозы в Деве и сегодня, спустя полвека после того как дом был построен, убедится, что для него характерно отсутствие помпезности, столь присущей архитектуре богатых особняков. Ведь в тридцатые годы каждый румынский богач из кожи вон лез, чтобы его дом был богаче, вычурнее, чем у соседа. «Дом — это витрина, реклама», — говорили они.

Дом Грозы отличается от особняков того времени исключительной простотой. Прямые линии, плоская крыша, полное отсутствие лишних украшений, удобные рабочие комнаты на первом этаже, жилые — на втором. По комнате для каждого из пятерых детей, по комнате для себя и для жены. Если приедут гости, детям придется потесниться.

Одна любопытная деталь. Дом расположен прямо против здания уездного управления, где размещались все службы уезда — и административные, и хозяйственные, и финансовые, и полицейские. Из окошка второго этажа видно было каждое движение уездного начальства.

Теперь уже не узнать, предполагал ли Петру Гроза, начиная строительство, что в его доме на многие годы разместится генеральный штаб широчайшего крестьянского движения в Румынии, названного еще в самом своем начале «восстанием земли»<sup>18</sup>.

В январе 1933 года Петру Гроза становится председателем «Фронта земледельцев» — боевого союза крестьян.

Развернувшаяся в стране борьба за единый фронт рабочих и крестьян против наступления фашизма напугала короля Карола II. Он решил навести порядок, установить диктатуру. 10 февраля 1938 года создается новое, «авторитетное правительство порядка» во главе с престарелым патриархом румынской православной церкви Мироном Кристей. 20 февраля король публикует проект новой конституции, которая получила название «Конституция Король Карол II». Через три дня проводится плебисцит, на котором граждане должны были устно ответить плебисцитной комиссии «да» или «нет». 27 февраля эта конституция, отменявшая буржуазно-демократические свободы и законодательство, закрепившая диктатуру короля, вступила в силу. Сразу же были запрещены все собрания и манифестации, малейшее проявление недовольства рассматривалось как госу-

<sup>18</sup> В книге «Петру Гроза» история создания «Фронта земледельцев», сотрудничество Петру Грозы с Коммунистической партией Румынии, руководившей этим движением, их совместная борьба против политики правящих классов рассматриваются более подробно.

дарственное преступление, и виновные подлежали суду военных трибуналов. Государственные служащие и лица, получавшие жалование от государства, должны были принести присягу на верность королю. 31 марта была официально запрещена деятельность всех политических партий и групп.

Королевским декретом был распущен и «Фронт земледельцев».

Председатель «Фронта» собрал у себя в доме заседание Центрального комитета. Мирон Бея, Ион Мога Филерю, Ромулус Зэрони, Греля Петру Моцу, Дэнуц Шотынга, Георге Микле<sup>19</sup> долго обсуждали, что же делать дальше. Было решено не складывать оружия, сохранить кадры, созданные за годы активной легальной борьбы, искать новые пути и связи, для того чтобы сохранить организацию в условиях подполья. Гроза рассказал товарищам, что близкие к королевскому двору лица не раз предлагали ему отказаться от руководства «Фронт» и обещали за это покровительство его величества.

— Я с презрением отвергаю подобные предложения,— говорил Гроза.— Я отвергаю их так же, как в свое время отверг предложение главаря «Железной гвардии» присоединиться к его «пакту о ненападении», заключенному с Манну.

Для того, чтобы история создания «Фронта земледельцев» и его борьбы сохранилась для потомства, Петру Гроза попросил талантливого журналиста Георге Микле изучить все архивные документы «Фронта» и создать книгу на их материале.

— Придет время, и мы ее издадим,— сказал Гроза,— и назовем «Восстание земли».

Боясь обысков, все документы спрятали в саду бэчийского дома Грозы, в заранее подготовленный тайник. Об этом тайнике Гроза сообщил всем товарищам, не опасаясь ни предательства, ни провокаций. За эти годы он успел изучить и полюбить своих товарищей по борьбе и теперь верил им как самому себе.

Как ответ на запрет его деятельности «Фронт» организовал выпуск вторым массовым тиражом брошюры Ромулуса Зэрони «Почему румынскому крестьянину не пристало быть фашистом?». Отныне для прогрессивных сил Румынии и для «Фронта земледельцев» началась, по выражению Георге Микле, новая голгофа. На эту голгофу лицемеры и предатели потащат вскоре весь трудовой народ Румынии.

В своем доме у подножия горы доктор Петру Гроза готовился к новым испытаниям.

## ВО МРАКЕ ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЫ

### I

Установление королевской диктатуры в феврале 1938 года было прямым следствием беспринципной политики «исторических» партий либералов и царнистов. Одним росчерком королевского пера все легальные политические партии оказались распущены и лидеры их, покинув Бухарест, разъехались по своим именьям. Королевский произвол не коснулся ни личной их безопасности, ни их капиталов, надежно покоившихся в американских и швейцарских банках.

Страна была брошена в объятия Гитлера.

Диктатура Карола II оказалась непрочной. Через два года фашистский путч вышвырнул Карола из страны и на престол вступил его сын Михай I. Двадцатилетнему отпрыску династии Гогенцоллернов было суждено дать жизнь роковому приказу безумного Иона Антонеску: «Vă ordon treceti Prutul!»<sup>20</sup>

Шестьсот тысяч румынских крестьян — ибо преимущественно из них состояла вновь отмобилизованная армия, оснащенная германской военной техникой,— двинулись в «крестовый поход против большевизма». Южный фланг фашистского наступления на Россию Гитлер «доверил» Иону Антонеску.

Оккупация Молдавии, Одессы, Крыма, Северного Кавказа. Десятки румынских дивизий, брошенных на Сталинград...

<sup>19</sup> Деятели «Фронта земледельцев».

<sup>20</sup> «Приказываю перейти Прут!» (рум.).

Каждый день в газетах появлялись карты, на которых отмечались вновь захваченные области советской земли. По утрам, разворачивая газеты, Петру Гроза с ужасом думал о том, скольких тысяч жизней стоит эта затея.

В условиях глухого подполья трудно было связаться с местными организациями «Фронта земледельцев», но они сохранились. «Фронт» жил. Активисты «Фронта» шли из села в село, из дома в дом и разясняли, что война против Советского Союза обречена на провал, что проигрыш начался с самого первого дня. Поражение безусловно неизбежно.

В день, когда газеты и радио на все голоса вещали о падении Москвы и о предстоящем параде германских войск на Красной площади, куда будут приглашены и отборные румынские части, к Петру Грозе зашел Ромулус Зэрони.

— Читали?

— Да. — Гроза молча прошелся по комнате и, взяв с полки объемистый том, прочитал толстовские строки:

— Вот послушай: «С конца 1811 года началось усиленное вооружение и сосредоточение сил Западной Европы, и в 1812 году силы эти — миллионы людей (считая тех, которые перевозили и кормили армию) двинулись с запада на восток, к границам России, к которым точно так же с 1811 года стягивались силы России. 12 июня силы Западной Европы перешли границы России и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которые в целые века не соберет летопись всех судов мира и на которые в этот период времени люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления».

Слова «совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» были жирно подчеркнуты рукой Скарлата Каллимаки.

— Так же противна всей человеческой природе и эта война. Она неизбежно закончится возмездием, — сказал Гроза.

— А сегодняшние сообщения?..

— Они лживы. Я трезво проанализировал ситуацию. Быть этого не может. Все это сказки, дорогой мой Зэрони.

В тот день Петру Гроза встретился с другими руководителями «Фронта». Единодушно решили: сообщения о падении Москвы — опровергать, военное производство — саботировать, продовольствие укрывать и все призывы о помощи фронту оставлять без ответа.

Как свидетельствуют авторы книги «Фронтул плугарилор»<sup>21</sup>, Г. И. Ионице и Г. Цуцуй, ссылающиеся на документы из архивов ЦК РКП, «Фронт земледельцев» проводил большую пропагандистскую и организаторскую работу во многих городах и селах Румынии. «Председатель организации, — писала в своем отчете 1942 года хунедоарская сигуранца, — поддерживает е ж е д н е в н ы е<sup>22</sup> контакты с крестьянами из «Фронта земледельцев», посещающими его дом».

Активисты «Фронта», приходившие к Петру Грозе, узнавали от него об успехах Красной Армии, о растущем партизанском движении в захваченных фашистами областях, о том, что во всем мире ширится сопротивление фашизму. Активисты рассеивались по стране, шли по селам, и всюду, где собирались крестьяне, будь то сельская сходка или базар, они рассказывали, распространяли правду, которой зарядил их Гроза.

14 января 1943 года в Хунедоару — будто бы на базар — собрались крестьяне со всего уезда. Многие из них были арестованы, подвергнуты пыткам, но ни один не проронил ни слова о беседах с Грозой. Полиция не смогла помешать и другим встречам Грозы и активистов «Фронта» с крестьянами. Одна за другой приходят к нему делегации от коммун Форнеда, Чертежу де Сус, Кристур, Бежан, Херепеле, Сакэрымб, Бэчия, Лешник, Хэрцэгань. Весной 1943 года Петру Грозе и Ромулусу Зэрони вместе с руководителями «Фронта» объез-

<sup>21</sup> «Фронт земледельцев» (рум.).

<sup>22</sup> Разрядка всюду моя. — Ф. В.

жают дальние села, и полиция Девы докладывает высшему начальству, что организация Грозы «с каждым днем проявляет все большую активность». Летом у председателя «Фронта» и его друзей проходили многочисленные встречи с рабочими-шахтерами, с прогрессивно настроенными представителями интеллигенции и других социальных слоев.

В этот период усиливаются связи между «Фронтом земледельцев» и «Союзом патриотов», массовой антифашистской организацией, которая была создана в 1942 году по инициативе КПП и целью которой было «изгнание гитлеровцев из страны, свержение правительства национального предательства антонесков, образование истинно национального правительства и заключение сепаратного мира с СССР». В июне 1943 года, когда под руководством КПП был создан «Патриотический антигитлеровский фронт», «Фронт земледельцев» начал деятельно вовлекать в этот союз патриотических сил Румынии самые широкие слои населения.

7 октября 1943 года в Араде был арестован Мирон Бея, приехавший туда, чтобы встретиться с местными активистами. Карательный аппарат Антонеску был приведен в действие, полиция начала осуществлять строжайшее указание — всемерно пресекать любую деятельность «партии Грозы». Вскоре в лапы сигуранцы попал Георг Микле, через которого осуществлялась связь между «Союзом патриотов» и «Фронтом земледельцев». Аресты ширились.

Полиция Девы сообщала в Бухарест: «Сторонники Грозы говорят, что русские приближаются со своим фронтом к Румынии и им нужна местная помощь». «Упомянутый Петру Гроза, — писалось в другом донесении, — имеет многочисленные связи, особенно в сельской местности».

Незадолго до своего ареста Петру Гроза снова встретился в Брашове с Юлиу Маниу и пытался убедить его в том, что необходимо предпринять совместные меры, чтобы Румыния вышла из войны и немедленно заключила сепаратный мир с СССР. Но Маниу и на этот раз остался верен себе — к мысли Грозы он отнесся холодно и безучастно.

Документальные сведения о деятельности «Фронта земледельцев» и Петру Грозы во время войны весьма скромны. Это естественно — условия глубокой конспирации требовали особой осмотрительности. Но, к счастью, сохранился один удивительный документ, написанный рукой самого доктора Петру Грозы. Это его тюремный дневник, до сих пор у нас не издававшийся.

Мне удалось установить историю создания этого дневника, перевести сам дневник, и сейчас я предлагаю его советскому читателю. Я позволил себе лишь скупые комментарии и сокращения, не имеющие прямого отношения к настоящей книге.

Напомню, что ко времени написания дневника «взбунтовавшемуся даку» исполнилось пятьдесят девять лет. А за его плечами годы решительной бескомпромиссной борьбы против существующего строя.

Был на исходе 1943 год.

В декабре тайная полиция арестовала Петру Грозу и посадила в бухарестскую тюрьму Мальмезон. Здесь он и начал свой дневник.

Мальмезон — это бухарестская тюрьма для политических преступников. Среди тюремных надзирателей нашлись люди, помнившие Грозу как «господина министра», как популярнейшего политического деятеля. Они тайно приносили ему бумагу и чернила и выносили из тюрьмы исписанные листы. Гроза писал дневник в двух экземплярах: один переправлял на волю, другой оставлял себе. Дневник, таким образом, уцелел полностью, и когда Красная Армия освободила Румынию, он был немедленно издан «Румынским обществом по укреплению дружеских связей с СССР» («Арлус») в издательстве «Русская книга» и вышел в свет в конце победного мая 1945 года. Гроза назвал его «In umbra celulei» — «Во мраке тюремной камеры» и предпослал ему эпиграф: «Lux in tenebris lucet»<sup>23</sup>.

С 1945 года дневник Петру Грозы не переиздавался.

<sup>23</sup> «Свет и в темноте свет» (лат.).



«12 декабря 1943 года.

...Один за другим приезжают на рождественские каникулы дети. Мы счастливы встречей, но в душе каждого — тревога: страшными бедами грозит человечеству эта война. Кажется, нет ей конца и она будет длиться вечно. Ее дыхание задувает едва приметные искры тлеющей радости. Мы в тисках страдания, которое душит все человечество.

Несколько дней назад один из верных моих друзей принес весть о близящейся опасности. Круг борцов, живущих тревогой и заботой о судьбе моего народа, становится все уже. С каждым днем он редеет, ибо одного за другим выбивают из этого круга наших товарищей, и они падают, падают, гибнут.

Люди чистой души — интеллигенты, земледельцы, рабочие, закалившие свой ум и волю в борьбе за лучшую жизнь для своих братьев, прекрасные, цельные люди бьются лбом о стену невежества и зла. Эта стена — наш государственный аппарат, который держится еще лишь потому, что его подпирают своим плечом бездарные, преступные и спесивые правители.

Судебные процессы, от которых поднимаются волны взаимных подозрений и ненависти, действуя в союзе с адской машиной по выжиманию компрометирующего материала, устремлены к одному — к тому, чтобы сломить людей из самого близкого моего окружения. Каждый день и каждый час я чувствую, как сжимается этот круг и как угроза ареста становится для меня все более реальной.

Мой добрый товарищ доставляет мне все новости, и я понимаю, что близится мой час».

Многолетнее участие в общественных движениях, многообразные связи с политическими деятелями самого разного толка выработали в Грозе чрезвычайную осторожность и осмотрительность. Первая запись в тюремном дневнике об этом и свидетельствует. Он любил говорить, что всякое дело надо стараться делать часом раньше положенного ему срока. Вот и сейчас, точно чувствуя, что его арестуют, Гроза спешит, побыв с детьми, часом раньше отправиться в Бухарест, чтобы жандармы не явились ночью и не напугали семью. Пусть возьмут на вокзале, в поезде, на улице... только не дома.

Он отодвинул штору, увидел, что шьюга разыгралась, и сказал:

— Не надо меня провожать. Доберусь до вокзала сам.

— А если из-за метели поезда не идут?— спросила жена.

— В военное время никакая метель не остановит движения.

— Отец, не спеши. Мы ведь еще рождественскую песню не спели. Ты посмотри только, какую звезду мы склеили!

Мальчики сбегали на второй этаж и притащили огромную пятиконечную рождественскую звезду с иконкой богородицы в сердцевине, с колокольчиками на концах, всю перевитую тонкими еловыми ветками и засушенными цветами.

— Какие молодцы, ребята, какие молодцы!— Гроза обнял сыновей и затянул вместе с ними старинную рождественскую песню, которую подхватили жена и девочки.

В песне восславлялась путеводная звезда волхвов.

Звезда восходит как великая тайна,  
Звезда сияет в небе и возвещает миру..

Что принесет миру эта звезда в грядущем году? О чем возвещает в нынешнее рождество?

Сколько веков в рождественскую ночь поют дети эту песню о надежде, призывая мессию вернуться на землю и облегчить людям жизнь. Когда-то Гроза ходил с такой звездой, а потом приставал с расспросами о мессии и к отцу, и к матери, и к тетушке Асинефте. Прошло полвека—бушует война, гибнут люди, а дети бродят со звездой и приывают мессию.

Тесный и темный зал ожидания забит людьми. О том, сколько их здесь, можно догадаться по густому, едкому запаху пота. Гроза выбирается из этой копошащейся толпы и первым же поездом, проходящим через Деву, отправляется в Бухарест.

«Бухарест, 13 декабря.

...Столица гудит, как пчелиный улей. Беснующаяся от пресыщения богатая публика жаждет все новых развлечений и осаждаст дорожные рестораны, варьете, театры, кино. Лучшие места распроданы за много недель вперед. Гардеробные дорогих отелей ломятся от бесценных мехов, от шуб и манто в несколько миллионов лей каждое. Дамы высшего света демонстрируют туалеты и драгоценности несметной цены.

Вслед за ними, не пугаясь вздутых цен, тянутся из провинции в столицу в поисках развлечений чиновники средней руки. Что ж, так принято — надо тянуться!

А обычному человеку на его мизерное жалованье не купить даже пары приличных ботинок. Зато источники побочных доходов — неиссякаемы.

Кажется, что единственный смысл, который заключен в централизации административной власти, — это направить ручейки денежных средств, бегущих со всех концов страны сюда, в столицу. Местные власти лишены права решать даже самые пустяковые вопросы. Все решается здесь. Все устремлено к центру, а значит, к хаосу.

Не удивительно, что людской поток, спешащий в столицу за разрешением самых пустяковых дел, представляет собой благотворную среду для процветания взяточничества, спекуляции, воровства. Эта достопримечательная особенность бухарестского бытия известна уже за пределами Европы. Наша столица превратилась в гигантского спрута, который, опутав страну бесчисленными и незримыми щупальцами, высасывает из нее кровь. И чем фантастичней на наших глазах раздувается этот спрут, тем анемичней и беспомощней становится провинция.

Бухарест сытых не замечает трагического положения собственных окраин. Он слеп и глух к индивидуальным и массовым драмам, порождаемым этой тоталитарной войной, разрушающей все на своем пути. Род человеческий такого еще не видел. Свист смертной косы, сметающей все живое, доносится сюда шелестением тонких шелков.

И тем страшнее неумолимо приближающийся час, когда над этим ослепленным человеческим муравейником разразится гром».

Когда поезд приближался к Бухаресту, к Грозе подошли два железнодорожника. Они давно знали его.

— Господин министр, в Брашове в поезд сели два агента сигуранцы. Они спросили, в каком вагоне вы едете. За вами следят.

Следить следили, но не арестовали.

Владелец лучшего бухарестского отеля «Атене палас», расположенного в самом центре столицы, в двух шагах от королевского дворца, был удивлен неожиданному появлению гостя из Девы. Очень уж давно он здесь не появлялся. Может быть, у него дела на самом верху, в правительстве? И расторопный хозяин вмиг распорядился освободить лучший номер с видом на площадь, в котором любил останавливаться Гроза, когда был министром.

Если б он только знал, какие заботы привели в столицу бывшего министра!

Петру Гроза расположился в знакомом номере и тут же вышел в мраморный вестибюль отеля. Сел в глубокое, обитое бархатом кресло и попросил кофе. Подошел знакомый молодой адвокат Рипошан, который был родом из Спиня, села, соседнего с Вэчией, и успел шепнуть о новых арестах. Кто-то проскользнул за массивной мраморной колонной. Гроза тотчас узнал его — это был один из руководителей сигуранцы.

«17 декабря.

...В тот миг, когда я очутился перед железными воротами мрачного здания секретной полиции и из темноты выплыла громадная фигура полицейского, я

собрал в кулак все свои физические и душевные силы, чтобы не утратить надежды и в новых обстоятельствах продолжать бороться с прежней настойчивостью. Во что бы то ни стало мне надо было вырваться из оцепенения, охватившего меня в эту печальную зимнюю ночь.

Я стою лицом к лицу с выхолненным молодцом из тайной полиции и смотрю ему прямо в глаза. Его «ассистенты» бесцеремонно разглядывают меня со всех сторон.

Через руку у меня перекинута чабанская проковица, которая всегда и везде выручала меня еще с юной поры. С нею мне не страшно любое ненастье. Она укроет меня и в жару и в стужу. Эту старенькую проковицу они разглядывают с не меньшим любопытством, чем меня самого. Грубая домотканая шерсть, длинные кисти, и вся она в черных и белых квадратах, будто шахматная доска. Молодцам, видно, не приходилось забираться в трансильванские горы, до пастухов руки у них еще не дотянулись. А проковица моя оттуда. Да к тому же для них загадка — зачем она мне?

Уже несколько часов, как мне не дают сесть. Я стою, и мне даже не позволяют прислониться к стене. За все время ко мне никто не обратился и ни одного вопроса задано мне не было. Всюду застекленные двери, то и дело открывающиеся и закрывающиеся, и сквозь них я вижу рассеянных по кабинетам агентов и комиссаров тайной полиции. Они снуют мимо меня, делая вид, будто до меня им и дела нет, но в то же время я чувствую, как пристально они меня изучают, ибо во взглядах их я ощущаю одновременно что-то вроде смущения, смешанного с желанием поймать меня на крючок. Они заставляют любоваться собой... Ведь, по существу, эти жонглеры, балансирующие на невидимых глазу канатах, уже приступили к своей игре. Они начали меня обрабатывать с той самой минуты, когда распахнувшиеся тюремные ворота тут же захлопнулись, поглотив меня. Постепенно эта игра становится утомительной. В шестьдесят лет да еще после двух бессонных ночей, проведенных в битком набитом поезде военного времени, довольно мучительно в продолжение нескольких часов переминаться с ноги на ногу под перекрестным наблюдением целого полчища агентов и полицейских комиссаров. Их взгляды сверлят меня изо всех углов, проникая сквозь анфилады застекленных дверей. Кажется, что эти взгляды, подобно стрелам, терзают плоть, умерщвляют волю. Здесь, в этой мрачной лаборатории, где инквизиция ставит свои опыты, я вижу истощенных и иссиня-бледных людей, пропущенных через мясорубку следствия. Они бредут мимо меня, сопровождаемые агентами тайной полиции, которые поддерживают под руку тех, кто не в силах идти сам.

Скорбные тени призваны внушить мне, что за стенами этих комнат и кабинетов, в бесконечных коридорах темных подвалов, едва освещаемых тусклым, потусторонним светом крохотных ламп, на полном ходу, безостановочно работает машина следствия.

Шестерни фабрики, обгаренные кровью и потом бесчисленных жертв, перемальвают тела, души и судьбы, которые в изобилии поставляют война, голод, кризис, — трагическая пора, когда лишь единицы могут позволить себе роскошь быть сторонними наблюдателями.

Это дьявольское творение является центром и главным двигателем мощного аппарата принуждения и контроля, нацеленного против истрадавшего, бьющегося в корчах и судорогах народа, который жаждет идти совсем иным путем, чем тот, по которому его волокут руководители, мнящие себя сверхчеловеками.

Сверхчеловеки!..

На самом же деле они даже не люди. Они давно перестали быть людьми.

От этих мыслей меня отвлекает чей-то голос, и я вижу перед собой широкоплечего черноусого детину, который смотрит на меня в упор из-под густых бровей, слившихся в одну прямую линию. Запоминаю его имя — Тэнэеску. Имена тех, с кем сталкиваешься в подобных обстоятельствах, запоминать небесполезно. Меня приводят в кабинет следователя. За письменным столом сидит коренастый инспектор, росточка, видимо, небольшого, его кругленькое, чисто выбритое лицо решительно ничего не выражает. Подпирая ладонью двойной под-

бородок, следовательно всем своим видом старается внушить, что он весь ушел в толстенное «дело» и не видит вошедших.

Не требуется много фантазии, чтобы понять — мне дают возможность разглядеть свое досье, свое «дело», разбухавшее в течение долгих лет тайной слежки за моей политической борьбой. Оно составлено с истинно восточной изворотливостью и всем тщанием, на какое только способен тайный политический сыск, питающийся сведениями, которые поставляют и доморощенные шпики и платные профессиональные провокаторы всех мастей.

Я наслышан об этом таинственном «деле». Был не раз предупреждаем, что раньше или позже оно взорвется и я буду искромсан его осколками, я, на котором лежит грех в «подрыве государственных устоев».

В ту же ночь узнаю имя моего первого следователя, этого инспектора, который по уши погрузился в мое досье. Звать его Тэфлару. Рядом с ним, локоть в стол, сидит кадровый офицер — предполагаю, что это военный прокурор. Он тоже невысок и столь же сурово сосредоточен, как и его сосед. Когда я вошел, он принял типичную позу провинциального полицейского — расставил ноги и подбоченился. В ту же ночь узнаю, что это адвокат из Каракал, пошедший на службу военной юстиции, или полиции, как хочешь, так и понимай ее. Молчит, курит, а сосед все изучает «дело», перелистывая страницы.

Эту паузу они намеренно устроили перед началом атаки. Хорошо рассчитанная пауза матерых хищников, когда в лапы к ним попадает не совсем привычная добыча. А я все стою со своей проковицей, перекинутой через руку. Затянувшаяся пауза неожиданно прерывается Тэфлару. Он вскидывает голову и спрашивает резким и твердым голосом:

— Господин адвокат Гроза?

Смотрю ему прямо в глаза. Ведь он отлично знает, что я Гроза и никто иной. Знает, кого должны были к нему ввести, и лежит перед ним мое дело. Не может он не понимать и того, что всего лишь несколько дней назад собственноручно подписал ордер на мой арест и отправил его в Деву.

По тону вопроса понимаю — со мной будут разговаривать сверху вниз. С самого начала дают понять, чтобы я не рассчитывал на то, что ко мне будут относиться как к человеку, который когда-то что-то значил.

И все же тон вопроса меня оскорбляет, тем более что задает его эта сидящая на хвосте мышь. Я сбрасываю с себя усталость от долгих часов стояния в полицейской приемной, чувствую, как приходят ко мне силы старого льва перед прыжком, глаза мои, которые я не свожу с этой мыши, наливаются презрением и... я не отвечаю ему. Мое молчание — это сразу делается ясным — спутывает все его карты. Вопрос повторяется. Снова я не отвечаю.

На выручку спешит провинциальный прокурор. Он берет другой тон.

— Господин доктор Гроза (без адвоката). Мы находимся при исполнении своих обязанностей. Перед законом все равны, кем бы мы ни являлись сейчас и кем бы вы ни были прежде. Следовательно, на задаваемые вопросы вы должны отвечать.

Чувствую, что мы друг друга поняли, и спешу доставить ему удовольствие:

— Да, я доктор Гроза, а не адвокат Гроза... В настоящее время я не являюсь адвокатом.

— Но были?

— Разумеется. Но если речь пойдет о том, кем мне приходилось бывать, тогда я бывал, вам это известно, всем. Даже в тюрьмах Австро-Венгрии мне доводилось сидеть, я был удостоен внимания их военно-полевого суда... — Я перебрасываю проковицу с левой руки на правую. — Вот это чабанское облачение может выступить в качестве свидетеля.

Я улыбаюсь. Улыбнулись и мышки, а Тэфлару сбрасывает с себя маску инквизитора и оттаивает:

— Господин министр...

— Позвольте! — прерываю его. — С меня вполне достаточно звания доктора.

Тэфлару начинает рассказывать, что он, видите ли, тоже из Ардяла, мы земляки, оказывается... И следствие чуть сходит с официального пути. Мне предлагают стул. Становится очевидным, что стороны разоружаются и тактика борьбы меняется. Однако никто из нас не сомневается, что противник и не думает уклоняться от своей точно поставленной цели. Следовательно — внимание и внимание! — мой противник непременно сбросит овечью шкуру и покажет свои истинно волчьи клыки!

Осторожность оказывается не напрасной, потому что мои инквизиторы, за свидетельствовав глубокое уважение к моему прошлому и выразив восхищение им, обратились к столь же глубокому сожалению по поводу того, что нам пришлось встретиться при таких обстоятельствах. Гнусная работа возобновилась.

— Вы знаете, эти подлецы (они откровенничают со мной!) пытались скомпрометировать вас. Они показали, что вы якобы замешаны в тайных действиях против общественного порядка, даже участвуете в заговоре, имеющем целью взорвать существующее государственное устройство.

Вслед за этим мое внимание обращают на отполированный деревянный ящик, из которого извлекается пухлая папка. Папку раскрывают и начинают быстро перелистывать собранные там шифрованные донесения, написанные бисерным почерком, — по крайней мере, схватить я успеваю не буквы, не слова, а истинные иероглифы. Так же стремительно перелистываются сотни страниц, на которых наклеены вырезки из подпольной газеты «Союза патриотов» «Романия либерэ»<sup>24</sup>. Показывая на подпись — одна буква «Г», — меня уверяют, что это мой инициал. Мне же приписывается и псевдоним «Фр. П.» — начальные буквы «Фронтул плугарилор», председателем которого я являюсь, и т. д. и т. п. Это стремительное перелистывание не позволяет мне уловить что-либо конкретное из «компрометирующего материала». Наконец очень внятно и несколько даже торжественно мне предлагают помочь установлению истины, которая, как они утверждают, мне известна.

«А, милые мышки! — говорю я себе. — Опять взялись лизать меня?» Я поднимаюсь и говорю со всей твердостью, на какую способен:

— Насколько могу судить, то ли по ведомству тайной полиции, то ли по уголовной линии, вы расследуете политическое преступление. Что же касается меня, то я являюсь для вас крупным зверем, который так просто в сети не попадается. Поэтому требую, чтобы со мной говорили представители высшего руководства того учреждения, в котором я имею честь находиться! В противном случае я заявляю о полной своей решимости не произносить ни единого слова, что бы со мною ни стали делать. Ни допросы, ни пытки, ни даже если я буду поставлен к стенке — ничто не в состоянии изменить моего решения. За свою долгую жизнь я перенес немало бурь. Они миновали. Я устоял, я оказался сильнее их.

Я вновь опускаюсь на стул несколько успокоенный. И лишь тут замечаю, что в кабинете появилась еще одна личность. Это сухопарый молодой человек с остреньким взглядом, прячущимся за толстыми стеклами очков в массивной черной оправе. Успеваю заметить, что взгляд этот шельмоват, и догадываюсь, что это он незаметно проскользнул в комнату, поставил перед Тэфлару полированный ящик, а затем притих за моей спиной. Понимаю, что это тайный демон ведущего следствия, который управляет им, предпочитая при этом действовать из-за кулис и не обнаруживать своего участия и своей роли.

Все попытки выжать из меня хоть слово остаются тщетными. Обескураженные моим молчанием, все трое удаляются в соседнюю комнату, оставив меня одного. О чем-то они переговариваются между собой, то один возвращается, то другой, и наконец входят все трое. Я узнаю, что мне предстоит свидание с главным шефом государственной безопасности генералом Диаконеску. Поскольку час уже поздний, встреча состоится завтра...»

<sup>24</sup> «Свободная Румыния» (рум.).

Остаток ночи ему позволили провести в отеле, но чтобы не скучал, приставили агента сигуранцы. Гроза поблагодарил и сказал, что в таком случае предпочитает простоять до утра в этой комнате. Тэфлару подумал-подумал и предложил Грозе отвезти его до отеля в своей машине. Гроза отказался — он предпочитает прогулки пешком. Опять все трое удаляются в соседнюю комнату и, вернувшись, сообщают: Гроза может дойти до отеля сам, но только его настоятельно просят ни с кем не встречаться и не разговаривать — свидания запрещены и нарушение запрета может повлечь за собой ненужные осложнения. И все же из отеля Грозе удается связаться по телефону со своим человеком. Три агента сигуранцы в это время мирно дремали в вестибюле.

«18 декабря.

...За последние десятилетия я привык к комнатам этого номера. Здесь, в Бухаресте, где Восток так причудливо переплетается с Западом, где ужасающий кавардак и несуетная грязь соседствуют с ошеломляющей парижской роскошью, образуя фантастическую мозаику, этот номер представляется образцом европейского комфорта.

Утром, расположившись с чашкой кофе в кресле под великолепными мраморными сводами, я прикидываю в уме расстояние, которое отделяет здешний мир крупных дипломатов, высших чинов германской и итальянской армий, финансовых воротил международного класса, путешествующих в сопровождении изысканнейших дам, от того мрачного подземелья, набитого истерзанными мучениками, среди которых я провел последние часы, и лишь богу известно, сколько часов и дней мне предстоит еще там провести.

У этого самодовольного мира сверкающей роскоши есть своя обратная сторона — она скрыта в сумраке бесконечной вереницы тюремных камер».

## II

В тот же день Грозу повели к высокому начальству.  
Дворец сигуранцы на бульваре Карол.

«Здесь работают днем, в великолепно обставленных кабинетах. Прохожу сквозь анфиладу комнат и останавливаюсь перед дверью кабинета генерала Диаконеску.

Он ожидает меня, окруженный сонмом военных и гражданских штабистов. На столе мое досье, уже знакомое мне по ночному допросу. Тех, что допрашивали меня ночью, здесь нет. Генерал страдает излишней полнотой и пытается скрыть манеры кадрового военного, но они слишком въелись в него. Беседа начинается с общих слов и общих фраз, положенных по условиям игры, но при этом он ловко обходит подробности, если они ему неизвестны. Пытаюсь прийти на помощь:

— Господин генерал, я отказался от ночного допроса из самых благородных побуждений. Профессиональные навыки и привычки, свойственные вашим подчиненным, слишком давят на них и на их способ вести следствие. Поэтому вполне понятно, почему я пожелал встретиться с главой учреждения, чьим клиентом имею честь являться. И вот я перед вами. Понимаю, что вы еще не успели ознакомиться с содержанием материалов, лежащих перед вами. Предполагаю, однако, что ваши подчиненные изучили их. Я готов ответить на вопросы.

Беседа, таким образом, обретает более конкретную форму. С ходу отвечаю на вопросы, относящиеся к поступкам и высказываниям множества моих друзей. Они обвиняются в противозаконной деятельности по созданию всеобщего фронта патриотических сил. Деятели этого фронта предлагают отозвать румынскую армию с советской территории, упразднить военную диктатуру и заключить мир с нашим великим восточным соседом. Мне хорошо известна деятельность этих верных сынов Ардяла. В большинстве своем это выходцы из низов, всю жизнь сражающиеся с нищетой, источник которой — социальная несправед-

ливость. Я защищаю этих людей, обнажая причины, которые вывели их на передовую линию борьбы за новый, более справедливый общественный строй.

— Сегодня, — подчеркиваю я, — эти брошенные в тюрьмы люди олицетворяют собой моральное и интеллектуальное превосходство над большинством своих современников, ставших фанатичными приверженцами воинственной шовинистической идеологии. Эта идеология — чудовищное отклонение от основного пути нашего миролюбивого и терпеливого народа.

Я пытаюсь показать, какую высокую духовную ценность представляют собой эти люди в сравнении с бандами хулиганов, заполонивших штаты наших лицеев и университетов. Они, эти банды, виновники пожара и кровопролития, в которые ввергнут наш народ, они столкнули его в пропасть внутренней анархии и опустошительной войны на стороне гитлеровского фашизма.

Чтобы преградить дорогу этой разрушительной лавине гитлеровской фашизации, я и сблизился с этими молодыми интеллигентами. Для меня было счастьем с самых первых шагов принять их под свое покровительство, предоставить им кров своего дома, помочь преодолеть трудности, связанные с получением работы и завоеванием необходимого положения в обществе. И хотя, если посчитать, их — ничтожное меньшинство, я совершенно убежден, что именно в них суть моего народа, именно они полярно противоположны тем, кто, маршируя под гитлеровскими знаменами, ежедневно и ежечасно распинает на кресте Христа, разрушает нацию, сметает ее границы и тем самым опровергает один из самых ходовых своих лозунгов: «Христос, Король, Нация».

Я непреклонно убежден, что в конце концов качество победит количество, возвратив наш народ на широкую и справедливую дорогу любви к ближнему и мирного добрососедства с другими народами как внутри нашей страны, так и за ее пределами.

...Пытаюсь наполнить свою аргументацию сердечностью и даже сентиментальностью, дабы смягчить окаменевшие сердца этих людей. Хочу изменить их отношение к моим друзьям, томящимся в тюрьмах, сломленным жестокостью и беспощадностью инквизиции.

Какое-то подобие сочувствия нахожу, кажется, в душе генерала. Надутый жандармский полковник Вяляну бесстрастно смотрит сквозь свои блестящие очки и даже не шелохнется. Другого выдает постоянная нервозность. Наблюдаю за ним. Его охватило явное нетерпение, он, безусловно, хочет заговорить о чем-то. По какому-то знаку он хитро и резко меняет направление беседы, до сих пор ее стрелка вертелась вокруг моих друзей, теперь же стремительно направлена прямо на меня:

— Принимали ли вы личное участие в ночных заседаниях на тайной вилле у озера Снагов? Давно ли связаны с незаконно действующей коммунистической партией?

Чувствую себя в пересечении взглядов всех следователей.

Замечаю, как мгновенно напряглись они, как боятся упустить малейшее проявление сдерживаемого волнения, тайных мыслей. Наступила решающая минута, которая определит все дальнейшее. Подытоживаю кинематографически: «Ага, значит, это — главный «удар дубиной», рассчитанный, чтобы наверняка свалить меня!»

... Действительно, по недоступным для других тропам я был приведен в тот дом моими старыми друзьями, были соблюдены все меры предосторожности, чтобы никто не мог и заподозрить мое присутствие там. И все же... раз они решились арестовать меня, раз мои обвинители взяли на себя ответственность за весь шум, который поднимется в связи с арестом человека, много раз являвшегося советником трона, значит, следствие располагает неопровержимыми данными. Кто-то из наших под пытками не смог молчать.

Взгляд мой скользит по объемистым папкам, громоздящимся на столе генерала, полированный ящик преследует меня и здесь. Сознаю, что малейшее мое колебание — козырь для моих противников. Настала, я чувствую, фатальная минута. Чувствуют это и следователи, наблюдающие за мной с превеликим напряжением.

Вся моя нервная система подчиняется тормозу моей воли, я делаю паузу, смотрю им прямо в глаза, и внезапно, словно водопад с высокой скалы, срывается на них мой хохот.

От смеха моего они будто немеют.

Выдерживаю их взгляды, в которых недоумение почти переходит в растерянность.

— Зачем вы ломитесь в дверь, которая только и ждет, чтобы ее распахнули?— говорю я им.— Зачем надо было собирать эту прорву доказательств и арестовывать, когда стоило задать лишь один вопрос — и я бы рассказал, как все было и откуда пошло...

Выдерживаю небольшую паузу и продолжаю:

— Да, господа, я был на тех встречах и буду бывать всюду и везде, где увижу хоть намек на реальные действия, направленные на благо моего народа, частицей которого я являюсь. Не забывайте, что я дак — как и предки мои, я живу на берегах Стрея, берущего свое начало в развалинах Сармиседжетузы. С молоком матери я впитал обыкновение всегда находиться на крутых поворотах порожистого пути моего народа. Я — политик и таковым останусь. Каждая капля моей крови зовет меня к выполнению моего долга, вопиет о том, чтобы я не склонил головы перед роком, чтоб не ослаб духом, осуществляя свое предназначение. Таково не только мое право, но и моя обязанность. И нет силы, которая заставила бы меня отклониться от этого пути. И террор здесь бессилен. Сегодня мы снова на крутом повороте. У кого есть право душисть в нас пробудившуюся политическую мысль? В наших мыслях и в наших действиях нет ни одного аспекта, подведомственного полиции или жандармерии. Мы — не злоумышленники. Следовательно, нет необходимости держать для нас столь мощный полицейский аппарат. И если вы считаете все же, что контроль необходим, могу вас успокоить — я за собственный счет нанял детектива. Этот детектив — моя гражданская совесть. Она зорче всех ваших жандармов.

— Да, но сейчас наша нация — единое целое, — произносит генерал Диаконеску, глядя прямо мне в глаза. — Наше государство тоталитарно. Не существует больше политических партий, а следовательно, невозможны и самостоятельные политические акции. Поэтому и вам не могут быть позволены акции, выходящие за рамки режима, установленного тем, кто принял на себя бремя ответственности.

Тупость этого кадрового солдафона не является для меня неожиданной. Чтобы не вязываться в бесплодную дискуссию с этим невеждой, даже не представляющим, что суверенно существует область разнообразных политических концепций, я сдерживаю себя, замолкаю, но затем все же решаю ответить:

— Вы утверждаете свою точку зрения, будучи окружены целым штабом, имеющим надо мной в эту минуту безраздельную власть. Пусть так. Хочу предупредить только об одном: покидая эту комнату, я ударю ногой о ее порог и мысленно произнесу Галилеево «А все-таки она вертится!».

...Все они улыбаются и больше не собираются настаивать. Некоторые, правда, еще изловчатся и выуживают из досье подробности относительно создания патриотического фронта. Снова и снова листается «дело», листаются донесения, составленные все на один манер. Убеждаюсь, что автор этого многостраничного труда изо всех сил старался донести до палачей сигуранцы все детали деятельности фронта, вплоть до самых мельчайших, и, оставив им в наследство ящик документов, бесследно исчез, как утверждают сами наследники.

И все же я чувствую, игру свою они проиграли. Как петлю на шею, мне бросают последний вопрос:

— Вам известно, что существуют указания, требующие, чтобы каждый гражданин в подобных случаях ставил в известность соответствующие инстанции, уведомлял... докладывал?..

Неодобрительный жест генерала... а я отвечаю:

— Если вы полагаете, что смысл моего существования в этой стране состоит в том, чтобы докладывать обо всем, что услышу, или узнаю, или куплю,



то вы глубоко заблуждаетесь. Мне придется либо отказаться от роли почетного осведомителя, либо же доносить тогда обо всех, с кем последнее время мне приходилось беседовать, кто предлагал незамедлительно приступить к конкретным акциям. Но в последнем случае прошу иметь в виду, что моими собеседниками бывали и высокопоставленные чиновники и лидеры режима. Боюсь, что сенсация может оказаться слишком оглушительной, а это вряд ли будет вам полезно...

Моя аргументация была достаточно определенной — смысл моего существования как политического деятеля состоит в том, чтобы знать все. Но я только покупатель. Продавать — не продаю.

Почва уходит из-под ног моих следователей. Они сами чувствуют это и больше не настаивают. А я чувствую, как разжимаются тиски.

Только начальник тайной полиции полковник Беляну, одно имя которого наводит ужас, жаждет хоть что-нибудь да выжать из меня. Его слава истязателя заключенных дошла и до меня. Перспектива беседы с ним представляется малопривлекательной. Но я в их руках и полковника мне не обойти.

На этот раз мы — в кабинете заместителя директора сигуранцы. Поначалу полковник довольно спокоен, но быстро переходит к угрозам. Смотрю на его землистое лицо, на плотное тело — это сплошная плоть, плоть давно вытеснила душу: ремесло палача, постоянно практикующего в пыточной камере, изгнало из него остатки души. Глаза за массивными стеклами горят животной жаждой крови. При этом он еще пытается рассуждать о моем пагубном влиянии на интеллигентную румынскую молодежь: одни уже арестованы одновременно со мной, другие (об этом он сообщает мне доверительно) стоят у тюремного порога.

Я замечаю полковнику, что он весьма далек от стремления честно разобраться в моем деле, поэтому я считаю дальнейший разговор бесполезным. Он делает вид, что удовлетворен моим ответом, и тут же снова выпускает когти. Будто походя он намекает на мою связь с Мироном Белей из «Фронта земледельцев». Видно, кое-что им известно о нашей подпольной деятельности по организации помощи узникам концлагерей и расширению подпольной печати... Значит, для меня припасен еще один крючок. Это на тот случай, если мое освобождение, обещанное генералом Диаконеску, действительно состоится».

Но распоряжение это было полицейским трюком. Тайная полиция понимала, что, как только Гроза вернется, к нему потянутся его единомышленники. Со многими из них он встретится еще по пути домой. Сигуранца получит новый материал. Но Гроза, хочу напомнить, умел оберегать своих друзей от опасности. Существовали строжайшие неписанные правила конспирации, инструктирующие подпольщиков, как избежать лап сигуранцы. Ни один из соратников Грозы не попал в сигуранцу по неосмотрительности. Одна немаловажная деталь — в доме Грозы не было телефона. С нужными людьми (а у Грозы были обширные связи среди всех слоев населения) он встречался на традиционных прогулках в крепость, когда посещал могилу дяди в Цебе, на церковных богослужениях, на свадьбах и народных празднествах.

И на этот раз сигуранце не удалось добыть что-нибудь новое по делу Грозы.

Только одно стало известным: во время краткой остановки в Брашове Петру Гроза встретился с Юлиу Маниу.

### III

Юлиу Маниу, который всю войну отсиживался в своем имени, сиял неизменной своей улыбкой и отечески укорял:

—Я же предупреждал вас — хладнокровие и элегантность. Вы не послушали меня. И вот...

Петру Гроза поймал себя на том, что повторяет этому вождю национал-царанистской партии то, что внушал генеральному директору сигуранцы Диаконеску.

— Не нужно спешить,— по-прежнему настаивал Маниу.— Всему свое время. «Хорошо, когда в доме есть свой патриарх»,— обрадовался он подвернувшейся поговорке.

Свой патриарх!

Сколько бед и горя навлекли на румынский трудовой народ эти патриархи! Под стук вагонных колес события предвоенной Румынии проносились перед Грозой кадрами трагической киноленты, на которой запечатлено совсем недавнее прошлое.

С конца 1939 года экономику буржуазно-помещичьей Румынии все сильнее и сильнее «сжимали обручи» крупного капитала, вставшего на путь концентрации и централизации. Индустриальные и банковские монополии занимали постепенно решающие позиции в экономике страны. Промышленный капитал сражался с банковским, и финансовая олигархия во главе с такими магнатами, как Малакса, Аушниц, Джугурту, Мочорница, требовала государственного покровительства. Поскольку на вершине олигархии стоял сам король, были приняты незамедлительные меры. Стали поступать большие заказы для нужд армии, частному капиталу, промышленным и банковским объединениям предоставлялись крупные государственные кредиты.

Еще в 1938 году создан был «Высший экономический совет», который видел свою главную задачу в том, чтобы поддерживать крупнейших капиталистов. Но несмотря на консолидацию национального капитала, экономика Румынии в предвоенные годы в большой степени подчинялась иностранным монополиям. В «Истории Румынии» (Бухарест, 1974, стр. 411) указывается, что «в эти годы вырос быстрыми темпами удельный вес немецкого капитала, особенно после марта 1939 года, когда румынское правительство заключило экономический договор с третьим рейхом. Этот договор был специально призван служить экономическим интересам гитлеровской Германии».

Однако известный подъем промышленности не оказал какого-либо положительного влияния на румынское сельское хозяйство с его весьма ощутимыми пережитками феодальных отношений. Обработка земли отсталыми методами, отсутствие экономической помощи крестьянским хозяйствам, невозможность покупать сельскохозяйственный инвентарь и удобрения привели к тому, что урожаи падали, а вместе с этим усиливался и процесс обнищания огромных крестьянских масс. Росли налоги, шла вверх кривая инфляции. Домовладельцы произвольно взвинчивали плату за жилье, с каждым днем росли цены на товары массового потребления. Рабочий день практически не лимитировался, а в отраслях, связанных с военным производством, специальным законом были отменены выходные дни. В феврале 1940 года был издан правительственный декрет, по которому каждый работоспособный гражданин мог быть в любое время мобилизован и обязан был работать по нормам военного времени. Шло усиленное военное обучение мужчин всех возрастов.

После декрета о роспуске всех политических партий их лидеры оказались не у дел. Они сложа руки наблюдали, как одно за другим летят правительства его величества короля. С 1938 по 1940 год сменилось шесть премьер-министров — от престарелого патриарха румынской православной церкви Мирона Кристи до фашистского генерала Иона Антонеску.

Конституция уполномочивала короля руководить страной от имени господ бога и своего собственного, подчиняла ему парламент, отменяла всеобщее избирательное право, давала монарху полное и неприкосновенное право главы вооруженных сил и исполнительной власти.

Вместо всех распущенных партий король создал «Фронт национального возрождения» (декабрь 1938 года), а в 1940 году назвал его Партией нации.

Этот период носит в румынской истории название королевской диктатуры.

В новых условиях Коммунистическая партия Румынии поддерживала из глубокого подполья связи с самыми широкими слоями трудящихся. Невидимые нити связывали коммунистов с «Фронтом земледельцев», «Союзом патриотов»

и многими другими массовыми демократическими организациями. Наиболее здоровые силы нации указывали на опасность надвигающегося фашизма и на то, что главной агентурой гитлеризма в Румынии оставалась «Железная гвардия».

Чтобы расширить базу нападения на Советский Союз, Гитлер оказывал профашистским группировкам в Румынии открытую поддержку.

Под давлением ультимативных требований гитлеровских кругов румынское правительство заключает 23 марта 1939 года экономический договор с Германией. По этому договору Румыния расширяла посевные площади нужных Германии сельскохозяйственных культур, обязывалась увеличить добычу нефти и руд, разрешала деятельность смешанных румыно-германских предприятий и многое другое. Германия должна была поставлять Румынии вооружение и военное обмундирование, а также возводить элеваторы и зернохранилища, которые фактически переходили в собственность рейха.

Мартовский экономический договор 1939 года и последовавшие затем другие соглашения постепенно подчинили румынское народное хозяйство агрессивной политике Германии.

После заключения экономического договора окружение Гитлера и прогерманские группировки в Румынии еще настоятельней требуют от правительства и от короля изменения политической ориентации страны. В начале июля 1940 года Румыния торжественно заявляет о присоединении к оси Берлин — Рим.

Диктатор Антонеску окончательно связал судьбу Румынии с гитлеровским режимом. Решив удовлетворить экономические, политические и военные интересы фашистской Германии, военно-фашистское правительство предоставило возможность немецким войскам разместиться в Румынии и начать готовиться совместно с румынской армией к «прыжку на восток».

22 июня 1941 года раньше обычного ударили в колокола все соборы и церкви Девы. Был торжественно-праздничный звон, как в ночь воскресения господня.

Когда Петру Гроза вышел из дому, едва брезжил рассвет, и этот колокольный звон казался призрачным, будто плыл он откуда-то из-за гор. Но звонили здесь, рядом, и со своего порога он видел звонаря на колокольне.

В здании префектуры напротив светились окна, возле него сновали штатские и военные; из тех, кто пересекал площадь в этот ранний час, некоторые падали на колени и целовали мостовую. «Что за бред?— подумал Гроза.— Что произошло?»

Он направился к собору.

Среди имен, значащихся на доске ктиторов, пожертвовавших на возведение храма, и его, Грозы, имя. Он ведь член церковного совета. Почему же ему никто ничего не сказал? Почему звонят колокола? Почему народ созывают в такую рань?

В церкви уже много народу, как и он, поспешившего узнать, что случилось. Ведь только при пожаре колокола звонят в неурочное время. Заметив Грозу, люди оборачиваются, озабоченно, испуганно, торопливо кланяются:

— Слышали? Король и Антонеску приказали армии перейти Прут.

Старенький священник начинает богослужение в честь храброй румынской армии. Когда прихожане опустились на колени, Петру Гроза вышел из собора.

Дома все уже поднялись, встревоженные этим колокольным звоном и пропавшим хозяином. Когда сели вокруг большого стола, Петру Гроза, заметно изменившийся в лице, сказал:

— Мои дорогие, началось самое большое безумие в истории народа. Армия пошла войной на Россию вместе с Гитлером. Один конец ожидает и Гитлера и нашу армию. Россию еще никто не покорял — ни Чингисхан, ни Наполеон.

Он снова вышел на улицу. У собора — коленопреклоненная толпа. Один из местных воротил, поднявшись и отряхнув пыль с колен, спросил Грозу:

— А вы не молитесь за нашу победу, г о с п о д и н м и н и с т р ?

— У меня ноги не гнутся,— резко ответил Гроза и быстро зашагал в гору, туда, к крепости. Ему нужно было хоть там, на вершине, обрести равновесие.

Дома на столе его ждали утренние газеты.

«Универсул» писала в передовой статье:

«Некоторые забывают, что война, которая ведется Германией, Италией, Румынией, Финляндией и другими союзными странами антикоминтерновского пакта, не является войной, которая может привести к так называемому компромиссному миру с советским режимом господина Сталина. Главная цель этой войны гораздо важнее — она касается идеологических, этических и военных порядков.

Если в военном аспекте Германия и ее союзники преследуют цель методического и полного истребления военной мощи СССР, то в политическом плане они стремятся к избавлению Европы и цивилизованного мира от коммунистической опасности путем раздробления и уничтожения чудовищного тела Советского государства».

Коммунистическая партия Румынии в самом начале войны распространяет документ «Борьба румынского народа за свободу и национальную независимость». Коммунисты призывали народ к борьбе за свержение военно-фашистской диктатуры, к прекращению военных действий против СССР и участию в войне против гитлеровской Германии, они требовали образования правительства национальной независимости с участием в нем представителей всех политических сил. Для осуществления этих целей компартия заявляла о готовности сотрудничать со всеми политическими силами, решившими вести борьбу против фашистских поработителей до полного изгнания их из страны.

В июне 1943 года после сложной и длительной борьбы коммунистической партии удается сколотить антигитлеровский патриотический фронт. Весьма примечательно, что патриархи национал-царанистской и национал-либеральной партий отказались принять участие в создаваемом фронте.

Однажды Гроза прямо спросил Маниу, который по-прежнему советовал «ждать естественного развития событий»:

— А сколько ждать?

— Если не ждать, мы же в тюрьму попадем, — беспомощно ответил Маниу.

— В том-то и риск. — Гроза хлопнул дверью.

А с риском был сопряжен каждый шаг.

Освобожденного по приказу генерала Диаконеску Грозу поджидают на вокзале Девы агенты местной сигуранцы и через несколько дней арестовывают снова. Дак берет свою проковицу и в сопровождении жандармов отправляется в Бухарест.

Вернемся к его дневнику.

«29 декабря.

... Вот я опять у огромных железных ворот загадочного здания на бульваре Паке Протопопеску. Открывает тот же цербер. Вхожу как в пасть чудовища. Предлагают стул посредине знакомой комнаты. Те же бесчисленные застекленные двери. Меня как бы выставляют напоказ агентам. Я опираюсь о письменный стол и без напряжения вглядываюсь в окружающую меня пустоту.

Время идет, и я удаляюсь в дневную страну грез — мысли, подобно птицам, вырываются на волю и устремляются в мир, в котором я существовал когда-то. Я выпускаю их, а затем загоняю обратно, под черепную коробку, чтобы никто их не обнаружил. Я до того ушел в себя, что чуть не подскочил, когда усатый крепкий агент с глубоко посаженными глазами, явно уставший и невыспавшийся, наклонился надо мной и спросил, не хочу ли я поесть:

— Один дежурный отправится сейчас в город <sup>25</sup>.

Наверное, с тех пор как я очутился здесь, прошло уже часов пять, но я совсем позабыл о существовании желудка — он не бунтует, не требует обеда, — и я отказываюсь от предложенной услуги... А часы идут и идут. Ввели меня сюда сразу после утомительной дороги, сейчас — смотрю в окно — уже темнеет, а

<sup>25</sup> Здесь нужно отметить, что тюремщики любого ранга пытались заработать предложением всяких услуг. Естественно, они не могли упустить такого «жирного клиента».

мною еще не занялись. Значит, хотя операция и началась, хирурги делают все, чтобы она протекала как можно мучительнее.

Мне знаком из прошлого опыта этот способ ведения следствия, он призван измотать тело и душу и сломить с самого начала возможность любого сопротивления.

Хотя после чая, выпитого вчера в Брашове, прошло столько времени, голода не чувствую. Но страшно мучает жажда. Спрашиваю, нельзя ли получить стакан чая. Один из комиссаров (слышу его фамилию — Тэнэсеску) удаляется, а чай все не приносят.

Опускается ночь.

Пахнет пыткой.

Около девяти часов спрашиваю другого проходящего мимо комиссара, не дадут ли мне стакан чая или хотя бы воды.

— У нас некого послать в город за чаем.

Немного погодя приносит стакан воды.

Вспыхивает резкий, яркий свет. За письменным столом сидит, словно окаменев и делая вид, что чистит ногти, другой комиссар. Он воровато наблюдает за мной. Двери смежных кабинетов все время хлопают, на лицах спящих сотрудников тень то ли завершённой операции, то ли начатой.

Возле камина в углу лицом к стене сидят две молодые женщины.

Эти картины мгновенно и точно схвачены памятью, но осмысление их придет позже. Постепенно до меня начинает доходить, что эти женщины просидели там, в углу, весь день, замечаю, что изредка они оглядываются. Вот одна из них резко повернула голову в мою сторону. Я поймал ее взгляд. Эти огромные голубые глаза — они знакомы мне. Где же я их встречал? Она поднимается и идет ко мне. Достает из сумки булочку с ветчиной и молча протягивает. Неожиданное открытие заставляет меня вздрогнуть: да, это она, та женщина, что прошлым летом лунной ночью проводила меня лесной тропой на конспиративную дачу... Беру булочку, благодарю ее жестом — переговариваться запрещено. Пытаюсь разгадать: какую роль она играет здесь?.. Меня поражает полное спокойствие в ее глазах и движениях.

Заинтригованность моя становится еще острее, когда я обнаруживаю, что женщины сидят по обе стороны двери, из-за которой доносится густой баритон доктора Илие Лазера, ближайшего сотрудника Юлиу Маниу. Женщины должны слышать, о чем идет разговор за дверью. Если предположение верно, а душевное спокойствие, отражающееся на лицах женщин, сомнения не вызывает, значит, можно предположить, что пущена в ход какая-то махинация, в основе которой — предательство...

Сквозь призму своего подозрения я вижу обратную сторону одного эпизода, пережитого в дни прошлого ареста.

Тогда после одной из бесед с генералом Диаконеску и его штабом (по существу, это был допрос, проходивший в здании сигуранцы на бульваре Карол и длившийся до поздней ночи) меня отвели в отдаленный кабинет, выходящий окнами во двор. В этом кабинете меня поджидали первые мои следователи: мой старый знакомый Тэфлару и военный прокурор, бывший когда-то провинциальным адвокатом. На этот раз они были на удивление обходительны, даже поклонились мне, но в то же время высказали небольшую просьбу. «Прежде чем вас освободят, — сказали, — позвольте провести небольшую очную ставку с женщиной, которая проводила вас до конспиративной дачи».

Они сообщили мне и некоторые пустяковые детали, дабы показать, как здорово меня «предали».

Я согласился, желая увидеть своими глазами хоть что-то из того, что творится за кулисами этого учреждения.

Мрачный дом на бульваре Паке Протопопеску. В конце бесконечно длинного коридора открыта дверь огромного пустого зала. Там вдали в неярком освещении виднеется силуэт женщины. Она сидит на стуле возле стены, руки свиса-

ют почти до пола, голова откинута и повернута так, чтобы вошедший увидел ее сразу. Вначале я с ужасом подумал, что это труп. На меня уставились два широко открытых, выкатившихся из глазниц стеклянных глаза. Я замираю. Потом кричу что есть сил: «Зачем вы устраиваете мне очную ставку с трупом? Эту женщину вы пытали, пока не убили...»

Я резко повернулся и широким шагом пошел обратно сквозь темный коридор.

...Загадка на загадке. У этой загадки голубые глаза, но она остается загадкой. Помню, как той ночью эта женщина, возникнув будто из небытия и ступая мягко будто видение, провела нас по лесным тропинкам, вьющимся среди озер, окружающих Бухарест, и привела к незнакомому дому. Только луна была тому свидетельницей. Значит, эта женщина держит в своих нежных пальцах одну из нитей лабиринта, по которому блуждаем сейчас мы, друзья, не знающие друг о друге.

А может быть, очная ставка с мертвецом, устроенная в черном доме, была лишь инсценировкой?

Перед моими глазами до сих пор стоит образ той женщины, истинного борца, фанатически преданного поставленной цели. Такая женщина выдержит любые пытки.

Вокруг непроницаемая мгла. Надо ждать рассвета. Сжимаю кулаки в надежде, что он наступит.

Кто-то, коснувшись моего плеча, выхватывает меня из игры догадок и предположений.

Десять часов вечера.

Военный комиссар Тэнэеску говорит, что «проводит меня ко сну». Выходим на улицу. Город затемнен, зимняя мгла непроницаема. Сзади, на очень близком расстоянии следуют другие «провожающие» меня ко сну. Я чувствую их дыхание. Идем и идем почти вслепую. Остается несколько шагов до угла, за которым комиссар знает кофетэрию<sup>26</sup>, где можно перекусить, хотя это не очень-то положено. Дает понять, что для меня идет на явное нарушение правил. Еле нащупываем в темноте дверь и заходим. Это типичная бухарестская харчевня с грязными полками, на которых ютятся заплесневевшие котлеты и черствые печенья, а сонная прислуга не скрывает недовольства, если кому-нибудь придет в голову сюда забрести.

Отвратительный чай, но зато горячий, обломки твердого, как камень, печенья, папираса. И достаточно.

Кровь снова побежала по жилам и согревает. Даже мрачный Тэнэеску становится разговорчив. Говорит, что знает меня давно и был моим подчиненным во времена правления маршала Авереску. Вздыхая по тем прекрасным временам, сочувствует и сожалеет, что вот, мол, «виднейшая элита» страны поставлена в такие условия.

Рассчитываемся и уходим. Пройдя несколько сот шагов, комиссар останавливается, а один из сопровождающих открывает дверь. Заходим в помещение с двумя письменными столами, за которыми дремлют агенты и полицейские. В одном углу стоит жандарм в чине сержанта с огромным автоматом в руках. Он неподвижен и не открывает рта. Как я узнал позже, он «несет почетный караул» при мне.

Тихо переговорив со здешними комиссарами, Тэнэеску удаляется в соседнюю комнату. Проходит довольно много времени, прежде чем он высовывает голову и приглашает меня.

Эта узкая комната, где мне предстоит ночевать, освещена косо падающим лучом света, проникающим сюда из соседнего кабинета. Я на ощупь пробираюсь в темноте, и Тэнэеску уверенно усаживает меня в кресло.

— Чтобы вы смогли здесь получше отдохнуть.— Он подчеркнуто заботлив.

<sup>26</sup> Закусочная (рум.).

Затем исчезает, а я усаживаюсь поудобней, прикрывая ноги проковицей — добрым моим спутником.

Понемногу глаза привыкают к темноте. Осматриваюсь. Несмотря на холод, воздух в комнате спертый. Видно, давно не проветривали. Ищу окно, но не нахожу. Позже обнаруживаю в стене какую-то нишу, жалюзи опущены. Может быть, в этой странной комнате была чья-то лавчонка?

Рядом в кабинете, что у самого выхода на улицу, телефоны трезвонят без устали, агенты орут, дверью беспрерывно хлопают, влага и прохладный воздух с улицы добираются и до моей «спальни». Приноравливаюсь к волнам свежего воздуха и одолеваю таким образом спертую вонь помещения. Но вот кто-то возле самой стены закуривает. Дрожащий язычок пламени вырывает из темноты длинные нары, тянущиеся вдоль стен и забитые людьми. По тому, как они одеты, я заключаю, что меня поместили вместе с бродягами, спекулянтами, карманными воришками. Внезапная волна гнева гонит кровь к мозгу, лихорадочно пульсируют артерии, гудит в висках. Едва сдерживаюсь, чтобы не вскочить и не броситься на рассевшихся верзил в соседнем кабинете. Я схватил бы со стола телефон, вышвырнул его в окно, от крика моего проснулись бы хозяева, а вместе с ними весь этот вонючий сброд, который позволяет себе всю гнусность и низость, какие только возможны, и лишен уже нормальных человеческих реакций.

И все же воля и сознание, что необходимо сохранить спокойствие, берут верх над минутным порывом. С напряженным вниманием изучаю все, что меня окружает. В темноте различаю у стены женский силуэт. Туфли, прическа говорят о том, что женщина эта из добропорядочной семьи, ее присутствие здесь — кричащая нелепость. Она спит, глубоко дыша и подперев голову рукой. Трескотня телефонов, болтовня входящих и уходящих агентов, брань, толчея, появление новых узников в нашем обиталище — ничто не нарушает ее сна. Она спит спокойно.

Засыпаю незаметно и я. Крылья сна подхватывают меня и уносят. Но вот просачивается бледная заря. Тьма постепенно отступает. Люди и предметы принимают все более четкие очертания. Как из мутной волны возникают лица потерпевших крушение. Рядом с собой вижу лохматую голову цыгана в бороде и густых усах.

Стены, кажется, источают густой запах пота, и это окончательно отгоняет сон. Больше я не засну. Устремляюсь от этой страшной действительности к единственной точке, откуда пробивается слабый лучик прежней жизни. Я весь ухожу в созерцание молодой женщины, которая по-прежнему спит спокойно, лицом ко мне. Чем светлее становится в камере, тем отчетливее проступает молодое лицо с темными ровными бровями. В ее спокойствии — полное самообладание.

Смотрю внимательнее. Мгновение — и сердце останавливается. Молнией ударяет мысль — это моя дочь Лучия, в последнее время я так часто бывал у нее в Тимишоаре. Значит, моим неусыпным гонителям известно и об этом. Она арестована, конечно, для того, чтобы хоть так сломить мой дух и сопротивление. После краткой остановки сердце помчалось бешеным галопом, и передо мной пронеслись картины... Образ моей жены, этой матери Гракхов, я вижу ее в окружении пятерых наших детей. Неужели их тоже закрутил этот смерч, который вертит нас, оторванных от дел, от родных очагов, от наших близких?

Нашим душам, парящим над руинами сметенных домов, семей, судеб, никогда не обрести покоя...

Снова устремляюсь к этому спящему молодому существу. Прервать ее сладкий сон и разбудить для тяжкого, мучительного свидания? Ожидание тягостно, и все же я не тороплюсь к полной ясности, не могу спешить — ведь сначала надо убедиться, что это не игра моего разгоряченного воображения. Приближаюсь, наклоняюсь над ней, отчетливо вижу ее лицо: в комнате почти совсем светло. Да, это ее брови, ее губы...

В этот миг под моим пристальным взглядом женщина зашевелилась. Протирает глаза, приподымается на локтях, вот — встала.

— Лучия! — шепчу я.

Она смотрит на меня удивленно, широко открытыми глазами.  
Это не моя дочь.

Поднимают жалюзи. Но за черными от грязи стеклами ничего не видно. Приходится пройти еще одну унижительную попытку, пока сержант, всю ночь продремавший возле меня, не соблаговолит проводить меня к «заведению», находящемуся во дворе. Этот монумент во славу восточной изобретательности, созданный по так называемой турецкой системе, осажден целой бандой карманников и мелких спекулянтов.

Так и не умывшись (об умывании здесь, где столько грязного сброда, и речи быть не может), пью какую-то серую жидкость, правда, горячую, ее неизвестно где раздобыл дежурный. Он же перекидывает из угла в угол мусор, лениво изображая уборку. Стоит, однако, услышать ему, что кому-то что-то понадобилось в городе, как он оживляется, бросает веник и хватается за деньги. Вернувшись, отдать сдачу забывает, замечая, что мелкие услуги (папиросы купить или из еды что-нибудь) он вынужден делать без ведома своего начальства — старшего надзирателя.

Возвращаюсь на свое место. Это останки бывшего кресла, все его внутренности вывернуты и издевательски торчат из-под какой-то подстилки, принесенной вчера вечером услужливым комиссаром Тэнэеску. Прихожу в ужас при виде целых полков напитавшихся моей кровью клопов, отправляющихся теперь на отдых».

Весь следующий день Петру Гроза проводит в кресле.

«Холод пронизывает до мозга костей. Здесь не дают ни есть, ни пить, но зато все курят. И какой табак!

Разговаривать не разрешается. Слышна только брань и приказания комиссаров, которые приводят и уводят свои жертвы».

Это была официальная позиция властей — активных борцов за свободу приравнять к ворах, спекулянтам, мошенникам всякого рода. «Хватайте, сажайте и тех и других, между ними нет никакой разницы. Они мешают». Такова инструкция, таков приказ. И их исполняют.

«Но исторический процесс, — пишет далее Гроза, — на полном марше. Узел затянут, но жизнь загнанного, униженного народа бурлит не устая. Зарождается новый этап нашей коллективной и индивидуальной жизни, и финал, кажется, близок. Стало быть, требуется терпение. Скоро мы увидим, окажутся ли сегодняшние унижения и страдания бесплодными и достойными лишь сожаления, или они станут опорой того движения и развития, которые предстоят нашему народу и всему человечеству.

Вера в то, что мы на верном пути, дает нам твердость, укрепляет в нас дух сопротивления любым унижениям, помогает устоять в любых духовных и физических страданиях. Неуверенность и сомнение в правоте расшатали бы волю, погасили бы в нас искру жизни.

Дорога к тюрьме.

...Появляется давний знакомый — бравый комиссар Тэнэеску, и вместе с ним новое лицо — стройный, деликатный Илиеску. Меня переводят в другое место. И поэтому приглашают в закрытый автомобиль, который ожидает на улице, укутанной зимними сумерками. За нашим автомобилем на небольшом расстоянии следует еще один. Комиссар Илиеску, оказавшись рядом со мной, шепчет, указывая на пакет, лежащий у него на коленях:

— Кое-что для утоления голода: адвокат Рипошан принес.

Это единственные слова, которые слышу за время нового моего путешествия в неизвестность.

Молчим все.



Значит, молодой мой друг Рипошан все время следит за мной и его рука дотянулась ко мне и сюда. Чувствую затылком, что он едет следом, в том автомобиле, хотя это и вовсе невероятно.

Едем сквозь мглу по извилистым улицам. Различаю неясные силуэты больших зданий. Побежали небольшие домики, исчезли и они. Мы в хороводе лагун. Ясно, что Бухарест позади и мы колесим по серым окраинам столицы, где столько непонятного. Не вижу больше ничего, кроме глубокой колеи в снегу, освещенной на полную яркость светом автомобильных фар. Машину заносит, нас бросает из стороны в сторону, а водитель прибавляет газу. Он торопится. Он, конечно, знает, куда мы едем, а я даже предположить не могу. В голове мелькают возвращенные полностью картины всяких темных делишек, которыми так изобилует за последние годы наша политическая жизнь.

Останавливаемся. Наконец все прояснится. Выходим. Перед нами выступают из тумана огромные ворота.

— Вэкэрешть? <sup>27</sup> — спрашиваю Илиеску.

— Нет, — он лаконичен.

Больше вопросов не задаю. Тэнэеску стучит в ворота, громко называя себя. Скрежет ключа. Створка гигантских ворот подалась назад и проглотила нас...

#### Камера 43.

...В темноте и тумане молча пересекаем двор, долго идем вдоль бесконечной стены. Наконец мои сопровождающие заговорили, говорят громко, стучат куда-то. Открываются входные двери. Попадаем в длинный коридор, слабо освещенный небольшими и редко развешанными лампочками.

Ряд массивных черных дверей, каждая со своим номером и тяжелыми решетками в верхней части. Огромные железные засовы и замки. Все ясно — я в тюрьме. Сейчас волнует только один вопрос: за каким номером буду сидеть я?

Я буду самым простым номером, остальное уже не имеет значения.

Продвигаемся сквозь угольную копоть и дым, клубящийся из топки парового котла. Запах дыма перемешивается со зловонием, выбивающимся из открытых фрамуг, расположенных над дверями тюремных камер.

Упираемся в стену и сворачиваем в другой коридор, который тянется параллельно первому. Коридор этот настолько узок, что двери низких камер с углыми зарешеченными окнами можно лишь приоткрывать.

Два-три слова, которыми обмениваются комиссары сигуранцы и сопровождающий нас инспектор тюрьмы. Надзиратель открывает номер 43. Измученный заключенный, это русский, видно, его только что разбудили, первым заходит в эту камеру — наверное, он сегодня дежурный. Комиссар Илиеску открывает соседнюю дверь без номера. Входим в залитую белым светом камеру. Ослепленный обилием света, от которого за эти дни отвык, щурюсь, потом широко открываю глаза и не верю самому себе: на столе, накрытом белой скатертью, в разительном контрасте с лохмотьями, мраком и жуткой грязью, среди которых провел все эти дни и ночи, лежат нож, вилка, белоснежная салфетка и красуется небольшой торт, украшенный крошечными свечками, то ли свадебными, то ли поминальными. Вокруг торта — маленькие тарелки и бутылка марочного вина. Ошеломленный увиденным после стольких дней, проведенных без пищи и воды, весь сжимаюсь от мысли: неужели это последняя дань осужденному на смертную казнь? Неужели наступил тот предутренний час, когда дают прощаться с жизнью?..

Занятый этими мыслями, я и не заметил, что за столом сидит хорошо одетый молодой человек и смотрит на меня широко раскрытыми ясными глазами, полными доброты и сочувствия. Где же я мог видеть этого человека? Когда комиссар Илиеску отворачивается, молодой человек прикладывает палец к губам — осторожно, не надо разговаривать. Комиссар вышел, а таинственный обитатель тюремной камеры встает и на цыпочках приближается ко мне.

— Вы опечалены, господин министр? — спрашивает он.

<sup>27</sup> Вэкэрешть — бухарестская тюрьма.

— Да нет, так, утомлен немного,— отвечаю я приглушенно.

— Я зять Севера Боку. Меня представляли вам однажды, после свадьбы его дочери, на перроне вокзала в Араде. Помните?

Вот как. Это, значит, инженер Рикэ Джорджеску. Я слышал, что он сидит уже года три вместе с группой служащих управления нефтяных предприятий Плоешть. Сидит без суда по подозрению в саботаже или в шпионаже в пользу англичан. Точно не знаю. Хочется верить, что тюремному старожилу разрешили свидание с женой и маленькое пиршество в честь рождества Христова.

— Будет хорошо, я знал, что вас привезут сюда, мы рядом,— быстро и как-то механически произносит Рикэ Джорджеску и возвращается на свое место. Как раз вовремя, потому что шаги комиссара Илиеску уже приближаются».

Комиссар Илиеску прервал этот неначавшийся пир. Это была очередная попытка.

«Последний звук, донесшийся снаружи: надзиратель вставил ключ в замок, повернул его — я заперт. Замок лязгнул о железную дверь. Я думаю, что любой, переступивший порог тюрьмы, никогда не забывает этого звука. Он терзает душу, рвет ее на части.

Вот наконец я в своей клетке. Камера номер 43. Два метра в ширину, три в длину, небольшое зарешеченное окно над дверью пропускает слабый коридорный свет. Камера мебелирована двумя железными койками, поставленными одна над другой. Пока нет товарища по заключению, могу выбрать любую... Подымаю изорванную грязную тряпку и касаюсь тощего соломенного матраца... Стены пестрят пятнами крови: следы охоты за клопами. Значит, я не одинок: батальоны изголодавшихся паразитов будут отмечать праздник появления нового пленника. Чтобы защититься, ложусь одетым, укрываюсь проковицей.

Кровать все же... После стольких бессонных, мучительных ночей вытягиваюсь во весь рост, испытывая уже забытое наслаждение.

Тюремная камера... Наконец-то я один в собственной камере после стольких дней и ночей неопределенности, проведенных в кухне сигуранцы. Наконец-то я вкушаю прелесть одиночества.

Чудесна и эластична структура человеческой души. Она тоже подвластна законам относительности, единства противоречий и вечного движения вперед. События последних дней душили меня. Не потому ли сейчас душа моя устремляется легко и смело вперед, ввысь. Полет. Никаких мук из-за того, что было до сих пор, нет страха перед тем, что может быть завтра... От внезапной легкости у души вырастают новые крылья.

Умереть?.. Заснуть?.. Нет! — отвечаю сам себе. Бороться!

Сны, вспугнутые лязгом дверного замка, мгновенно улечучиваются. Открывает надзиратель. Я просыпаюсь. Тусклый свет от коридорных лампочек — дневной свет сюда еще не добрался. Наверное, уже утро. Тюрьма тоже своего рода казарма — ранний подъем, строгий регламент!

Смеюсь в душе над надзирателями — они подняли меня, думая, что издеваются надо мной. Они не знают, что у меня дома, в семье, все течет по установленному распорядку — он отпечатан на машинке и висит на стене. Я встаю очень рано — я натренирован.

Меня мучает мысль: а если дневной свет не доберется сюда и позже, если моя камера без дневного света? Смотрю с тревогой на часы, замечаю, как бежит секундная стрелка. А день все не приходит. Неужели здесь темно и днем, неужели наступил вечный мрак?

От возмущения сжимаются кулаки, но сдерживаюсь. Принимаю и эту реальность с той же решимостью пережить все, что бы со мной ни случилось. Всякую сентиментальность — к черту!

Спустя некоторое время надзиратель снова гремит замком и приглашает в туалет, а затем умываться. Забираю все необходимое из маленького чемодана, вспоминая вчерашний обывск, когда конфисковали мой перочинный ножик, ми-

ниатюрные ножнички и все, что режет, на случай, если, не дай бог, я попытался бы покончить с собой. Выхожу в туалет в сопровождении часового, я его не заметил раньше около дверей своей камеры, считал только его шаги: пять вперед, пять назад.

Заведение — ужасно. Комфорт — турецкий. Как ни изловчайся, как ни изворачивайся — все равно во что-то вляпаешься, все твои балетные пируэты не помогут обнаружить пяди чистого места. Дверь специально безо всякого запора и открывается беспрерывно вновь приходящими заключенными обоюго пола. Часовой ведет меня к общему умывальнику, который находится тут же рядом. В углу замечая эмалированную ванну, установленную на средства сидящего в этой тюрьме бывшего румынского короля железа Макса Аушница, низвергнутого своим конкурентом греком Малаксой. А между тем ванна используется не по назначению — в ней заключенные стирают свои лохмотья, тюремное белье. По засаленным краям этой ванны ползут вши, спасаясь бегством от воды. Дар Аушница используется еще и как плевательница. Догадываюсь об этом, наблюдая за тем, как умывается мой сосед, здоровенный малый с лохматой головой. Он набирает воду в рот, а затем выпускает ее в ладони, сложенные ковшиком. Слюну виртуозно сплевывает в ту же ванну. Пробираюсь и я к кранику над ванной, потому что вид раковин, рядом выстроившихся по стенам, наводит ужас. Подставляю ладони под струйку воды, намыливаюсь и умываюсь, насколько это возможно. Ведь мои руки и лицо не знают воды уже пятые сутки.

Хоть немного, но стало полегче.

У входа в умывальню стоит группа одетых в одинаковые рубашки крепких с виду людей, они ожидают своей очереди, молча смотрят на меня и приветствуют. Ловлю их теплые взгляды и понимаю: эти люди знают меня. Надзиратель настроен сегодня довольно дружелюбно и по дороге в камеру сообщает, что это польские офицеры и интеллигенты. Тот же надзиратель появляется несколько позже с жестяной кружкой в руках, из которой поднимается пар, и ломтем сдобного хлеба. Это прислали поляки — настоящий кофе и хлеб. Один из поляков интересуется, нужно ли мне еще что-нибудь, они пришлют. Я пью маленькими глотками, чтобы продлить удовольствие: наконец-то после стольких дней черного поста — горячий напиток! Когда узнаю, что по утрам заключенным в тюрьме ничего не дают, я с еще большей благодарностью думаю об этом кофе. Впутанный в недозволенное, но благородное дело посредничества и помощи вновь пришедшему, надзиратель говорит, что поляки — люди с доброй душой, в этой тюрьме они сидят давно и без всякого суда. Их держат за то, что они служат своей разоренной и поработенной родине. И служили ей всем чем могли — от самых малых дел до опасных операций с подпольными радиостанциями.

Вначале поляки содержались в исключительно суровых условиях, а сейчас им помогает Польский дом в Бухаресте. Всем, что имеют, они делятся с другими. Эта дружеская рука, протянутая мне, выводит меня из душевного оцепенения, разгоняет мрак моей камеры... Чувствую дружеское участие обделенных свободой людей. Сколько они потеряли, а человеческое в себе сберегли...

Время в этом мраке тянется медленно, будто у него оловянные ноги. Я заполняю его тем, что навожу порядок в своей клетке. Совершенно неисправимый в том, что касается порядка, я передвигаю столик ближе к двери, накрываю его бумагой, извлеченной из чемодана, располагаю на столе щетку, гребенку, мыло и разные мелочи, перетряхиваю матрацы, складываю вчетверо изодранные подстилки, накрываю их газетой, из другой газеты сооружаю какое-то подобие корзинки для мусора и бросаю в нее собранные с пола клочки бумаги и давние остатки пищи. Потом начинаю утреннюю прогулку: три коротких шага вперед, три назад, от двери до каменной стены по узкому пространству вдоль кровати. Все это механически; я вспоминаю, как нервно вышагивают в узких тесных клетках зверинцев крупные обитатели лесов и пустынь, они делают это так же машинально, как и я сейчас. Пытаюсь вообразить, о чем думают звери в подобном состоянии, по каким просторам витает их мысль».

Узник вспоминает прогулки по местам своего детства — быструю речку Стрей, окрестности Бэчии, красоту Орэштие, гору Гелерт над Дунаем в Будапеште, каналы Берлина и берлинский зоопарк, где звери гуляют на свободе, тропинку к крепости, по которой он бегал легко и просто, а потом, с годами, пришлось уже брать с собой палку...

Три коротких шага до стены, три таких же шага до запертой двери. С одного боку кровать, с другого — холодный камень стены, отделяющей узника от соседней камеры.

Прогулка окончена. Чем бы еще заняться?

«Читать нечего да и невозможно. Свет, косо падающий через решетку над дверью, еле достигает кровати — как тут читать? Может быть, следует взобраться на верхнюю койку — и тогда буду почти у самого окна? А что, давай попробую. Но тут же все проясняет голос надзирателя:

— Слезайте с верхней полки! Вам не разрешено подыматься к окну!

Наверное, многие пробовали поступить так же, но надзиратели натренированы, им все известно, их бдительность не обманешь. А может быть, можно ею управлять? Может быть, следует прибегнуть к благословенным порядкам этой страны, именуемой в народе «патрия бакшишулуй» — родиной взяток?

Сколько еще предстоит мерить эту клетку? Подремлю-ка, свернувшись калачиком на краю нижней полки, натянув на глаза и уши свою мерлушковую шапку. Приходится защищаться от сквозняка — сильно дует, тянет холодом; видно, в коридоре открыли все окна. Слышу громкие голоса: «Закройте окна!» — но кое-кто и протестует, жалобно уговаривая впустить свежий воздух. Узнаю от надзирателя, что это школьный инспектор Симион, страдающий жестокой астмой. Пожилой человек, очень грузный, он по утрам делает дыхательные упражнения под открытым окном уборной. Он сидит вместе с профессором Влэдеску-Рэкоасой, адвокатом Магеру и его сестрой и другими. (Магеру — дети председателя Верховного апелляционного суда, моего друга и бывшего коллеги по аграрному комитету.) Все мы обвиняемся в действиях, направленных на создание единого фронта патриотических сил, за выход из войны, за мир и восстановление демократических свобод...

Я, естественно, за то, чтобы окна оставались открыты, и поэтому инспектор Симион, когда мы встречаемся, смотрит на меня с благодарностью.

Скрипучая тележка, на которой водружен бочонок со щами из кислой капусты, вносит разнообразие в монотонное существование наших клеток. Одна за другой открываются двери, появляются бледные лица, измученные одиночеством и бесперспективностью. Им протягивают жестяную миску, ложку и ломтик черного хлеба. Раздатчик хлеба, молодой цыган, между делом успеваешь высморкаться в ладонь, и я довольствуюсь поэтому только теплыми щами...

На обратном пути тележка снова останавливается под дверью (это узнаем по скрипу), дверь снова открывается, надо вернуть «посуду». Это еще один повод увидеть своих соседей. Из-за третьей двери появляется изможденное, бледное и небритое лицо, на котором запечатлено страдание распятого Христа. Это мой молодой друг, профессор Микле. У другой Двери стоит в красном свитере великан Мирон Беля. Одна рука засунута в карман, и во взгляде его несломленная строптивость. Синяки под глазами выдают следы недавних пыток, а лицо, прежде румяное и обожженное ветрами, сейчас будто из воска. Мы вглядываемся друг в друга лишь секунду, и нас тут же проглатывают клетки. Однако мы успели получить друг от друга новый заряд мужества. Сознание того, что находимся рядом, прибавило нам силы...

Даже перекинуться несколькими словами заключенные вначале не могут. Это практически неосуществимо. За нами установлена исключительно строгая слежка, необычная даже для этого секретного отсека, где в первые часы никто не отвечал ни на один вопрос — ни надзиратели, ни солдаты, охраняющие наши запертые клетки. Только спустя некоторое время узнаю все же, где мы находимся.

— Мальмезон,— объяснил нам один служитель, предварительно убедившись, что поблизости никого нет.

Развязались языки, и даже сквозь глазок в дверях можно обменяться несколькими фразами. Сведения становятся более широкими. Узнаю, например, что между мной и Мироном Белей помещен для наблюдения за нами агент, он также «сидит». Значит — внимание и бдительность!..

Опускается вечер, и я убеждаюсь, что то, что меня волновало больше всего, стало мучительной реальностью: нам не дозволены прогулки. Отсутствие света и воздуха изматывает, еще больше изматывает мысль, что к тебе относятся не по-человечески.

Расстроен страшно. Вытягиваюсь во всю длину железной койки. Отказываюсь от картофельной бурды из кочующего по нашему коридору ведра.

30 декабря.

...В туалете узнаю, что Мирона Белю и других моих друзей сегодня в полночь возили в Бухарест для допроса. Эти ночные допросы в комбинации с камерой пыток, через которую пропускают узников, пользуются давней и прочной известностью. Сердце сжимается, когда думаешь о страданиях этого твердого словно кремль крестьянина. Я его хорошо знаю и уверен, что больше чем от пыток страдает он от унижений. Его привезли утром, и сейчас он недвижно лежит в камере.

Появляется высокий, стройный, седоволосый Влэдеску-Рэкоаса. Его взгляд ясен и решителен. Встреча здесь после столь длительной разлуки укрепляет то душевное родство, которое связывает нас так давно.

Влэдеску-Рэкоаса подходит к моему крану и, прикрыв рот полотенцем, сообщает шепотом, что его тоже «угощали» сегодня ночью и что их каждую ночь отвозят, чтобы пропустить сквозь строй физических и нравственных пыток.

Тайком пожимаем друг другу руки и направляемся к длинной веренице камер, за дверями которых погребена когорта бойцов сегодняшних социальных битв. Эти воины, восставшие против мрака, хранят в своей душе веру в светлое будущее человечества, распятого сейчас на кресте гигантской бойни.

Я знаю их: ни тюрьмы, ни оскорбления, ни побои, ни клевета не вынудят их отказаться от борьбы. Качество этих борцов победит количество темных и невежественных дельцов, живущих благами военной конъюнктуры и разлагающегося капитализма.

31 декабря.

...Темнота, царя не только ночью, но и днем в этой камере, давит постоянно. Ангел спасения появляется в образе юркого тюремного монтера. Под тем предлогом, что нужно что-то отремонтировать, его пускают ко мне в камеру. В его глазах и во всем его поведении — нескрываемая доброта. Неведомо откуда он извлекает крошечную электрическую лампочку и кусок провода, выводит провод в коридор и подсоединяет к основной проводке. Солдат, патрулирующий в коридоре, на это время отворачивается, а надзиратель (который куда-то исчез) появляется, лишь когда дело уже завершено. Надзиратель снова запирает дверь, а механик улыбается от удовольствия. Доброе отношение рядовой тюремной obsługi проявляется все чаще и, кажется, кем-то направляется. Один из этих рядовых приносит мне тайком бумагу и чернила. Я спасен!..

Уходит старый год. Взгляд обращается от прошлого к будущему. В свете событий, и крупных и мелких, разворачивающихся вокруг нас, новый год вырисовывается как год радикальной развязки и непредвиденных изменений во всей нашей внутренней и внешней структуре.

Новый год, я думаю, станет межевым камнем в истории человечества, лежащим на рубеже старого мира с его экономической, политической и социальной системой и нового мира, о котором столько говорится. После заката грядет восход. Зарево этого восхода проникает и сюда, через этот порог.

...Засыпаю на рассвете.

Будит меня шум открываемого дверного замка. Наступление Нового года в Мальмезоне материализуется во внезапном появлении надзирателя:

— С Новым годом, господин министр!»

Петру Гроза не знал, что до наступления «радикальной развязки» и начала «непредвиденных изменений», в процессе которых ему будет отведена выдающаяся роль, осталось немногим более восьми месяцев.

«3 января 1944 года.

...Комиссары будят меня очень рано, чтобы в установленный час доставить к министру внутренних дел. После ночи, длившейся, казалось, целую неделю, снова переступаю порог военной тюрьмы. Железные ворота открываются, и машина мчится к центру Бухареста. Ночью, когда меня привезли, я не успел взглянуть «нашу» тюрьму снаружи. Кажется, что это конюшня или хозяйственные службы старой казармы. Быстро отворачиваюсь и глубоко вдыхаю проникающий сквозь открытое окно воздух. Сегодня великолепный ясный зимний день. Столичный шум, трамваи, автомобили, пешеходы — все в сумасшедшей гонке. Толпа, кажется, не обращает внимания на то, что происходит за горизонтом этой огромной кровавой войны, ничего не видит, что делается за кулисами этой трагедии... Но ничто не в состоянии заслонить жуткой картины всеобщего страдания огромной массы людей, испытывающих неизмеримые лишения, вызванные объективными условиями сегодняшней жизни. Ведь разве что бездушные могут разгуливать среди дымящихся развалин по бескрайнему кладбищу с запахом свежевырытых могил и веселиться при этом. Есть такие бездушные, но сами они — живые мертвецы.

Машина тормозит у дворца Стурза.

Меня вводят в бывший когда-то парадным зал, сейчас это просто приемная. Но скульптуры и картины не убраны. После короткого ожидания приглашают в кабинет начальника канцелярии министра. Молчаливый полковник предлагает кресло. Затем и сам торжественно садится за свой письменный стол. Молчим. Говорить друг другу нечего. Стрелки часов бегут. Адъютант сообщает, что прибыл еще кто-то. Ступая медленно и чинно, появляется элегантный священник с отличительными знаками высокого церковного достоинства. Серая ряса, холеная борода. Он весь — само благолепие и довольство. Это архимандрит Галактион Гордун. Вошел к министру, просидел у него довольно долго и вышел таким же ясным и безмятежным.

Наконец вводят и меня. Министр, генерал Попеску, невысок, крайне предупредителен и старается представить вещи в довольно благожелательном свете. Напоминает, что знал моего отца, когда-то лечился вместе с ним на водах в Ардяле.

Затем меня снова увозят — по-прежнему под стражей, и помещают в известную уже читателю клетку».

В это самое время Грозе еще не были известны причины предупредительности господина министра внутренних дел. Разумеется, она объяснялась отнюдь не курортным знакомством генерала Попеску и священника Адама Грозы. В стране началось движение за освобождение Петру Грозы из тюрьмы. На имя короля поступали послания видных писателей, ученых, общественных деятелей. Заточенный в лагерь для политических заключенных Тыргу-Жиу «красный принц» Скарлат Каллимаки начал массовый сбор подписей под требованием об освобождении Грозы. Эти действия направлялись руководством румынских коммунистов, которое умело использовало благоприятную обстановку, созданную успешным наступлением Красной Армии и приближением ее к границам Румынии.

«4 января.

...Немного об обитателях тюрьмы.

Большинство заключенных — из интеллигенции, много польских патриотов. Попадают и представители зажиточных слоев (среди них — евреи, румыны и др.), арестованные за контрабанду и незаконные валютные операции. Эти, кажет-

ся, уже давно освоились в тюрьме — они появляются в туалете в ярких пижамах, всегда предложат мыло, спички, даже чай. Тут же несколько русских военнопленных, сидящих за то, что сбежали из лагерей, — и солдаты и офицеры, они ходят в холщовых тюремных халатах, их заставляют убирать камеры и коридоры. Они самые угнетаемые и необеспеченные. Ждать передач и помощи им неоткуда...»

Вскоре после свидания с министром внутренних дел Грозе разрешаются прогулки во дворе тюрьмы. Он стремительным шагом ходит взад и вперед по небольшому двору. Двое солдат, сопровождающих его, не выдерживают темпа господина министра.

— Куда вы торопитесь?! Ходите медленнее!

Гроза смеется над ними.

— Что бы вы, ребята, сделали, если бы вас погнали за мной к вершине Девы, к крепости?

И вспоминает и эту гору, и окружающие ее вершины Ретезат, Парынг, Кыржа, Мындра... Да, эти ребята выросли в степи, горные тропы им неизвестны.

Гроза мысленно видит себя снова на вершине горы, там, внизу, его дом, жена и дети. А совсем рядом — большая казарма пограничников, суд и тюрьма. Вот и здесь тоже казарма и тюрьма. Но оттуда, с вершины горы, видны неоглядные дали, виден широкий простор. Не потому ли там так легко думалось? Здесь же мысли ударяются о каменную стену и возвращаются обратно изуродованными. Казарма и тюрьма.

Гроза — старший по возрасту узник тюрьмы. Его известность в стране заставляла надзирателей и других тюремщиков хвастать тем, что вот, мол, кого они сегодня проводили к умывальнику, кому наливали бурду из ведра. Некоторые по мере сил старались облегчить ему тюремный режим. Сегодняшний надзиратель разрешает Грозе под присмотром конвоя навестить поляков. После возвращения в камеру Петру Гроза записывает в дневнике:

«6 января.

Поляками владеет желание жить свободными на этой земле, радоваться ее красотам и дарам, видеть над головой небо, солнце, звездные ночи, греться у своего очага, в кругу семьи... Тихо, под сурдинку тюремного порядка зарождается мелодия, песня, которая объединяет в единый хор всех поляков. Мелодия эта затрагивает все струны исковерканных, жаждущих жизни сердец, облегчает душу».

Уже став премьер-министром Румынии, Петру Гроза поехал с дружеским визитом в Польшу. Он попытался разыскать своих знакомых по Мальмезону, но никого не нашел в живых. Польские борцы лежат неподалеку от Варшавы, на кладбище Пальмиры, там огромный лес крестов, а у входа надпись:

«ЛЕГКО  
ГОВОРИТЬ О ПОЛЬШЕ,  
ТРУДНЕЕ  
РАБОТАТЬ ДЛЯ НЕЕ.  
ЕЩЕ ТЯЖЕЛЕЕ  
УМЕРЕТЬ ЗА ПОЛЬШУ,  
НО  
САМОЕ СТРАШНОЕ —  
СТРАДАТЬ ЗА НЕЕ».

Петру Гроза возложил венок у могил погибших и вспомнил мелодию песни поляков Мальмезона.

«7 января.

...В соседней камере поселились новые обитатели. Молодая мать, жена черновицкого адвоката, с пятилетним сыном, развитым и избалованным. Женщина говорит, муж ее тоже здесь, в камере напротив. Мальчику разрешается ездить на трехколесном велосипеде по коридорам, и он вступает в разговор со всеми встреч-

ными. Его смех и болтовня — в кричащем контрасте с тем, что нас окружает. Когда следователь появляется у дверей камеры и начинает своими вопросами изводить арестованную, ребенок тут же бросает игру, умолкает, прижимается к матери и начинает плакать. Сколько детей страдает почти с младенческих лет! Какие следы оставят эти мучения в их невинных душах? Сделают ли их эти страдания лучше, станут ли они борцами за то, чтобы будущие малыши никогда не знали подобных страданий?

9 января.

...Утро. Я первым вышел во двор и решил быть последним, когда нас снова погонят в камеры. Сквозь темные облака выглядывают клочки голубого неба. Смотрю на них, и кажется, что прошел целый век с тех пор, как я не видел чистого неба. И тут в полном своем сиянии появляется солнце... Арестованные, ожив от света, начинают разгребать во дворе снег. Одни свободно орудут лопатой, а есть такие, что не умеют даже держать ее в руках. Вот и забава всем. Но радость не имеет права задерживаться в обиталище отлученных от мира и общества. Она только показалась на мгновение, выглянула исподтишка, чтобы ее тут же схватили и вышвырнули. Часовой надрывается:

— Немедленно все по камерам!..

Двор опустел. Лопаты торчат из сугробов, как искалеченные кресты.

Двери камер запираются в прежнем порядке, никто уже не покидает своих клеток, и снова опускается тяжкая тишина, в которую погружается все здание. Может быть, должна прибыть новая партия арестантов, которых нам не положено видеть?

9 января.

...Снова воскресенье. Где-то за стенами тюрьмы колокола зовут верующих к молитве. Веруют ли они?

Закрываю глаза и вижу всех, кто вошел под сень этих великолепных церквей в чистой и праздничной одежде. Следую за ними, когда они покидают святой храм и приступают к своим обычным занятиям.

Не верю, чтобы хоть один вышел более справедливым и любящим, чем вошел в храм, где проповедуются все добродетели. Мне кажется, что, напротив, после проповеди себялюбие в каждом лишь усугублялось и, отдав небесному отцу что положено и бросив в шалку нищего несколько мелких монет, он чувствует себя свободным от нравственных долгов, да к тому же еще и благодетелем.

Беспрерывный колокольный звон и проповеди со всех амвонов — пусть даже их и читали самые чистосердечные и добрые проповедники — звучали две тысячи лет назад и звучат сейчас, но впустую... Возведенная в закон вера, опутанная сетью традиций и канонов, очень искусно сделала из содержания одну лишь форму.

Вывод напрашивается сам собой — чем пышнее форма, тем немощней суть...

11 января.

...В сопровождении комиссара сигуранцы меня снова везут в министерство внутренних дел для встречи с министром, генералом Попеску. В приемной оживленно беседует группа штатских и генералов. Когда меня ввели, все смолкли. Они понимают, что я под конвоем, и от неожиданности теряются, не зная, как вести себя со мной, старым знакомым, что делать.

Улавливаю их замешательство, усаживаюсь в кресло возле огромного стола и делаю вид, что и не заметил их».

Министр рассказал о новой беседе с маршалом<sup>28</sup> Антонеску, о том, что общественное мнение страны — и низы, и научная интеллигенция, и некоторые министры, даже сам король — озабочены положением такого авторитетного человека, многие требуют его немедленного освобождения. Маршал тоже озабочен и, по мнению министра, не исключено, что тюрьма будет заменена строгим домашним арестом. Но пока что еще не решено, Гроза должен сообщить необходимые правительству данные.

<sup>28</sup> К этому времени Антонеску сам себя провозгласил маршалом Румынии.



Петру Гроза по-прежнему непреклонен. Он требует освобождения своего и своих друзей, томящихся в Мальмезоне и в других тюрьмах страны, без каких-либо предварительных условий.

«13 января.

...Через глазок камеры впервые с тех пор, как я здесь, пробился ровный, сверкающий луч солнца.

Одинокая стрела света — и сколько мрака отступает сразу.

Когда же сквозь толщу окружающего нас мрака проберется такой же лучик? Когда рассеется наконец тьма, в которую погружена вся страна?!

Волшебный гость истаивает в одно мгновение, и вместо него появляется незнакомый мне господин. Его зовут Тулиу Горуняну. Он высок, темнолиц, усы аккуратно подстрижены, голос бархатный. Это председатель тимшоарского апелляционного суда, в данный момент — военный магистрат в чине майора. Сейчас выполняет особые поручения руководства Совета министров и пришел по заданию директора управления государственной безопасности Кристеску. Он обладает всеми необходимыми полномочиями для выполнения поручений подобного рода...

Беседа длится долго. Я понимаю, что не исключено некоторое смягчение режима. Может быть, не за горами и мое освобождение. Но проблема гораздо сложнее. Она неотделима от судьбы моих товарищей — Мирона Бели, Георге Микле и других, которые сидят здесь, рядом со мной. Пользуюсь тем, что со мной ведет беседу этот своеобразный дипломат от юстиции, что его тон довольно доброжелателен, и завожу разговор о необходимости освобождения моих старых боевых друзей, верных и бесценных сынов нашего многострадального народа, — я убежден, их необходимо спасти в интересах самого же народа.

Уходя, гость подчеркнул — уже в который раз, — что пользуется доверием правительства и ему поручают самые деликатные дела.

С тех пор, как я арестован, мне приходилось не раз разговаривать с генералом Диаконеску и его штабом, с министром внутренних дел генералом Попеску и вот сегодня — с моим утренним гостем. Больше всего мы говорили о судьбе молодого поколения. Всем им я пытался доказать, что если эти обездоленные интеллигенты вышли на переднюю линию борьбы за социальную справедливость и восстали против системы привилегий и эксплуатации чужого труда, то в этом не личная их вина, а вина самого общества, которое представлено нынешней властью. Один жандармский полковник из сигуранцы, наделенный сугубо жандармским складом ума и физиономией — на редкость тупой и самоуверенной, все твердил, не проявляя и грана человеческого понимания:

— Вы приблизили к себе этих молодых людей еще тогда, когда они сидели за студенческими партами, они бывали в вашем доме, вы помогали им деньгами. Они стали вашими духовными детьми. Но вы посеяли в их душах семена мятежа, которые дали ростки и толкнули их к подпольной деятельности, направленной против государственного правопорядка.

— Ошибаетесь, — ответил я грубо. — Эти семена уже давно пустили корни в их душах. Они посеяны несправедливым общественным строем, который вы охраняете и который уже трудно защищать, не рискуя углубить пропасть между народом и правопорядком. А мое сближение с обездоленными, с лучшими из лучших этих обездоленных, которых разлагающаяся реакция подвергает ostrакизму, вовсе не имело цели усугубить их недовольство, я стремился направить их деятельность по пути организованной, дисциплинированной борьбы. Я учил их быть последовательными борцами за интересы народа, частью которого мы являемся...»

В узколобой голове высшего жандармского офицера таилось редкостное упрямство, но Петру Гроза, уже потерявший надежду хоть что-нибудь вдолбить в эту голову, рассказал все же ему об одном эпизоде из трагедии молодого румынского поколения.

Это была история жизни мальмезонского узника, молодого профессора Георге Микле.

«Отец Георге был из села Ховрила, что около Шомкуца Маре (Сэтмар). Бедный крестьянин из бедного края, прозванного царя кынелуй — собачьей стороной. Он погиб в первую мировую войну в Италии. Георге остался сиротой, вырастил его дед. Забота о солдатских сиротах, о которой так громко трубила официальная пропаганда, так и свелась к одной лишь болтовне. Никакой помощи сирота не получил. А он хотел учиться, у него была врожденная любовь к знаниям. Дед изо всех сил тянул внука, отдал его в школу и радовался, что внук все время оказывался среди самых лучших учеников. Георге удалось поступить в лицей Шомкуца Маре, но надо было платить за обучение и содержание внука, и дед продал своих любимых красных волов. Это были единственные красные вола во всей округе, и дед, убитый расставанием с ними, вовсе сдал. Ждать помощи больше было неоткуда, и Георге часто оставляет занятия, чтобы помочь деду засеять надей, убрать урожай, продать кое-что и уплатить налоги. В короткие перерывы между работой Георге не выпускал книг из рук, ему нельзя было отставать.

Видя, как мучается внук, дед воздевал руки к небу:

— Боже, почему же ты терпишь, чтобы в такой богатой стране, где столько людей купается в золоте и не знает, что и делать со своими деньгами, не нашлось средств, чтобы выучить способных детей! Где справедливость? Где правда, господи?

Георге удалось защитить диплом, и он отправляется в Клуж поступать в университет. Прошло полгода, а от внука ни слуху ни духу — как в воду канул.

Однажды в полночь в дедов дом сильно постучали. Испуганный старик открыл. То были жандармы. Они держали наготове наручники.

— Где твой внук?

Дед сразу все понял. Ищут Георге. Значит, его внук пошел искать справедливость и правду... Его ищут жандармы. Значит, он правильно выбрал дорогу.

— Берите его, когда найдете, а я не знаю, где он, — ответил дед.

Я познакомился с Георге, когда он владел уже определенным опытом борьбы, я увидел, что он интеллигентен, начитан, характер как камень, а дарование публициста совсем не заурядно.

Я постарался понять его.

В ту пору он буквально голодал, истощен был до крайности, я пригласил его к себе в дом, познакомил со своими детьми и был уверен, что в атмосфере большой семьи можно будет направлять его необузданный темперамент, вовремя притормаживать его рискованные порывы и предупреждать преждевременные, нежелательные поражения...

Я готовил его к экзаменам и к защите диплома. Он защитился с блеском и получил диплом преподавателя философии и социологии. Начался новый этап в жизни молодого ученого. Он обивает пороги министерства образования, то и дело вытаскивая диплом с отличием. Безрезультатно. Получил несколько часов в неделю, подменяя учителей в Буззу и в других городах, но вскоре вернулся к привычному положению безработного.

А тут открывается большая торговая ярмарка в Клуже. Торгашам нужны рабочие руки. Безработный преподаватель философии становится зазывалой. Он ходил по торговым рядам и рекламировал зубную пасту, мыло, сапожный крем и дамское белье. Отмеченный поэтическим дарованием, философ в рифму рекламировал. За кусок хлеба.

Но и это длилось недолго. Через несколько месяцев, когда приближалась зима, его увольняют без предупреждения. Реклама, на которую он положил столько сил, свою роль сыграла — спрос увеличился. А в зазывале, благодаря которому выросла популярность этой ярмарки, надобность пропала, его и выгнали. Он оказался жертвой собственного трудолюбия и честного отношения к делу.

Не так легко на пороге зимы очутиться на улице без единого гроша в кармане (заработка зазывалы еле хватало на пропитание).

Хождение «по мукам» Георге Микле продолжалось до тех пор, пока в министерство образования не пришел профессор, известный демократ Петре Андрей (его впоследствии убили legionеры). Он назначает Микле преподавателем лицея

имени Емануила Годжи в Ораде. Но каково было мое удивление, когда спустя небольшое время встречаю Георге в том же поношенном костюме, в каком он ходил, когда был безработным. Оказывается, министр-демократ, ратовавший во всех своих писаниях за социальную справедливость, назначил Микле преподавателем, но — трудно поверить — без жалованья, и ни больше ни меньше как на два года! Я не поверил было, но, сверившись с трудовым законодательством, убедился — так и было положено. Не выдержав голодного существования в ранге почетного преподавателя лица, Микле посылает министру письмо за письмом, напоминая ему, что он говорил и что писал по вопросам трудоустройства и оплаты труда до того, как стал министром.

Поначалу разгневанный суровым, взыскующим тоном молодого преподавателя, Петре Андрей ответил, что на подобные письма министр не обязан отвечать, но затем он сообщил, что «узаконив бесплатность начального и неполного среднего обучения, мы узаконили тем самым и бесплатность преподавательского труда».

Несчастный Петре Андрей не смог вырваться из пут социальной системы, основанной на подобных принципах, и Георге Микле снова остался без работы и крова. Он и многие его друзья продолжали бедствовать в упивающейся роскошью столице, оставаясь свидетелями вызывающих увеселений богатых слоев, которые в чаду своих развлечений уже не отличали ночи от дня. Издали наблюдая за бешеным вихрем легкой жизни, за немислимым великолепием мехов и машин и за ночами, прожигаемыми на светских приемах и в игорных домах, они зарабатывали себе на нищенское существование изнурительным трудом, и в душах росла решимость идти вперед по тернистой дороге поисков более справедливого общественного порядка.

Разительный контраст между жизнью тех, кто трудится, и тех, кто эксплуатирует с ненасытной алчностью труд других, вызывает негодование. Эти молодые люди могут ошибаться, могут идти на крайности. Но чтобы умиротворить их, чтобы ввести их энергию в разумное русло и направить ее к действиям, которые принесут пользу всем, жандармские меры с их комплексом изуверских процедур не являются наилучшим средством.

Может быть, этот рассказ о жизни Георге Микле, пребывающем сейчас в такой же клетке, что и я, образумит кого-нибудь из тех, кто ответствен за нашу судьбу, может быть, он поможет им направить свои усилия в иную область и стать рядом с нами, добивающимися коренных изменений в структуре нашего общества».

Георге Микле, ближайший соратник и друг доктора Петру Грозы, стал генеральным секретарем «Фронта земледельцев» и летописцем этой организации. Он был одним из активных работников подпольной группы компартии Румынии, которая осуществляла связь компартии с организациями «Фронта земледельцев». Его, глубокого знатока и активного пропагандиста ленинизма, товарищи любовно называли сыном Ленина.

Когда Гроза думал о Микле, он часто сравнивал его с Октавианом Гогой. Из огромного круга интеллигентов-единомышленников Гога поначалу казался Петру Грозе наиболее близким по духу. Оба из Трансильвании, оба из семей священников, оба образованны и энергичны. Только Гога на три года старше Грозы. Вместе они участвовали и в правительстве Авереску. Но Гога был не только политик, судьба наделила его и незаурядным поэтическим дарованием. Его горькие стихи о тяжелой доле крестьян, стонущих под игом помещиков, пользовались огромной популярностью среди молодежи. В 1918 году он оставил поэзию и с головой ушел в политику. В 1923 году он приехал в Деву к Петру Грозе с большой группой бухарестских интеллигентов. О чем только тогда не было говорено! Какие радужные картины рисовались! Но в отличие от других Гога слишком долго и надрывно говорил об особой роли румын, называя страны, граничащие с Румынией, варварским кольцом славянских и австро-венгерских племен. С пафосом, доходящим до истерики, он утверждал: «Мы потомки римских цезарей, фи-

лософов и поэтов, мы прямые продолжатели римской цивилизации. Мы, румыны, возродим эту цивилизацию и восстановим Дакию в ее древних границах. Господь поможет нам!» Это не были пьяные бредни, это говорилось на трезвую голову, и у Грозы на душе стало смутно и тяжело.

То, что случилось в Мальмезоне 13 января, заставило его снова вспомнить о националистических бреднях Октавиана Гоги. В этот день всех узников выгнали во двор, чтобы перетрясти камеры. Вернувшись, Гроза нашел на кровати тоненькую брошюру под броским названием «Румыния румынам». Автор — Октавиан Гога. На обложке — черная свастика. Открывалась брошюрка речью Таги в палате депутатов в декабре 1935 года. Уже тогда он полностью раскрыл себя. Жирным шрифтом были набраны слова: «Господа, я румын и долгом своим считаю сказать вам: взгляните в социальный процесс, совершающийся на ваших глазах, вы убедитесь, что поднялась могучая, великая волна возродившегося национального самосознания. В ее основе, господа, народный инстинкт, и расовый и религиозный одновременно. Сегодня наш народ всей душой чувствует свою органическую сущность, глубоко укорененную в римской цивилизации. Эта сущность не терпит чужеродных... Румыны горды сегодня тем, что они боевая нация. Мы собрались вместе, чтобы утвердить великие истины компактного существования румынского народа с незапамятных времен на этой земле».

Через несколько страниц одно место подчеркнуто особо: «Наша естественная и единственная концепция (иной не может быть!) — тоталитарный национализм, который пронизывает все классы. Лишь тогда возобладают равновесие и устойчивость в румынском государстве, которое извне и изнутри осаждаемо врагами. Классовая борьба в этих обстоятельствах губительна и противоречит интересам румынского государства».

Гремит засов, открывается дверь, на пороге знакомый надзиратель, из трансильванских румын.

— Ну как, господин министр? Прочитали?

— Я это давно знаю, друг мой.

— А где сейчас Гога, господин министр?

— Гога? Он умер. Сразу же после того, как перестал быть премьером. Погас. Не успел он создать чистокровную Румынию, друг мой... А вот это живет, и его, — Гроза помахал брошюркой со свастикой, — нужно выкорчевывать.

Надзиратель закрыл дверь и заслонил спиной глазок камеры.

— Вы же, господин министр, были друзьями, я принес эту книжку, думал, приятно будет...

Гроза не понимал: глуп этот трансильванец или просто провокатор. И сказал:

— Румыния очищается от чужаков и последователями Гоги, как видите. Сажает и кровных даков. Я ведь, знаете, Дечебал. — Гроза вплотную подошел к надзирателю и шепотом: — Только здесь мне бороду сбрили и усы...

Надзиратель съежился и поспешил покинуть камеру.

#### IV

Поздно ночью кто-то из тюремной obsługi сообщает горькую новость. Похоже, что Грозу из Мальмезона переведут в другое, более жуткое место. Мирона Белю уже перевели.

«Ночной гость.

...Сон отогнан. Уже полночь, а я все пишу. Зашел один надзиратель и спросил полупшепотом:

— Как вы думаете, что еще может произойти?

Он рассказывает, что в народе паника, в Черновицах слышен гул тяжелой артиллерии, вокзалы Буковины и Бессарабии забиты беженцами, а поезда не останавливаются и не берут их.

На лице этого несчастного, который всего только несколько часов назад кичился своим превосходством над всеми нами (он один из самых строгих наших

надзирателей), явная растерянность. Успокаиваю его: если у тебя чистая совесть, если при всех обстоятельствах ты был справедлив и не обижал, не бил себе подобных, если не злоупотреблял своей властью и не издевался над слабыми, у тебя не должно быть причин для беспокойства и страха.

Он уходит, но, кажется, моя проповедь его не очень-то утешила.

Рядом плачет ребенок. Твердые шаги по коридорам, резкие слова команд...

Самый симпатичный среди всей obsługi нашей гигантской клетки — это тюремный врач Александр Бард. Он родился в Клуже и сейчас мобилизован слезить за здоровьем заключенных. Когда он проходит мимо моей камеры, я слышу один и тот же вопрос: «Как вы себя чувствуете? Чем занимаетесь?» Отвечаю тоже по шаблону: «Благодарю, очень хорошо». Но поскольку сегодня его недоумение по поводу моей жизнерадостности буквально перелилось через край, думаю, что кое-что ему следует объяснить.

Прежде всего человек должен оставаться самим собой и когда хорошо ему, и когда худо. Он не должен терять головы, когда ему улыбается счастье, и не сгибаться, не падать духом, когда этот дух, капризный по самой своей природе, кажется, вот-вот покинет его. Только глубоко осознав, до чего хрупка и непостоянна наша судьба с ее бесчисленными взлетами и падениями, можно удерживать равновесие и не падать. Чем самоуверенней человек, тем он беспомощней перед внезапными ударами судьбы. Потому что самоуверенный, оказавшись на вершине, забывает, что оттуда можно легко свалиться в пропасть, а свалившись, не способен верить, что возможен новый подъем. Лишившись этой веры, он оказывается и вовсе беспомощным. Когда я находился на самом верху, я постоянно глядел вниз и меня интересовало все, что делается там, на дне. Но сейчас, очутившись на самом дне, я из тьмы моего заточения вглядываюсь туда, в зенит, чтобы не раствориться в беспомощности.

Человеку отпущена очень короткая жизнь. У нее слишком узкие рамки. И если довольствуешься ими, будешь жить удобно. Но удобства размягчают, сводят духовный мир человека до кругозора самодовольных жирных пингвинов, дремлющих на берегах своих островов. Самодовольство совершенно лишает тебя прелесть ощущения высоты полета, волнений и разумного риска. Полет, всегда сопряженный с разумным риском, придает жизни новое качественное содержание, расширяет ее изначальные рамки. «Моя жизнь здесь, — говорю я врачу, — в этой клетке, под охраной ваших надзирателей, за решеткой, это образ иной, новой участи, которую прибавлю я к той своей жизни, что была мне предопределена. Мое пребывание здесь просто следствие попытки взлета, парения и риска, которых чужд пингвин, и пингины об этом и не помышляют. Чем быть уткой год, лучше день летать орлом. Эта старинная поговорка очень уместна в моих рассуждениях о пингвинах и подтверждает, что я не единственный, кто думает подобным образом. Я стараюсь видеть полезное даже в самом неоспоримом факте своего заточения. Другие же устраивают из этого целую трагедию».

Я расстаюсь со своим молодым знакомым.

Может быть, мои объяснения помогут ему, неглупому парню, проникнуть в смысл ежедневных стереотипных ответов, которые он получает в ответ на вопрос: «Как вы себя чувствуете?»

16 января.

...Третье воскресенье. Хронометраж приобретает совершенно иной смысл. Заключенные с большим стажем свидетельствуют, что эта мысль в свое время посещает каждого. Вначале считаешь дни, потом недели, дни уже не в счет, и если велит судьба — будешь считать месяцы, а затем и годы.

Праздничная воскресная атмосфера проникает и сюда. Это особенно чувствуется по настроению тех, кого ожидает свидание с родными... Среди посетительниц встречаются очень элегантные дамы, причудливо причесанные, ярко накрашенные, в высоких шляпах самых немислимых фасонов. Пропасть между реальностью этой тюрьмы и всем, что делается за ее стенами, больше чем кричащая — она оскорбительна. И в то же время она клеймит ничтожество тех, кто живет в таком бесстыдном контрасте с людскими страданиями».

Посещения разрешаются только по воскресеньям; приходят главным образом к дельцам, отбывающим срок в Мальмезоне.

Петру Грозе свидания были строго запрещены.

Петру Гроза никогда не был в России, но много читал о ней, много слышал от солдат, вернувшихся из русского плена после первой мировой войны. Много рассказывал ему о русских, о революционном Петрограде и о Ленине «красный принц» Скарлат Каллимаки.

О Советском Союзе, о борьбе большевиков за преобразование России говорили всегда с восторгом и воодушевлением его друзья-коммунисты. Еще этой осенью на встрече с ними в лесу под Клузем Грозу поражало, с какой убежденностью доказывали коммунисты неизбежность краха фашизма. Они без колебаний говорили о победе социализма во всех странах, с какой-то фанатичной уверенностью предсказывали будущее человечества. Один из этих коммунистов, университетский профессор-историк, побывавший в России, сказал:

— Весь мир пойдет по пути русских. Уже сорок пять лет история делается там. — Он показал на восток. — И когда молодую республику Ленина душила контрреволюция, и когда выполнялись пятилетки, и когда шла борьба под Москвой и под Сталинградом... И сейчас, когда они приближаются. История делается там.

Гроза гордился тем, что у его друзей такая глубокая убежденность. Они помогали и ему лучше узнать Россию. Но русских он впервые увидел здесь, в Мальмезоне. Об одном из них он написал в своем тюремном дневнике.

«17 января.

...Каждое утро часов в пять всю тюрьму поднимает на ноги раздрающий душу крик русского заключенного. Его содержат в камере при котельной. И в этот утренний час пытаются методически, по заранее составленному графику. Парень возбужден, прикидывается дурачком, объясняет жестами, что не понимает ни слова по-румынски и других языков тоже не знает. А потому делает все невпопад и хоть бы случайно он выполнил какое-то их распоряжение! Охрана измывается над ним и считает слабоумным. Русскому всего восемнадцать лет, но это уже налитой силой голубоглазый богатырь, в его гибких движениях есть что-то от молодого тигра. Я уже который день не спускаю с него глаз и угадываю его удивительнейшую способность скрывать свою истинную суть. Вот палачи силой отнимают у него гимнастерку из плотной ткани цвета хаки, штаны и добротные русские сапоги. Парень сопротивляется, дерется, кричит во весь голос. Вчера его снова избили до полусмерти. Появился в грязном и ветхом тюремном халате. Но это преображение длилось недолго. Прошло немного времени, и смотрю — он опять весел и разгуливает в собственной одежде. Как умудрился — никто не знает.

Направляюсь к нему.

Парень встречает меня настороженно, держится замкнуто, смотрит подозрительно. Но я пытаюсь войти к нему в доверие, разморозить его. Сначала он только сдержанно отвечает на мои вопросы. Переводит разговор пленный лейтенант, довольно хорошо знающий румынский. Через несколько дней парень чуть открывается, рассказывает о себе без моих вопросов, употребляя много румынских слов.

Его зовут Василий Соколов.

Механик.

Его воля обрела прочность стали ростовского завода, где он работал до войны.

Немцы схватили Соколова, чтобы вместе со многими другими отправить в Германию. Под Бузэу он вместе со своим товарищем выломал вагонную решетку и поздно ночью выпрыгнул из поезда на полном ходу. Друг пал от пуль охраны, а Соколов скрылся. К утру на окраине румынского села перемахнул через забор и целые сутки прятался в стоге сена. Потом вышел, встретил хозяев — румын-

ских крестьян. Те вначале испугались появлению неожиданного гостя, потом позвали в дом, накормили.

— Они дали мне молока и хлеба,— говорит Соколов.

Он произносит с особой мелодичностью и благоговением это «хлеба». Потому что тридцать граммов клейкого вещества, которыми угощали узников немцы, не имели ничего общего с хлебом. Затем Василий попал в облаву.

Жандармы бросили его в тюрьму.

...Утром, когда заключенные проталкиваются к умывальникам, встречаю Василия Соколова. Он подмигивает мне и кивает на пустую папиросную коробку, валяющуюся на полу. В раскрытой коробке монета в сто лей. Приходит надзиратель и проворно наклоняется за монетой. Коробка подпрыгивает и выскальзывает из его рук. Ошеломленный надзиратель предпринимает еще одну попытку, но результат тот же — коробка убегает. Заключенные хохочут так, что сотрясаются решетки, а тюремный страж стоит остолбеневший и растерянный. Трюк разгадан: за дверью другой русский держит почти невидимую ниточку, к которой привязана танцующая коробка.

Соколов знает слабости охраны и ставит капканы...

Снова на допрос.

...Только затих разговор о проделке Василия Соколова, а комиссары сигуранцы приносят новость о том, что я должен оставить эту тюрьму и предстать перед бухарестским военно-полевым судом.

— Собирайте свои вещи и следуйте за нами!

Я подчиняюсь, хотя и говорю, что в такую рань, да еще в самом начале недели было бы уместней объявить о моем освобождении.

Снова меня увозят из этого здания, похожего на большую конюшню. Машина долго петляет по кривым улочкам бухарестских предместий. Наконец добираемся до центра. Бульвар Карол и уже знакомые массивные зарешеченные ворота главного управления сигуранцы. Надо оформить документы: меня передают в распоряжение верховного полевого суда. Сюда же были переведены немного раньше все мои товарищи, арестованные вместе со мной. В холодной приемной сигуранцы и в соседних комнатах с застекленными дверями по-прежнему копошится целый рой агентов, комиссаров, инспекторов. Это молодые, здоровые ребята, призванные следить за теми, кто ведет подкоп под основы государства. Какая силища! Сколько полезного физического труда тратится даром! Какую огромную пользу могли бы принести эти молодые люди, совершающие сейчас вольно или невольно столько подлостей!

После всестороннего изучения меня бросают в машину, и снова мчусь по кривым улицам и переулкам к верховному полемому суду. Он размещается в двухэтажном неприветливом особняке на одной из узких бухарестских улочек. Поднимаемся по лестницам на второй этаж, снова спускаемся на первый для оформления переезда сюда. Заходим в кабинет какого-то капитана, который знакомится с нашим делом (это целая библиотека) и очень строго, но сдержанно спрашивает о моем возрасте и занятии, потом интересуется, «соответствует» ли моему положению место, где меня содержали до сих пор. Понимаю, что речь идет о том, чтобы переселить меня сюда, и о том, что придется еще посидеть. Я слышался о прелестях этой тюрьмы и знаю из рассказов, что она хуже моей. Решаюсь просить, чтобы оставили меня в старой камере Мальмезона.

Отпечатки пальцев.

...Снова поднимаемся на второй этаж. Здесь подготовлено все необходимое для предстоящей операции: черная липкая подушечка, на которую надо нажимать пальцами (сначала по очереди каждым, затем тремя, потом всеми разом), грязная тряпка и пузырек с бензином для стирания туши с пальцев. Служащий экономит бензин, а я прошу, чтобы протер мои пальцы еще раз, хотя понимаю, что этот позор не смоешь всем производящимся на свете бензином. Меня охватывает

горячая, жгучая боль. Кипит кровь. Надежды и порывы молодости, напряженный труд и волнения целой жизни, политические схватки, рожденные эпохой и поколением, гордость и человеческое достоинство, присущие моему поколению, не сторонившемуся сложностей, опасности и риска,— все духовные сокровища, накопленные душой, вышвырнуты в одну минуту за борт. Все, чем я был, чем жил, съедено этой унижительной операцией. Худшее невозможно...»

Гроза страдает и растерян. Но это состояние будет продолжаться недолго. Его просьба о возвращении в Мальмезон удовлетворена. Его снова помещают в камеру под номером 43. Узники радуются его возвращению, хотя, как замечает Гроза, они забывают, что возвращению в тюрьму не очень-то следует радоваться.

Его долго не тревожили, и он находит силы прийти в себя, восстановить душевное равновесие. Вспоминает смешные истории. Записывает их в дневнике.

«В Будапештский университет я поступил вместе со своим приятелем Руди Опряном. Жили с ним в одной комнате. К нам часто заходил наш земляк Георге Лупша из села Бэтрына Хунедоарского уезда. Этот крестьянский сын был первым студентом политехнического факультета. Он прекрасно успевал по всем предметам. Среди студентов он был своего рода знаменитостью, и это снискало ему уважение и студентов и преподавателей. Этот красивый, здоровенный парень всегда поражал элегантностью и отличными манерами. Каково же было наше удивление, когда однажды мы увидели его оборванным, в грязных ботинках, со всклокоченной бородой и обожженной щекой. Мы напугались, не понимая, что же с ним приключилось. Парень поспешил успокоить нас — ради экономии денег он палит бороду спичками. Мы сразу догадались о несчастье. Его поместили в отделение для умалишенных при будапештской тюрьме Кёбанья.

Нам было очень жалко своего товарища, и мы добились разрешения посетить больницу. Нас встретил здоровый Георге Лупша в прежней отличной форме. Прибежал к нам, обрадовался, мы обо всем переговорили, все обсудили, как в недавние добрые времена. Перед расставанием он пожаловался:

— Видите, я совсем здоров, а если будут держать еще долго с этими,— он показал на двор, где прогуливались больные,— я сойду с ума. Заберите меня отсюда. Это мне подстроили.

Мы тут же разыскали врача. Я говорил взволнованно, требовал освободить нашего друга.

— А по каким признакам вы определили, что он здоров? — спросил врач.

— По разговору, коснувшемуся самых различных проблем, по нормальному, привычному обращению с нами. Ведь знаем мы его уж сколько времени. Даже сложнейших математических вопросов коснулся наш разговор, и он отвечал, как всегда, с исключительной ясностью.

— А про Японию не заговаривали с ним?

У нас глаза на лоб:

— Про Японию нет...

И врач посоветовал нам в другой раз побеседовать с нашим другом о Японии и уж тогда прийти с нашей просьбой.

Мы пришли через неделю. Снова болтаем обо всем на свете. Все идет как нельзя лучше. А под конец, переглянувшись с Руди, я по совету врача заговариваю о Японии. В это время шла русско-японская война, и переход к этой теме был вполне естествен. Я начал издалека. Дошел до Порт-Артура. Вроде все в порядке. Я взглянул в глаза моему несчастному другу и ужаснулся.

Все последующее произошло молниеносно. Глядя на его перекосившееся лицо, я спросил робко:

— Ты что, не знаешь про Японию?

Охрипшим голосом он позвал своих товарищей по несчастью.

— Вы слышали, о чем он меня спрашивает? — закричал Георге Лупша. — Знаю ли я Японию? А как же мне не знать? Мне, бывшему микадо Июкогамы!



Вам известно, как отняли у меня трон? За мной... артиллерия!.. (Бедный парень был кадетом-артиллеристом.) За мной, артиллерия, вперед!..

Несчастные больные бросились друг на друга. Некоторые умудрились оседлать стулья, а мы уже были у ворот и метались, искали выход. О том, чтобы идти к врачу, уже было забыто».

Каждый из нас говорил Гроза по этому поводу, в определенное время находится во власти одной-единственной идеи, которая отсекает все остальные, и если человек не в состоянии отстранить ее тиранию, она может подчинить себе человека, не даст ему возможность нормально заниматься другими делами. «У меня был хороший друг Григоре Комша, епископ Арада. Это был замечательный человек, общительный, интеллигентный, очень горячий. Беседовать с ним было истинным удовольствием. Но только до определенной темы. Однажды по пути в Бухарест мы очутились в одном купе. Длинная дорога дала возможность поговорить о многом. Беседовали, шутили, и было довольно весело. И вдруг он сам задевает болезненное место: речь зашла о религиозных сектах, особенно волновали его баптисты и адвентисты. Я знал эту его слабость и понял, что дальнейшая часть пути станет истинным мучением. Чтобы спасти положение и избавиться от этого, неожиданно спрашиваю его: «Ты знаешь Японию?» Он превратился в огромный вопросительный знак, а я рассказал ему про давний случай с инокгамским микадо. «А что является моей Японией?» — спросил епископ. «Баптисты», — ответил я».

Один из коллег Грозы по его министерской деятельности таскал в портфеле весьма своеобразную «Японию». Это был проект будущего дворца румынской оперы, которым он потрясал, о чем бы ни заходила речь на Совете министров. Рассказ Грозы о своем несчастном друге заставил коллегу Грозы на некоторое время оставлять этот проект дома.

«Меня поздравляли с победой, — вспоминал Гроза, — но однажды поздно ночью после заседания Совета министров тогдашний глава правительства маршал Авереску спросил как обычно:

— Господа, осталось у нас еще для обсуждения что-нибудь?

И тогда коллега, к удивлению всех присутствующих, сказал несколько, правда, растерянно:

— У меня есть кое-что, но из-за этих господ, которые со своей Японией изображают меня сумасшедшим, я вынужден молчать.

Бедняга понимал, наверное, что чахлая бюджет страны не позволяла тогда возводить что-либо монументальное. Было вообще рискованно начинать что-либо, потому что начать начнешь, а какое правительство завершит это строительство, еще неизвестно...

Как бы там ни было, — заключает Петру Гроза этот рассказ, — но идеи фикс всегда опасны. Подумайте, например, о Гитлере. Он мнит себя Наполеоном. Мы увидим результат... Самое меньшее — тоже какой-нибудь остров Святой Елены».

Это было написано за шестнадцать месяцев до окончания второй мировой войны. А театр оперы и балета в Бухаресте получил новое здание при народном правительстве доктора Петру Грозы.

«24 января.

...Мне передали, что на воле распространился слух, будто я объявил голодовку. Поскольку режиму распространение подобного слуха невыгодно, ко мне допускают нескольких друзей из Ардяля. Они добивались этого свидания со дня моего ареста. И им всюду отказывали. Меня полностью изолировали от внешнего мира, не разрешают свиданий с семьей, запрещена всякая переписка. Во время свидания разговаривать не разрешили. Я пожимаю руки товарищам, поднимаю голову и выпрямляю спину, чтобы они поняли, я не рухнул под тяжестью возложенного на меня креста...»

Петру Грозе не раз приходилось доказывать своим друзьям по «Фронту земледельцев» и особенно безграмотным крестьянам, что он такой же человек, как и они сами, что он не имеет ничего общего с древним Закеем, который отдал свое имущество беднякам и с которым его часто сравнивали.

«Я давно понял: я не из рода мучеников. Сколько ни познаю свою собственную сущность, вывод остается прежним — я обыкновенный человек, во мне нет ничего сверхчеловеческого. И если я стремлюсь к изменению существующей действительности, что сопряжено с риском, то не оттого, что во мне есть «сверхчеловеческое», а от желания придать бытию новое содержание, выходящее за рамки обычных, повседневных забот о своей личной, частной жизни...

Жизнь как монета, у нее две стороны. Одна — материальная, другая — духовная. Кто не считается с этим, теряет равновесие. Проникновение в суть нашего социального предназначения, способность координировать наши собственные интересы с интересами подобных нам относятся к духовной стороне нашего существования. Существует какое-то святое равновесие, к которому мы должны стремиться, для того чтобы иметь право сказать, что мы жили на этой земле. Герои и мученики этой планеты на небосводе человечества. Мы должны довольствоваться тем, что свет, идущий от них, помогает нам обрести истинный смысл нашей собственной жизни.

26 января.

...Рано утром шагаю по скользкому блестящему снегу, искрящемуся под солнечными лучами. Морозно. Ноздри слипаются. Во дворе тюрьмы нет никого, кроме одного венгра, перешедшего границу ради своей любимой и загнанного сюда по обвинению в шпионаже. Его будят очень рано и заставляют колоть дрова для кухни. Он орудует топором и пытается согреть дыханием онемевшие от мороза пальцы. Пожимаем друг другу руки, но мороз не дает останавливаться надолго, надо двигаться. Он торопится побыстрее наколоть дров, а я бегаю по тюремному двору, измеряя знакомый путь от кухни до кучи мусора, у которой даже запахи замерз.

Моя сегодняшняя прогулка внеочередная, не предусмотрена режимом. В последние дни отношение ко мне изменилось к лучшему. Что-то происходит. Могучие властелины сигуранцы, до недавнего времени преисполненные надменности и подозрительности, сейчас, когда проходят мимо меня, подносят руку к шляпе, а некоторые даже интересуются моим самочувствием. Надзиратели то и дело забывают запирать двери моей клетки, и я пользуюсь этим, выхожу из камеры с утра пораньше, не дожидаясь разрешения. Но мучает совесть, что у меня по сравнению с моими товарищами по несчастью появилась такая привилегия.

Когда появляется новая партия заключенных, сопровождаемая мощной охраной церберов из секретной службы, не реагирую на приказание «все по камерам!». Украдкой рассматриваю эту колонну. Посиневшие лица, изуродованные пытками. За что они их так?! Ведь эти люди не уголовники, не злоумышленники. За что?

Заключенные исчезают в ненасытной пасти Мальмезона, а я снова бегаю из конца в конец двора по морозу, под ясным небом.

Это была самая длинная прогулка с тех пор, как я попал в эту тюрьму. Бегал беспрерывно несколько часов. Поставленные наблюдать за мной солдаты в длинных овчинных тулупах сменились за это время дважды.

Чувствую, что восстановил свои силы, и возвращаюсь в камеру, где ожидает остывшая фасоловая баланда. Ложусь на соломенный матрац, который сейчас кажется добрым другом, и проваливаюсь в глубокий сон.

...Тулиу Горуняну наносит мне новый визит.

Вижу его в третий раз. Начинаю глубже понимать этого человека, которого вначале воспринял с недоверием... Наш мир — это переплетение восточного хитроумия с западной ловкостью и расчетливостью. А здесь, в тюрьме, даже если за плечами у тебя опыт целой жизни, сколько ни старайся, очень трудно установить, кто перед тобой — враг или друг. Горуняну — элгантен, с пронзительными чер-

ными глазами и серебром на висках — пытается сразу же проникнуть в твою душу. Представился, сообщив сразу же все свои звания. Высший офицер, в отставке, майор-магистрат, работает при Совете министров, сотрудничает с Кристеску, грозным и всемогущим шефом государственной сигуранцы, в то же время он доверенное лицо главы государства... В мирное время он председатель апелляционного суда Тимишоары.

Он, конечно, не мой следователь, но как магистрат имеет право посещать тюрьмы, ему всюду открыты двери, поэтому решил навесить меня на правах частного лица, разумеется, предварительно поставив в известность секретную службу тюрьмы.

У меня такое впечатление, будто я с ним уже давно знаком, где-то с ним виделся. Так же, мне кажется, чувствует себя и он. Но наша беседа протекает очень напряженно, требует и от меня и от него серьезных умственных усилий. «Маршал, — говорит он, — не сомневается в том, что Гроза большой патриот. но... остаются детали, требующие уточнения, остаются довольно еще сложные процедуры».

С большим усердием и тщанием Тулиу Горуняну ведет свою роль в сложнейшем государственном механизме. Он не стремится направлять события или формировать линию, а просто ограничивается выполнением функций тончайшей детали. В то же время он выполняет эти функции как человек, не желающий быть только инструментом в чужих руках, и поэтому он сохранил в своем сердце точку гуманизма. В системе людей-винтиков, которые, независимо от того, велики они или ничтожны, механизированы до скотоподобия, лакейски преданны и окованы в своем назначении охранников существующего режима, этот магистрат предстает таким разительным исключением, что меня уже больше занимает его личность, чем его миссия...

Перед уходом ночной гость говорит:

— Во всяком случае, могу сказать, что вы пользуетесь огромной популярностью. Ежедневно приходят требования от отдельных граждан и целых групп из всех провинций страны о вашем освобождении. Все пишут о том, какое место вы занимали в общественной жизни, о вашей доброте, принципиальности, смелости и гостеприимстве...»

И все же перспектива освобождения Грозы еще не ясна. Так ему кажется.

«Вместе с тем земля все же вертится. Я сохраню веру в свою судьбу. Ночной гость исчезает, и от его визита остается только скрежет задвинутого засова и закрывающегося замка.

Наступает следующая ночь.

28 января.

...Ночью, часа в три, меня будит страшный стук в дверь этажа, она прямо возле моей камеры, и потому любое движение в тюрьме мне заметно. Опять случилось что-то из ряда вон выходящее. В коридоре гремят голоса самых жестоких палачей — Дырли и Брашовяну. Особенно старается Дырля. Его кровожадность снискала мрачную славу, и все дрожат, едва эта бестия является после полночи, чтобы увести кого-нибудь в пыточную камеру, разместившуюся в страшном здании на бульваре Паке Протополеску. Он же доставляет оттуда новых заключенных. Я узнаю его по тому, как он захлопывает двери своего фургона для транспортировки заключенных.

Дырля — изувер. Брашовяну — горлодер. Они оба стараются, чтобы их было слышно по всем коридорам, чтобы ни единая душа, заточенная в этом скорбном здании, не вздумала сомкнуть глаза. Громадный и визгливый Брашовяну шагает вдоль коридоров, останавливается перед каждой камерой, грохочет сапогом в дверь и орет на сонных надзирателей: «Здесь кто у тебя сидит?.. А здесь?.. Этого выведи ко мне!.. Этого переведи!.. Что, не знаешь кого охраняешь? А ну, марш, пес, сюда!..» Только охрана, состоящая из солдат, шагает в обычном ритме.

Они не подчинены инспекторам и смотрят на них с безразличием людей, вкушивших ужасы фронта. Наконец ночной обход заканчивается и палачи увозят с собой группу арестованных, чтобы подвергнуть их новой серии пыток. Среди увезенных и Мирон Беля. Этот молодой, еще недавно могучий богатырь стал «фаворитом» палачей. Его каждую ночь увозят, а утром привозят истерзанного, с ввалившимися глазами. Он все время под особым надзором, и даже в умывальню его приводят в сопровождении двух конвоиров с отомкнутыми штыками карабинов. Ему удалось шепнуть мне:

— Подвергают ужаснейшим пыткам.

Потом я узнаю условный беглый язык тюрьмы (мимолетные фразы, секундные встречи, слова солдат, брошенные во время раздачи тюремной бурды), что моих друзей скатывают клубком, натягивают на ноги толстые войлочные чулки и бьют по подошвам, засовывают в трахею резиновую трубку и раздувают легкие, и все в таком же роде. Могучий, крепкий Мирон Беля на днях сорвал веревки, которыми был опутан, избил четырех комиссаров и разнес в клочья пыточную аппаратуру. Но к четырем комиссарам поспешили на помощь другие, и Мирона били, пока он совсем не потерял сознание. Он плавал в крови, а какой-то человеколюбивый палач упрекнул другого:

— Видишь, убил его. Говорил тебе, что здоровенные гораздо хуже переносят пытки.

Мирона Белью облили холодной водой, привели в чувство, чтобы сегодня увести снова туда же...

Начинается новый день. Нас выводят к умывальнику. Школьный инспектор Симион пытался пробраться к открытому окну, чтобы набрать в легкие хоть несколько глотков свежего воздуха. И вдруг кричит:

— Смотрите!

— Что?

— Выходит!

— Что?

Возмущенный Симион орет еще громче:

— Солнце! Красное солнце!

— Ну и что? Каким же должно быть оно, солнце?

И Симион отвечает раздраженно:

— А почему не всходить ему синим?

Смотрим друг на друга — каждый по-своему понимает это — и пускаем на полную мощность воду...

Перед обедом, когда ждали сигнала на прогулку, раздался голос, повторенный затем перед каждой камерой: до новых распоряжений никто никуда не выйдет. Отменены все посещения.

Узнаем, в чем дело. Это ужесточение режима произошло потому, что у поляков, вывезенных недавно отсюда в лагерь Тыргу-Жиу, найдено оружие, которое они прятали здесь, в этой тюрьме. Дирекция тюрьмы получила выговор, инспектора наказаны, надзиратели избиты, а нам — заключенным — ужесточение режима.

30 января.

...Сегодня я встретился с Джикэ. Он заметил, что я пишу, и ему, видно, очень хочется, чтобы я его увековечил. Такой у него характер. Я за ним наблюдаю давно... Это офицер румынской армии, участник зимней кампании в Крыму и на Кавказе, попал в плен. Это один из очень многих румын, которых военная буря бросила в незнакомые края... Легко предвидеть, что огромная армия военнопленных принесет знания и опыт из области совсем неизвестной тем, которые остались дома... Думая обо всем этом, я изучаю Джикэ. Он с большой охотой рассказывает о том, насколько гуманно и неожиданно мягко обходятся с румынскими военнопленными в СССР. Как только их доставляют в тыл, помещают в лагеря, их тщательно изучают, стараются выяснить их взгляды, их отношение к войне. Это своеобразный карантин, после которого происходит отбор и многим предоставляется право получить теоретические и практические знания.

— У меня прояснился мозг,— говорит он.— Было такое чувство, будто солнце поднималось не из-за горизонта, а всходило прямо из моего мозга! Что я видел там, в России, это невероятно, великолепно. Там культура, цивилизация, одним словом — свет!

Полный решимости служить делу румыно-советского сближения, Джиэк попросил, чтобы его сбросили на парашюте на территорию Румынии. Его сбрасывают в село неподалеку от города Бузэу. Он встречает там местного примаря и рассказывает ему хорошо продуманную версию о своем прошлом, но примарь приглашает начальника жандармского поста, и тот отправляет Джиэка в Бухарест. Его версия здесь не проходит, Джиэка обвиняют в шпионаже и бросают в секретное отделение этой тюрьмы рядом со мной. Его допрашивают, изучают, но пока что не судят. Возможно, сигуранца решила воспользоваться знаниями и опытом, приобретенными Джиэком в Советском Союзе. Считаюсь с этим, веду разговор с большой осторожностью».

Вскоре «взбунтсвавшего дака» освобождают из Мальмезона.

Зимним вечером 1944 года железные ворота тюрьмы открываются и Петру Гроза впервые за многие недели на воле. Поздно ночью он входит в знакомый номер отеля «Атене палас». На той стороне площади — королевский дворец. Темно, ни единого огонька. Дворец или пуст, или окна затемнены. Слышны только шаги солдат королевской гвардии — они охраняют этот каменный оплот румынской монархии.

В час ночи к Петру Грозе пришли узнавшие о его освобождении друзья, но задержались ненадолго — бывший узник Мальмезона должен отдыхать. Отвыкший от обычной постели, он заснул только к утру.

В полдень принесли пакет от Скарлата Каллимаки, он в лагере для политзаключенных в Тыргу-Жиу и прислал номер старой газеты «Колокол». В газете передовая статья — «Падение Вавилона». К ней приложена записка. «В своем падении Вавилон румынской буржуазии,— писал Каллимаки,— может погрести под своими развалинами многих. Вы, доктор, уцелели. Мы, узники Тыргу-Жиу, гордимся Вами. Выше голову, непокоренный дак из Девы, выше!»

Я привел на этих страницах только небольшую часть дневниковых записей Петру Грозы, сделанных им зимой 1943/44 года в тюрьме Мальмезон. Румынские правители, чувствуя, что возмездие стучится в дверь, не осмелились казнить Грозу. В этом немаловажную роль сыграл тот факт, что в это время Красная Армия, очищая родную землю от оккупантов, приближалась к советско-румынской границе.

Петру Гроза возвратился в Деву и начал борьбу за освобождение из тюрем своих товарищей. Он делал все возможное, чтобы помочь патриотическим силам, которые во главе с коммунистической партией готовили народ к свержению ненавистой клики Антонеску.

Вавилон румынской буржуазии шел к неминуемой гибели.

*(Окончание следует)*



---

---

## ИЗ ЮГОСЛАВСКОЙ ПОЭЗИИ

★

ДЖОКО СТОИЧ

### *Непокоренный город*

*Отрывки из поэмы о Крагуеваце*

1

Топают, вооружившись до зубов,  
Предвкушая преступления.  
Образованны, уверены в себе.  
Взяли карту маленькой страны,  
Чтоб отметить на ней памятные даты —  
Взятие каждого города, каждой деревни.  
С оскалившимися псами, бросающимися на людей,  
С сияющими сапогами,  
С бодрым маршем,  
С начищенным оружием.  
Предвидев все, забыли лишь одно:  
Этот народ не боится смерти!

Продумали регламент дня победы,  
Заказан был торжественный обед,  
Из покоренных стран послали письма  
Женам, отцам, матерям и друзьям,  
Точно рассчитав, сколько человек  
Можно убить сразу.  
Изготовили много пушек и самолетов,  
В зеркале видели сверхчеловека,  
Привезли побольше сапог, перчаток, орденов,  
Возвели виселицы, лагеря, радиостанции.  
Предвидев все, забыли лишь одно:  
Этот народ не боится смерти!

На обозрение вывесили карту  
И показали продвижение войск.  
Прицепили знамена со свастикой,  
Подвезли боеприпасы, поставили часовых,  
На дорогах установили указатели;  
Покорным милосердьем обещав,  
Бунтовщикам возмездьем пригрозили,  
Побелили ограду комендатуры,  
Напечатали воззвания по-сербски, кириллицей,

С призывом покориться,  
 Европе навязан новый порядок.  
 Предвидев все, забыли лишь одно:  
 Этот народ не боится смерти!

## 2

Люди с поцелуем свободы на челе,  
 Люди, которых нельзя уничтожить,  
 Как воздух, как доброе слово,  
 Имена говорят нам о них:  
 Слободан от свободы,  
 Гордана от гордости,  
 Живан от жизни,  
 Радован от радости,  
 Стоян от постоянства,  
 Светлана от света,  
 Милан от милости,  
 Радисав от работы,  
 Надежда от надежды,  
 Драголюб от любви.

## 3

Мост от человека к человеку есть свобода.  
 Смерть лишь случайная боль.  
 Смерть — конец бесконечности жизни,  
 Смерть — это капля мрака,  
 Уносящаяся в поднебесье.

Перевела О. ОЛЕНИНА.

---

 ТАНАСИЕ МЛАДЕНОВИЧ

*Из поэмы «Уста земли»*

Святой памяти отца Милана и брата Андры.

С тенями неба и земли вы сливаетесь.  
 С тысячами других теней  
 В семье усопших.  
 Запад с Востоком сходится на месте, где вы легли,  
 Север же с Югом — где времена года всегда звенят  
 Колоколами своими погребальными.  
 Гул их сменяет солнца ход.

Из могил ваших гора бы выросла.  
 Лес бы взошел, дотянувшись корнями до вас.  
 И источники  
 Из крови вашей забили бы...  
 Реквием — по вас и вашим братьям во тьме  
 Под этим пустым небом, над этой смолистой глиной!  
 Реквием по тем, которые, падая ничком,  
 Целовали иссохшие губы  
 Нашей матери опустевшей!

Реквием матери, которой больше нет,  
 Чьи слезы горячие — грозди звезд  
 На ваших разбросанных могилах.

Реквием —  
 Пока вы с тенями неба и земли сливаетесь,  
 Горьким светом озаренные навсегда  
 В свинцовой и суровой семье мертвых!

Перевел АНДРЕЙ ТАРАСОВ.

## СЛАВКО ВУКОСЛАВЛЕВИЧ

### *Воины*

Они приходили и уходили, они как мост  
 всегда между двумя городами,  
 и здесь только что прошли,  
 достаточно взрослые для тяжести,  
 достаточно молодые для вечности.

Слишком усталые, чтобы заснуть,  
 вон они, все еще маршируют  
 по долинам и извилинам дорог  
 за своей мечтой,  
 за своей манящей звездой.

Перевела М. ЛАЛИЧ.

## ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ

### *Горы*

Куда глядят упорно эти горы?  
 Подпирая друг друга плечами,  
 вековые вершины  
 суетятся в теснине,  
 меньших большие хребты оседлали,  
 дальние ближних толкают локтями —  
 целые цепи на цыпочки встали.

Куда они глядят неутомимо?  
 Как будто вдруг решили непременно  
 увидеть театра звездного спектакль,  
 трагедию миров необозримых.  
 Иль дальних строчек звон несокрушимый  
 им плохо слышен?

Может, им видится новых миров сотворенье —  
 где-то рыбак вдоль залива челнок направляет...  
 Может, пророчеству горы внимают в волненьи,  
 видя, как снова безмолвно звезда погибает.

Может быть, видят они в том отдаленном виденьи  
 то, что мы, люди, боимся увидеть,



то, что увидел лишь северный камень,  
что он как тайну теперь сохраняет?

Может быть, где-то мерцает неведомый пламень  
и зажигает леса  
неизвестной поныне планеты.  
Что-то вершины ведь к небу вздымает?

Перевела О. ОЛЕНИНА.

## РАДОВАН ЗОГОВИЧ

### *Инструкция инструктору*

Ну что же, осень так осень — согласно ее законам:  
ветшать, увядать и гаснуть... Но можно в нее войти нам,  
как входит каштан могучий, осенью осененный,  
как входит багрец, полыхнувший по ясеням и осинам.

Так просто вступить в тебя, осень, как тот каштан на откосе,  
как стройный и светлый ясьень в ельнике темно-зеленом,  
как та осина в долине из желтых пятен и линий  
над быстротекущей рекою, — неужто же не дано нам?

Как ясьень, купаясь в охре, прощаясь с минувшим летом,  
свою лесную поляну одарит подарком щедрым —  
листвы оранжевым цветом, как будто солнечным светом,  
словно все, что дарило небо, земным возвращая недрам...

И поляна становится шире, расстилается как рогожа —  
и ее освещает солнце, на ней валяются дети.  
И текут глубокие воды, волнуя, будя, тревожа.  
В эти воды, полные рыбы, золотые брошены сети.

Поезда пробегают мимо, и поляна дарит вагонам,  
всем окошкам — по изумленью, по улыбке, как по дукату...  
Стань багрянцем, хранящим верность мятежам, боям и  
знаменам,  
чтобы люди не забывали ни одну огневую дату.

Как береза вступай в свою осень, разожги, раскали свой факел!  
Как два тополя на Казаре — два огня, два костра, два брата.  
Даже торф горит, умирая жарко греет, светит во мраке.  
Возвращай же все солнце жизни, что взаймы получил когда-то!

### *Не жалейте электроэнергии!*

Бывает, что одно окно, всего одно, потухнет,  
и целый город в темноту, в смятенье погрузится,  
и нечем в городе дышать, и весь он вот-вот рухнет,  
и у меня в зобу дрожит испуганная птица.

Поэтому, придя домой, включай огонь скорее,  
чтоб кислорода и тепла хватало людям в мире,

чтоб мне зажглось твое окно, бодря меня и грея,  
чтобы я знал: ты есть, ты там, в том доме, в той квартире.

Поэтому оставь огонь, три ярких строчки света,  
когда тебя и дома нет, и комната — пустая,  
чтоб думал я, бродя один: любимого поэта  
она, забравшись на тахту, задумчиво листает.

Не выключай в окошке свет, не будь такой жестокой.  
Мне угрожает без него бандитский нож, тревога...  
И, право, стоит эта боль куда дешевле тока,  
а мне б дышать, бродить, любить — неужто это много?

А что останется, когда погаснет этот факел?  
Мне нечем станет вдруг дышать... Во тьму весь город канет...  
И я не буду знать, где ты, один в крошечном мраке.  
И утро больше никогда на свете не настанет.

Перевела МАРГАРИТА АЛИГЕР.

## ИЗЕТ САРАЙЛИЧ

### *Ваня, это все был я*

Ты и впрямь веришь,  
что тот сумасшедший творец рубаи  
был человек, звавшийся — Омар Хайям?  
Ваня, нет, это был я!  
Пушкин, в которого стрелял Дантес,  
это тоже был я.  
Маяковский, что разговаривал с грядущим,  
это — тоже я.  
В 1933 году меня звали Эрнст Толер —  
мои книги пылали на костре.  
Я был тогда как дома во всем мире,  
кроме Германии...  
Амундсен и Лорка, Чкалов и Ковачич —  
это все я, Ваня!  
Ты слишком уж веришь тому, что  
сказано в книге,  
а я говорю тебе:  
всякий, кто жил до меня на свете,  
это все был — я!

### *Быть автором первого стихотворенья*

Быть автором первого стихотворенья.  
Всем широко открыть свою душу.  
Вечером средь метельного круженья  
со всей землею распевать «Катюшу»...  
Жить ничего еще не имея.  
Ни в одной из антологий  
не занимать места.  
Слышать опять: «Подожди, паренек!»

Я сейчас бы ждал и пять лет  
и триста лет!  
Входить вместе с тобой в фойе театра  
на первую для нас премьеру «Тóски».  
Ничего не иметь позади!  
Даже воспоминаний о Москве!..  
Но вот это-то и невозможно.  
Отсюда и грусть,  
что так остра..  
Все меньше, все меньше остается на Завтра,  
все больше, все больше  
уходит во Вчера.

Перевел Е. ВИНУКUROV.

### ГУСТАВ КРКЛЕЦ

## *Теперь я знаю*

Теперь я знаю, заря —  
красный отблеск, выплеснувшийся в небо,  
глубокая боль, сгустившаяся в слезе,  
холодная капля на пористой коже.

Свирель из сказки, что будила во сне  
и вызывала давний звук из глубокого забытья,  
прижимая к тебе жадные уста,  
заливала дубраву пастушьей песней.

Заблестела первая солнечная капля на листке,  
и разнесся первый шелест затрепетавшей травы,  
и сердце птицы в страхе теряет рассудок,  
и из влажного комка земли выползает червяк.

Теперь я знаю, заря —  
серебряный кубок, рассыпавшийся, разлетевшийся вдребезги,  
золотая пыль, что осыпалась с шипов терновника,  
залитые багрянцем кустарники.

Дрожь, дыханье, первый шаг, движенье,  
гармония мощи в таинственной зачатии,  
мурашки, пронизывающие до мозга костей,  
темень на излете,  
движенье, трепет, шаг и поворот.

Да, это заря,  
когда отплывает ночь —  
черный якорь, растворенный во мраке,  
расширяющаяся дорога, раскорчеванная стезя,  
первый клич освобожденного утра!

Перевел ВЛАДИМИР РАВИЧ.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

А. ПОЛТОРАК



## НЮРНБЕРГ И СОВРЕМЕННОСТЬ

«ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ» ПРОТИВ НЮРНБЕРГА

**Н**юрнберг. Конец августа 1946 года. Тридцать лет назад. Здесь заседал Международный военный трибунал, рассматривая дело главных немецких военных преступников.

Маховой вал правосудия делал последние обороты. Многомесячный судебный процесс шел к концу. Уже допрошены все подсудимые. Дали показания многочисленные свидетели. Обвинители уже предъявили то, что у юристов называется вещественными доказательствами. Прозвучали уже речи сторон в процессе — обвинители и защитники в своих речах подвели итоги процесса и пришли, разумеется, далеко не к одинаковым выводам. Сказали свои последние слова подсудимые. Суд удалился на совещание. Был объявлен перерыв сроком на один месяц — тридцать дней понадобилось выдающимся юристам мира, чтобы измерить на языке права чудовищные по масштабу и отвратительные по своему характеру преступления фашизма.

К 30 сентября 1946 года Международный военный трибунал закончил свою работу и был составлен и подписан приговор истории.

Как сейчас в памяти возникает картина этого исторического дня 1 октября 1946 года. В зале суда — поистине вавилонское столпотворение — собрались представители почти всех стран мира.

Около половины десятого занимают свои места обвинители и адвокаты. Затем появляются стенографы и переводчики. Происходит опробование системы перевода. В застекленных радиобаинах толятся техники. Галерея прессы забита до отказа. В полной боевой готовности фотографы и кинооператоры. Вводят подсудимых. Они выглядят как-то особенно напряженными. Похоже на то, что на скамью уселись люди совершенно незнакомые друг с другом.

— Встать! Суд идет! — торжественно объявляет маршал суда.

Итак, Нюрнбергский процесс вступил в свою последнюю стадию.

Из совещательной комнаты выходят судьи. В течение двух дней им придется, сменяя друг друга, читать текст приговора.

Нюрнберг! Этот город хорошо был известен в истории Европы. Девятьсот лет его существования — немалый срок для того, чтобы город занял совершенно определенное место в этой истории. С именем этого города связаны художник Дюрер, скульптор Крафт, поэт и композитор Ганс Сакс. Это Нюрнберг снабжал Европу компасами и измерительными приборами. Часы, обыкновенные карманные часы были впервые сделаны здесь Питером Хенлейном. Это не помешало гитлеровцам четыре столетия спустя попытаться в том же самом городе остановить вечный бег времени и повернуть вспять колесо прогресса.

Но Нюрнберг стал известен далеко не только вкладом, который этот старинный город внес в развитие науки и культуры. Нюрнберг в германской истории стал и символом захватнической политики «Священной Римской империи». Именно в этом городе собирались первые имперские сеймы. Именно этот город любил и жаловал

Фридрих I Барбаросса. Нюрнберг стал партийной столицей нацистов, именно здесь раздавались первые истошные призывы Гитлера к войне, к убийствам, к разрушению.

Здесь, в этом городе, тридцать лет назад в зашторенном от света зале окружного суда был оглашен приговор Международного военного трибунала.

С тех пор Нюрнберг стал известен новым поколениям людей больше как политическое понятие, нежели как один из многочисленных городов Германии.

Нюрнберг стал четким обозначением совершенно определенной политики, не только обозначением. Он стал означать не только содержание такой политики, он стал олицетворением ответственности за такую политику. Кажется, Бернье как-то сказал, что история никогда не делает королям мат, предварительно не объявив им до этого шаха. В этом смысле Нюрнбергский приговор являлся для будущего именно таким шахом, реально нависающей угрозой для всех, кто позавидовал бы лаврам нюрнбергских подсудимых.

Нюрнберг стал означать конец чего-то привычного в политике и наступление чего-то совсем необычного.

И это необычное было настолько разительным, настолько опасным, что не только не вызвало восторг в определенных кругах на Западе, но, напротив, само слово «Нюрнберг» стало постепенно обрастать такими эпитетами, которые придали ему самый непристойный смысл.

Он, оказывается, стал синонимом самой чудовищной несправедливости, воплощением политической безнравственности, «подлейшей фальсификацией истории», замаскированным фиговым листком, «юридическим убийством». И так уже тридцать лет плывет в огромном потоке западной пропаганды траурно-колокольный звон. И плетется за нюрнбергским катафалком процессия наемных плакальчиков, и хулят они Нюрнберг, и клянут они судей нюрнбергских за убиенных ими святых великомучеников Геринга и Риббентропа, Кейтеля и Йодля и многих других, ставших жертвой мстительных союзников.

Тридцать лет взывают к небу эти плакальчики, указуя перстом на виновников нюрнбергской трагедии, призывая бога в свидетели, что строгого суда заслуживают все, кто имел хотя бы незначительное касательство к этому «нюрнбергскому побоищу». И предают тридцать лет анафеме прежде всего советских обвинителей и судей. Это они были теми коварными искусителями, которые сумели внушить свою красную, марксистскую идею Западу и соблазнили его на судебную расправу в Нюрнберге. И удивляться только можно, как это опытные юристы по обе стороны Атлантики, как это искушенные политики Альбиона клюнули на московскую приманку и согласились сесть за один судейский стол с этими большевиками.

Тридцать лет назад началась методичный обстрел изо всех пропагандистских калибров всех, кто так беззаботно, так легкомысленно дал согласие участвовать в «нюрнбергском представлении».

Впрочем, надо отдать справедливость некоторым крупным юристам Запада — они все же понимали, что реакция на их деятельность в Нюрнберге будет далеко не однозначной. Еще шел процесс, а в американской печати уже не стеснялись в выборе эпитетов по адресу обвинителей, которых открыто уже упрекали в том, что они согласились участвовать в подрыве «основных устоев нашей социальной жизни». Именно в этом журнал «Нейшн» обвинял главного обвинителя от США на Нюрнбергском процессе Роберта Джексона. Попало и генералу Телфорду Тэйлору, который был главным обвинителем США на последующих двенадцати процессах в Нюрнберге. Ведь это он обвинял там германский генеральный штаб в преступлениях, это он произносил там громовые речи по адресу германских концернов, которые, по его глубокому убеждению, играли активнейшую роль в политике гитлеровской Германии.

Но совсем уж не повезло Роберту Кемпнеру, помощнику главного американского обвинителя на Нюрнбергском процессе. После окончания процесса он вернулся к себе на родину, в Западную Германию, откуда он вынужден был эмигрировать в первые же месяцы прихода фашистов к власти. И вот через двадцать лет после Нюрнбергского процесса в западногерманской прессе был опубликован весьма примечательный для политической обстановки реваншистского угара тех лет документ. Назывался он «Обвинительный акт» и опубликован был в газете «Нойе национал-цайтунг унд зольдэтен-

цайтунг» 18 июня 1965 года. Автор этого документа — генерал-полковник нацистского вермахта в отставке Альфред Келлер. «Железный Келлер», как назвала его газета; решил, что пора уже наступать, а не ограничиваться статьями и словесными угрозами в адрес тех, кто требует наказания военных преступников. Сколько можно убеждать людей, что последнее слово не было сказано тогда, когда провалился трап под ногами повешенных в Нюрнберге и захлопнулись двери тюрьмы Шпандау, скрывая за собой «несчастных узников позорного нюрнбергского судилища».

Пора наконец заткнуть глотку, раздавить всех тех, кто в Нюрнберге посмел посягнуть на благородные имена германских военных руководителей.

Так в воспаленном реваншистском мозгу генерал-полковника в отставке Альфреда Келлера появилась идея суда над бывшим помощником главного американского обвинителя на Нюрнбергском процессе Робертом Кемпнером.

Келлер хотел, чтобы обвинительный акт против Кемпнера прозвучал как обвинительный акт против Нюрнбергского процесса. Поэтому он пишет в нем, что Международный трибунал «вынес бесчеловечный приговор», что Роберт Кемпнер виноват в том, что потребовал смертной казни для Кейтеля и Йодля, людей, олицетворявших «солдатскую верность долгу», «людей чести» и т. д. и т. п. Келлер пытался представить суд в Нюрнберге как «юридическую расправу» победителей над побежденными, и вина «подсудимого» Роберта Кемпнера состоит и в том, что, «будучи юристом высокого класса, он должен был понимать, что не имел права участвовать в деятельности суда такого вопиющего к небесам состава. Однако обвиняемый сознательно не почитался с этими соображениями, и в этом его вина».

Дело, конечно, не только в одном этом Келлере — в течение многих лет такие, как Келлер, и в Западной Германии, и в ряде других крупных империалистических стран только то и делают, что пытаются подорвать авторитет Нюрнбергского процесса. Нюрнберг, оказывается, грубо нарушил основные принципы отношений в «мире свободного предпринимательства». Английский юрист и политический деятель Ф. Мозм в своей книге о процессе пишет, что нюрнбергский приговор был «отвратительным, несправедливым и политически нелепым». А сенатор Х. Лангер уже прямо ставит точки над «и», объяснив, что Нюрнбергский процесс был «коммунистическим заговором», что сама идея его родилась в Москве и что под диктовку русских и были составлены основные нюрнбергские документы, основная цель которых идеологически подорвать основные устои западного мира.

Книга за книгой выходили и продолжают выходить на Западе, особенно в ФРГ, и лейтмотив их: Нюрнбергский процесс — это незаконный процесс. «Нюрнбергская ошибка» — так называется книга Е. Давидсона, вышедшая в 1973 году, и автор ее тщится доказать, что союзники, конечно же, не имели юридических оснований судить гитлеровских руководителей за агрессию.

В чем же дело? Чем так провинился Нюрнбергский процесс перед сенатором Лангером и его единомышленниками? Почему на протяжении многих лет его подвергают обстрелу отравленными стрелами?

Человечество пережило только за последних два века сотни захватнических войн. И с каждой новой войной преступления, ее сопровождавшие, становились все более тяжкими. Но, несмотря на это, не было еще случая, когда бы виновники агрессии привлекались к ответу.

Сколько захватнических войн было развязано в Европе Наполеоном! Сколько городов и сел превратил он в развалины! Хорошо известна комедия, которую разыграла Антанта в 1918 году, на словах вознамерившаяся судить Вильгельма II, а на деле давшая ему возможность бежать в Голландию и прожить там в роскоши более двадцати лет. Как раз до той поры, когда Гитлер разгромил Францию. Идеологи и политики империализма отлично сознавали, что значит установить на будущее прецедент для уголовной ответственности за агрессию. Политик должен смотреть вперед, а не назад. Вчера народы потребовали судить Вильгельма II, а завтра они потребуют нового суда. Над кем? Никто этого наперед сказать не может.

Безнаказанность агрессоров во все прошлые времена, безусловно, поощряла нацистов к новым агрессиям. До поры до времени они смехом встречали предупреждения стран антигитлеровской коалиции о возмездии. Гитлер был убежден, что навсегда со-

хранится в силе пессимистическое суждение Паскаля о человеческой справедливости в сфере международных отношений:

«Справедливость является предметом споров. Силу легко узнать, она неоспорима. Вот почему не смогли сделать так, чтобы справедливое было сильным, а сделали сильное справедливым».

На языке международного права это выглядело предельно просто.

...Поспорили, повздорили два государства. Повздорили и так и не нашли путей для примирения. То ли аппетиты одного не устраивали другого, то ли это другое испытывало искренний интерес к некоторым тщательно охраняемым интересам первого. Обе стороны решили — надо испробовать силу для решения возникшего спора. И вооруженные до зубов армии спорящих сторон обрушились друг на друга, уничтожая, разрушая, убивая все на своем пути. Гибли миллионы людей, расстреливались не только люди — умирали под развалинами целые города. И что же? Кто-то когда-то сомневался в праве на такие способы разрешения споров?

Любое государство или любая группа государств смогли обрушиться на другие государства, поработить их в случае победы, захватить их территории, целиком присвоить или разделить с другими странами. И все это вполне укладывалось в нормы межгосударственных отношений — война считалась самым законным, самым нормальным средством международной политики и самым привычным.

И вдруг — такой диссонанс! В Нюрнберге собираются судить именно за то, что веками считалось вполне дозволенным. И куда бы ни шло, если бы судили государство, требовали бы политической ответственности, на худой конец — материального возмещения причиненного ущерба. Здесь как-то можно было бы сторговаться. Так ведь нет, в Нюрнберге не соглашаются на это — государство, говорят там, это абстрактная категория, а судить надо людей, которые руководят государствами и втягивают их в агрессивные войны.

Впрочем, эта зловредная тенденция, эта нить Ариадны тянется к гораздо более раннему событию — к Декрету о мире, изданному в России в 1917 году. Именно в этом документе впервые в истории было торжественно провозглашено, что агрессивная война — это не божественное право государств, а, напротив, величайшее преступление против человечества. Нюрнберг воплотил эту мысль на деле и продемонстрировал то важное историческое обстоятельство, что народы твердо решили справедливое сделать сильным. Для начала была изменена резиденция нацистского правительства: из пышных дворцов гитлеровские министры были переселены на жесткую скамью подсудимых. Здесь уже было не до смеха. В первый же день процесса им дали почувствовать, что агрессия признана тягчайшим международным преступлением, а в последний его день все человечество узнало, что в знак уважения к закону, пострадавшему народами, Международный трибунал приговорил главных гитлеровских приспешников к повешению. Таким был судебный эпилог второй мировой войны.

Так было положено начало новой эры в международных отношениях. Диалектически, однако, это было не только началом, но и концом. Нюрнбергский эпилог означал конец исторической безнаказанности агрессии и агрессоров.

Но этому эпилогу предшествовал большой исторический пролог, о котором, может быть, я бы и не вспомнил, если бы некоторые обстоятельства этого не требовали.

## ПРОЛОГ

В ноябре 1975 года мне пришлось прочесть в австрийской газете «Ди фурхе» совсем уж сенсационное сообщение. Оказывается, Советский Союз был против проведения Нюрнбергского процесса. В номере от 22 ноября 1975 года газета сообщила читателю, что на Тегеранской конференции в декабре 1943 года «с невероятной по тем временам силой столкнулись между собой точки зрения Сталина и Черчилля».

И конечно же, Советскому Союзу газета приписала, что это он не хотел процесса, что, оказывается, он выступал за «суд карательного отряда». Впрочем, «Ди фурхе» не единственный орган печати, который взгромоздил эту ложь. Еще до сенсационных открытий австрийской газеты западногерманский журнал «Штерн» уверил своих читателей, что советских представителей летом 1945 года якобы чуть ли не ар-

каном тащили в Лондон, где разрабатывался Устав Международного военного трибунала. И, оказывается, только после того как американцы бросили атомные бомбы на японские города, русские склонились перед силой... и быстро подписали Устав трибунала.

Я прочел эти слова, и на память мне пришла беседа с советским судьей на Нюрнбергском процессе Ионой Тимофеевичем Никитченко. Я ему как-то рассказал об этой имеющей хождение на Западе версии. Он улыбнулся, закурил:

— Вы помните, был такой в Англии министр иностранных дел Эрнест Бевин. Я познакомился с ним в Лондоне, когда приехал туда советским представителем на совещание по разработке Устава Международного военного трибунала. В первый же день он устроил прием для делегатов. Вы знаете, что он мне сказал?

Сделав небольшую паузу, Иона Тимофеевич продолжал:

— Он пожал мне руку, приветствовал с прибытием в Лондон. А потом как бы невзначай заметил: «Это хорошо, что вы приехали, генерал. Но поверьте, гитлеровские министры не стоят того, чтобы на них тратить слишком много времени. Расстрелять бы их всех и время на суд не тратить».

Такую реплику человека, которому предстояло несколько лет руководить внешней политикой Великобритании, можно было расценивать как чисто эмоциональную и мимолетную, как лишённую официального характера, если бы она не принадлежала министру иностранных дел британского правительства.

Иона Тимофеевич выразил сожаление, что в своей книге о Нюрнбергском процессе я не исследовал вопроса об истории подготовки этого процесса.

Прошло несколько лет и этот вакуум был хорошо заполнен в исторической науке. Н. С. Лебедева, аспирант Института всеобщей истории АН СССР, положила немало труда, чтобы внести ясность во все вопросы, связанные с историей подготовки Нюрнбергского процесса. Как ее научный руководитель, я был безмерно рад, что книга ее, которая так и называется «Подготовка Нюрнбергского процесса», получила большой успех у читателя, и не только в нашей стране. С разрешения автора я и хочу привести несколько фактов, а вернее документов, чья ценность очевидна еще и потому, что они доступны всем.

Уже в первых же нотках Советского правительства в 1941 году содержалась мысль о неотвратимом возмездии гитлеровским главарям — в них прямо говорилось об их уголовной ответственности.

Но может быть, речь шла именно о «расстреле без суда и следствия»? Что ж, это легко установить из заявления Советского правительства, сделанного 14 октября 1942 года. «Советское правительство,— подчеркивалось в нем,— считает необходимым безотлагательное предание суду специальных немецких государственных трибунала (выделено нами.— Н. Л.) и наказание по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии, оказавшихся уже в процессе войны в руках властей государств, борющихся против гитлеровской Германии».

А как же на Западе, в столицах Англии и США, встретили это советское предложение? А вот как: английскому послу в СССР из Лондона было сообщено «для его личной информации, что имеются серьезные возражения... против создания специального международного суда по делу главных военных преступников...».

5 ноября 1942 года английский посол в СССР встречается с И. В. Сталиным. По логике австрийской газеты «Ди фурхе», посол должен был бы уламывать советского руководителя, убеждать его в необходимости именно судить, а не расстрелять «без суда и следствия» нацистских лидеров. Но в своем донесении в Форейн оффис посол сообщает, что «хотя Сталин был удовлетворен этими заверениями (что пребывание Рудольфа Гесса в Англии не будет использовано для заключения сепаратного мира с Германией.— А. П.), тем не менее он не отказался ни в коей мере от своей идеи, что лидеры стран оси, виновные в военных преступлениях, должны быть судимы международным трибуналом». И это после того, как посол убеждал Сталина в нецелесообразности предания главных немецких военных преступников суду, и это после того, как специальный комитет британского правительства по вопросу о военных преступлениях в своих рекомендациях подчеркивал, что «предложение о каком-либо международном суде для наказания военных преступников должно быть решительно отклонено».



Март 1943 года. Вашингтон. Здесь происходит совещание Рузвельта с министром иностранных дел Великобритании А. Иденом. В ходе беседы был затронут и вопрос о наказании главных военных преступников. И вот еще и еще раз выражается та же мысль: государственный секретарь США К. Хэлл говорит о том, что «союзники смогут найти способ избежать длительных судебных процессов над фашистскими главарями после войны, что те, кто будет захвачен, должны быть тотчас же без шума расстреляны».

В таком духе шли переговоры между советскими руководителями и лидерами США и Англии. В таком же духе проводились совещания руководителей американской и английской политики.

В 1944 году Черчилль уже предлагает составить список главных военных преступников и решать их судьбу, по мере того как они будут попадать в руки союзников. «Не находите ли Вы,— писал в проекте телеграммы И. В. Сталину Черчилль,— что следовало бы подготовить список, включающий, скажем, 50 или 100 лиц, чья ответственность за руководство или санкционирование всех преступлений и зверств установлена самим фактом их высоких официальных постов?» Черчилль предлагал в качестве одного из вариантов, чтобы любой союзный офицер в ранге генерала после установления личности преступников распорядился расстрелять их в течение часа, не докладывая командованию.

Этот текст телеграммы не прибыл к адресату, так как Черчилль в октябре 1944 года сам выехал в Москву. Но глава Советского правительства вновь отверг вариант внесудебного решения проблемы и подчеркнул, что наказание главных военных преступников должно быть осуществлено в соответствии с решением суда.

В чем же дело? Почему в течение длительного времени союзники так настаивали на варианте наказания «без суда и следствия»? Что волновало их в стремлении Советского Союза провести большой международный судебный процесс против главных военных преступников второй мировой войны?

История оставила нам несколько немых, но крайне выразительных свидетельств, содержащих в себе ответ на этот вопрос.

6 апреля 1945 года. Канун разгрома гитлеризма. Лорд-канцлер Великобритании пишет помощнику президента США Розенману: «...я обеспокоен перспективой длительного процесса, в ходе которого будут обсуждаться разного рода вопросы — юридические и исторические,— могущие привести к существенным противоречиям и спорам в мире, к непредвиденной реакции».

23 апреля 1945 года. Совсем уж близок конец войны. Английское правительство вручает США памятную записку, в которой говорится: «Правительство его величества внимательно обсудило аргументы, которые были высказаны в пользу какой-либо из форм предварительного судебного процесса. Но правительство его величества глубоко обеспокоено трудностями и опасностями, связанными с таким курсом, и... полагает, что казнь без суда более предпочтительна». В Лондоне выражали опасения, что проведение публичного процесса «может обратиться против союзников» и дать возможность обвиняемым «обосновать свои действия событиями прошлого».

Надо ли подробно говорить о том, чего боялись те руководящие круги в Англии и в США, когда они как черт от лада бежали от самой идеи открытого, публичного судебного процесса. В памяти возникли картины мюнхенского предательства, политики потворствования гитлеровской агрессии, подталкивание ее на Восток и многое, многое другое из области внешней политики империалистических держав, что, конечно, лучше не обнажать перед народами.

И еще кое-что беспокоило...

### **О «СТАРЫХ И УВАЖАЕМЫХ ТРАДИЦИЯХ ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА»**

Тот, кто внимательно изучил бы стенографический отчет Нюрнбергского процесса, обнаружил бы немало реплик председателя Международного трибунала, адресованных участникам процесса и настойчиво напоминавших им о недопустимости своими заявлениями или показаниями уводить процесс в сторону от его единственной задачи — установления фактов, относящихся к определению личной уголовной ответственности

подсудимых. Поэтому при всей своей кажущейся мягкости Джеффри Лоренс, председатель трибунала, стремился решительно отводить все, что не имело, с его точки зрения, прямого отношения к этой единственной задаче. Боялись на Западе, и не без оснований, что историческая и юридическая логика процесса в Нюрнберге, публичное исследование огромной массы доказательств, состязательный его характер приведут к тому, что по своим результатам процесс этот выйдет за рамки чисто юридической сферы и выводы его приобретут вовсе не желательное социально-политическое звучание.

Это верно, что Нюрнбергский трибунал не имел своей задачей разоблачение антидемократической и антинародной сущности германского фашизма. Но попробуйте обойти эту задачу, когда все же необходимо выяснить виновность Геринга и процесса в издании террористических законов фашизма, когда необходимо установить те тяжкие последствия, которые имели действия Геринга, или министра внутренних дел Фрика, или руководителя нацистских карательных органов Кальтенбруннера. И здесь историческая и юридическая логика судебного процесса оказалась сильнее лорда Лоренса, стремившегося уложить процесс в прокрустово ложе чистой юриспруденции. Через каждое слово вопросов обвинителей и ответов подсудимых прорывались одна за другой черточки, которые в своей совокупности составляли портрет фашизма.

Это верно, например, что трибунал не собирался исследовать истоки и сущность расовой теории и ее место в системе фашизма. Это задача ученых. И не случайно же главный американский обвинитель Джексон заявил в своей заключительной речи: «Я должен предоставить экспертам заниматься выбором доказательств и писать тома по их специальности, в то время как я сам широкими мазками нарисую картину нарушений права... Я должен, как сказал Киплинг, «кистью из хвоста кометы бросить краски на полотно в десять лиг длиной».

Сказать это можно было, но, видимо, в пылу судебного красноречия, в огне полемически острых перекрестных допросов обвинители и сами не замечали, что «хвост кометы» фиксирует на полотне не только голые факты и юридические оценки, но и широкими мазками рисует социальную картину фашизма. Прочитайте допрос, например, Альфреда Розенберга, этого главного идеолога фашизма, обратите внимание, как, исследуя его вину в нравственной подготовке немецкого народа к войне, судьи постепенно оказывались втянутыми противоборством защиты и обвинения в изучение роли и места расовой теории в развитии фашизма, в установление роли расовых теорий в подготовке агрессивных войн. По тем же законам судебной логики состязательного процесса Нюрнбергский трибунал оказался перед необходимостью изучить и раскрыть в своем приговоре роль и других фашистских доктрин, таких, как, например, доктрина жизненного пространства.

Так шаг за шагом кисть кометы рисовала в приговоре трибунала не только портреты подсудимых, но и весь облик фашизма, со всем его механизмом политики и преступлений. И решая чисто юридические вопросы личной ответственности подсудимых, трибунал помимо своей воли втягивался в рассмотрение и исследование важнейших милитаристских доктрин.

В задачу трибунала вовсе не входило исследование взаимосвязей германского милитаризма и фашизма. Но что поделаешь, если подсудимый Кейтель, отрицая то или другое преступление, ссылается на то, что это не он, а Кальтенбруннер со своим гестаповским аппаратом здесь напакостил. И что делать, если эсэсовец Олендорф, которого обвиняют в убийстве девяноста тысяч советских людей и который не хочет оставаться один в ответственности за это, тянет за собой фельдмаршала Манштейна, заявляя, что, в сущности, действовали они заодно. Что делать, если Кальтенбруннер ссылается даже на то, что между его ведомством, Кальтенбруннера, и нацистским генштабом было подписано соглашение о совместных действиях. Что ж, подсудимые имеют право защищаться, и трибунал вовсе не ограничивает их в этом. Но вот тут-то и начинается тот самый процесс вползания судей Международного трибунала в характеристику политической сущности германского милитаризма, его органического единства с фашизмом. «Хвост кометы» нарисовал в Нюрнберге и яркий политический портрет прусско-германского милитаризма.

На судебном процессе в Нюрнберге по делу руководителей известного германского концерна «ИГ Фарбениндустри» произошел весьма красноречивый эпизод.

Главный американский обвинитель на так называемых малых нюрнбергских процессах, генерал Тэйлор, видимо, обеспокоенный тем, что судебные процессы над лидерами германских монополий вызывают критику в его собственной стране, где считают, что незачем Фемиде копать в делах концернов, решил внести элемент успокоения.

— Господа судьи,— заявил он,— я хотел бы подчеркнуть, что здесь, в Нюрнберге, мы судим не германскую экономику в целом, а лишь отдельных виновных ее представителей.

Тэйлор сказал эти слова и как бы облегчил душу. Пусть не волнуются Форд или Дюпон по поводу того, что процессы над «ИГ Фарбен» или Круппом могут поколебать и бросить тень на репутацию этих концернов — она, конечно, чище снега альпийских вершин.

Но неожиданно к трибуне подошел адвокат д-р Зимерс:

— Господа, здесь только что выступал американский обвинитель уважаемый г-н Тэйлор. Он пытался убедить вас в том, что его обвинения не имеют никакого отношения к германской экономике. Химеры, господа судьи, химеры, позаимствованные из области фантазии. Господин обвинитель, не стройте себе иллюзии, вы обвиняли здесь не отдельных представителей германской экономики, а капитализм в целом, и коммунисты во всем мире вам рукоплещут.

Пожалуй, в этом диалоге адвокат, конечно, был неизмеримо ближе к истине, чем обвинитель. Это, конечно, может показаться малоправдоподобным — ведь большинство судей и обвинителей прибыли из крупнейших капиталистических держав, — но по объективным данным глубочайшего исследования архивов гитлеровской Германии, включая архивы германских концернов, Нюрнбергский процесс, в сущности, был и антиимпериалистическим и антикапиталистическим.

Здесь, в Нюрнберге, состоялось публичное вторжение международного правосудия в преступную деятельность монополий.

Разве ставили перед собой такую задачу обвинители и судьи в Нюрнберге? Конечно нет! Но обвинители решили раскрыть перед Международным трибуналом самую сущность нацистского заговора против мира. И они стали изучать архивы, изучать этот заговор с его первых до последних стадий — и здесь опять-таки историческая и юридическая логика не могла позволить им обойти роль крупнейших германских концернов в становлении и развитии нацистского заговора.

На скамье подсудимых Шахт. Обвинители озабочены тем, чтобы доказать его виновность. Шахт ведь утверждает, что он был противником Гитлера. А вот обвинители не верят, и дело вовсе не в их интуиции, а в документах. Вот один из них. Шахт избалован в нем, что это именно он собрал подписи всех крупнейших промышленников, потребовавших от Гинденбурга назначить именно Гитлера рейхсканцлером. В документе Шахт бахвалится. «Я верю,— пишет он Гитлеру,— что тяжелая промышленность по праву носит свое имя «тяжелая промышленность», ибо она много значит».

Уличал этот документ Шахта? Конечно! Одного ли? Отнюдь нет, он оказался бумерангом и другим концом своим ударил по так старательно распространявшейся легенде о непричастности германских концернов к гитлеризму.

Таких примеров можно привести множество. Вот обвинитель начал заниматься делом Кейтеля, его усилиями по организации иностранного шпионажа через ведомство Канариса. Порывшись, следователи в архивах и нашли поразительные документы о том, как руководители германских концернов инструктируют своих служащих: «В будущем генеральная линия должна быть следующей: не должно быть ни одной поездки за границу, ни одного пребывания, ни одного возвращения из-за границы, ни одного доклада из-за границы, ни одного обмена новостями и опытом с иностранными государствами без того, чтобы в первую очередь не принять во внимание — заинтересован ли в этом абвер вермахта или его иностранные отделения».

А вот обвинитель предъявляет трибуналу доказательства виновности Кейтеля, Геринга и министра экономики Функа в грабеже захваченных стран. Среди них доклад «Наиболее важные химические заводы в Польше». А автор кто? Оказывается, «ИГ Фар-

бениндурии». Концерн в ответ на запрос верховного командования сообщил список химических заводов, которые он рассчитывает получить после захвата Польши.

Изобличает этот документ Кейтеля? Да, но опять-таки другим концом бьет по монополиям, раскрывая органическую связь и их заинтересованность в гитлеровской агрессивной политике.

...Идет допрос Кальтенбруннера. Обвинитель изобличает его в организации массового истребления людей в концлагерях. Дотошный обвинитель представляет и документы, откуда явствует, что гестапо доставало отравляющие вещества для газовых камер. Вот счета, предъявленные «ИГ Фарбениндурии» командованию СС за поставляемые газы.

Так логика расследования дела подсудимых в Нюрнберге привела к разоблачению и германских монополий.

За всем этим внимательно следил д-р Зимерс. И услышав из уст американского обвинителя утверждение, что здесь, в Нюрнберге, судят не германскую экономику в целом, а отдельных виновных ее представителей, сделал правильный вывод — Нюрнбергский процесс оказался не только антифашистским, не только антимилитаристским, но и антиимпериалистическим.

### НЮРНБЕРГ: ЗАЩИТА МИРА И УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН

...30 сентября 1946 года, 10 часов утра. В зале Нюрнбергского процесса царит особое возбуждение. Судьи оглашают приговор. Он, естественно, был настолько обширным, что потребовалось два дня, чтобы члены Международного военного трибунала, сменяя друг друга, смогли его полностью огласить. В зале стояла напряженная тишина. Надо было вслушаться в каждое слово, ибо это было новое слово в истории международных отношений, новое слово в международном праве. Я слушал судей, и мне представилось, как мощный ледокол взламывает столетиями нетронутый лед. Поистине можно было теперь позавидовать политикам прошлого. Никому и в голову не приходило тащить их на плаху за то, что они использовали войну как средство политики. И речи не было о том, чтобы кто-нибудь, кроме самого народа, расплачивался за войну своей кровью и благосостоянием. Случая не было такого, чтобы кто-нибудь совал свой нос в правительственные архивы, выяснял виновников агрессии и затем тащил их на помост. Только перед богом и историей отвечали они в былые, хорошие времена. А вот здесь, в Нюрнберге, считают, что бог и история — недостаточно современные инстанции и что существует более радикальный, а главное, более короткий способ — человеческий суд за бесчеловечные преступления.

Уже после окончания процесса в Нюрнберге западногерманский историк Герлиц сетовал:

«Судьи в Нюрнберге пытались отыскать истину. Что касается обоих солдат (имеются в виду Кейтель и Йодль.— А. П.), которых они предали проклятию, остается открытым вопрос, можно ли вообще масштабами земного суда измерить то, как они выполняли свой долг, или об этом как о человеческом заблуждении вынесет свой непостижимый приговор высший судья на небесах».

Оказалось вполне возможным именно масштабами земного суда измерить если не долг, то чудовищно огромную вину тех, кто был усажен на скамью подсудимых в Нюрнберге. Правда, для этого пришлось ввести в свой обиход такие ужасающие слова, как геноцид, как преступления против человечества, и многие другие термины, ставшие позором цивилизации.

Нюрнберг состоялся, и те, по чьей вине пришлось дополнять словарь, понесли заслуженное наказание.

Но дело, разумеется, было далеко не только в том, что палач исполнил свой долг и вздернул тех, по вине которых пролилась кровь миллионов людей. Один из обвинителей сказал в своей речи, что Нюрнбергский процесс — это летопись, к которой историки могут обращаться в поисках правды, а политики — в поисках предупреждения. Задача, таким образом, заключалась в том, чтобы уголовный закон, установленный в 1945 году в Уставе Международного военного трибунала, провозгласивший агрессивно тягчайшим преступлением и установивший возможность применения за него смерт-

ной казни, стал бы универсальным международным законом. По-латыни *lex in casu* означает «закон для данного дела», а *ad hoc* — «для данного случая». Именно эти выражения часто используют противники уголовной ответственности за агрессию, утверждая, что Устав и приговор Нюрнбергского трибунала — это *lex in casu*, то есть для ситуации лишь второй мировой войны и только касательно главных нацистских военных преступников, а Международный военный трибунал — это суд *ad hoc*, то есть суд, созданный для рассмотрения одного конкретного дела. Так делается попытка оборвать доктрину уголовной ответственности за агрессивную войну во времени и в пространстве.

Короче говоря, сказать: был такой случай в Нюрнберге, был и исчерпал себя и хорошо бы забыть его.

Я не хочу вдаваться в критику такого взгляда, цель которого слишком прозрачна. Главный американский обвинитель Джексон не знал, каковы будут через два десятка лет последствия сказанных им слов в заключительной речи:

— Я хочу разъяснить, что, хотя этот закон применяется впервые против германских агрессоров, он должен осуждать агрессию, совершенную любой другой нацией, включая и те, которые представлены сегодня в трибунале, если только он предназначен для служения истинно полезной цели.

Сколько раз эти слова цитировались прогрессивными американскими юристами в период, когда армия США осуществила вооруженную интервенцию во Вьетнаме!

Разъяснение Джексона было правильно, оно стало особенно обоснованным после того, как Устав и приговор Нюрнбергского трибунала были представлены Организации Объединенных Наций для рассмотрения. Этой организации надлежало сказать: должны ли принципы, заложенные в этих документах, стать историей, должны ли эти документы быть положены на архивную полку, или им должна быть уготована другая судьба?

11 декабря 1946 года был дан ответ на этот вопрос. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, выражая волю народов всего мира и говоря также от имени десятков миллионов загубленных гитлеровскими агрессорами людей, своей резолюцией подтвердила «принципы международного права, признанные Уставом Нюрнбергского Трибунала и нашедшие выражение в приговоре Трибунала». Итак, эта резолюция, принятая именем всех Объединенных Наций, означает, что принципы Устава Международного военного трибунала, и главный среди них — принцип уголовной ответственности за агрессию, стали отныне общепризнанными принципами международного права.

Помнится, защита главных немецких военных преступников в Нюрнберге, сознавая свое бессилие бороться против этого принципа, выдвинула в качестве заслона другой: если и признавать ответственность за агрессию, то ее должно нести само государство, а не отдельные лица, которые занимали пусть даже самое высокое положение, но все же оставались агентами этого государства, действующими от имени и по поручению этого государства.

Международный военный трибунал не оставил без внимания этот тезис защиты и заявил в своем приговоре:

«Преступления против международного права совершаются людьми, а не абстрактными категориями, и только путем наказания отдельных лиц, совершающих такие преступления, могут быть соблюдены установления международного права».

Этими словами Нюрнбергский трибунал подтвердил юридическую формулу статьи 7 Устава Международного военного трибунала о том, что «должностное положение подсудимых, их положение в качестве глав государства или ответственных чиновников различных правительственных ведомств не должно рассматриваться как основание к освобождению от ответственности или смягчению наказания».

Герлиц, о котором я уже говорил, написал книгу «Фельдмаршал Кейтель — преступник или офицер?», в которой пытался опровергнуть многие обвинения, выдвинутые против нацистских фельдмаршалов и генералов, ссылаясь на то, что они, как люди военные, обязаны были выполнять приказы вышестоящих начальников. Издатели его книги вынесли эту проблему на суперобложку: «Судьба немецкого фельдмаршала (Кейтеля.— А. П.) служит примером для понимания смысла и границ солдатской вер-

ности своему долгу в тот век, который и сегодня пытается защищать дисциплину, порядок и право».

Когда я прочитал эти слова, в которых сквозит тоска по безнаказанности военных преступников, я подумал: как хорошо, что Нюрнбергский процесс раскрыл перед всем миром истоки и истинный смысл этой верности, показал, что кейтелевское «повиновение» — это горы трупов невинных людей, пепел разрушенных городов, муки и смерть миллионов людей.

Генерал Пауль Винтер как-то напомнил Кейтелю слова Мартвица: «Выберите неповиновение, если повиновение не приносит чести».

Этого Кейтель сделать не мог. Это бы значило отказаться от самого себя.

Международный военный трибунал в связи с делом Кейтеля записал в приговоре: «Приказы сверху даже для солдата не могут рассматриваться как смягчающие вину обстоятельства там, где сознательно, безжалостно, без всякой военной необходимости или цели совершались столь потрясающие и широко распространенные преступления».

Так был установлен еще один важный принцип, имеющий своей целью создать препятствие на пути развязывания преступлений.

...Прошли годы. О Нюрнберге часто вспоминают. Вспоминают там, где приходится сталкиваться с попытками рецидивов фашизма и агрессии. И Нюрнберг помогает не только правильно ставить политический диагноз, но его идеи ответственности вооружают борцов за мир в их борьбе с агрессией.

Прошли годы, и говорят уже не просто о Нюрнберге, а о «нюрнбергском праве». А это что такое?

Нас заставили ввести в человеческий лексикон ужасное, отвратительное слово — «геноцид». Но мало констатировать, мало осудить. Надо создать заслон для такой политики на будущее. Нюрнберг дал грозный сигнал. И он был принят. В 1948 году была подписана Конвенция о борьбе с геноцидом.

Помнится, как подсудимые в Нюрнберге и особенно их защита пытались широко использовать тот факт, что многие из преступных действий, которые им вменялись в вину, не были прямо зафиксированы в действовавших конвенциях о законах и обычаях войны.

Давно уже замечено, что методы и средства совершения преступлений всегда опережают методы и средства борьбы с ними. Так оно случилось и в области военных преступлений. Кто мог предвидеть, что будут использовать газовые камеры для уничтожения миллионов людей? Кто мог предвидеть, что будут использовать военнопленных в качестве объектов для производства различных медицинских и иных опытов, в результате которых тысячи людей гибли? А депортация миллионов людей с оккупированных территорий в Германию на рабский труд?

И вот в Нюрнберге и подсудимые и их адвокаты вопрошали — где, в какой конвенции, в каком договоре все эти действия запрещаются? И в самом деле, кому бы в голову пришло в 1907 году, когда принимались Гаагские конвенции о законах и обычаях войны, специально оговорить, что нельзя заталкивать в газовые камеры миллионы людей и травить их там газом?

И действительно не было ни в Гаагских, ни в Женевских конвенциях норм, которые запрещали подобные действия.

Ничего не поделаешь — империализм и фашизм заставили подумать и об этом. Так появилась Конвенция о геноциде. А в 1948—1949 годах в Женеве работали над новыми конвенциями о защите жертв войны. Нюрнбергский опыт подсказал, в каком направлении следует разрабатывать эти конвенции.

Кейтель и Йодль в Нюрнберге наивно вопрошали — разве международное право запрещает расстреливать захватываемых в плен партизан? Ведь партизанское движение разрешается только на неоккупированной территории, а всякий, кто сопротивляется оккупационным властям, это мятежник. Посмотрели в Гаагскую конвенцию: конечно, гитлеровцы передернули карты, конечно, по смыслу конвенции партизаны охраняются международным правом. Но только по смыслу, а не по букве закона. Пришлось теперь прямо указать в новой Женевской конвенции 1949 года об этом.

Кейтеля и других германских генералов спрашивают о преступлениях, совершенных против французских маки, участников движения Сопротивления. И защита отвечает за них: война с Францией закончилась в 1940 году ее разгромом. Правительство этой страны капитулировало, о чем подписало специальный документ. Капитулировала французская армия. Следовательно, и французские граждане не могут ни в какой форме вести вооруженные действия против Германии. Попросту говоря, это означало — если сдалось на милость агрессора капитулянтски настроенное правительство, то и патриоты страны уже лишены права бороться за свою свободу и независимость.

Неполнота была обнаружена и в вопросе об ответственности за взятие заложников и в некоторых других случаях.

Нюрнбергский опыт показал, как следует устранить эти дефекты, и на основе этого Женевские конвенции 1949 года сформулировали ряд новых положений, имеющих своей целью более эффективную защиту жертв войны.

Опыт этот оказал немалое влияние при составлении Всеобщей декларации прав человека, а затем и международных пактов о правах человека. Именно нюрнбергскому опыту обязано подписание в 1954 году специальной Конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. Нюрнбергский процесс подсказал и необходимость не только Конвенции о запрещении геноцида, но и резолюции ООН и Конвенции о борьбе с расовой дискриминацией.

Совсем недавно еще в Западной Германии широко проводилась кампания по освобождению от ответственности и наказания за военные преступления под предлогом истечения срока давности. И это именно опыт Нюрнберга вооружил тех, кто энергично выступал против этой незаконной практики, извращающей само это понятие, имеющее отношение к общеуголовным, а не международным преступлениям. В результате в 1968 году появилась новая Международная конвенция о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

И последнее по счету, а может, первое по важности — после десятилетий споров в 1974 году в рамках ООН было принято определение агрессии. Материалы Нюрнбергского процесса помогли сформулировать это сложное определение.

Таковы лишь некоторые элементы того самого «нюрнбергского права», которое родилось опытом Нюрнбергского процесса и которое сейчас олицетворяет уголовный закон, стоящий на защите мира.

### «МЕМУАРЫ ПОНЕВОЛЕ»

Перед моими глазами протоколы Нюрнбергского процесса. Я читаю здесь показания министров иностранных дел Германии фон Нейрата и Риббентропа, министров экономики Шахта и Функа, того, кто считался «вторым человеком в империи» — Германа Геринга, вождей германского вермахта Кейтеля и Йодля, Редера и Дёница. Я читаю их, и до определенного момента они вполне напоминают мне обычные мемуары, такие же лживые, какими зачастую были мемуары буржуазных политических деятелей. О мемуарах французского дипломата Оливье писали: «Оливье лжет так, как будто он все еще министр иностранных дел».

Я читаю эти мемуары гитлеровских заправил и задумываюсь: ведь до второй мировой войны мемуары буржуазных государственных деятелей были одним из весьма распространенных источников познания истории, в том числе истории возникновения войн. Были и разного рода «цветные книги» («белые», «синие» и др.), в которых буржуазные государственные деятели подбирали в выгодном для себя ассортименте и порядке документы. И конечно, в таком виде они должны были представить репутацию их авторов столь же чистой, как снег альпийских вершин, а уж, конечно, их противников — исчадиями ада. Что же касается вооруженных конфликтов, то здесь и не приходится говорить — седые мемуаристы предстают перед читателями в виде ангелов мира во плоти.

Вот примерно такой же характер носили и показания всех подсудимых в Нюрнберге. Носили, но только до определенного момента. До тех пор, пока их допрашивали адвокаты. А потом наступил уже другой весьма неприятный момент — с папкой в руке подходили к трибуне обвинители и один за другим допрашивали «авторов мемуаров».

Вот здесь уже начинались «мемуары поневоле». То был уже перекрестный допрос, проверка «мемуаров» на прочность, и неожиданно начинались волшебные изменения облика их авторов. Постепенно сползал грубо наложенный грим, а к концу допроса маска уже полностью срывалась с лица лжецов.

Это верно, что в Нюрнберг прибыли опытные прокуроры и следователи. Это верно, что они обладали в высокой степени умением допрашивать подсудимых. Но в значительной мере дело было и не в этом — что угодно можно было плохого сказать о подсудимых в Нюрнберге, кроме того, что они были глупы или были готовы сыграть с допрашивавшими их обвинителями в поддавки. Напротив, они сопротивлялись, лгали, они изворачивались как ужи, стремясь уйти от неприятных вопросов либо дать свою версию того или иного события, которая на поверку оказывалась лживой.

В чем же дело, почему «мемуары» нацистских бонз претерпевали такую метаморфозу? Ларчик раскрывался просто: Прежде чем начинать процесс, союзники в высшей степени прилежно потрудились, чтобы собрать все необходимые документы. Для этой цели работали специальные поисковые группы, и в разных местах Германии было обнаружено, изучено и подобрано все то, без чего не мог бы состояться Нюрнбергский процесс — были собраны в бесчисленном количестве важнейшие документальные доказательства. И при их помощи была произведена коррекция показаний подсудимых. Этим показаниям как бы пришлось пройти через строй всей этой массы документальных доказательств. И картина, конечно, получилась разительная: издайте сегодня отдельными книгами, скажем, пространные показания бывшего главаря СС Кальтенбруннера так, чтобы в одной из них были его показания, данные адвокату, а в другой те, которые он вынужден был дать в результате перекрестного допроса его нюрнбергскими обвинителями. Издайте, и вы получите две различные книги, перед вами возникнут два совершенно различных образа, из которых один — это исполненный в форме пасторальных картинок автопортрет бывшего венского адвоката, волею судьбы и против своего желания оказавшегося во главе управления имперской безопасности, а другой — это нарисованный обвинителями портрет главаря гестаповцев, организатора всех этих освенцимов и дахау, майданеков и трелинок.

Что означали бы такие две книги одного и того же автора? А прежде всего то, что Нюрнберг стал важнейшим источником познания правды, познания исторической истины о том, что представляла собой эпоха фашизма, эпоха страшных преступлений нацизма во второй мировой войне.

Конечно, и сегодня можно писать неправду, сочинять исторические небывлицы, пытаться снять ответственность с фашизма за преступления, совершенные в период его господства.

Можно, например, пытаться представлять коммунизм как угрозу миру, приписывать ему агрессивность и тому подобное. Можно, но уже неизмеримо сложнее, чем раньше. Труднее и потому, что Нюрнберг нанес ряд сильных ударов по этой насквозь лживой и провокационной в своем существе доктрине.

На память приходит зловещий эпизод с поджогом рейхстага. Нет нужды напоминать историю этого вопроса. Длительное время странствовала пущенная Германом Герингом по свету клеветническая версия о причастности коммунистов к поджогу. Она была разоблачена еще на общественном судебном процессе в Лондоне в 1934 году. Но пришло время ее суровой проверки перед лицом международного правосудия в Нюрнберге. «Нацисты не замедлили обвинить коммунистическую партию в подстрекательстве и совершении преступления,— заявил в Нюрнберге главный американский обвинитель Роберт Джексон,— и направили все усилия на то, чтобы изобразить этот факт поджога как начало коммунистической революции». А еще до Джексона суду был предъявлен протокол допроса Германа Геринга на предварительном следствии. Допрашивал обвинитель Роберт Кемпнер. Располагая всеми необходимыми документами, Кемпнер спросил Геринга, как это он мог, находясь в момент пожара у здания рейхстага и еще не произведя даже никакого расследования, дать сообщение в печать о том, что поджигатели эти — коммунисты. И Геринг вынужден промямлить: «Так хотел фюрер».

История с поджогом рейхстага лишь один из многих примеров того, как в Нюрнберге был разоблачен миф о «коммунистической опасности». Его историческая несостоя-



тельность была продемонстрирована прежде всего, конечно, на истории развязывания второй мировой войны и в особенности на примере агрессии Германии против СССР.

Да, трудно переоценить роль Нюрнбергского процесса как источника истории. Сейчас уже невозможно писать правдивую историю эпохи нацизма и второй мировой войны без опоры на нюрнбергские материалы.

### НЕПРОШЕННЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Это было очень любопытно, когда, ответив на какой-нибудь вопрос прокурора по поводу очередного обвинения, тот или иной подсудимый патетически восклицал: «Таким образом, в этом немецкий народ не виновен!»

Надо ли говорить, что и до Нюрнберга и тем более в дни процесса меньше всего заботила гитлеровскую клику судьба немецкого народа. Тем более не так уж они были глупы, эти искусственные политиканы, чтобы не понимать, что судят-то их, судят на основании Устава Международного военного трибунала, предусматривающего уголовную ответственность «главных военных преступников европейских стран оси». Понимали и тем не менее паясничали, лицемерили. Но лицемерили с совершенно определенной, хотя насквозь видимой целью. В сущности, это была попытка представить себя политическими деятелями, для которых не их собственная судьба дорога, а судьба немецкого народа.

Когда кончился процесс, когда Западная Германия с каждым днем все больше превращалась в коричневый заповедник, спекуляции на немецком народе стали оружием неонацистов в их стремлении скомпрометировать Нюрнбергский процесс. В борьбе с Нюрнбергским приговором они решили сделать немецкий народ своим союзником. А для этого неонацисты пытаются отгородить его от интересов немецкого народа, доказать, что этот процесс был направлен не столько против гитлеризма, сколько для того, чтобы весь немецкий народ представить бандой убийц и разбойников. В течение многих лет после войны неонацисты запугивали немцев, что политика судебного преследования военных преступников на деле есть месть немецкому народу, месть «до десятого колена». Так делалась и делаются попытки настроить рядового немца против судебного преследования нацистских военных преступников.

Я хорошо помню, как еще в те далекие уже годы на Нюрнбергском процессе защитники подсудимых пытались запугать немецкий народ тем, что политика наказания военных преступников будет использована для организации массовых репрессий против немецкого народа. Делалось это, например, следующим образом. Известно, что на Нюрнбергском процессе наряду с физическими лицами, такими, как Геринг и Гесс, Кейтель и Риббентроп, суду подлежали и некоторые организации третьей империи. Так вот в связи с делом НСДАП защита пыталась в немецкой прессе представить его таким образом, что если, как того требуют обвинители, НСДАП будет признана преступной организацией, то будут затем преданы суду и наказаны тюрьмой все немцы, состоявшие в этой партии.

Мошеничество заключалось при этом лишь в одном. «Забывалось», что союзные обвинители требовали признания в качестве преступной организации лишь руководящего состава нацистской партии. К тому же приему прибегали и в других случаях, например, когда речь шла об ответственности СС — получалось так, что виновными оказывались даже солдаты, призванные в войска СС.

Так делались попытки представить политику наказания военных преступников как политику массовых репрессий против немецкого народа.

Но если при всем этом что-то намеренно скрывалось, так это то, что сам немецкий народ был первой жертвой нацистского произвола, именно против него фашизм обрушил свои первые удары, сама Германия была, в сущности, лабораторией, в которой испытывались гитлеровские зверства, потом уже в массовых масштабах обрушенные на другие народы Европы. Это ведь в Германии нацисты с первых же дней захвата власти разгромили все демократические партии, организовали такой массовый террор против инакомыслящих, что кровь лучших сынов немецкого народа лилась потоками.

Я вспоминаю, как этот не только гигантский преступник, но и чудовищный лицемер Геринг пытался на Нюрнбергском процессе представить себя другом немец-

кого народа, как он пытался внушить судьям, что его беспокоит не столько собственная судьба, сколько судьба и честное имя немецкого народа. Тот самый Геринг, который уже на заре нацистской власти 3 марта 1933 года кричал в своей речи во Франкфурте-на-Майне: «Я не собираюсь соблюдать справедливость, здесь я должен лишь уничтожать и истреблять и ничего более», тот самый Геринг, который призывал коричневорубашечников использовать все «средства насилия, имеющиеся в распоряжении государства и полиции», тот самый Геринг, который, обращаясь к немецким демократам, говорил им: «Я размозжу вашу голову своим кулаком», этот Геринг в 1946 году в Нюрнберге стал разглагольствовать о судьбе «простых немцев», убеждать суд в том, что здесь судят его и других «государственных деятелей» Германии, но «нельзя карать немецкий народ». С ложным пафосом нацист номер два воскликнул: «Немецкий народ не виновен!»

Как будто не было ясно, что на нюрнбергской скамье подсудимых сидел не немецкий народ, а всего лишь преступные его руководители, которых судили за злодеяния не только против других народов, но и против немецкого.

Как будто не было известно, что это Геринг ввел в Германии «превентивное заключение», в результате чего сотни тысяч немцев были водворены в тюрьмы, что это он организовал на немецкой территории первые в Европе концлагеря и что первыми его жертвами были именно немцы, честные немецкие демократы.

Как только не изощрались подсудимые в Нюрнберге, стремясь убедить суд в том, что они-то здесь, в этом процессе, защищают не свою голову, а свое лицо! Хотите верьте, хотите нет, а по-настоящему и глубоко их волнует репутация немецкого народа.

Но вот ведь любопытная деталь. Подсудимые один за другим изощрались в «защите» немецкого народа, но вдруг случилось нечто, что, по-видимому, должно было заставить их не так уж хорошо подумать об их «подзащитном». Известно, что вопреки Особому мнению советского судьи И. Т. Никитченко Международный военный трибунал оправдал трех подсудимых — Шахта, Папена и Фриче. Как только была объявлена та часть приговора, в которой говорилось об этом оправдании, все трое были освобождены. Тут же в здании нюрнбергского Дворца юстиции была устроена пресс-конференция — оправданные ответили на вопросы корреспондентов и, казалось, должны были по идее немедленно покинуть дом, где их судили, и поскорее ринуться в объятия поджидавших их родственников и друзей.

Но случилось нечто иное, что страшно удивило начальника нюрнбергской тюрьмы полковника Эндрюса. Все трое покорнейше просили его позволить им вернуться в свои камеры. У начальника тюрьмы вытянулось лицо — но после того, как он получил от своих подчиненных соответствующую информацию, ситуация стала предельно ясной. Население Нюрнберга и других немецких городов, узнав об оправдании Шахта, Папена и Фриче, мгновенно, как по радиосигналу, вышло на улицы с громкими и решительными протестами. Здание, где заседал Международный трибунал, было блокировано пикетчиками. Далеко не святая троица оправданных без труда представила себе, что их ожидает, как только они окажутся во власти толпы. Вот потому-то они и просились в единственно безопасное для них место — в тюремные камеры. В своих мемуарах Эндрюс пишет, в какое затруднительное положение поставили его эти уже «свободные джентльмены». Не мог ведь он держать в заключении людей, которые были оправданы и которых председатель Международного трибунала лорд Лоренс распорядился немедленно освободить из-под стражи.

Только на следующий вечер, как пишет Эндрюс, под покровом ночи на трех грузовиках и на бешеной скорости трое оправданных были вывезены из тюрьмы.

История с абсолютной очевидностью установила, что немецкому народу, пережившему ужасающую трагедию гитлеризма, не по пути с неонацистами.

### НЮРНБЕРГСКАЯ ИДЕЯ В ДЕЙСТВИИ

Огромное значение Нюрнберга состоит не только в том, что он символизировал конец безнаказанности агрессии и агрессоров.

Хорошо известно, что военный потенциал любого государства включает армию,

флот, авиацию, военную промышленность, людские ресурсы, военную стратегию. Но есть еще одна сила, и эта сила, хоть и не материальная, неизменно входила в расчеты агрессивных государств, когда они разрабатывали заговоры против других стран и развязывали против них войны. Сила эта — безразличие масс людей, «нейтральная среда миллионов равнодушных», только с молчаливого согласия которых, как уже было замечено, существуют на земле предательство и убийство. Применительно к проблемам войны и мира это означает, что любыми путями агрессор стремится использовать равнодушные «нейтральной среды», чтобы изолировать жертву агрессии.

Нюрнберг, его материалы и выводы раскрыли перед всем миром, во что обходится это равнодушие, какие гекатомбы человеческих жертв в конечном итоге стоят за этим безразличием и как в конечном итоге дорого обходится этим равнодушным их безразличие. Большая заслуга Нюрнберга заключается и в том, что он нанес огромной силы удар по этой опасной философии равнодушия. Ведь в Нюрнберге спор шел с отдельными подсудимыми не о тысячах или даже сотнях тысяч загубленных человеческих жизней, а о миллионах. Тот, кто был в Нюрнберге, видимо, на всю жизнь запомнит спор между обвинителем и свидетелем Рудольфом Гессом (однофамильцем другого Гесса, заместителя Гитлера по руководству нацистской партии). Этот весьма своеобразный свидетель, занимавший пост начальника печально известного концлагеря Освенцим, неожиданно заупрямился и не хотел признать, что в этом лагере за время его хозяйничанья было уничтожено четыре миллиона человек. Сколь бы ни были убедительны ужасающие выкладки обвинителя, «свидетель» напрочь отрицал их и настаивал на своем — только... Два с половиной миллиона убитых газом и полмиллиона умерших от голода и болезней. Кто-то тогда сказал: зачем это обвинитель спорит с этим чудовищем, как будто для судьбы этого «свидетеля» имеет значение такое расхождение в цифрах?

И все же это имело значение — показания Рудольфа Гесса сказали миру о том, что такое фашизм. Они напомнили слова обвинителя на процессе, который сказал, обращаясь к судьям и имея в виду таких, как Рудольф Гесс:

— Наше доказательство будет ужасающим, и вы скажете, что я лишил вас сна. Но именно эти действия заставили содрогнуться весь мир и привели к тому, что каждый цивилизованный человек выступил против нацистской Германии. Германия стала одним обширным застенком. Вопли ее жертв были слышны на весь мир и приводили в содрогание все цивилизованное человечество.

Да, Нюрнберг подвел итог того, во что обошелся народам фашизм, война. И в этом смысле он способствовал обострению сознания необходимости бороться с фашизмом, с опасностью войны.

Наше поколение переживает ныне величайшую техническую революцию. Мне приходят на память слова Роберта Джексона, американского обвинителя на процессе:

— Современная цивилизация передала в руки человеку оружие, могущее принести неограниченное разрушение. Она не может терпеть правовой безответственности в столь широких размерах.

Трудно было в этом смысле переоценить роль нюрнбергского Устава, который не просто декларировал, что агрессивная война является международным преступлением, а установил принцип индивидуальной ответственности за это тяжчайшее преступление. И поэтому правы были обвинители, когда они подчеркивали, что Нюрнбергский процесс в этом смысле представлял собой энергичное усилие человечества применить дисциплинирующее влияние закона к государственным лидерам, которые пользовались своей властью, чтобы подрывать основы всеобщего мира.

На протяжении многих лет время от времени подымается вопрос о необходимости прекратить судебное преследование нацистских военных преступников. Хорошо известна кампания, которая неонацистами ведется за ревизию Нюрнбергского приговора и освобождение Рудольфа Гесса, который отбывает пожизненное тюремное заключение. Во всех таких случаях необходимость освобождения этих людей мотивируется гуманистическими мотивами. При этом защитники Гесса или Коха, бывшего гаулейтера Украины, также отбывающего наказание в тюрьме в Польше, всячески избегают напоминать людям, какие страшные преступления были совершены этими нацистами.

Думается, что призывать сегодня к милосердию в отношении Гесса — это гуманизм назнанку, это, пользуясь словами главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском

процессе Р. А. Руденко, гуманизм бесчеловечный, внимательный к палачам и безразличный к их жертвам, это гуманизм, нашедший человека в убийце и не заметивший его в жертве.

Большая заслуга Нюрнбергского процесса состоит и в том, что он высоко поднял чувство ответственности народов за мир.

Это ведь знамение времени, что где бы ни возник в мире вооруженный конфликт — он уже не может проходить по правилам средневекового турнира, где есть сражающиеся и внимательно наблюдающие за сражением — публика.

По-видимому, наиболее ярким примером в этом отношении являлась война во Вьетнаме.

Можно со всей осторожностью подходить к историческим параллелям, они иногда бывают рискованными. Но ведь случилось так, что именно американские юристы, американское общественное мнение стало первым прибегать для оценки американской агрессивной политики во Вьетнаме и других странах Индокитая к нюрнбергским критериям. Нюрнберг, однако, вооружил не только американскую общественность.

Во Вьетнаме говорят: «Тигр боится зацепиться за лиану, чтобы не затронуть всего леса». Интервенты пренебрегли этим мудрым предостережением.

...Передо мной номер газеты «Нью-Йорк таймс» от 18 марта 1970 года, в нем напечатана фотография, на которой изображены три человека — генерал Уэстморленд, бывший в то время военным министром Стэнли Резор и генерал-лейтенант Уильям Пирс. «Армия обвиняет!» — этими словами заключается сообщение указанных трех джентльменов на пресс-конференции о том, что военное министерство США, узнав о преступлениях в Южном Вьетнаме, в частности в Сонгми, создало специальную следственную комиссию во главе с генерал-лейтенантом Пирсом. Что это? Искреннее возмущение? Стремление покарать виновников побоища, которые своими действиями нанесли такой моральный ущерб «незапятнанной репутации Пентагона»? Отнюдь нет. Это была старая как мир, но иногда имеющая успех тактика «держи вора!». Дело в том, что как раз в это время во многих странах мира были созданы на общественном уровне комиссии по расследованию преступлений американских войск во Вьетнаме.

В Стокгольме была учреждена Международная комиссия по расследованию преступлений США во Вьетнаме. Это уже была нюрнбергская идея в действии. Автор этих строк вместе с юристами других стран участвовал в разработке Устава этой комиссии. Он был основан на принципах Нюрнберга. Будучи членом этой комиссии, автору пришлось дважды бывать во время войны во Вьетнаме, участвуя вместе с другими ее членами в расследовании военных преступлений, совершавшихся против вьетнамского народа. Комиссия эта провела свои сессии в Стокгольме и Осло. Третья сессия комиссии была созвана в 1972 году в Копенгагене. Но здесь случилась неприятность — госдепартамент, узнав об этом, сделал официальное представление правительству Дании, обратив его внимание на то, что эта враждебная правительству США акция должна быть осуществлена на территории страны НАТО и с согласия ее правительства. Именно поэтому США рассчитывали на то, что после соответствующего окрика датское правительство сделает единственно правильный и лояльный для страны НАТО шаг и запретит проведение сессии комиссии в Копенгагене.

Но дело обернулось совершенно необычно. Под давлением не только мирового общественного мнения, но и протестов датской общественности правительство страны отвергло американский протест, заседание Международной комиссии по расследованию состоялось в зале датского парламента и началось приветственной речью премьер-министра страны г-на Йоргенсена.

Это была еще одна победа нюрнбергской идеи — идеи ответственности за военные преступления. Это было еще одно свидетельство неизмеримо возросшей роли мирового общественного мнения.

Хорошо еще сохранились в памяти судебные процессы в США против солдат американской армии, которые отказывались ехать во Вьетнам. И это тоже было знаменательно, что свой отказ они мотивировали нюрнбергскими принципами, согласно которым агрессивная война является преступлением, а они, солдаты, не хотели быть соучастниками такого преступления.

Нюрнберг и защита мира. Эти два понятия стали абсолютно органичными. Но

Нюрнберг — это и подытоженный опыт того, что, прежде чем агрессор развязывает войну, он подавляет у себя в стране демократию, ликвидируя таким образом сопротивление своей агрессивной политике со стороны собственного народа. Нюрнбергский процесс и в этом смысле продемонстрировал всю опасность фашизма и империализма как орудия подавления демократии. Процесс этот раскрыл механизм подавления демократии, демаскировал различные приемы камуфляжа реакционной фашистской политики. И в этом отношении опыт Нюрнберга сегодня помогает опознать фашизм, демонстрирует всю его опасность для дела мира, для свободы и независимости народов.

Совсем недавно мир стал свидетелем отвратительных преступлений, которые совершаются против чилийского народа военной-фашистской хунтой Пиночета. И мировая общественность реагировала на это созданием Международной комиссии по расследованию преступлений чилийского фашизма. Еще и еще раз сказалось обостренное чувство ответственности народов за мир, за свободу народов, еще и еще раз стало ясно, что нет теперь места безразличию и равнодушию.

Помнится, и чилийская военная хунта тоже заявила протест правительству Финляндии, которое разрешило на своей территории проведение первой сессии этой комиссии. Генерал Пиночет был прямо-таки взбешен тем фактом, что Подготовительный комитет по созыву этой сессии возглавил министр просвещения Финляндии г-н Сундивист, сессия была открыта приветственной речью премьер-министра г-на Сорса, а президент Финляндии г-н Урхо Кекконен принял делегацию комиссии и пожелал ей успехов в работе.

Протест чилийской военной хунты был отклонен, а Международная комиссия провела свою сессию в Хельсинки, затем еще две сессии — в Копенгагене и Мехико. И в деятельности этой комиссии нашла свое яркое выражение идея ответственности за преступления против человечества. Опыт Нюрнберга сказался не только в самой идее и в самом факте создания этой комиссии, но и во всей ее деятельности — Нюрнберг помог ей безошибочно произвести опознание фашизма в Чили.

...Февраль 1976 года. Мне пришлось приехать в Женеву для участия в работе Комиссии по правам человека Организации Объединенных Наций. Заседания комиссии происходят в женевском Дворце наций.

Вместе с членом-корреспондентом АН СССР Владимиром Николаевичем Кудрявцевым, директором Института государства и права АН СССР, мы представляем в Комиссии по правам человека ООН Всемирный Совет Мира и Международную ассоциацию юристов-демократов. Владимир Николаевич — член Международной комиссии по расследованию преступлений чилийской военной хунты. Мне пришлось участвовать в подготовке сессий этой комиссии и выступать в качестве эксперта в ее заседаниях.

Среди многих подлежавших обсуждению вопросов один, который нас больше других интересовал, — рассмотрение доклада Рабочей группы Комиссии по правам человека, которая производила расследование фактов массовых нарушений прав человека в Чили. Обстановка казалась нам в высшей степени необычной. В пяти метрах от нас сидела делегация чилийской военной хунты. В ее составе было пять или шесть человек. Их пригласили сюда затем, чтобы, прослушав результаты расследования, они дали бы свои объяснения. Я сидел и слушал выступление г-на Диаса, представителя хунты, и всякие мысли стали роиться в голове. Казалось бы, нечего удивляться тому, что происходит — Объединенные Нации потребовали отчета у государства, нарушающего принципы Устава ООН. Мне лично тем более нечего удивляться после того, как я в течение почти года находился в зале Нюрнбергского процесса, где судили правительственных чиновников крупнейшей европейской державы.

Но по поводу этого процесса говорили, что нехитрое это дело — посадить на скамью подсудимых правительство разгромленной, капитулировавшей страны. Вы попробуйте призвать к ответу правительство, которое правит страной, правительство, в руках которого армия, полиция...

Я не склонен переоценивать и новую ситуацию. И тем не менее это факт — здесь, в этом же здании, никогда Лига Наций и не посмела бы потребовать объяснений у фашистского режима той или иной страны по поводу преступлений, совершаемых им против собственных граждан, против их прав и свобод. А то, что происходит здесь, в том же здании, но в иных исторических условиях, означает уже, что фашизм с его чудо-

вищными преступлениями перестал быть внутренним делом реакционных режимов. Вот они, представители хунты, здесь, в Комиссии по правам человека, дают свои объяснения. Они пытаются спорить по поводу регламента Рабочей группы, но никто из них не спорит по поводу права этой группы производить расследование нарушений прав и свобод человека. И чем больше я слушаю объяснения этих дипломатов чилийского фашизма, тем отчетливей становится мысль о той роли, которую сыграл Нюрнберг в истории человечества. Нюрнберг — это свидетельство того, что человечество решительно порвало с доктриной безответственности, когда речь идет о войне, о преступлениях против основных прав народов. И идея Нюрнберга нашла свое выражение не только в однократном акте организованного и основанного на законе правосудия. Она широко внедряется в деятельность различных международных организаций, которые имеют своей целью координацию деятельности государств в их стремлении обеспечить мир и демократическое сотрудничество государств.

Декабрь 1975 года. Город Патна. Индия. Мне пришлось здесь участвовать в Международной конференции по борьбе с фашизмом. Конференция эта проходила в условиях острой внутривнутриполитической борьбы в Индии. Реакция в этой стране всячески стремилась сорвать прогрессивный курс внутренней политики правительства Индиры Ганди. Реакция не останавливалась перед любыми, самыми преступными приемами политики. В ответ правительство запретило деятельность некоторых откровенно реакционных и фашистских партий и организаций. И это знамение времени, что ораторы в Патне, осуждая преступную деятельность этих организаций и оправдывая их запрещение, прибегали к тем критериям, к которым прибег Международный военный трибунал в Нюрнберге, признавая преступным ряд организаций нацистской Германии.

Реваншистская политика реакционных кругов Западной Германии далеко еще не отошла в область истории. Хорошо известно, что в течение ряда послевоенных лет эта страна была очагом военной опасности. Неоднократные предложения Советского Союза, направленные на нормализацию советско-западногерманских отношений, признание политических реальностей, незыблемости европейских границ, факта существования двух суверенных немецких государств, неизменно и с упорством отвергались. Сегодня ситуация радикально изменилась. И можно с уверенностью сказать, что среди многих факторов, способствовавших изменению внутривнутриполитического положения в стране, был и опыт второй мировой войны, опыт Нюрнбергского процесса, раскрывший перед немецким народом подлинную цену реваншизма и особенно опасные последствия такой политики в современных условиях. Материалы процесса помогли демократическим силам Западной Германии вести борьбу против реваншистов, в течение многих лет занимавших важные посты в боннском государственном аппарате и стремившихся влиять на политику ФРГ в самом опасном направлении. И когда с помощью этих материалов прогрессивным силам Западной Германии удалось добиться устранения многих из них с государственных постов, это означало, что материалы процесса в посильной степени участвовали в демократическом развитии немецкого народа и в конечном итоге в создании условий для укрепления европейской безопасности.

\* \* \*

Тридцать лет прошло с того дня, когда был вынесен Нюрнбергский приговор. Принципы Нюрнберга подверглись суровой проверке временем. И они выдержали ее. Нюрнберг пустил глубокие корни в сознание человечества. Он имеет огромное нравственное значение. Нюрнберг раскрыл перед народами историческую правду о войне, бросил яркий луч света в тайники агрессивной политики и таким образом и сегодня рассеивает так старательно распространяемый идеологами войны туман лжи и обмана.

Нюрнберг стал символом борьбы против войны, выражением торжества в международных отношениях права и справедливости над произволом и злодейством. И именно в этом не только огромная политическая и юридическая, но и нравственная сила Нюрнбергского процесса.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЛИТВИНОВ



## САМОСОЗНАНИЕ ИСКУССТВА

*Заметки с писательского съезда*

**В** наши дни литературная критика чувствует на себе особо пристальный взгляд общественности: о ее состоянии, специфике спорят на газетных страницах, размышляют в своем кругу не только профессионалы, но и люди, внимание которых к критике столь же неожиданно, сколь и лестно,— заводские рабочие, партийные работники, студенты технических вузов...

Имена критиков, тех, что по-настоящему талантливо, ныне популярны в читательской среде не менее, чем имена известных поэтов и романистов. Вырос авторитет критики в писательской среде. Оперативней и квалифицированной стала она судить о том новом, что рождает искусство и жизнь, стала больше влиять на литературный процесс. В свою очередь, можно с уверенностью сказать, что и выступления критики, ни одна сколь-нибудь серьезная критическая работа последних лет, не остались без своего отклика и осмысления.

Постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» не только определило основные направления ее развития, но, что особенно важно, помогло и самим литераторам и общественности отчетливей воспринять критику как самознание литературы, как неотъемлемую ее часть. В наши дни критике отведена серьезная роль в развитии художественной культуры, самой духовной жизни народа. Велика ее ответственность за эстетическое воспитание людей.

Все это особенно почувствовалось на писательском съезде. Не только потому, что Шестой Всесоюзный откликнулся на многое из того, что говорилось о критике в последние годы, но и потому, что съезд этот,

по общему мнению, был отмечен большой профессиональной сосредоточенностью, проблемностью разговора, широтой представительности (шутка ли сказать, более двухсот тридцати выступлений на пленарных и секционных заседаниях!).

Несомненно, что и суждения о достигнутом в критике, о ее завтрашнем дне и то теоретически новое, что было рождено на съезде коллективной писательской мыслью,— это все еще получит свое обстоятельное толкование и исследование, когда появятся полные съездовские стенограммы, когда материал уляжется, отстоится.

Моя же задача скромная: попробовать разобраться в самых первых впечатлениях. Впечатлениях, естественно, в какой-то мере субъективных, поскольку это всего только заметки одного из критиков. И пишутся они, когда съезд только что завершил свою работу, газеты еще продолжают печатать речи, фотоснимки со съезда...

Но неспроста мудрый писатель Валентин Катаев как-то сказал о роли первого впечатления в литературном деле: само непосредственное человеческое чувство в этом случае как бы стремится осмыслить происшедшее, схватить явление в его целостности...

Какой же выглядела современная литературная критика в зеркале писательского съезда, если судить о ней по речам на пленарных заседаниях, по дискуссиям в проблемных комиссиях?

1

В Отчетном докладе писательскому съезду были конкретно очерчены те «плацдармы», на которых возросшая активность ли-

тературной критики всего заметнее. Это ее инициативе были обязаны такие широко развернувшиеся творческие обсуждения недавнего времени, как дискуссия о духовности героев наших книг, о задачах рабочей темы, о состоянии современной поэзии, о гражданском и эстетическом воспитании молодежи. Немало способствовала она и взаимообогащению культур социалистических наций. Критики в этом случае показали, что умеют «по-партийному ставить вопросы и настраивать литературную жизнь на уважение к пытливым мысли». И еще в докладе сказано: «Активизацию работы критики и все большую перспективность ее, а в связи с этим усиление всей идеологической работы в литературе можно проследить буквально по всем линиям, намеченным постановлением ЦК КПСС».

Как об одной из решающих черт много говорилось об идейно-теоретической основательности нашей критики. Современному критику для успешного решения своей задачи научная вооруженность требуется не меньшая, чем теоретику или историку литературы. Не удивительно, что в последние годы особенно возрос интерес к фактам «интеграции» этих трех сфер — истории литературы, ее теории и критики; большое внимание привлекает история и теория, методология собственно литературно-критического творчества.

Вопрос о своей, подлинно научной методологии исследования и интерпретации художественного явления перед «текущей» критикой ныне встал как никогда остро. Речь идет о такой методологии, которая, опираясь на законы марксистско-ленинской эстетики, на целостную концепцию искусства и общества, пронизывала бы в критической практике все сущее — и широкое исследование творческого процесса и локальное суждение об отдельной книге.

Одно из требований этой методологии связано с умением подлинно исследовать произведение, а не просто описывать и комментировать его. Важно современное осмысление любого художественного явления. Осмысление широкое, которое помогало бы самой жизни, раскрывало читателю всю сложность философии нашей эпохи, кристаллизовало бы его отношение к современному искусству.

Но чуткость к современности всегда неотделима от чувства историзма. Для критика в этом чувстве — защита от любых крайностей субъективизма и вкусовщины, от

утилитарного подхода к литературному произведению.

Размышляя о современности и историзме, выступающие на съезде говорили, что критику всего важнее подметить то принципиально новое, что возникает в литературе о наших днях. И все-таки современность не ограничивается только этим, она во всем, что волнует современника, что неотъемлемо входит в его духовный мир: и события исторического прошлого, и предвидения грядущего, которые сегодня придают нам силы в борьбе за воплощение своего коммунистического идеала, против любых отклонений от норм истинной нравственности.

Но точно так же можно сказать, что всякая правдивая картина сегодняшней действительности внутренне исторична. Для критика ее суть, анализ и оценка, постижение в ней типического и закономерного всегда связаны с широкой исторической и художественной перспективой. Всякий раз, когда мы хотим оценить силу традиций и новаторства в творчестве того или иного современного писателя, мы закономерно обращаемся к его предшественникам, сопоставляем факты разных периодов. Для критика живое явление историзма и в том, как данный художник и его герои относятся к действительности, и в том, какое место они сами занимают в историческом контексте жизни и литературы.

Исторический принцип учит литератора проникать в движение жизни, в сущность эпохи, понимать жизненные явления в их закономерности и перспективе. Такое мы называем сегодня осознанным историзмом.

Конечно, категория «осознанности» существовала и раньше, известно немало замечательных произведений прошлого, которые отличаются ясным пониманием социальной цели, видением жизни в ее диалектической изменчивости. Но качество это неизмеримо окрепло в творчестве художников, видящих коммунистическую перспективу в развитии действительности, знающих о реальных средствах изменения мира и человека в нем.

Чувство осознанного историзма исключительно важно для творчества советского критика. Современные методы литературоведческого разбора и оценки художественного произведения ориентированы по компасу марксистского представления о единстве формы и содержания, требуют органи-



ческой общности идейного, социально исторического и эстетического анализа.

К таким вот серьезным явлениям обращает нас методология современной критической работы. Всеми своими корнями она связана с закономерностями нашего творческого метода, социалистического реализма.

## 2

Есть нечто весьма примечательное в том, что на Шестом писательском съезде специфические вопросы литературно-художественной критики были рассмотрены на проблемной комиссии, где критики работали в тесном содружестве с писателями, с теоретиками литературы, видными нашими учеными. Доброе это единство отразила уже сама тема комиссии — «Современная литература социалистического реализма, мировой литературный процесс и вопросы критики».

Ничего удивительного, что именно в такой аудитории — едва ли не впервые в съездовской практике — был поставлен на обсуждение вопрос о конкретном применении категорий творческого метода непосредственно к работе литературного критика: социалистический реализм не только как «объект» его интерпретации, но и как решающий критерий, действенный инструмент критического исследования.

Как и в творчестве романиста или поэта, драматурга или очеркиста, категории социалистического реализма, несомненно, приобретают в деятельности критика какое-то свое, специфическое преломление. Какое же?

На съезде говорилось, в частности, о том, что для работы литературного критика характерно теснейшее сопряжение принципов социалистического реализма с принципами марксистской научной методологии.

Особым моментом является и другое: если предмет писательского изучения — действительность, то предмет критики — художественное творчество, самое искусство, те эстетические обобщения, что возникают на почве глубокого освоения действительности художником.

Последнее утверждение, конечно же, требует своих определенных оговорок, ибо ведь и критика, как любого литератора, невозможно представить без своих живых и непосредственных связей с действительностью, которую он обязан хорошо знать хотя бы уже для того, чтобы верно

судить о жизненности тех или иных художнических наблюдений и обобщений. (Больше сказать, из истории литературы нам известны и такие примеры, когда критическое произведение оказывалось куда значительней своих прозаических и поэтических «объектов» — значительней именно в плане осознания жизни.)

И тем не менее напоминание о том, что главное дело литературной критики — истолкование собственно литературы, прозвучало на съезде, мне думается, как нельзя своевременно. Особенно на фоне замелькавших в последнее время в нашей критической периодике каких-то странных межумочных опусов о том о сем, напоминающих то ли поверхностную очеркистику, то ли крайние издержки журнального «эссеизма», когда в тумане авторской субъективности безнадежно растворяется все реальное — и рассматриваемая книга, и сюжет, и герои, и художественные средства...

Напоминание это важно и в иной связи. Сколь часто в рассуждениях о деле критика едва ли не как самое первое выдвигается требование, чтобы он, подобно некоему общественному контролеру, следил за достоверностью тех или иных фактов, строго сверяя их с подразумеваемыми реальными событиями... Но подлинно первостепенная задача критика — это все же художнический анализ произведения искусства. Ему всего важнее составить представление о масштабности художественного обобщения, о том, как общечеловеческое содержание произведения перерастает локальные рамки сюжета, в какую цельность складываются в конечном счете те или иные образные обобщения, какую лепту вносят они в общий процесс типизации действительности.

Что еще специфического возникает в чертах творческого метода, когда они преломляются в литературно-критическом исследовании?

Замечено, что принцип партийности проявляется не только в прямо заявленной позиции критика, но и в своеобразии его подхода к художественному факту, в его представлениях, что является наиболее характерным, какие тенденции развития следует поддержать прежде всего.

В разных своих ипостасях выступает в критической деятельности принцип народности: в том, на сколь широкую аудиторию ориентируется критическое выступление; как велика сила его реально-о воздействии на читателя; в чистоте и убедительности

мысли. А главное — в степени воплощения народных взглядов на жизнь, в понимании критиком забот и чаяний своих современников.

Понятно, что вся эта специфика нашей «движущейся эстетики», эти требования, предъявляемые в целом к жанру, в творчестве того или иного критика находят себя не механически, но в самобытном синтезе, в индивидуальности, присущей именно этому литератору.

Важно, чтобы он во всех конкретных случаях отчетливо видел перспективность и новаторскую сущность художественного метода социалистического реализма, понимал, что все высокие качества нашего искусства — его партийный наступательный пафос и гуманистическая чуткость, его строгая правдивость, эстетическое богатство — все это вырастает из кровной связи с идеями и практикой революционного преобразования мира на коммунистических началах.

### 3

Легко себе представить, как теоретические эти положения (звучащие в сжатом пересказе, конечно же, весьма «обшеметодологически») способны раскрыться перед читателем в своей глубокой человеческой сути, когда они рассматриваются непосредственно в творческом потоке, сквозь неповторимый писательский опыт, судьбы и страсти героев нашей литературы.

Вот один только пример на этот счет, говорящий, как много значат для живой литературы иные «сугубо академические» категории.

Зашла на съезде речь о так называемой открытости социалистического реализма, понимаемого как целостная эстетическая система. Об этом говорили и литературоведы, и критики, и прозаики — проблема, что называется, всех захватила.

Что же в ней такого актуального и настоящего для современных книг, для повседневной работы критика или романиста?

Хорошо понятно, что означает открытость нашего искусства для жизни, для любой национальной литературы, любого дарования. Вполне естественно, что это замечательное качество литературы социалистического реализма становится все выразительней с годами, — бурно развивается мир, все богаче опыт народной жизни, питающей наше искусство; да и само оно все зрелей и дееспособней, все решительней

стремится не только отражать бытие, но и активно на него воздействовать. Мотив эстетической широты социалистического реализма, примеры того, как энергично пополняется арсенал его изобразительных форм можно найти во многих теоретических статьях последнего времени.

Есть полная ясность в главном, основополагающем. Но есть и немало еще нерешенных, порой довольно-таки каверзных вопросов к теории литературы. Скажем, если эстетическая система открыта «для всей жизни», то, следовательно, она доступна и для любых художественных средств — старых и новых, самых разных? В том числе и для средств, возникающих в недрах иных литературных направлений, может, даже резко отличающихся от социалистического реализма?

Или такой вопрос. Когда мы со всей сердечной искренностью поддерживаем творчество тех или иных художников, противостоящих в драматической зарубежной обстановке всему антигуманному и социально несправедливому, — как нам при этом относиться к конкретным средствам изобразительности, которые им присущи и случаются, принципиально несхожи с дорогами нам эстетическими формами? Ведь понятно, что идейно-политическая направленность творчества, прогрессивность и гуманизм позиции художника вовсе не являются прямой аналогией его представлениям о художественной форме...

Этот пример можно еще более заострить. Представим себе, что некий крупный художник, формировавшийся на далеких от нас эстетических принципах, в результате решительной идейно-творческой эволюции переходит под знамя социалистического реализма, создает серьезные ценности в области революционного искусства. И тем не менее в его поэтике по-прежнему продолжают сохраняться элементы, «захваченные» из той, старой практики и, похоже, теперь навсегда характерные для этого таланта. Значит, в принципе такая «миграция» изобразительных средств возможна? И наша эстетическая система, хочешь не хочешь, должна принимать инородный материал как свой?

Нет, возражают подобным предположениям другие участники творческой дискуссии, в таких случаях происходит коренное преобразование выразительных средств. Здесь все уже будет иным. Старые элементы поэтики целиком подчинятся сегодня...

ней задаче, а значит, изменятся в своем существовании. Именно так происходило в творчестве Верлена и Незвала, Блока и Брюсова, Маяковского и Есенина, Брехта и Элюара.

Однако не исходим ли мы при этом из некоего произвольного постулата, будто все и любые художественные средства непременно «закреплены» за определенными творческими методами? Вот, к примеру, «метод» авангардистского абсурда — кажется, ничего нет более чуждого нашему искусству! И все-таки разве прием, воссоздающий абсурдную ситуацию, не может стать боевым оружием в руках талантливого реалиста? Недаром же сказал Брехт: «Формалист это тот, кто цепляется за формы, будь то старые, будь то новые... Все формальное, что мешает нам дойти до сути социальной причинности, надо отбросить; все формальное, что помогает нам дойти до сути социальной причинности, надо привлечь».

Продолжив цепь таких рассуждений, видимо, естественно прийти к выводу, что есть художественные средства, которые вообще следует понимать как чисто функциональные. Что художественные элементы до поры, на элементарно-«молекулярном» уровне, представляют собой не больше как только рабочий инструмент, первичный материал, нечто вроде строительных кирпичиков. (Кто из художников любых времен и направлений не пользовался средством метафоры или пейзажа, прямой речью или портретированием героя!) Иное дело, когда из этих кирпичиков начинает складываться здание, возникают первичные «связки элементов». Эти-то «связки» уже никак не могут быть безразличными ни к стилю, ни к художественному методу, в русле которого творит автор...

Однако и эта концепция еще не решает спора, поскольку художественное слово, организм живой и трепетный, мало схоже с бездушным кирпичиком, оно никогда не бывает инертным к жизни...

Дискуссия не исчерпана, дискуссия продолжается, сегодня она в самом разгаре.

И тем не менее такое широкое обсуждение вопросов социалистического реализма на писательском съезде позволило уже сегодня со всей определенностью зафиксировать некие существенные аспекты проблемы.

Это еще и еще раз подтвержденная неисчерпаемость и подлинная новизна нашего творческого метода. В ходе дискуссии об

«открытости» все ее участники согласились, что эстетическая система социалистического реализма непрестанно, неумолимо насыщается от жизни. И истина эта несет в себе достойную отповедь идейным противникам нашего искусства, которые вот уже полвека с постылой заученностью твердят насчет оторванности советской литературы от действительности, о ее «заданности» и «выборочности»...

Дискуссия способствовала уточнению отношений нашего метода с другими творческими направлениями — и теми, что нам «параллельны» (современный западный критический реализм, например), и теми, кто нам откровенно враждебен: модернизм, черный декаданс, «искусство», которое тщится насадить в мире маоизм.

Чем полнее вырисовывается роль марксистско-ленинской эстетики в современном духовном бытии человечества, чем отчетливей она выступает как революционный преобразователь мировой культуры и вместе с тем как ее объективная закономерность, тем дороже нам и чистота и целостность социалистического реализма. Тем бескомпромиссней отвергаем мы любые попытки «наведения мостов» между нашей революционной литературой и модернистским искусством, проповедующим хаос и распад, в наши дни откровенно вставшим на службу реакции.

У нас не может быть причин для самодовольной умиленности в тех случаях, когда защитники модернизма пытаются заигрывать с искусством социалистического реализма, за его счет мечтая поправить свои дела (как это, скажем, проделывали в свое время футуристы и имажинисты, прикрываясь именами Маяковского и Есенина).

Теоретики социалистического реализма не вправе отдавать модернизму какой-либо приоритет в области выразительности — будь то психоанализ, или экспрессия изображения, или сфера условных форм искусства.

За каждой такой проблемой — большая тема гносеологии, исторически обусловленных возможностей нашего творческого метода; с каждой связан вопрос о новаторстве и творческом своеобразии социалистического реализма, его неисчерпаемых внутренних ресурсов.

Относительно же последнего в нашем летучем перечне — об условности в искусстве следует сказать: сведение социалистического реализма лишь к «фор-

мам жизнеподобия» способно не только обеднить наше искусство, но и исказить понимание искусства как такового, специфики художественной мысли.

К слову сказать, и сама формула «жизнеподобия», искусства «в формах самой жизни», в этом случае оказывается переименованной, ибо Чернышевский, некогда давший ей жизнь, подразумевал здесь не что иное, как естественное для искусства конкретно чувственное восприятие действительности — в отличие от восприятия логически-научного.

Еще одну необходимую оговорку сделаем перед тем, как продолжить разговор о проблемах условной формы. Как бы эти проблемы ни решались, в каком бы аспекте ни рассматривались, главное условие остается неизменным: реализм — это существо нашего творческого метода. Всякое рассуждение о стилистических, жанровых, формообразующих или еще каких-либо других особенностях метода всегда подразумевает, что все это рассматривается внутри реализма, а не где-то за его рамками, не сопутственно ему.

Теперь продолжим разговор об условности. Хорошо понимая благородную роль того «объективно-реалистического», обстоятельного и пластического изображения, которое по праву господствует в нашем искусстве, наша критика вместе с тем с большим интересом относится и к символическому, гротеску, ассоциативной образности и свободной композиции, к притче, пространственно-временным смещениям, фантастическим и эксцентрически-игровым элементам, столь естественным для творчества иных наших видных художников. Надо только, чтобы и в теоретическом и в практическом плане отчетливо отделялась условность модернистского, абстракционистского толка от условности, если так можно сказать, реалистической; а уже в ней самой строго разграничивалось бы истинно художественное от того, что является лишь спекуляцией на модном, дешевой подделкой, не идущей дальше формалистического трюкачества. Нашей литературной науке еще предстоит как следует разобраться, чем конкретно отличается литературная условность от фольклорно-сказочного, мифического и мифологического, от фантазии, от фантастического... Творческому делу тут немало помогло бы обстоятельное сравнительно-историческое исследование того, как элементы условности возникали, накапливались и трансформировались в ходе разви-

тия реалистического искусства, при его взаимодействии с другими творческими методами.

## 4

И здесь я слышу вопрос, который давно уже, что называется, «на устах» у наших заметок: но что же, собственно, все это значит для литературно-критической практики, какое имеет отношение к нашей текущей работе, к статьям о новых книгах и явлениях художественного процесса?

Надо думать, имеет отношение самое прямое и насущное. Только ясное представление о том, как развивается литература, понимание новаторской целостности эстетической системы нашего искусства, реальных его отношений с другими течениями, — лишь такая вооруженность может дать критику и смелость и основательность в суждениях о том или ином новом произведении, о его месте в общем процессе.

Думаю, что свод заповедей для современного литературного критика, будь такой составлен, представлял бы собой документ на редкость внушительный — очень уж непростой это род творчества.

Но и помимо свода иные положения хотелось бы сформулировать сейчас — они непосредственно возникли в ходе съездовского профессионального обсуждения проблемы «открытости», эстетической определенности и широты нашего творческого метода.

Ни одна из художественных форм не может и не будет возведена нами в абсолют — литература социалистического реализма подразумевает непрестанное развитие и обновление изобразительных средств. И если сказать о самом характерном для той «орбиты», на которую выходит ныне обобщение в нашей литературе, то это, видимо, есть многозначность художественного слова — оно не только ясно и глубоко, но и ассоциативно-сложно, порой даже неожиданно в своем жизненном общении.

И еще истина, необходимая критику на каждый день. При всей нашей заботе о преемственности лучших, истинно передовых традиций, о том, чтобы видеть художника в его отношениях со всем предшествующим культурным опытом, — при всем этом мы неизбежно исходим из постулата эстетической не повторимости явления искусства. По-настоящему ценно здесь толь-

ко новое, самобытность изобразительных средств, первичность слова.

«Больше творческой смелости и дерзновенности!..— говорится по этому поводу в Отчетном докладе писательскому съезду.— Широко ли у писателя замысел, ограничен ли — литература, искусство ведут один счет: хорошо или плохо получилось. В этом смысле наше дело, наша работа безжалостны, они требуют тебя всего. И тут чувство смелости, дерзновенное стремление решить самые большие творческие задачи, удивить, потрясти читателя, открыть ему то, что никому еще не было известно, крайне необходимо писателю... Упоение своим трудом, поэтическое озарение, когда рука словно не поспевает за полетом мысли,— это то сосредоточение воли и таланта писателя, которое в литературе, как правило, приносит о т к р ы т и е, такое всегда желанное и необходимое ей».

Талант, который есть национальное достояние,— прежде всего в открытии, в обращении к вопросам, и сегодня мучающим человечество, в умении до дна выявлять опыт личной жизни, превратив его в обобщение, в чудо искусства.

Но, как обычно при диалектическом подходе к явлению, нам должна видаться и другая сторона этой творческой заповеди: как бы ни был художник неповторимо оригинален в своем идейно-эстетическом поиске, как бы ни выделялся своим индивидуальным стилем, самое его творчество есть объективная закономерность общего художественного развития, оно объяснимо только в связи с мировоззрением, с творческим методом, которые автор исповедует, отсвет которых — на большом и малом в его книгах.

Подобным образом творческий метод проявляет себя и в жанрах, в стилях, в родах литературы. Ему несвойственна какая-либо жанровая избирательность — принципиальные черты социалистического реализма так же различаешь в очерке и сатире, лирике и драме, как в крупномасштабном, героико-эпическом повествовании, о котором обычно говорится как о наиболее существенной стороне литературного процесса.

Понять эту «всепроникающую» силу метода сегодня критике активно помогает так называемая теория системного анализа, приобретающая все большее практическое значение. В спорах ли об «открытости», в сопоставлении с другими творческими методами очень важно понимать, что социалистиче-

ский реализм, как всякая эстетическая система, в согласии со своими генеральными творческими принципами, представляет собой некую самобытную совокупность средств и способов изобразительности, жанров и стилей. Непрестанно изменяясь и обогащаясь, они тем не менее всегда продолжают находиться в тесной зависимости от этих принципов, неизменно являют собой эстетическое единство. Отсюда художественная определенность и идейно-нравственная действенность, внутренняя органичность всех элементов и динамическая целенаправленность искусства социалистического реализма. Отсюда наша уверенность, что оно никогда не превратится в простое скопление многих, но внутренне разноречивых явлений. Что оно всегда сумеет защитить себя от враждебных воздействий извне, от иных неразборчивых вкусов, беспринципности при выборе средств к достижению цели.

Едва ли прозвучит парадоксом, если сказать, что наш творческий метод наиболее выразительно проявляет себя как единая система в произведениях дерзких, талантливо самобытных. И менее всего эта система прощупывается в книгах схематичных, стандартных, лишенных истинного творческого начала.

## 5

Есть еще одна мера, еще один аспект критического анализа,— пусть он никогда и не значится среди строгих литературоведческих дефиниций, тем не менее в наши дни без него многое не поймешь, многое проглядишь в искусстве и действительности.

Этот аспект — ч е л о в е ч н о с т ь художественного произведения, проба на понимание как гуманистической первоосновы искусства, так и роли «человеческого фактора» в историческом развитии.

Тема, которая просится быть выделенной в особую главу.

Слушая выступления на писательском съезде, можно было заметить, как порой даже наиболее сложные логические категории все равно выводились из «проблемы человека», ею обосновывались.

Это могла быть широко взятая тема социалистического реализма: он возник в мировом искусстве как ответ на неизмеримо усложнившуюся жизнь человека, его новые нравственно-эстетические запросы. Социалистическое искусство знаменовало собой

новый этап развития человечности, человеческого.

С этой точки зрения можно здесь еще раз взглянуть и на принцип историзма — один из важнейших в эстетике нашего творческого метода.

Историзм проявляет себя не только в изображении крупных событий и фактов, но и в картинах повседневного человеческого бытия, в раскрытии внутреннего мира личности. Наша нравственность имеет большую историческую родословную. Наш исторический оптимизм, столь характерный для советской литературы, во многом идет от мироощущения современника. Это человек, стремящийся постигнуть закономерности своей эпохи, понять ее как составную часть мирового развития, подняться до осмысленного исторического творчества. От него в немалой степени идет то драгоценное качество, которое зовется осознанным историзмом художественного мышления.

Хорошо было сказано на съезде: в литературном обиходе «современный» нередко понимается как «своевременный» — произведение о прошлом прозвучит в высшей степени актуально, если окажется тесно связанным с движением жизни советских людей, с их идеалами. С другой стороны, ничто так не вредно для дела нравственного воспитания современного читателя, как искусственная «перелицовка» исторического факта во имя эффектного злободневного звучания.

Выше говорилось об открытости социалистического реализма как эстетической системы, о природе его постоянного обогащения новыми изобразительными средствами, — есть и у этой проблемы своеобразный «человеческий аспект». Можно даже представить себе обстоятельный исследовательский труд о том, как отразилось на конкретных художественных формах все возрастающее в нашей литературе внимание к внутреннему миру человека, к его духовно-нравственным исканиям, усилившаяся роль субъективного начала в художественном изображении жизни (того субъективного, что сильно своим пониманием причинной связи явлений, законов преобразования мира на социалистических началах).

Современный герой потребовал современных средств психологического анализа, не имеющих ничего общего с наивно-плоскостным делением персонажей по нормам «положительности» и «отрицательности».

Предмет этого анализа — вся многосложность человеческой натуры, трудные и высокие пути ее совершенствования. Чтобы правдиво рассказать об этом, литература должна на деле реализовать все богатейшие эстетические возможности социалистического реализма.

Замечено, что конфликт в книгах последних лет все больше «смещается» во внутренний мир героя, в морально-эстетическую сферу. Это немаловажное обстоятельство, особенно если иметь в виду, что в художественном повествовании от характера конфликта прямо зависит вся внутренняя структура, поэтика произведения. И очень существенно, чтобы за таким «смещением» не утратилось представление, что конфликт в искусстве — это всегда общественно значимая проблема, а не просто сюжетные «страсти». Проблема эта тем острее, чем глубже она захватывает душу, судьбу человека. Изолированность же душевного конфликта от большого мира, сведение его лишь к моральным категориям не может породить ничего иного, кроме прекраснодушного морализаторства. Классовая «неантагонистичность» иной конфликтной ситуации отнюдь не делает ее менее болезненной для людей. Разрешение таких ситуаций в современных книгах все меньше связано с «благополучностью» развязки, с дидактическими способностями автора, его умением искусно расставить положительное и отрицательное — зависит все больше от того, насколько писателю выразительно удастся провести свою нравственную позицию сквозь все компоненты произведения, насколько глубоко его знание жизненных запросов современника. Подлинно серьезный жизненный конфликт не может быть изображен без накала страстей, без ощущения драматизма борьбы человека, борьбы за человека, борьбы в человеке!

Отзвуки этого пламени критик, естественно, ищет на художественной палитре, в реальности используемых выразительных средств. И в этом случае его не должны обманывать расхожие беллетристические ухищрения, когда для рассказа о новом перетасовываются старые изобразительные средства — будто в искусстве могут извечно существовать готовые приемы на все случаи жизни...

Так и получалось — сколько бы на писательском съезде ни заходил разговор о выразительных средствах, о конфликте и ти-

пизации, об изображении жизненных противоречий, о стилях и жанрах, в частности о судьбе романа в наши дни, всякий раз где-то рядом обязательно возникали эти слова: человек, человеческое...

Слежу по съездовским записям, которые касаются как раз проблемы современного романа, крупного эпического жанра:

«Большие идеи обуславливают не только творческие искания художников, их исследование действительности, но и особенности образного ее отражения. Последовательное осуществление принципов идейности, партийности в литературе сочетается с рельефной, впечатляющей типизацией действительности, поведения, психологии человека. В крупном литературном произведении значительное идейное содержание органически слито с воплощением характерного...»

«Усиление эпического начала в современной прозе — как в советской многонациональной литературе, так и в литературах социалистических стран — в немалой степени связано со все возрастающим интересом к внутреннему миру личности, с тем фактом, что строительство социализма невозможно без роста нового человека, без углубления его социалистического отношения к миру...»

«Повествование о человеке наших дней потребовало большого разнообразия изобразительных средств, широкого идейно-художественного диапазона. Отсюда упрочение философско-аналитического начала в прозе, обогащение эпического достижениями лирико-психологических жанров: синтез эпики с «диалектикой души», стремление сочетать анализ внутреннего мира с масштабностью изображения современной жизни...»

«В ответ на потребность многомиллионного читателя в произведениях, дающих широкоохватное отражение жизни — событий, конфликтов, проблем, характеров, — в первый ряд литературных достижений выдвинулся широкоохватный, многоплановый, панорамный, со стереоскопической глубиной роман...»

Что ж, видимо, есть своя художественная закономерность в том, что порожденные действительностью крупные характеры словно бы стимулируют крупные, эпические формы искусства, заставляют сегодня беспокоиться о полноте жизненной картины не только роман, но и такие «малые» жанры, как новелла, или баллада, или очерк. Нравственно-этический пафос литературы о со-

временности все определенной сообщается и книгам на исторические, историко-революционные темы.

Сказанное здесь о романе обращает нас к другому, более широкому соображению: специфика художественного сознания всегда и прежде всего связана именно с концепцией человека, с пониманием гуманистической проблемы. На этом плацдарме наше искусство противостоит искусству аморальному и человеконенавистическому. И если выводить наиболее лаконичную формулу их различия, то она здесь в том, как искусство понимает человека, как к нему относится.

Но продолжим разговор о «человеческом аспекте» непосредственно в книгах, посвященных нашей советской жизни.

На съезде отмечалось, что литературная критика в последние годы выдвинула своих, как было сказано, специалистов-исследователей, вдумчивых аналитиков производственной темы, литературы о рабочем классе. Что критика внесла свою лепту в оживление этой темы, помогла ее ориентации. В решении многих насущных проблем она здесь двигалась вместе с литературой.

Едва ли критика могла бы сколь-нибудь успешно выполнить эти свои задачи, не ощути она самой сердцевины производственной темы — того решающего, о чем в резолюции писательского съезда записано: «Человек труда всегда был и будет главным героем литературы и искусства, а развитие общественной активности, утверждение качеств советского характера было и остается благороднейшей целью писателя».

Не так просто и не вдруг давшаяся нашим литераторам истина заключается в том, что рабочую тему в искусстве нельзя, невозможно свести к сугубо производственным реалиям — это тема общенародная, обнимающая всю советскую жизнь, всю полноту вопроса — человек и его дело.

Бывало, иных критиков пугало слово «общечеловеческое» — сегодня нигде как в рабочей теме не видишь с такой очевидностью, что нравственность социализма — это реально обогащенные в новых условиях общечеловеческие ценности, которые были выработаны на протяжении веков трудовыми людьми в борьбе за свое счастье. Это идеалы, поистине выстраданные человечеством. Общечеловеческое в классовом раскрывается все шире.

Литература о рабочем классе тем более динамично полнится новым социально-нравственным содержанием в обществе зрелого социализма. Она выступает как философское обобщение эпохи, как исследование духовного облика всего народа. Именно поэтому и говорится, что сегодня рабочая тема — это тема прежде всего морально-этическая, а труд в ней по-горьковски понимается как основа формирования личности, как категория мировоззренческая и нравственная.

Важно, что в книги, пьесы, фильмы о производстве и рабочем классе пришел герой по-настоящему интересный, подлинно личностный — тот подмеченный в самой жизни современный человеческий тип, который есть активный деятель: он берет на свои плечи наиболее трудные общественные задачи, стремится максимально реализовать свои возможности, выступает как носитель социального сознания.

От этого героя все укрупнилось — в том числе и художественные изобразительные средства. Стал отчетливей акцент на внутренне сложном, на «диалектике чувств», какая присуща современному рабочему человеку. Отсюда и разгоревшийся интерес к этой теме у читателя, зрителя.

Не без воздействия такого героя проявились некоторые проблемы, возникшие с темой НТР, — теперь научно-техническая революция все чаще рассматривается не как нечто внешнее по отношению к рабочему человеку, а как то, что возникает в нем самом, в его труде, что стало неотъемлемой заботой всего рабочего класса. На самые сложные явления современного прогресса мы учимся смотреть глазами рабочего класса, исследовать с позиций ему присущих нравственности и идейности. НТР в понимании литературы — это художественная мысль о новом духовном облике человека, о том главном, что было сказано Л. И. Брежневым на XXV съезде партии: «...только в условиях социализма научно-техническая революция обретает верное, отвечающее интересам человека и общества направление».

И вот характерная примета сегодняшнего литературного процесса: чем выразительнее рабочая или какая-либо другая тема раскрывается в своей человеческой полноте, тем все более истончается сама эта, такая привычная еще со школьных лет, дефиниция — «тема в литературе». Если художника интересует весь человек, становится

очевидной своя условность, «чисто рабочее» критическое подразделение современной литературы на темы заводскую и деревенскую, тему молодежи и тему интеллигенции...

Казалось бы, совершенно определена и в своих параметрах достаточно устойчива тема нравственная. К ней обращены глубокие симпатии и читателей и писателей, о ней говорят особо, ей посвящаются специальные критические разборы, свои сборники... И при этом в выступлениях на съезде не однажды звучал закономерный вопрос: но что в литературе — в не нравственной теме? Ведь само призвание художника в том и состоит, чтобы вершить нравственный суд над выведенными им персонажами, осмыслить мир в морально-эстетическом свете!

Из нравственной проблематики можно «выгородить» и нечто более узкое — тему быта. Но опять-таки и здесь все решит авторское понимание: то ли писать «на тему», то ли о подлинно человеческом бытии. Канонам «кухонного быта» вполне соответствуют и малые людские страсти. А возможно и такое понимание быта, когда в нем все — семья человека и его дело, любовь и ненависть, жизнь и смерть, каждый день его непростого и великого существования...

И если согласиться, что «нравственную тему» нельзя, невозможно решать в изолированности от всего другого, от широких социальных интересов современника, значит, следует сделать и следующий шаг — подвергнуть решительному критическому пересмотру то распространенное мнение, согласно которому нравственной проблематике в литературе отведена только сфера «чистого быта» — эта квартира, эта семья, этот альков...

А между тем «бытовую тему» тоже можно расщеплять дальше — скажем, есть такое понятие, как антимещанская литература. И уж в ней-то, кажется, все устоялось от века, отлилось в прочные формы: и лик героя, и коллизии, и приемы разоблачения, и средства дидактики... Почему же именно на этой накатанной дорожке в последнее время так часто терпят урон самые разные авторы? И материал вроде бы рассчитан на непосредственные читательские эмоции, и сюжет закручен до отказа, а читать, в общем, скучно. Все меньше интереса к этой некогда боевой теме...

Тут проблема немалая, есть над чем задуматься нашей критике, есть что про-



анализировать, сравнить с другими фронтами литературы. Может, это как раз и есть классический случай, когда на тему в целом, на ее исходные позиции следует широко взглянуть глазами серьезного героя, поистине живущего масштабами своего века?

Кто знает, не обнаружится ли в этом случае, что и темы-то такой, «мещанской», давно не существует, она трансформировалась, принципиально переросла в нечто более сложное, не вмещающееся в привычные литературные каноны.

Материальный достаток определяет сознание? Но, оказывается, можно быть и за богатым столом духовно нищим... Неизмеримо возросли нравственно-духовные требования в век все убыстряющегося прогресса, кажется, что эпоха словно обгоняет нравственные «скорости» — одни растерялись перед такими темпами, другие бездумно приспособились к ультрасовременным формам, есть и такие, что номинально числятся в рядах самого передового класса, а внутренне остаются собственниками, типичными «потребителями» (почему «современного мещанина» привычно искать только по дачам да коммунальным квартирам, там ли действительный эпицентр этого конфликта?). Как литературе разобраться во всех этих психологических тонкостях? А ведь когда писатель не понимает первопричин, обывательщина вырастает в его глазах в такую мрачную, всепоглощающую силу, что перо его само собой начинает выводить «романы ужасов» — на мещанскую тему...

Счастливы человек, достигший в своем бытии истинной гармонии между материальным и духовным. Для него подъем материальных возможностей означает не что иное, как естественный стимул идейно-нравственного, культурного, душевного роста. Стимул самоутверждения себя как личности.

Касается ли кого-либо другого вся эта нравственная проблематика так остро, как она касается литературного критика! Ему положено понимать всю вместе взятую структуру этой темы — так, как архитектор понимает всю огромность возводимого им здания.

На XXV съезде КПСС было сказано, что литература отражает «то основное, существенное, чем живет страна, что стало частью личных судеб советских людей». Вот это нужно представить как целостный процесс — как именно общее, основное становится самой человеческой судьбой. Критик

должен попытаться это представить! Увидеть нравственное в новизне зрелого социализма: не расплывчатые вневременные категории «вообще духовности», «вообще совести», а коммунистическую нравственность как средство, в конечном счете преобразующее и совершенствующее весь комплекс общественных отношений. Нравственность, питаемую коммунистическим гуманизмом, тысячами нитей связанную с народным характером, с духовными ценностями прошлого.

На нашей литературной критике — впрочем, как и на всем искусстве социалистического реализма — лежит ответственность за чистоту общественных нравов, за нравственное здоровье целого человечества — если видеть это искусство как составную часть общемирового художественного процесса.

Все это встает за той тенденцией современного литературного развития, о которой много говорилось в выступлениях на писательском съезде — за возросшим интересом к отдельной личности, к индивидуальным судьбам и человеческим отношениям, сквозь которые просматривается целый мир.

## 6

Стало хорошим тоном к случаю попенять критике за то или другое — зайдет ли речь о жанре, или творческой судьбе конкретного писателя, или о делах организационных, всегда где-то между прочим уместно вставить мысль: а вот критика недостаточна...

Совершенно естественно, что были высказаны упреки в адрес критиков и на недавнем съезде литераторов страны.

Листаю газетные отчеты: «Выступающие отмечали, что переводческая работа мало исследуется критикой, нет основательного анализа изобразительных средств, художественных достоинств перевода, да и охватывает она своим вниманием лишь небольшую часть переводной литературы...», «...высказан упрек в адрес литературных критиков, которые (за небольшим исключением) редко еще прибегают к анализу произведений о защитниках мирных рубежей нашей Родины...», «Но часто литературные критики словно не замечают, что мемуарная литература стала фактом духовной жизни общества...», «Шла речь и о критике, которая все еще не поспевает за бурным ростом обращенной к юному читателю литературы...» и т. д.

Полагаю, что многочисленные эти «не» в адрес критики следует воспринимать даже не столько как слово упрека, сколько как желание подсказать, подвигнуть, активизировать внимание к тому или иному участку большого творческого поля.

А вообще-то критика и в самом деле еще в долгу — перед многими и перед многим. И всегда, видимо, будет «должницей»: это как бы в самой ее природе.

Однако есть задачи и задачи. Одни ближние, тактические, другие уходят в глубокую перспективу. В Отчетном докладе писательскому съезду есть слова: «Критическая и литературоведческая мысль в наших условиях нуждается в стратегическом планировании». Стратегическом!

Понимая свой долг и перед армейской темой, и перед переводчиками или мемуаристами, перед каждой новой книгой и народившимся талантом, критика, вся вместе, должна ежечасно помнить о тех задачах, что рассчитаны надолго, преследуют своей целью постоянное поступательное улучшение общего климата нашей литературной жизни.

К подобной проблематике выступавшие на съезде обращались не однажды. Иные их соображения «стратегического порядка» выглядели достаточно внушительно. И беспокойно!

Ощутима в критике атмосфера некой благодности. Особенно это относится к области рецензирования: чисто иллюстративное квалифицируется как художественное откровение; случается, серая посредственность преспокойно существует между двумя полюсами, между хорошим и плохим,— о ней вообще предпочитают не писать.

Ни иллюстративности, ни посредственности не будет жизни, если общий критический критерий будет поднят до уровня мастеров — единая высокая мера для всех, для «местных» и «столичных», «детских» и «взрослых». Критерий мастеров — критерий подлинной художественности, идейно-эстетического новаторства. Эта общая забота способна будет еще больше сплотить критиков, работающих в разных концах страны.

Однако вопрос о критериях, о повышении идейно-эстетической требовательности может быть повернут и лицом непосредственно к критике — к качественной стороне ее собственной работы.

Нас удручает в творчестве иных молодых прозаиков или драматургов болезнь так называемой вторичной ориентации: автор присматривается не столько к окружающей действительности и живым людям, сколько к литературной конъюнктуре, к тому, что и как сегодня пишут, а уж воспроизвести удачно выбранный образец — дело, что называется, простой техники (недаром и Белинский замечал, что уметь писать стихи не значит еще быть поэтом; все книжные лавки завалены доказательством этой истины). Так мы пишем в своих критических статьях. Но разве грех той же «вторичной ориентации» не лежит на иных работах самих критиков, поучающих молодых прозаиков и драматургов?

«Субъективность»... С этим словечком в критике долгое время обращались предельно осторожно. Похоже, что сегодня субъективность — в добром понимании этого слова — становится одним из весьма дорогостоящих качеств критической работы. И когда слышишь научные суждения о соотношении объективного и субъективного в художественном творчестве, о субъективности, которая в процессе познания объективного мира играет все более отчетливую, преобразующую роль,— думаешь: вот еще один случай, когда критика может из общетеоретических положений извлечь для себя самый непосредственный практический урок...

Известна среди литературоведов и критиков «методология», которая уже успела получить саркастическое обозначение — «ни шагу вперед». Это когда критик специализируется на повторении и канонизации общеизвестного, охотно бросается в атаку против всего, что кажется нарушением привычного. Долг критической общественности указать на всю ошибочность подобного подхода к делу. Личная задача всякого критика — будоражить общественную мысль, стремиться каждой своей работой творчески развивать литературную теорию, выказывать свой общественный темперамент!

Так, по крайней мере, это представляется в идеале.

Творческое дерзновение — при основательности теоретической, профессиональной вооруженности!

Слово одобрения, мы знаем, заслужило все сделанное критикой для развития многонациональной советской литературы. Это то направление, которое развивает-

ся по-настоящему дружно, наступательно, многими силами.

И тем не менее именно здесь особенно ощущается необходимость обновления, углубления иных критериев и представлений,— может быть, как раз благодаря успешному продвижению исследования в целом!

Нового наполнения, соответствующего духу времени и состоянию науки, требует самое «базовое» понятие многонациональность. Это поистине небывалый в истории мировой культуры феномен, ставший возможным в условиях первого социалистического государства, с возникновением новой исторической общности — советского народа.

В этом феномене — выработавшееся в масштабах огромной социалистической культуры единство социального и эстетического мышления. Единство, которое уже само по себе выступает верным гарантом для многообразия национальных форм. Единство — как своеобразный двигатель художественного новаторства.

В понятии многонационального — и вся сумма явлений, связанных с вопросом о широте нашего творческого метода. В «многонациональном варианте» эти явления обнаруживают себя на самых разных уровнях: наше искусство открыто всему, что рождается при взаимодействии общего и национально-специфического, всем средствам художественности, необходимым для выражения богатой национальной и интернациональной проблематики.

Отразился в рассматриваемом феномене и тот замечательный процесс современности, который мы называем «выравниванием» идейно-эстетических уровней разных литератур. Это процесс взаимообогащения, приобщающий вековечно отсталые культуры к уровню передовых, к источнику богатств, накопленных человечеством, к заветным художественным исканиям современности.

В понятии многонациональности — опыт классически положительного решения проблемы, весьма мучительной для многих национальных культур современных развивающихся стран: проблемы преодоления фетишизации «национальной неповторимости», слепой привязанности к фольклорным основам. Это проблема гармоничного сочетания прошлых традиций с новейшими средствами изобразительности, это способность истинно прогрессивного искусства

жить народом, полниться от народного творчества.

Что же касается непосредственно критики, литературной науки, то им этот феномен дал широту поистине полинационального видения жизни и искусства (взамен привычного мононационального видения), предоставил литературоведу, критику новые возможности для широкого раскрытия своего дарования.

Так сложно «расшифровывается» понятие многонациональности в нынешних условиях. И существует оно не как конгломерат разновеликих явлений и качеств, но как нечто целостное, как новообразование современности, культуры советского народа. И в этом своем качестве постоянно проявляется в новых книгах, в творческих судьбах, в движении литератур. По-своему оно воздействует на общий мировой художественный процесс.

Осмыслять многонациональность — как действенное орудие эстетического анализа — нам следует именно в таких вот масштабах...

И еще одна тема, касающаяся критики, возникла в выступлениях на съезде — та, что идет от сегодняшнего интереса литераторов вообще, а критиков в особенности, к открытиям и обобщениям социологии — этой ныне на редкость актуальной науки. Нет нужды доказывать полезность такого процесса, расширяющего рамки эстетического, вводящего в искусство все новый жизненный материал. И потому, что интерес этот будет все крепнуть, захватывать широкие творческие круги, нашей критике с особой озабоченностью надо оберегать литературу (а себя саму в первую очередь) от поверхностного отношения к социологическим истинам, от любительского обращения с этим боевым оружием.

Когда социологические факты не осмысляются художнически, а используются всего только как декорация для героев, как этакая острая приправа к собственно литературоведческим суждениям, возникает опасность не менее тягостная, чем тот вульгарный социологизм, от которого наша критика в свое время терпела немалый урон, борьбе с которым вынуждена была отдать столько сил.

Лишь по-настоящему творческое включение социальных знаний в художественный анализ, творческий «перевод» их на язык эстетический могут оградить нашу критику от невольного «размывания» художествен-

ного познания, от бед поверхностного, иллюстраторского подхода к новейшим достижениям «сопредельных» наук — будь то социология, или общественная психология, или философия.

И отсюда мысль, глобальная для отношений нашей критики с действительностью. Любые теоретические, методологические изыскания и обобщения имеют подлинную цену лишь тогда, когда опираются не на умозрительность, а на прочный конкретно-исторический материал, отвечают заботам, движению, живой реальности советского искусства, марксистско-ленинской эстетики; когда они вытекают из опыта талантливых наших художников, творческих открытий больших мастеров. Тогда-то о критике и говорят как о «самосознании литературы»!

Все, о чем говорилось в выступлениях на писательском съезде, перекликается с постановлением ЦК КПСС «О литературно-художественной критике». Пафос конкретной разработки положений этого историче-

ского документа запечатлен в резолюции писательского съезда, где относительно задач критики сказано: «Особое внимание надо сосредоточить на новых проблемах, выдвигаемых жизнью и литературным развитием, неуклонно следовать принципам партийности, принципиальности в оценке произведений, решительнее противостоять вкусовщине и порождаемым ею комплиментарности и недоброжелательности. Важно, чтобы литературная теория органически опиралась на исследование живого художественного опыта многонациональной советской литературы, литератур стран социалистического содружества, прогрессивных писателей всего мира».

Несомненно, что вопросы теории и практики литературного дела, так или иначе затронутые на писательском съезде, еще долго будут предметом внимательнейшего рассмотрения нашей критики. Можно сказать, что на съезде она получила поистине с в о д первостепенных задач — тех, которыми нам всем предстоит руководствоваться в сегодняшней и завтрашней своей работе.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Анатолий Смелянский.** Люди из страны детства. — Е. Сурнов. Советология, ее цели и методы.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Александр Борщаговский.** Мысль, обращенная в будущее. — Евг. Осетров. Сохранить ценности человечества.

## Литература и искусство

### ЛЮДИ ИЗ СТРАНЫ ДЕТСТВА

**Анатолий Алексин.** Действующие лица и исполнители. М. «Детская литература». 1975. 399 стр.

**Анатолий Алексин.** Третий в пятом ряду. «Юность», 1975, № 10.

Почти одновременно с выходом в «Золотой библиотеке» (издательство «Детская литература») книги Анатолия Алексина «Действующие лица и исполнители» читатели «Юности» получили очередной номер журнала, где была напечатана его же повесть «Третий в пятом ряду». Такое совпадение оказалось символичным. Книга, как и положено серии «Золотой библиотеки», вместила в себя все лучшее, что создано писателем за многие годы работы в литературе. Последняя повесть позволила как бы заново оценить созданное.

При всей верности своей теме, своим писательским пристрастиям и привязанностям, А. Алексин, как теперь хорошо видно, не повторял самого себя, а шел дальше, в глубь открытой им земли в стране детства и юности. Проблемы «детской страны» оказывались нерасторжимо связанными с заботами всей человеческой жизни.

В этом смысле «Третий в пятом ряду» воспринимается как эпизод «золотой» книги, как своего рода эстетический шифр к другим, более ранним вещам писателя. И в этой повести А. Алексина самобытный мир писателя узнается сразу. И здесь юный герой — Ваня Белов — совершает свои «спа-

сательные экспедиции», бросается на помощь взрослым, готовый решить все их проблемы и взять на себя всю тяжесть ответственности. Как и в повести «А тем временем где-то...», в которой Сергей Емельянов бросался на помощь одинокой женщине, некогда любившей его отца. Как и в повести «Позавчера и послезавтра», когда подросток спешил на помощь старому дирижеру детского хора в трагическую минуту его жизни. Как и в повести «Поздний ребенок», где герой, тоже подросток, пытался одарить счастьем свою семью: отца — здоровьем, сестру — любовью, соседа — добром.

Почти в каждой повести А. Алексина читатель наблюдает порыв героя к добру и состраданию. Так возникает высокая тема рыцарства. Писатель фокусирует внимание на той поре в жизни подростка, когда он начинает осознавать неоднозначность и непростоту окружающего, понимать, что жизнь окрашена вовсе не в два цвета, что за добро не всегда платят добром, на любовь не всегда отвечают любовью, а два прекрасных человека порою не могут быть счастливы вместе...

Приходит взрослость. Дети в повестях А. Алексина склонны к размышлениям и

анализу, и это раннее повзросление, может быть, один из излюбленных и стойких мотивов прозы и драматургии А. Алексина. Зрелая душа, то есть душа, способная слышать и откликаться на чужую боль, — категория не возрастная, а нравственная. Заведующая детским садом из новой повести Алексина скажет об этом просто и незатейливо: «Они должны уметь плакать... Не только тогда, когда расшибают коленку. Но и когда коленка болит у кого-то другого».

В отличие от повестей, включенных в книгу, новая повесть избирает в качестве рассказчика не подростка, а старую учительницу литературы, профессиональной которой всю жизнь было воспитывать и понимать ребячьи сердца. Изменился «фокус», художественная точка зрения — и каким неожиданным предстали и само детство и его отношения с миром взрослых!

Как и прежде, в повести А. Алексина действует рыцарь — подросток Ваня Белов, тот самый Ваня Белов, который на старой школьной фотографии, где первый ряд, как положено по традиции, полулежал, другие, как положено, сидели и стояли, установил свой пятый ряд, взгромоздив один стул на другой, нарушив привычный порядок и строй. Но Ваня теперь живет лишь в воспоминаниях старой учительницы, для которой он когда-то, в том довоенном классе, был мучением, а теперь, спустя много лет, стал счастливым обретением.

Произошло как бы перераспределение тяжести: Ваня Белов уже ясен, увиден и открыт писателем. В повести же исследуется парадокс воспитания, опыт учительницы, старавшейся любить всех своих учеников «одинаково», отчаянно стремившейся никого не выделять «в ряду» и всех — в школе и дома — приводить к «общему знаменателю» своих взглядов, своего характера. И так старалась Вера Матвеевна, что как-то и не заметила, что поломала собственную жизнь, оставшись в одиночестве, да и многих близких учеников проглядела. Проглядела личность, уникальность Вани Белова, одержимая прекрасным для садовника, но не для педагога стремлением стричь и «подравнивать» все, что растет.

И вот старость. Теперь у нее не класс, где всех надо любить «одинаково». Теперь у нее только внучка Лиза, доверенная бабушке — обладательнице огромного педагогического опыта. И вот уже не Ваня Белов, а девочка проявляет характер. Внучка рассматривает школьную фотографию, водит по ней

пальцем, а бабушка рассказывает бесконечные истории о проделках «злого гения» ее довоенного класса, для того чтобы Лиза училась, так сказать, на отрицательном примере.

Но чем больше убеждает бабушка внучку, что не надо быть похожей на Ваню Белова, тем больше влюбляется в него умная и строптивая Елизавета. И когда однажды вечером при гостях дверь старинного шкафа распахнулась и из его глубины, окруженная платьями и запахом нафталина, появилась Елизавета, как когда-то появился в окне третьего этажа легендарный Ваня Белов, оглядела притихших гостей и произнесла Ваню «Разрешите войти?», Вера Матвеевна поняла, что «злой гений» окончательно завладел сердцем ее внучки. И все началось заново!

Удивительно, с каким упорством природа производит на свет людей уникальных и с тем же упорством заставляет порою других эту уникальность ступеньковать, или, как признается Вера Матвеевна, приводить к «общему знаменателю». Прекрасный, душевный человек, Вера Матвеевна понимала разницу между завистливой «лицейской сволочью» Сенькой Голубкиным и Ваней Беловым. Но она считала своим долгом «любить всех одинаково». Она выставила часток слов и принципов очень вроде бы правильных, но почему-то отгородивших ее от учеников. В те далекие годы методы ее не помогали личности раскрывать себя, а как бы «усредняли» ребят, «выравнивали» их. Теперь очередь была за Елизаветой...

Надо по достоинству оценить содержание этой конфликтной ситуации, имеющей для творчества А. Алексина принципиальное значение. Речь идет о том, что мир детей, мир юности по-своему отражает в себе взрослый мир, как бы «проигрывает» его и в лучших и в худших вариантах. Подросток в повестях А. Алексина страстно любит разглядывать фотографии, наблюдать, как с годами меняются лица людей, но неизменным остается выражение лица. Вот это выражение лица, открываемое как в ребенке, так и во взрослом человеке, и интересует писателя. Его интересует, как формируется подлинная человеческая личность, с чего она начинается.

А. Алексин, с замечательной остротой обнаруживая в самом себе, в своей памяти «детского человека», воспроизводит все тонкости и странности интереса детей к миру взрослых, к тому, как и чем они живут.

Он награждает подростков редкой, некоторым может показаться, «запретной» наблюдательностью. «Неужели даже наша химичка, которая ни разу за два года не улыbnулась... дома тоже целует мужа? И он целует ее?.. Интересно, как это все происходит?» В той же повести «Мой брат играет на кларнете» девочка впервые видит своего дедушку — музыканта — в фойе кинотеатра (раньше она не знала, что такое фойе, слово ей казалось очень красивым): «...мне стало жаль моего бедного дедушку: зрители переговаривались, жевали бутерброды, шуршали газетами, а старые люди на сцене играли валсы. Они прижимали к подбородку свои скрипочки и закрывали глаза: может быть, от удовольствия, а может быть, для того, чтоб не видеть, как зрители жуют бутерброды».

Алик Деткин, сыщик-детектив веселой, пародийной «Очень страшной истории», лишь в большей мере, чем другие, выражает эту особенность детского сознания, интересующего писателя: он следит за взрослыми буквально как сыщик, вслушивается в их разговоры, оценивает поступки и всматривается, всматривается в их лица, торопясь постичь смысл жизни. Взрослые же по какому-то очень распространенному, почти природному закону хотят, чтобы дети были непременно похожими на них, или — другой вариант того же — отвечали какому-то абстрактному стандарту «образцового ребенка в образцовой семье». Родители хотят, чтобы дети не повторяли их ошибок, они хотят, чтобы детям достались таланты, которые жизнь заглушила в них самих, чтобы дети были беспечно счастливы. Они даже втайне мечтают иногда, чтобы мальчик вообще не вырос (как в «Позднем ребенке»), оставался маленьким — ведь они так долго его ждали!

Подросток не терпит снисходительной уравниловки. Ему обидно, что взрослые готовы послать его за какой-нибудь мелочью — за чем-нибудь сбежать или что-нибудь принести, но не зовут, когда они решают нечто важное и значительное в своей жизни. И тогда он, подросток, пытается — незваный — войти в серьезный взрослый мир и навести там порядок. Тут проходит внутренняя конфликтная линия прозы А. Алексина.

В протесте против стремления подравнять детей под «общий знаменатель» (о чем написана повесть «Третий в пятом ряду») скрыт один из наиболее важных и стойких мотивов

творчества Анатолия Алексина. «Образцово-показательная» семья Емельяновых воспитывает своего Сережу по принципу «будь таким, как мы». Образцово-показательный эрудит и говорун Николай Николаевич Патов из повести «Действующие лица и исполнители» стремится подогнать «под себя» ершистого, талантливого молодого режиссера Андрея Лагутина. Естественно, что и сами дети, отражая и воспроизводя взрослый мир в лучших и дурных его чертах, перенимают у него и это вечное стремление старших. Внимательному читателю в «детской стране» А. Алексина открываются не только рыцари добра и справедливости, это было бы слишком легким решением всех вопросов. Нет, рядом с рыцарями-подростками в прозе писателя существует и другого рода «рыцарство». Напомню, как Женька, придумав и взлелеяв в своем сознании, что ее брат Лева будет знаменитым музыкантом, решает для этой великой цели пожертвовать собою. Она готова отказаться от всякой «личной жизни», только бы ее брат, который играет на кларнете, стал таким, каким требуется (по мнению Женьки!). Трогательно-смешно, по-детски лишает она «личной жизни» не только себя, но и своего брата. Она решила за него все проблемы и ужаснулась, к каким неприятностям это привело.

В повести «Мой брат играет на кларнете» такая ситуация разрешается комически. В повести «Третий в пятом ряду» — глубоко драматически. Для осознания того, что произошло и в той и в другой повести, героям необходимо было испытание: в первом случае оно, так сказать, комическое, на «детском уровне» — из-за Женьки на Левин концерт не пришла девушка, в которую он был влюблен. — и музыкант «провалился». Во второй повести происходит несчастье. Внучка, чьим воспитанием теперь занята Вера Матвеевна, в смертельной опасности, у нее аллергический шок. За несколько часов операции перед старой учительницей проходит вся жизнь, и эта жизнь открывается в ином разрезе. Ей сообщают, что операцию делает доктор Иван Белов, — и Вера Матвеевна почему-то сразу решает, что это тот самый Ваня, ее непокорный ученик, из-за которого она когда-то перешла в другую школу.

Кажется, что писатель ведет нас к достаточно привычной развязке. Но тут-то и скрыт поворот сюжета повести, как бы освещающий заново многое из того, что соз-

дано писателем раньше. Доктор оказывается Ваниным однофамильцем, а Вера Матвеевна (но в а я Вера Матвеевна!), открывшая в своем бывшем ученике прекрасного человека, решает разыскать его немедленно — и успокоить совесть. Повесть, кажется, движется к счастливому и успокаивающему финалу. Вот открывается дверь, и старики Беловы, узнавшие бывшую учительницу Вани, как и четверть века назад, настойчиво предлагают ей раздеться... А она спешит объясниться, излить душу и успокоиться. А потом, как удар в сердце, пожелтевшая похоронка весны сорок пятого года: «Ваш сын, Иван Андреевич Белов, пал смертью храбрых в боях за город Пенцлау». Вот и все. И нет искупления. Та же самая тема и тот же самый характер (разве Вера Матвеевна не повторяет на «взрослом уровне» смешную девчонку, решившую одарить стандартным счастьем своего брата?) иначе прозвучали сейчас.

Проза А. Алексина предстает как многолетняя упорная писательская защита и утверждение неповторимой, уникальной самоценной человеческой личности. Тема рыцарства души, без различия возраста объединяющая детей и взрослых, вышедших из «страны детства», оказывается прямым следствием такой защиты: рыцарство духа есть эмоционально претворенный мотив человеческой раскованности, душевного богатства и свободы.

Надо сказать, что драматическая театральная сцена, на которой почти все повести А. Алексина в последние годы обрели новую жизнь, как и положено «увеличительному стеклу» театра, укрупнила и явно высветила эту центральную художественную идею писателя. Может быть, особенно интересно и ярко она была схвачена в спектакле по повести «Действующие лица и исполнители» в детском театре-студии «Гайдар». Режиссер Вячеслав Спесивцев вместе с несколькими десятками ребят разных возрастов разыграли эту повесть на одном дыхании, как гимн человеческому своеобразию, непохожести, талантности. Повесть о людях театра игралась «у вешалки», с которой театр, как известно, начинается, продолжалась в фойе и «гримбуторных», перетекала на сцену и в зал.

Главный герой — молодой режиссер, приехавший в город ставить «Ромео и Джульетту», появлялся прямо «из жизни»: легкой, прыгающей походкой, в свитере и в кедах, по лестнице, в фойе, в окнах, выходящих на

площадь, шел Андрей Лагутин, тот самый, которого будет «подгонять» под себя Николай Николаевич Патов. Перед нами разыгрывалась судьба таланта, пробивающего себе дорогу сквозь частокол вроде бы правильных, но мертвых слов Патова.

На репетиции «Ромео и Джульетты» молодой режиссер показывал актерам сцену убийства Меркуцио. И погибал сам. Погибал метафорически — «в режиссерском пь-казе». А потом, в финале, он умирал уже не метафорически — парень, как выяснилось, был неизлечимо болен. Действие снова переходило в фойе. Огромные фрамуги окон были теперь задрены черным.

Первым на траурном митинге выступал Николай Николаевич, главный режиссер, и опять говорил заученно-скучные слова. А потом, как последнее воспоминание, как театральное чудо, Андрей Лагутин вновь проходил через фойе. Поднимались вверх черные шторы, и в уже потемневшем сумеречно-воздухе, на пустынной площади появлялась маленькая фигурка в свитере и кедах. Он уходил быстро, не оглядываясь, иногда подбрасывая ногой какой-нибудь камешек — и наконец скрылся из виду, как бы растворился вдали...

Возникало, надо сказать, какое-то щемящее чувство сродни тем, что возникают при чтении лучших алексинских повестей. Мы заново ощущали ценность человеческой жизни, ценность человека своеобразного, похожего «на самого себя». Мы учились высокому искусству разглядеть такого человека — и помочь ему, потому что, как сказано одним поэтом, «талантам надо помогать, бездарности пробьются сами».

Именно к этому подводят читателя и последняя книга и новая повесть Анатолия Алексина «Третий в пятом ряду». Жизненный урок, который осознала Вера Матвеевна, сформулирован предельно, может быть, даже излишне откровенно. Писатель тут не прячется за рассказчика, он появляется рядом с ним: «...на самом деле жизнь доказала мне, что... добро каждый должен творить по-своему... И что третий в пятом ряду не должен быть похож на пятого в третьем ряду... И что вообще я, учительница, должна видеть не «ряды», а людей, которые стоят рядом... или вдали друг от друга».

Здесь — существо нравственной позиции писателя, его отношения к жизни, к людям, которое и является цементом искусства.

**Анатолий СМЕЛЯНСКИЙ.**



## СОВЕТОЛОГИЯ, ЕЕ ЦЕЛИ И МЕТОДЫ

А. Беляев. *Идеологическая борьба и литература. Критический анализ американской советологии*. М. «Советский писатель». 1975. 374 стр.

Книга А. Беляева «Идеологическая борьба и литература» содержит систематическое опровержение концепций развития советской литературы, на протяжении многих лет упорно навязываемых западному читателю разного рода советологами. Их измышления не раз доказательно и точно опровергались и раньше. А. Беляев с уважением перечисляет имена ученых и публицистов, в разное время вступавших в бой за правду, за честь и достоинство советской литературы. Но такого «массированного» наступления на позиции наших идейных противников, такого последовательного и всеохватывающего разоблачения их домыслов, с каким мы встречаемся в книге «Идеологическая борьба и литература», в нашей науке, насколько мне известно, еще не предпринималось. А. Беляев глубоко вторгается на территорию врага и методично, наглядно обнаруживает белые нитки, которыми шиты пухлые тома, написанные всеми этими слонимами, симмонсами, струве, ермолаевыми, истменами, уитни, биллингтонами, александровыми — имя же им легион. В итоге читатель получает законченное представление и о методах, используемых советологами в борьбе с литературой социалистического реализма, и об уровне их компетентности, и о подлинной природе весьма специфического интереса этих господ к творчеству советских писателей.

А. Беляев справедливо отказывает советологам в праве рядиться в тогу «академически беспристрастных ученых». Перелистывая одну за другой их книжки, он буквально на каждой странице обнаруживает навязчивую и грубую тенденциозность, развязное пренебрежение к текстам, выводы, которые не вытекают из объективного рассмотрения изучаемых материалов, как это принято в науке, а предшествуют «изучению», даются априорно, в силу чего содержание произведений, оказавшихся в поле зрения очередного советолога, насильственно подгоняется под заранее заданный тезис. Натяжки и передержки при такой «методологии» оказываются неизбежными, как и вопиющая унифицированность теоретических посылок и критических оценок, на которую не раз с иронией обращает внимание своего читателя А. Беляев. В его книге хорошо показано убогое единообразие, как правило,

отличающее писания советологов, «словно под диктовку» повторяющих одни и те же суждения, одни и те же приговоры. Все эти суждения и приговоры носят типовой характер, не принадлежат никому персонально, а заданы всем советологам, которым просто «по статуту» не положено «никакого своеволия в суждениях, никакого своемыслия и самостоятельности».

Вывод этот подтвержден в книге «Идеологическая борьба и литература» множеством разительных сопоставлений и красноречивых цитат из трудов советологов разных поколений — от Глеба Струве и Д. Мирского до У. Харкинса и Д. Маркхэма. «Так и маршируют советологи в одинаковых ливреях, — саркастически замечает по этому поводу А. Беляев, — дружно печатая свои тонкие и толстые книги, в которых мелькают одни и те же, неотличимые друг от друга формулировки и оценки. Вот уж поистине, мундир так мундир! Мундир того рода войск, который называется унифицированной армией антикоммунистов».

Так выясняется, что крайняя бедность «теоретических дебатов» и тактических комбинаций, характерная для творчества советологов, является не просто личной бедой кого-то из этих господ, а закономерным следствием скудости и непродуктивности их исходного посыла. Обреченные из книги в книгу повторять одни и те же тезисы (об отсутствии творческой свободы в СССР, о романах и пьесах, пишущихся по «команде сверху», о диктате «партийной цензуры» и т. п.), советологи, естественно, не могут сколько-нибудь заметно разнообразить свой репертуар. Что и позволяет автору книги характеризовать их писания как некую совокупность, обнаруживая в них те общие места и обязательные мотивы, которые невольно наводят на мысль о том, что поражающая «синхронность» мышления советологов разных лет возникла отнюдь не спонтанно.

Характерный пример. А. Беляев цитирует утверждение Г. Борланд, автора книги «Советская литература. Теория и практика», о том, что в годы первой пятилетки в СССР якобы разрешалось издавать только книги, посвященные текущему дню, авторы же, «которые не писали на темы современности, немедленно объявлялись «контрреволюцио-

нерами». Но книга «Советская литература. Теория и практика», по словам А. Беляева, свидетельствует о том, что ее автор знакома с историей советской литературы 30-х годов. Значит, Борлана просто не могла не знать о том, что в эти годы писались и печатались «Петр Первый» А. Толстого, «Жизнь Клыма Самгина» М. Горького, «Цусима» А. Новикова-Прибоя, «Угрюм-река» В. Шишкова, «Якобинский заквас» О. Форш, «Три толстяка» Ю. Олеши, «Гуляй, Волга!» А. Веселого, «Швамбрания» Л. Кассиля и другие. Не могла она не знать и того, что книги эти отнюдь не квалифицировались как «контрреволюционные», а, наоборот, были встречены с живым интересом. «Тогда почему же эти знания не обнаруживаются в ее книге? — резонно спрашивает А. Беляев. — Может, из скромности? А может, «так надо», может, ей так велено? Умолчать об одном, пожалеть о другом, а сказать только о третьем, представив это «третье» в окарикатуренном виде, да еще и в качестве одного и якобы единственного. А то, что в результате подобного приема «умолчания» читатель получает крайне искаженную картину не только советской литературы периода первой пятилетки, но и всей духовной жизни социалистического общества, — так, может, ее учителям того и хотелось, может, они того и добивались? А может, и сама она преследовала ту же цель? Так сказать, не корысти ради, а по «убеждению», ибо ее учили только ненавидеть все советское, в том числе и советскую литературу и советскую культурную политику в особенности...»

Я привел эту цитату, во-первых, потому, что она характерна для манеры А. Беляева — свободной, раскованной, часто ироничной, прячущей под насмешливой интонацией негодование и горькое презрение, — но не только поэтому. Еще важнее показать, что передержки, о которых пишет автор, проистекают не только от чьей-то неосведомленности или легкомыслия, а являются необходимой принадлежностью и стиля и метода советологов. Они не могут не передерживать, вот в чем суть дела, потому что, не передержнув, они не сумеют провести свою «концепцию», с достаточным апломбом провозгласить изначально запрограммированный тезис.

Читателю книги А. Беляева это делается предельно ясно. Но не только это. Рассмотрение концепций советологов дается в ней исторически. Автор обращается к тем ха-

рактеристикам-ярлыкам, которые давались, а точнее — привешивались советологами к различным периодам истории советского общества. И неизменно при этом приходит к выводу, что о каком бы периоде ни писали Струве и Слоним, Александрова и Биллингтон, суть их суждений, их оценки многообразного и сложного опыта советской литературы остается одна и та же. «Менялась тактика, — констатирует А. Беляев. — Неизменной оставалась стратегическая цель — дискредитация идей социализма и коммунизма».

Даже в период разрядки международной напряженности, когда иные из молодых советологов почувствовали необходимость сменить «некоторые устаревшие методы», в частности, очень распространенную в западной прессе манеру (цитирую выдержку из книги Х. Маклина и У. Викери «Год протеста», приведенную в работе А. Беляева) «обсуждать скорее... общественное поведение советских писателей... чем говорить об эстетических достоинствах или стиле их творчества», антикоммунистическая, антисоветская «сверхзадача» оставалась в писаниях всех советологов прежней.

Теперь, однако, перед ними замаячила вроде бы новая цель: постараться использовать литературу как «политический инструмент», который, согласно признанию одного из советологов, Гарольда Суэйза (оно также приведено в рецензируемой книге), надо было попытаться обратить против нас, любой ценой заставить его, этот инструмент, «сыграть свою роль в разъедании идеологической ортодоксии... в разжигании недовольства устоявшимися формулами».

Впрочем, от внимательного читателя книги А. Беляева, несомненно, не ускользнет и то решающее обстоятельство, что и задача «разъедания» и «разжигания» тоже по сути не явилась для советологов новой. Разве не в «разъедании» веры в идеологическую программу партии, в действительность и перспективность провозглашенных ею лозунгов состояла сверхзадача еще первых советологов, цинично, вопреки очевидности пытавшихся доказать, что Октябрьская революция была в жизни России «событием, превратившим естественный ход развития ее культуры, разрушившим все накопленные художественные ценности и традиции», и что, таким образом, литература, порожденная революцией, оказалась «явлением, не имеющим якобы глубинных исторических

корней и органических неразрывных связей с культурой своего народа».

А. Беляев останавливается на этих домыслах первых советологов особенно внимательно, справедливо усматривая в них попытку объявить не только советскую литературу, а и ленинизм, коммунистическую идеологию «не имеющими корней» в истории, в духовных традициях народа. Провокационный политический смысл таких «литературоведческих» концепций очевиден. Ведь объявляя, подобно Э. Симмонсу, что социалистический реализм стал-де «занавесом», отрезавшим советскую литературу от традиций XIX века, советологи явно надеются не только советскую литературу представить в виде некоего искусственного образования, ничем не связанного с глубинными процессами народной жизни, но и революцию, питавшую своими живительными соками поэзию Маяковского и Багрицкого, прозу Фадеева и Леонова, Федина и Бабеля, объявить «роковой случайностью», прервавшей «естественное развитие нации».

Идея эта из давно обветшалых: ею «замахивалось» на молодую советскую власть еще эмигрантское подполье 20-х годов. Недаром Леонид Леонов так настойчиво, так убежденно подчеркивал в «Барсуках», написанных в 1924 году, именно органический характер революции, ее глубочайшую укорененность в почве народной жизни. «Ты не мной осужен... ты самой жизнью осужен», — говорит в конце романа своему брату, вожаку крестьянского мятежа Семену, большевик Павел, особо настаивающий в своем финальном разговоре-расчете с братом, что большевики тем и сильны, что строят «процесс природы». «воры» же, пытавшиеся противостоят этому процессу, обречены уже потому, что шли против жизни, силились переломить и затормозить ее естественное развитие. Poleмическое значение этой глубокой идеи, сфокусировавшей в себе внутреннее содержание первого романа Леонова и тогда же привлечшей пристальное внимание марксистской критики, может быть до конца понято только с учетом вполне конкретного идейного контекста, в котором эта мысль возникла. Она, эта мысль, прямо направлена против того понимания нашей революции, над конструированием которого в те самые годы, когда писались «Барсуки», с озлоблением трудились на своих парижских мансардах первые советологи, рекрутовавшиеся, как известно, по преи-

муществу из числа белоэмигрантских недобитков.

В их стремлении оторвать советскую литературу, саму социалистическую революцию от лучших традиций русской демократической мысли, освободительной борьбы народных масс был легко прочитываемый классовый подтекст, прямой политический умысел. А. Беляев наглядно обнаруживает его, осуществляя на страницах своей книги что-то вроде «очной ставки» советологов и их теорий с действительной историей нашего общества, с реальным ходом литературной жизни 20-х, в частности, годов. И тогда предельно ясной становится классовая обусловленность симпатий советологов к одним писателям и неприятия других, политическая логика тех переакцентировок и тенденциозных переосмыслений всем известных фактов литературной жизни первого послеоктябрьского десятилетия, которыми упрямо занимаются в своих якобы академических трудах по истории советской литературы Глеб Струве и Вера Александрова, Дмитрий Мирский и Марк Слоним.

Эту же классовую подоплеку мы обнаруживаем и во всех остальных концепциях советологов, вплоть до позднейших, появившихся уже в наши дни. Как показывает А. Беляев, советология в целом является яростной, из одного идеологического штаба запланированной политической атакой на социализм и партию, на советский образ жизни и коммунистическую идеологию. Не удивительно, что критика, которая по видимости замыкается на вопросах сугубо литературных, никогда в книгах советологов не ограничивает себя рамками этих вопросов. Наоборот, в том, чтобы сделать из литературной критики средство политической агрессии против социализма, в том, чтобы превратить литературную полемику в одну из форм политической борьбы с советским государством и советским народом, и состоит главная цель всей советологии.

Иногда эта цель тщательно вуалируется, а иногда декларируется с превеликой pompой и «устрашающим» шумом. Но велико ли здесь различие? Нам, конечно, важно иметь в виду, что такой ярый антикоммунист, как Д. Браун, считает необходимым открыто объяснить побудительные мотивы своей не любви к советской литературе, в которой он усматривает «не просто контраст, но и активный вызов культуре Соединенных Штатов». Но не менее важно знать, что аналогичные мотивы лежат в основе писания всех

других советологов, в том числе и тех из них, кто считает нужным выступать в роли эдаких беспристрастных литературных арбитров или, что особенно характерно для последних десятилетий, добрых друзей и самоотверженных заступников писателей, «обиженных» советской критикой. Касаясь их адвокатских lamentаций, А. Беляев неизменно обращает внимание на то, что все эти радители за «свободу творчества», «попираемую» в СССР, как правило, не скрывают своего пренебрежительного отношения к чисто литературным достоинствам опекаемых ими произведений. Так, о «Докторе Живаго», превращаем, по утверждению одного из советологов, многолетнюю «стагнацию советской литературы», профессор Гибиан без обиняков пишет: в романе «переходы неуклюжи... диалоги многословны. Читатель то и дело теряет нить разговора, неясно, кто с кем говорит... Конец книги схематичен, да, пожалуй, конца-то и нет... В начале книги масса непрописанных персонажей, теряющихся в коротких сценах». Но если Гибиан, по мнению своих коллег, прав, то почему же именно в этой книге они видят свидетельство «обновления» и «возрождения» советской литературы? Да потому, что в «Докторе Живаго» им послышалась «голос иной России» (М. Слоним), «исповедь того поколения интеллигенции, которое не принимало... участия ни в революции 1905 года, ни в революции 1917 года» (В. Александрова).

По этому же принципу строятся адвокатские выступления советологов и по другим поводам. Оказывается, что и книги «Не хлебом единым» или «Оттепель» были в свое время подхвачены ими, вызвали у них острый интерес только потому, что показались удобным предлогом для политических спекуляций, для очередных нападок на партию, на советскую власть. И конечно, А. Беляев поступает совершенно правильно, не жалея места для того, чтобы как можно нагляднее, как можно достовернее продемонстрировать политическую сверхзадачу той полемики, в которую советологи вступили с марксистской критикой по поводу тех книг, где им послышалась «диссонирующее голоса». В итоге читателям А. Беляева ясно, что полемика эта была продиктована вовсе не любовью к истине, не заботой о художественном уровне нашей литературы, на чем так шумно настаивают советологи, а совсем другими соображениями, с литературой ничего общего не имеющими.

Наглядность, безупречная доказательность доводов, выдвигаемых автором книги «Идеологическая борьба и литература» в его полемике с концепциями советологов, характерны для всех ее разделов. И читателю книги ясно, что, о чем бы ни писали господина советологи, их интересует не самый предмет, не произведения, о которых они заводят речь, а только возможность так переосмыслить и книги и полемику, возникавшую вокруг них в советской критике, чтобы открылся повод или хотя бы видимость повода для новой атаки на те жизненные, идейные ценности, утверждению которых служит советская литература. С этой именно целью советологи и разработали целую систему приемов превращения белого в черное, ясного в сомнительное, определенного в двусмысленное и т. п. А. Беляев справедливо замечает: суть подобных приемов, как бы по видимости они ни отличались друг от друга, всегда «состоит в ловком использовании минимума объективных констатаций для маскировки максимума фальсификаций, подтасовок и клеветы». И читателю, внимательно вникшему в тот анализ многолетних трудов советологов на ниве советской литературы, который развернут в книге «Идеологическая борьба и литература», становится до конца понятной методология наших идейных противников.

А. Беляев вовсе не склонен упрощать или только вышучивать подобную «методологию». Он не раз обращает внимание читателей на ее опасность, поскольку за долгие годы советологи весьма преуспели в «искусстве» передержек и подтасовок, без которых, как мы знаем, просто не могут обойтись. Конечно, преуспели не все, и нередко случаются те многочисленные «профессиональные срывы», когда, как констатирует советский критик, вранье и передержки становятся слишком уж грубыми, наглядными, так что поймать лгуна с поличным не составляет труда. Или когда появляются ученые мужи вроде Мориса Фридберга, пожелавшего специально объяснить американским читателям, почему это Советы отважились на издание в предвоенные годы... басен Крылова «Стрекоза и Муравей» и «Слон и Моська», и усмотревшего причины «бесшабашной смелости» советских издателей в том, что «эти басни весьма перекликались с текущими событиями дня. Первая предупреждала советских граждан о необходимости готовиться к превратностям войны. Вторая басня давала понять советским гражда-

нам, что положение не безнадежно и причин для отчаяния нет».

В книге «Идеологическая борьба и литература» подобных примеров теоретической «прозорливости» и «научной основательности» суждений господ советологов приведено немало. И мы видим, насколько же неблагодарна все-таки работка, выпавшая им на долю. Не от хорошей ведь жизни придется им развлекать западного читателя легендами о том, что в годы первой пятилетки писатели писали о строительстве коммунизма только потому, что, как представляется Э. Брауну, «за роман о Днепрогэсе платили больше», чем за романы на другие темы, или о том (это снова из репертуара Э. Брауна), что и темы для романов регулярно предлагаются писателям в речах и докладах руководителей Союза писателей, а также в статьях, публикуемых в «Литературной газете», так что писателям только и остается что выбрать из предписанных темку, подороже оплачиваемую.

Не забудем, что американский читатель в большинстве своем знает о советской литературе только (или по преимуществу) из писаний советологов. А. Беляев приводит неопровержимые данные о том, какие препоны на своем пути к читателю встречает в США советская книга, как мало издают там даже крупнейших наших писателей, широко известных в мире. В таких условиях положение разного рода браунов крайне облегчается: они могут по своему усмотрению искажать факты, не боясь оказаться припертыми к стенке.

И все же если бы деятельность советологов сводилась только к нагромождению лжи и фальсификаций, обнаруживаемых, что называется, с первого взгляда, она вряд ли заслуживала бы с нашей стороны столь уж серьезного внимания. На самом деле в их книгах мы встречаемся подчас с концепциями, замаскированными «под правду», с построениями, которые могут быть опровергнуты и разоблачены только в результате последовательного и методичного развертывания системы доводов и доказательств, только в итоге наглядного прояснения тех классово предопределенных целей, которыми вдохновляются советологи.

Об одном из таких советологов, об авторе многостраничной книги «Икона и топор» Д. Биллингтоне, А. Беляев пишет: «Холодное сердце, холодные руки пытливно перелистывали страницы русской культуры, движимые стремлением «накопать» матери-

ал для обличения. Ни любви к предмету, ни страсти исследователя у Биллингтона нет и не было в помине. Зато в избытке обнаружился строгий расчет предвзятого следователя, тенденциозно отбировавшего факты и беззастенчиво их фальсифицировавшего».

Яркая эта характеристика по праву может быть отнесена и к другим советологам: к Струве и Слониму, Истмену и Брауну, Александровой и Суэйзу, Поджиоли и Маклину. Все они в равной мере были заняты не литературоведческими изысканиями, а более или менее изощренной фальсификацией истины, все служили черному делу разжигания антисоветской истерии. И все они, как бы уверенно ни звучали их голоса, оказались абсолютно бессильны выдвинуть собственную систему представлений, действительно способную противостоять ленинскому учению о народности литературы, теории социалистического реализма. Рассуждая объективно, нельзя поэтому не признать: жалок и архитруден жребий советологов, взявших на свои профессорские плечи поистине непосильную задачу — помешать поступательному движению истории, вернуть вспять литературы советских народов, разорвать связи, навсегда соединившие советских писателей с партией, с народом.

Впрочем, не нам жалеть этих господ. Они сами выбрали свою судьбу, тем более незавидную, что буквально с каждым новым днем все яснее становится полная бесперспективность их усилий. И прав А. Беляев, когда в заключении своей книги констатирует: «Расчеты советологов на идейную эрозию социалистического общества, на разжигание ревизионистских настроений в среде его творческой интеллигенции провалились. Советология зашла в тупик».

Следует признать: вывод этот вытекает с железной последовательностью из всего содержания книги. Детально разобрав доводы советологов, А. Беляев доказательно и четко, с фактами в руках обнаружил их полную несостоятельность. Глубоко проникнув на территорию противника, он завязал там наступательные бои с целым сонмом профессоров и доцентов, специализирующихся на искажении самой сути нашей художественной культуры, и нанес им убедительное поражение. Бой за правду, за честь и достоинство советской литературы им выигран.

«...Закрывают последние страницы сочинений господ советологов,— подытоживает проделанную им работу А. Беляев.— Отличная глянцевая бумага, отличные шрифты,

краски, яркие обложки. А строчки в каждой книге пропитаны ядом ненависти, на каждой странице разлиты лужи грязной дезинформации, поданной безапелляционно, размашисто, помпезно. Но за безапелляционностью оценок скрывается бессильная злоба уходящего со сцены одряхлевшего мира капитализма, за размашистостью суждений и обобщений — боязнь всепобеждающих идей коммунизма, за наигранным пафосом и помпезностью — ненависть ко всему советскому».

Да, именно такой увидели мы советологию, прочитав книгу А. Беляева: наглой и жалкой, развязно-агрессивной и бездоказа-

тельной, лживой и заносчивой, амбициозной и поразительно беззаботной по части научной «амуниции». И тем не менее — коварной и опасной. Книга «Идеологическая борьба и литература» принадлежит к числу тех работ, которые вооружают нас для борьбы с господами советологами, выбивают у них из-под ног «теоретическую» почву, на которой они уже несколько десятилетий пытаются удержаться. И делает это автор во всеоружии фактов, с достоинством, строго научно, гневно и одновременно с тем холодным презрением, какого только и заслуживают все эти господа.

**Е. СУРКОВ.**



### Политика и наука

## МЫСЛЬ, ОБРАЩЕННАЯ В БУДУЩЕЕ

**Эрнст Генри. Новые заметки по истории современности. М. «Наука». 1976. 435 стр.**

**М**не довелось увидеть по телевидению ФРГ похороны испанского диктатора Франко. Настороженность. Хмурые взгляды, брошенные на толпу. Кастовая замкнутость и мрачная решимость не уступать и в будущем ни пяди испанской земли свободе. Все что угодно читалось на лицах людей, окружавших гроб Франко, только не скорбь.

Расчетливым телеобъективам не удалось избежать толпы. Телеоператор не может остановить ее, очистить от нее площадку, как это делается в кино: тысячи лиц врываются вдруг в поле нашего зрения. Тысячи глаз, которым нечего скрывать, незачем притворяться, — ведь для них свобода приблизилась внятно и ошутимо и пробудилась надежда.

Суетная, жалкая, лишенная души церемония, чеканные, мертвые шаги — с одной стороны, с другой — гул народа, его нелюбовь и гнев, внятные, нарастающие толчки самой истории.

Вот что писал Эрнст Генри еще в 1970 году, за пять лет до смерти Франко: «Франкизм правит за Пиренеями уже четвертое десятилетие, страна под его властью остается как бы на задворках Европы, испанский народ лишен свободы, и некоторые поверхностные наблюдатели вообще забывают о его существовании, как будто этот народ вышел из мировой игры. Такие

люди будут, вероятно, застигнуты врасплох. Завтра Испания может оказаться в центре внимания, и тогда вопрос, кто будет ею править, станет одним из важнейших в европейской политике». Шесть лет тому назад категоричность тона публициста могла и покоробить чей-нибудь уклончивый ум, вызвать упрек, что публицист встает, мол, на сомнительный путь политических пророчеств. Однако прошло несколько лет, и весь сжатый до предела, полный исторического оптимизма анализ испанской ситуации оказался безошибочным, как и многое другое в процитированной выше книге Эрнста Генри.

Из множества вопросов, которые поднимает и решает книга Эрнста Генри, из многих споров, которые то и дело затевает сам автор — молодо и драчливо, — спор скептика и оптимиста, быть может, важнейший и решающий. Он пронизывает всю книгу.

Как истинный художник возделывает свое поле, единственно доступное ему, его знаниям, памяти, чувственному и общественному опыту, так и истинный публицист выражает в своих работах прежде всего собственную личность, свой внутренний мир и свою генеральную тему. Не оттого ли лучшие публицисты прошлого, как и лучшие публицисты современности, кажутся нам словно бы одержимыми одной страстью вопреки тому, что касаются они в

своих работах бесконечно многого и разнообразного.

Литературный опыт Эрнста Генри, от первых его книг середины тридцатых годов до «Новых заметок по истории современности», подтверждает эту мысль. В странном на первый взгляд соединении слов «история» и «современность» нет ничего парадоксального. Перед нами такого рода исследование остросовременных проблем и событий, которое позволяет увидеть их в движении, внутри исторического процесса, как живое звено неразъемной цепи. Перед нами исследование научное по методологии и уровню, но и проникнутое чувством, страстью, в которой прочитывается и личность публициста, его жизнь, его страсти и сокровенная вера. Вчера, сегодня и завтра в этом исследовании современности неразделимы, как, впрочем, неразделимы они и в самой действительности.

Тут уместно вспомнить первое появление Генри-публициста, насколько не забывшееся, хотя с той поры прошло уже четыре десятилетия. Две его книги затронули умы и сердца множества людей от Эйнштейна до пытливого рабфаковца тех дней. Я имею в виду знаменитые книги «Гитлер над Европой» и «Гитлер против СССР», которые появились одна за другой в середине 30-х годов. Впечатление было такое, будто рухнули наземь размалеванные кулисы гитлеровского рейха, будто безошибочная рука сорвала покровы лицемерной фашистской дипломатии, обнажила ее истинные цели и планы, будто оказались разгаданными тайные гитлеровские шифры и коды, открылись обозрению арсеналы, где копилось оружие будущей войны, будто мы заглянули в заводские корпуса Круппов и Тиссенов. Это были два сильных таранных удара марксистской мысли по фашистской цитадели.

Талант историка современности обнаружился уже тогда, в первых книгах. Материал их был актуальный, даже злободневный, не уступая в этом газетной статье или хронике текущих событий. При этом современный материал возникал на прочном фундаменте истории, неотделимый от проблем экономики, техники, всей финансовой и материально-технической базы германского фашизма. Исследована была и военная мысль, военная доктрина германского милитаризма, психология бюргерства. Личное знание автором Германии, ее послеверсальской трагедии, ее трудностей 20-х годов,

прибавляло книгам аргументов и красок. Подлинным было сочувствие автора к трудящимся и столь же сущими были его гнев и ярость в адрес фашистских палачей. За угрожающей, уродливой современностью гитлеровской Германии вставляли и образы прошлого, и силы, расчистившие Гитлеру путь к власти, и призраки будущего крушения фашистского режима, его неизбежного военного и политического поражения.

Об антифашистских книгах Генри неизбежно вспоминаешь именно в связи с новыми его книгами, с последним сборником его статей, очерков и портретов, его заметок по истории современности. «Новые заметки» — будем называть их так для краткости — продолжение пожизненной работы, начатой в критические дни захвата власти фашистами в центре Европы, в таком промышленно развитом государстве, как Германия той поры. Продолжение важнейшей жизненной работы на новом этапе, иными средствами, не скудеющими с годами, а, напротив, все более действенными и яркими. В «Новых заметках» читатель найдет и небольшие по объему научные исследования, жанрово близкие его книгам 30-х годов («Мировая политика ордена иезуитов», «Эволюция международного масонства»), и острые памфлеты, и эссе, и авторские размышления вслух, портреты подлинных героев истории и пигмеев, вознесенных вверх на мутных гребнях затеянных ими военных авантур и преступлений.

С исключительной отчетливостью за всем этим разножанровым материалом возникает личность автора. С редкой последовательностью продолжает он дело, начатое тогда, когда на горизонте мировой истории только возникла реальная угроза — фашизм, принесший затем человечеству неисчислимые страдания и потери.

Подобная собранность вокруг главной темы жизни говорит о цельности личности, о глубине и сосредоточенности ее философских размышлений. Ведь при всей убыстренности хода истории, при изменившейся в пользу социализма карте мира, силы фашизма не мертвы, история не изжила до конца многих трагедий и узловых проблем века. Фашизм хочет перешагнуть и в будущий, XXI век, использовать последние десятилетия XX для новых преступлений, нового господства и порабощения. Силы фашистской по своей природе реакции обнаруживают себя и в Европе, и в США, и там,

где под прикрытием коммунистической фразеологии невообразимо утверждается идеология шовинизма, где вынашиваются захватнические, гегемонистские планы.

Эрнст Генри пристально, с присущей ему деловитостью и остротой ведет борьбу против сил фашизма и реакции. В этом главный смысл и «Новых заметок по истории современности». Единный по своей глубинной сущности, фашизм в то же время многолик, он по-своему приспосабливается к современности, извлекает уроки из былых поражений, прибегает к камуфляжу, меняет личины, стараясь выглядеть благопристойнее, завоевать толпу, усилить бдительность народов. Публицистика Э. Генри — чуткий инструмент, позволяющий разглядеть и определить фашизм под любыми личинами.

В «Новых заметках» читатель найдет и что-то вроде рецензии на вышедшую в 1971 году «Антологию скандинавской фантастики», и статью о фильме Михаила Ромма, и размышления, связанные с двухсотлетием американской революции, точнее, с двухсотлетним итогом развития США, и очерк, разоблачающий клерикальное извращение, приспособление в собственных целях древних текстов, восходящих ко временам секты ессеев и «Общины бедных» (в связи с находками в горах Кумрана), и публицистическое исследование фигуры и исторической роли Чингисхана, портреты Энгельса, Бетховена, Софьи Перовской, Кибальчича, Розы Люксембург, и многое, многое другое. Однако же, погружаясь в книгу, прочитывая статью за статьей, все больше ценишь единство книги, ее духовную цельность, ее собранность вокруг того, что представляется важнейшим и определяющим для автора и очень скоро становится таким же определяющим и для читателя.

Это не значит, что все в книге безукоризненно. Мне представляется торопливой, типично рецензентской завершающая книгу статья «Против идеологии страха». Верная по мысли, она грешит повторами и декларативностью.

Кажется мне, что в ходе своих интересных размышлений о публицистике автор несколько переоценил место в ней Д. Заславского.

Хотя Э. Генри обладает умом строгим и аналитическим, его перо темпераментно, он способен увлечься, вполне отдаться владеющему им чувству, не заметить собственную фразу, если не опрометчивую, то весьма спорную. Так, например, нет оснований вы-

делять из всех других общественных групп интеллигенцию как монолитную в своем антифашизме массу. А назвав ее таковой, автору следовало сказать о том, что он причисляет к интеллигенции только ее безусловно прогрессивную часть.

Э. Генри настроен весьма воинственно против тех ученых, которые предрекают разного рода гибельные катастрофы человечеству, наблюдая опасные изменения окружающей среды, против тех, кто испуган неотвратимостью «гибели мира в результате термоядерной схватки». Как ни чужда и нам философия исторического пессимизма, вряд ли многие из честных, бьющих тревогу ученых мира заслуживают сравнения с теми невеждами и мракобесами, которые, как пишет Генри, «когда-то с такой же силой убежденности предрекали пришествие антихриста». Совершенно очевидно, что речь идет о разном: среди современных ученых, приходящих к горестным и трагическим выводам, есть немало таких, кому человечество скажет слова благодарности за удары в вечевой колокол тревоги, за беспокойство, за объективную помощь в избежании катастрофы, которую в такой же мере нельзя считать неизбежной, как и автоматически исключенной.

Неоправданную крайность вижу я и в одном из заключительных абзацев превосходной статьи о Чингисхане — «Величие или варварство?». «В истории мировой культуры одна книга, — пишет Э. Генри, — большого ученого, одно произведение великого писателя, одно творение гениального художника оставили более глубокий след, чем все завоевания Чингисхана». Здесь сравнивается несравнимое — Чингисхан не был деятелем культуры и, разумеется, не оставил ни романов, ни симфоний, но след в человечестве оставил трагический и глубочайший.

Потери, порожденные увлеченностью публициста, ничтожно малы, быть может, я исчерпал их в своих придирчивых замечаниях, а преимущества такой увлеченности огромны. Перед нами книга, лишенная и тени академической холодности или сухости, она читается с интересом, которому мог бы позавидовать иной мастер сюжетной прозы. Но здесь в напряжении держат нас не тайны сюжета, а мысль, ее повороты, непрерывная схватка, в которой автор не ищет ни легкого противника, ни заранее облюбованных, благоприятствующих позиций. Всякий раз Э. Генри берет предмет в полном его объеме, трезво оценивая явные и



скрытые возможности противника, он делает их обозримыми, доступными и нашему читательскому взгляду. Поэтому его война обретает силу действительности, а позиция исторического оптимизма убеждает.

Хотя материал книги достаточно сложен и, как я уже говорил, разнолик, разнообразен, двигаясь от очерка к очерку, мы скоро начинаем вполне оценивать внутреннее единство книги. Ее становой хребет — антифашизм, ее сверхзадача — безопасность народов в новых, изменившихся условиях существования человечества. Как бы далеко ни уводило нас перо автора: на берега Мертвого моря еще до нашей эры, в выжженные, ископченные ордами Чингисхана людские поселения, в мрачные замки европейских владетельных князей, ко временам основания Лойолой ордена иезуитов, ко двору эрцгерцога Рудольфа, на Екатерининский канал в разбитой взрывом карете Александра II, в монтажные современные киностудии, — где бы мы ни оказались, мы не утрачиваем ощущения, что движемся по вполне современной дороге, приглядываемся к тому, что важно и актуально для нашей сегодняшней жизни и идейной борьбы. Очерки, казалось бы, сугубо исторические или портреты общественных деятелей минувшего века органически связаны с современностью, а не «пригнаны» к случаю, не соединены на ружным швом публицистики.

Э. Генри выступает в «Новых заметках» не только как умудренный большим жизненным опытом исследователь и, я бы сказал, преследователь фашизма. Он обнаруживает не меньшую осведомленность и широту понимания проблем, связанных с историческими судьбами европейской социал-демократии. Иначе и не могло быть при решимости автора брать политическую и общественную жизнь во всей ее действительной сложности, со всеми ее непримиримыми, подчас трагическими противоречиями. Это позволило Э. Генри еще пять-шесть лет назад, до недавних событий в Португалии и Испании, до вмешательства политических деятелей США в подготовку к парламентским выборам в Италии с целью не допустить успеха ИКП, в известной мере предвидеть развитие событий, написать о сложностях и альтернативах, с которыми мы столкнулись сегодня.

Трудно удержаться, чтобы не выделить третий раздел книги — «За кулисами». Это уже упоминавшиеся мною работы: «Ми-

ровая политика ордена иезуитов», «Эволюция международного масонства» и еще две — «За спиной Штрауса», «Реваншисты и маоисты». Третий раздел — это, в сущности, фундамент книги, материал, собранный по крупицам из множества труднодоступных источников, накопленный на протяжении многих лет. Здесь автор двигался не по проторенной дороге. Не орден иезуитов сам по себе занимает Э. Генри, не церковная тактика, не история масонов и не личность Штрауса, а подлинные силы современной истории, скрытые за масонством, за иезуитами, за спиной Штрауса. Генри показывает, что целью иезуитов является не прокламируемая ими «духовная» интеграция Западной Европы, а лишь интеграция монополий, которая обеспечила бы материально-техническую базу для возрождения фашизма и крайней реакции на континенте. «Проект создания западноевропейской федерации», — пишет автор, — представляет собой не реконструкцию «империи Карла Великого», перенесенной из IX в XX век, а реконструкцию старого плана промышленных магнатов Центральной Европы построить свою «наднациональную» континентальную империю». Для многих читателей окажется открытием картина сегодняшнего делового влияния иезуитов, их проникновение в мир большой политики и финансово-промышленный комплекс.

Не странно ли, что раздел «За кулисами» — фундамент книги — помещен автором не в самом начале, а после того, как уже обсуждены проблемы европейской безопасности, разоблачены происки и планы реваншистов, слепота бюргера, измена маоизма идеалам коммунизма, интернационалистским задачам и целям, после серии портретов и нескольких превосходных памфлетов, из которых я выделил бы памфлет о Дине Ачесоне («Юриисконсульт из Вашингтона») и памфлет «Великий человек», герой которого не назван, но угадывается без труда.

Такая композиция книги оправдана. Уже мы пригладелись к театру современной истории, к самой сцене, к ее героям и маршкеткам, уже в нас разбужена жажда познания — только теперь автор вводит нас за кулисы видимых событий. То, что могло бы показаться нам пусть не скучной, но сугубо научной «материей», открой он этими работами книгу, теперь, на своем месте, читается жадно, с интересом посвященного, отвечает родившейся в нас потребно-

сти резко расширить круг познания предмета.

В том, как сконпонована книга, выразился опыт и мастерство публициста.

Все отчетливее входит в публицистику Э. Генри огромный азиатский континент.

Некоторые азиатские страницы книги Э. Генри стоят вровень с лучшим, что он написал за долгую жизнь.

Автор не просто декларирует в своей книге связь политики и этики, политики и морали — вся книга пронизана утверждением их глубочайшего единства и неразделимости. Есть очерки, в которых эта мысль

выходит вперед ощутимо, как сквозная, определяющая — заметнее всего это в разделе «Портреты», — но она характерна и для всей книги в целом. Это сообщает ей ту высоту нравственной позиции, то ощущение истинного благородства общественных идеалов, которые всегда отличали марксистскую творческую мысль.

Книгу Э. Генри читаешь как обращенную в будущее, как необходимую не только сегодня, но и завтра. А ощутив это, уже без всяких оговорок принимаешь и необычное соединение слов — история современности.

Александр БОРЩАГОВСКИЙ.



## СОХРАНИТЬ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Памятники Отечества. Книга вторая. М. «Современник». 1975. 300 стр.

Тысячи и десятки тысяч туристов в последние годы устремились в самые разнообразные края и уголки нашей родины, желая увидеть, понять и познать. Современный паломник, как правило, вооружен путешественником. Мы стали значительно больше издавать литературы для путешествующих, хотя, если смотреть правде в глаза, ее уровень еще оставляет желать лучшего. Но есть определенные достижения и в этой сфере. Назову хотя бы массовую серию «Дороги к прекрасному», выпускаемую издательством «Искусство» и пользующуюся огромным читательским спросом. Несомненно, следует всячески приветствовать инициативу Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, начавшего выпуск сборников «Памятники Отечества» (вышло две книги), на страницах которых видные ученые, писатели и общественные деятели ведут разговор о сохранении и популяризации культурно-исторического наследия народов Российской Федерации.

Рецензируемый сборник<sup>1</sup> получился довольно разносторонним по тематике; вместе с тем он отличается цельностью, обусловленной мыслью о необходимости любовного, бережного отношения ко всему тому, что составляет духовные и материальные ценности былого и настоящего.

Прошлое всегда обладает необоримой поэтической привлекательностью. На наших глазах история обогащается, впитывая в себя то, что составляет славу современности. Рассказывая о подвиге на Волге, совершен-

ном в пору Великой Отечественной войны, Маршал Советского Союза И. И. Якубовский замечает: «...Как он красив теперь — город-герой! Ныне даже трудно представить, как все здесь было 30 лет назад. Но на Мамаевом кургане цветы до сих пор не растут. И все-таки их очень много. В любое время года. У величественного памятника Сталинградской победе, ее бессмертным солдатам».

Ведя разговор о минувшей войне, авторы ставят важнейшую проблему сохранения в народной памяти того, что навсегда должно перейти потомкам. Разве можно, например, когда-нибудь забыть о том, что сумели сделать во вражеском тылу брянские партизаны! Их подвиг, один из самых легендарных в величественной эпопее недавнего прошлого, отмечается в сборнике.

Нельзя без волнения читать очерк об Александре Александровиче Юрлове, чьим любимым детищем была академическая республиканская русская хоровая капелла, голоса которой звучали во многих уголках страны и в различных городах мира. Юрлов стал неутомимым собирателем музыкального богатства народа, открывателем нового в старинном.

Большой интерес представляют научно-популярные статьи сборника. В. Василенко пишет о том, что народное искусство нельзя воспринимать как нечто застывшее, статичное и неподвижное, — на самом деле в нем происходили и происходят сейчас постоянные и значительные изменения. В наши дни народное творчество наполняется новым, значительным и очень сложным содержанием.

<sup>1</sup> Научный редактор — член-корреспондент Академии наук СССР В. Л. Янин, составитель — Л. В. Филиппов.

ем. «Современный народный художник или мастер — это образованный человек, с большим кругозором,— отмечает автор.— В домах народных мастеров часты большие библиотеки; мастера связаны с различными художественными явлениями страны... Некоторые из них пишут книги, статьи, посвященные народному искусству, оформляют книги, театральные постановки, расписывают дворцы культуры (Палех)».

Академик А. Окладников, размышляя о том, насколько богата Сибирь различными памятниками культуры, рассказывает, что еще сто лет назад при земляных работах в Иркутске вместе с костями ископаемой лошади и носорога была неожиданно открыта коллекция художественных изделий, вырезанных из бивня мамонта. «Позднее,— пишет Окладников,— на скалах Ангары и Лены были найдены настоящие художественные галереи неолитических охотников на лосей и маралов. И совсем недавно на диких пустынных берегах речки Пегтышель нашлись поражающие своей живостью и этнографической точностью наскальные изображения». Академик с горечью говорит о том, что с годами невосвратимо исчезают памятники — молчаливые свидетели трудов отечественных землепроходцев, которые, повинувшись зову свободы, брели в неведомые пространства — навстречу солнцу. Рисуя вросшие в землю, но еще высокие и прекрасные рубленые избы, автор восклицает: «Восемнадцатый, а может быть, и конец семнадцатого столетия! Почерневший от времени, но все еще прочный, как будто железный или из вороненой стали охлупень с языческой конской головой — вспомните коней солнечного бога Святовита в Арконе

и посвященных солнцу белых коней у скифов!.. От всего этого сруба веет истинной поэзией русских былин и сказок».

В годы военного лихолетья наша страна потеряла больше сокровищ культуры, чем любое европейское государство. Мы лучше, глубже, острее, чем кто-либо, осознаем горечь невозместимо утраченного. Нельзя не согласиться с В. Аллатовым, который подчеркивает на страницах сборника: «Памятники прошлого — это не только ценности материальные. Их ценность прежде всего духовная, культурная, художественная, и это главное... В памятниках этих воплощена идея непрестанного присутствия в современной жизни наших далеких предков. Они означают для нас нечто подобное созданному народами эпосу».

Большое событие в жизни страны и каждого человека — опубликование в печати для широкого обсуждения проекта Закона Союза Советских Социалистических Республик «Об охране и использовании памятников истории и культуры». Этот важный акт открывает новые, невиданные перспективы для дальнейшей плодотворной деятельности общества, число членов которого множится. Сборники «Памятники Отечества» служат прекрасному, благородному и полезному всенародному делу.

Издательство «Современник» удачно и разнообразно иллюстрировало книгу. Отпечатанная на меловой бумаге, она привлекает внимание и шрифтовым оформлением, цветными и черно-белыми снимками. Хочется пожелать, чтобы выпуск «Памятников Отечества» стал постоянной и доброй традицией нашей культурной жизни.

**Евг. ОСЕТРОВ.**



## КОРОТКО О КНИГАХ



**ГИЛЕМДАР РАМАЗАНОВ. В стране Салавата. Стихи и поэмы. Перевод с башкирско-го. М. «Современник». 1975. 127 стр.**

Новая книга известного башкирского поэта Гилемдара Рамазанова имеет точную «прописку» — она посвящена земле, где родился и рос не какой-нибудь абстрактный «лирический герой», а именно сам автор, воин и труженик, орденносец, сын Страны Советов, остро осознающий кровное родство с земляками из Чекмагуша.

И вздох полей в час пахоты могуч.  
И звезды там мне кажутся крупней.  
Земля трудолюбивых сыновей,  
Земля чистосердечных — Чекмагуш.

Здесь скромность — суть,  
А не случайный дар.  
Ты тот, кто есть.  
Для всех закон один.  
И я всего здесь только Гилемдар.  
А проще — Зигандара старший сын.

«Смысл земного бытия» для поэта в том, что существует Родина! Отсюда глубокий интерес к истории «орлиного края», стихи о Пушкине, Салавате Юлаеве, наскальных рисунках Шульган-таша. Отсюда постоянное «сопряжение времен», переключка прошлого с настоящим, будь это поэма о башкирском делегате X съезда РКП(б), выбивавшем мятежников из Кронштадта, или чисто любовная лирика.

Историзм — органическая черта поэзии Г. Рамазанова. Наиболее достоверно звучат у него стихи о минувшей войне. В 1942 году поэт потерял под Можайском, на Бородинском поле, отца-солдата. Эта личная трагедия сомкнула цепочку исторических связей в сознании автора, возникли стихи, где сыновья память неотделима от памяти исторической, памяти народной, хранящей от забвения имена верных защитников отечества. «России воинская слава на этом поле родилась!» — восклицает поэт. Поле это учило башкирских лучников «отваге русских пушкарей», отсюда начинал свой путь на запад автор. Стихотворением-реквиемом хочется назвать проникновенный монолог поэта, оканчивающийся взволнованным обращением: «О мать, о Родина, о Русь!.. Я о твоих скорблях героях, твою доблесть горжусь!»

Можно вновь и вновь приводить доказательства творческих удач поэта в осмысле-

нии реальности нашего дня и дня минувшего, в поисках нового слова о жизни. Однако с удачами соседствуют и огорчительные срывы, встречается у поэта дидактичность, излишняя рассудочность; иногда поэтическая «информация» сводится к простому перечислению событий и фактов собственной биографии. Недостатки такого рода не могут, однако, заслонить то яркое и положительное, что составляет главную суть, душу этой талантливой книги, созданной одним из известных поэтов современной Башкирии.

Виктор Широков.



**КИРИЛЛ УСАНИН. Свадьбы не будет. Повести и рассказы. М. «Современник». 1975. 270 стр.**

Когда читаешь рассказы и повести молодого прозаика К. Усанина, тебя не покидает чувство достоверности всего происходящего здесь. Условность записанного пером, существующего в рамках словесного образа «варианта действительности», отступает на второй план. Проза вовлекает тебя в свой мир.

Прежде всего это можно сказать о повести «Очищение», написанной подчас на затрудненном, как бы прерывистом дыхании. Здесь сосуществуют два самостоятельных сюжета, то и дело переплетаясь и перекрещиваясь: сюжет ближайший, «сиюминутный» (назовем его так) и ретроспективный, «из прошедшего времени». Вот события, происходящие, так сказать, сейчас, на наших глазах: обвалился в шахте свод, шахтер Маздрин наполовину завален рудой, его юный напарник Стрельцов мечется в темноте, без лампы по подземным лабиринтам в поисках помощи. А другим, «долгим» планом идет анализ взаимоотношений Стрельцова и Маздрин в дни и месяцы, предшествовавшие этой катастрофе, обвалу. Иными словами, в повести наблюдается, с одной стороны, непрерывная «кульминация», сплошная пограничная ситуация, а с другой — сплошное развитие «переддействия».

Оправданно ли такое построение повести? Да, ведь все, что происходит в шахте в момент обвала и после обвала, то есть каждый поступок, каждый шаг и каждое слово Стрельцова, объяснимы только в контексте его характера и его мироощущения, с кото-

рым нас знакомят как раз ретроспективные главы повести.

Стрельцов ненавидит Маздрина, анонимщика; тот для него — «неправильный» человек, искаженная, если можно так выразиться, личность. И тем не менее Стрельцов делает все возможное для того, чтобы спасти его: спешит за помощью один, в темноте, и слышит, «что капли стучат — непрерывно, безнадежно, на лицо падают, и что ноги его онемели... И ясная, отчетливая... мысль: «Надо идти дальше». В чем, собственно, дело? Ведь нам дано предположить, что Маздрин на месте своего напарника не стал бы рисковать собственной жизнью, спасая его.

А дело в том, что Стрельцов верит в человека, верит в его нравственный потенциал и, насколько не оправдывая Маздриня сегодняшнего, вполне справедливо полагает: его и ему подобных можно переориентировать на иную систему моральных ценностей. Стрельцов ощущает себя общественным человеком и из этого ощущения исходит в своем отношении к окружающим. Ненужных, «потерянных» людей нет — такова его нравственная позиция.

«Я слежу за Смирновым... Усталости в нем не чувствуется. Он ловко подбрасывает на плечо грузное бревно, легко, молодежато шагает с ним... Я невольно подчиняюсь ритму его движений...» Это — из внутреннего монолога главного героя рассказа «Смирнов и Петька». На авансцену повествования здесь выводится именно необходимый, именно нужный человек дела, самую линию поведения своего обучающий младшего товарища умению работать, то есть, по справедливому мнению К. Усанина, быть полезным.

Сила героев К. Усанина в том, что они в большинстве своем определенно знают, чего хотят и к чему стремятся. Их пафос — в максимальной самоотдаче.

Человек, осознавший свою полезность другому человеку, полезность обществу, становится подлинным хозяином своей судьбы — таков один из важнейших нравственных итогов книжки молодого прозаика.

Алексей Прийма.



**Н. А. ДМИТРИЕВА. Винсент Ван Гог. Очерк жизни и творчества. Серия «В мире прекрасного». М. «Детская литература». 1975. 168 стр.**

Н. Дмитриева написала книгу для детей старшего возраста. Книга о Ван Гогге для детей? О трагическом художнике, жизнь которого обжигает неистовым пламенем? О человеке, чья натура способна смутить и даже оттолкнуть порывистой противоречивостью: святое самоотречение во имя искусства переплетено в нем с жесткой, не знающей снисходительности требовательностью к близким; доброта, готовая страстно, безоглядно излиться на первого встречного, мгновенно сменяется хмурой неконтактностью в стенах родного дома. О жизни перекати-поля, лишенного прилежания недо-

учки, бунтаря, неспособного терпеть то, что терпят все; о жизни, которая вся неправильная и даже подчас несправедливая; о жизни большого безумца, который сначала отрезает себе ухо, а потом покончит с собой выстрелом в сердце? Все это рассказать детям?

И что тут делать с дидактическим началом, без которого книги для юношества и впрямь невозможны? А эти его полотна, такие далекие, к примеру, от традиций передвижников — тех, что с малых лет естественно входят в наше сознание. Попробуйте здесь, возле этих вангоговских произведений, задать детям традиционный учебный вопрос: «Что мы видим на этой картинке?»

И все-таки Н. Дмитриева написала книгу, обращенную именно к детям, хотя и взрослые прочитают ее с интересом и благодарностью. Ей, искусствоведу, обладающему не только глубокими познаниями — такое нередко, — но и глубоко самобытной системой взглядов на искусство — это уже реже и дороже, — удалось представить жизнь и творчество этого художника с той мерой выношенной ясности и убеждающей доказательности, которые первоначально необходимы тому, кто хочет сегодня беседовать с детьми. С нашими современными детьми, в разговорах о которых мы слишком часто рассуждаем о причудах их физической акселерации, следствием чего порою действительно оказывается некоторый тревожащий инфантилизм, и слишком редко отдаем себе отчет в их куда более стремительном и многостороннем духовном развитии.

Н. Дмитриева реально представляет свою читательскую аудиторию: она наверняка была зрительницей тех удивительно интересных интеллектуальных состязаний, турниров юных искусствоведов, которые систематически проводятся детской редакцией Центрального телевидения. Сколько в них ребячьего азарта борьбы и ответственной серьезности в домашней подготовке; сколько эти ребята восьмого—десятого классов успели прочитать, поглядеть, как они настойчиво на наших глазах учатся формулировать свои мысли, обосновывать оценки; как далеко они уходят от детских, первичных «нравится — не нравится».

Разумеется, Н. Дмитриева знает о Ван Гогге больше, чем она рассказала здесь, в небольшой по объему книге (к слову сказать, книга эта отлично издана и снабжена богатым, расчетливо поданным изобразительным и справочным аппаратом), но она никогда и ни в чем не идет по пути упрощения мысли и, повествуя о крестном пути художника, ничего не выравнивает и не приглаживает.

Думается, что автор делает весьма нужное дело, когда со всей страстью утверждает великую, редкостную ценность того, что есть талант, гений. Да, путь Ван Гога был путем непрерывного, не знающего пауз и отдыха труда, но ведь это был труд, за которым стояли всевластные веления его дара. Это и подчеркивает Н. Дмитриева, выправляя тот перекус в литературе для детей

(и не только для детей), в основе которого лежит постный тезис о том, что «терпение и труд все перетрут».

Н. Дмитриева — об этом надо сказать особо — прекрасно показывает произведения Ван Гога: она как бы стоит перед ними рядом с вами, чтобы помочь ожить, раскрыться дремлющей или до того просто еще не родившейся способности непосредственного восприятия искусства, чтобы тут же внести в это восприятие осознанность, момент идейной и эмоциональной оценки. Ненавязчиво, с должной мерой и педагогическим тактом включает автор эти картины в исторический контекст, дает общую движущуюся панораму истории XIX века и его искусства. И давая все это, она как бы зовет проникнуть в глубь того, что мы называем творчеством, того, что мы называем искусством.

В. Шитова.



**И. ГРИНБЕРГ. Три грани лирики. Современная баллада, ода и элегия. М. «Советский писатель». 1975. 407 стр.**

Книга И. Гринберга «Три грани лирики» — это обобщающая работа критика, вот уже более четырех десятилетий изучающего проблемы современной поэзии, ее основные тенденции и направления.

Три грани лирики — это современная баллада, современная ода и современная элегия; речь в книге идет о воскрешении и обновлении жанров в наши дни, о непрерываемой традиции и о новаторском поиске.

Автор книги начинал свой путь в Ленинграде. Здесь учился, здесь впервые взялся за перо, здесь воевал... И не случайно в его работе так много сказано о ленинградцах. Н. Тихонов, О. Берггольц, Б. Корнялов, А. Прокофьев и другие заняли видное место в книге.

Новая книга критика состоит из четырех частей, в каждой из которых рассматриваются общие вопросы современной лирики. Но в отличие от исследователей, подходящих к этим проблемам с позиций «общетеоретических», автор книги «Три грани лирики» исходит в первую очередь из своего понимания индивидуальности поэта и внутренних закономерностей его творчества, не скрывая в своих оценках личного отношения к поэту.

В этом одна из самых привлекательных черт книги.

Автор пишет: «Мы подчас забываем о том, что лирика неоднородна, что она движется различными путями, выступает в несхожих обличьях. В одних случаях переживание соединяется с изображением события, даже «связки» событий. В других главенствует мысль, исследование, работа ума, конечно тесно слитая со стремлениями сердца. В третьих — чувства, думы поэта выступают, так сказать, в чистом, беспримесном виде; здесь душевная жизнь художника проявляет себя наиболее непосредственно, открыто».

Я не стал бы так резко разграничивать «различные пути» лирики. Типы ее и жанровые разновидности текучи. Но когда критик переходит от определений к конкретному анализу, здесь с ним уже трудно не согласиться. Прав И. Гринберг, когда пишет: «Связь с миром, причастность к современной жизни не предполагает обязательного изображения в стихе каких-либо фактов и обстоятельств... Она, эта связь, властно и ощутимо сказывается и в движении чувств, в смене унастроенных, переживаний».

В книге «Три грани лирики» наглядно сказалась большая работа, проделанная критиком прежде, в былые годы. Читая, к примеру, страницы о Н. Тихонове, вспоминаешь книги И. Гринберга, посвященные этому поэту: за частным суждением о А. Твардовском, Л. Мартынове, М. Луконине, С. Орлове, М. Дудине, Е. Евтушенко — многие его очерки и статьи.

Привлекает в книге анализ творчества Давида Кугультинова, Кайсына Кулиева и других поэтов братских народов, помогающий понять процессы, происходящие и в русской поэзии, разглядеть всесоюзные поэтические связи.

Широкий кругозор, внимание к новым именам (честно говоря, о некоторых стихотворных сборниках я впервые узнал из этой книги!), к характеру творческих взаимосвязей — отличительная черта книги И. Гринберга.

В целом «Три грани лирики» — значительная и глубокая работа, помогающая многое понять в нашей многообразной и яркой поэзии, понять и полюбить.

Дм. Молдавский.

Ленинград.



**ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗМА В МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ФИЛОСОФИИ (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ). М. Политиздат. 1975. 304 стр.**

Коллективный труд философов ряда социалистических стран — одна из первых попыток комплексного изучения проблем гуманизма, его места в борьбе идей современности. Строительство социализма и коммунизма, отмечают авторы, — это гуманизм в действии. Именно успехи реального гуманизма на фоне расгущего кризиса всего буржуазного общества вынуждают идеологов капитализма искать «свои» решения, выдвигать «свои» постулаты человека и личности в современном мире. Этим объясняется тот открыто развязанный «крестовый поход» против коммунистического гуманизма, объединяющий современную реакцию всех оттенков и ее подручных с правого и «левого» флангов.

Раскрывая суть философского обоснования коммунистического гуманизма, авторы (Т. М. Ярошевский — ПНР, А. Г. Мыслявченко и другие) подробно рассматривают различные аспекты проблемы человека, стоявшие в центре внимания классиков марксизма-ленинизма. Преодолев идеалистические

и метафизические концепции человека, К. Маркс и Ф. Энгельс обосновали новое, диалектико-материалистическое понимание гуманизма. В этой связи в книге разоблачается миф о «двух Марксах» — излюбленный прием антимарксистов, стремящихся представить «молодого» как гуманиста, а «зрелого» — как антигуманиста. Подобная «критика» имеет особую задачу: выхолостить из марксизма его «революционную душу», превратить пролетарский революционный гуманизм в абстрактный, морализирующий псевдогуманизм, приемлемый для буржуазии.

Открыв законы диалектического материализма, утверждающие первичность материальных условий жизни по отношению к миру идей, выявив определяющее значение классовой борьбы в общественном развитии, классики марксизма вместе с тем открыли и класс, исторической миссией которого стало освобождение всего человечества, построение общества, в котором, как предвидел К. Маркс, совершенствование человека будет «самоцелью»<sup>1</sup>, где «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех»<sup>2</sup>. Родился новый и пролетарский гуманизм, впитавший в себя все лучшее, справедливое, что было создано на протяжении всей истории человечества, который поэтому, будучи классовым, является и подлинно общечеловеческим.

В рецензируемой книге раскрыт огромный вклад В. И. Ленина в изучение проблем человека и гуманизма (раздел написан Л. Н. Суворовым и А. Б. Филатовым). В условиях обострившихся империалистических противоречий и бурного роста революционной борьбы оттачивались ленинские гуманистические концепции, творчески развивавшие идеи Маркса и Энгельса. Всесторонний и объективный научный анализ, отказ от субъективистских позиций — таков ленинский путь к познанию сущности гуманизма и человека.

Учет классовой детерминации людей, не допускающей «растворения» человека, абстрактного понимания его как «человека вообще», материалистическо-монистический подход к человеку, связанному единством с природой, активно действующему и сознательно, предметно осваивающему окружающий мир, — такова непоколебимая научная основа ленинского реального гуманизма. Эти принципы составляют научный фундамент строительства нового, социалистического общества, провозгласившего главной своей ценностью человека, человека труда.

Интересны разделы, подготовленные М. Буром (ГДР), Е. К. Федоровым, И. Б. Новиком, А. И. Титаренко. Исследуя актуальные проблемы гуманизма нашей эпохи, авторы показывают особенности взаимоотношений человека и техники, человека и природной среды, взаимосвязи преобразования мира и самоизменения человека, нравственного прогресса, культуры и гуманизма. Неопро-

вержимо доказано, что только социализм, приводящий к ликвидации эксплуатации человека человеком, к устранению классового антагонизма, открывает безграничные возможности для прогресса науки и техники, целенаправленного изменения мира и самого человека.

В главах, посвященных критике различных буржуазных и реформистских концепций гуманизма (автор С. Ангелов — НРБ, М. Л. Алтский и другие), выявляется несостоятельность абстрактного гуманизма как теоретической и практической основы ревизионистского «социализма с человеческим лицом». Подвергнута аргументированной критике антигуманистическая сущность маоизма. Как отмечают авторы, ставка маоистов на аскетизм, уравнительность, жертвенность, сведение материальных и культурных потребностей к крайнему минимуму во многом переключается с «мелкобуржуазным социализмом», с анархистскими представлениями, названными Марксом «казарменным коммунизмом».

Книга завершается кратким разбором актуальных проблем взаимосвязи гуманизма и современной классовой борьбы. Как и все разделы монографии, эти страницы острополемичны, они подвергают резкой критике буржуазных идеологов, третирующих революционную борьбу как якобы несовместимую с гуманизмом, предлагающих заменить классовую борьбу «мирным классовым сосуществованием». Подобный «гуманизм» имеет конечной целью сохранение капитализма, консервацию его античеловеческих пороков. Различные рецепты «гуманизации» капитализма, пишет, заключая книгу, С. М. Ковалев, — в лучшем случае иллюзии, в худшем — шарлатанство. Истинный гуманизм — это коммунизм.

**В. Карпушин,**

*доктор философских наук.*

**Я. Поварков,**

*кандидат философских наук.*



**Э. К. СОКОЛОВСКАЯ. 200 научных биографий. Библиографический справочник. М. «Наука». 1975. 192 стр.**

Учитывая постоянно растущий интерес к биографической литературе, а также повышение уровня требований к ней, редакционно-издательский совет Академии наук СССР принял в 1959 году решение об издании новой академической серии «Научно-биографическая литература» (НБЛ). Первенцы ее — биографии Я. Берцелиуса, А. М. Бутлерова, Леонардо да Винчи, Д. И. Менделеева — вышли в свет в 1961 году.

Рецензируемая книга (автор ее в течение многих лет является бессменным ученым секретарем редколлегии серии НБЛ) стремится помочь читателю получить целостное представление о серии, увидеть ее в становлении и развитии, чтобы возможно объективнее оценить ее научность, специфику и имеющиеся достижения. Основные цели серии НБЛ очень точно сформулированы

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. т. 25. ч. 2. стр. 387.

<sup>2</sup> Там же. т. 4, стр. 447.

уже в предисловии, написанном председателем редколлегии академиком А. Л. Яншиным: «В задачу книг серии входит не только описание жизненного пути ученого, но прежде всего освещение обстановки его деятельности, анализ его научных идей, оценка его вклада в развитие мировой науки, выяснение судьбы его изобретений и открытий, их влияние на работы следующих поколений ученых и на научно-технический прогресс человечества».

Публикация издательством «Наука» биографий крупных и малоизвестных деятелей естествознания и техники (биографии ученых-гуманитариев в серии не издаются) рассчитана прежде всего на студентов, преподавателей, историков науки и специалистов в той или иной области, а также на читателей, интересующихся развитием науки и техники. Соответственно, тиражи колеблются от 125 тысяч экземпляров книги об А. Эйнштейне (три издания — в 1962, 1963 и 1967 гг.) до 1300 экземпляров книги о К. Н. Давыдове. За 15 лет издано свыше двухсот биографий отечественных и зарубежных ученых — количество, достаточное для подведения некоторых итогов, позволяющих составить впечатление о достоинствах и недостатках серии в целом.

Все выпуски академической серии выгодно отличает конкретно-научный, исследовательский подход к жизни и деятельности ученого. Читатель получает возможность широко ознакомиться с интересными первоисточниками, выдержками из редких публикаций и архивных документов, позво-

ляющими выявить особенности творческого метода ученого и на конкретном материале рассматривать важнейшие аспекты психологии научного творчества.

Из 200 выпусков серии примерно две трети составляют биографии русских и советских ученых, одну треть — зарубежных. Количественно наиболее повезло биологам (48 биографий), техникам (45), химикам (30), физикам (18), географам (17); меньше всего — ученым-медикам (2).

Рецензируемая книга содержит ценную информацию относительно накопленного серийой опыта — один из ее разделов суммирует данные об изданных и находящихся в печати биографиях серии, их переводах на другие языки и опубликованных рецензиях. А ориентироваться в ближайших планах НБЛ позволяет включенный в книгу перечень около 220 авторских заявок на подготовку научных биографий, поступивших в редколлегию до 1 июля 1974 года.

Несколько мелких опечаток (наиболее серьезная из них: автором известной книги об Э. Резерфорде вместо Д. Данина назван Д. Гранин, вошедший благодаря этой ошибке в «Именной указатель») достойны скорее искреннего сожаления, нежели серьезного порицания, ибо, подчеркну, эта полезная книга написана с большой любовью и тщательностью и заслуживает быть замеченной и принятой широким читателем, заинтересованным в высококачественных изданиях отечественной оригинальной биографической литературы.

**А. Кривомазов.**





## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

### ПОЛИТИЗДАТ

**Ф. Энгельс.** Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. (С приложением: К. Маркс. Тезисы о Фейербахе) 71 стр. Цена 9 к.

**В. И. Ленин.** Две тактики социал-демократии в демократической революции. 142 стр. Цена 20 к.

**В. И. Ленин.** Последние письма и статьи 71 стр. Цена 8 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Воронский.** Избранное. Предисловие А. Дементьева. 628 стр. Цена 1 р. 45 к.

**Г. Горышин.** Повести и рассказы 359 стр. Цена 64 к.

**В. Орлов.** Перепутья. Из истории русской поэзии начала XX века. 367 стр. Цена 1 р. 2 к.

**Д. Остин.** Гордость и предубеждение. Аббатство Нортэнгер Романы Перевод с английского. 590 стр. Цена 2 р. 16 к.

**Это — наша земля!** Современная патриотическая поэзия Латинской Америки Перевод с испанского и португальского. 358 стр. Цена 2 р. 13 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Е. Добин.** Сюжет и действительность 494 стр. Цена 1 р. 22 к.

**Л. Жан.** Геннадий Фиш. Очерк жизни и творчества. 288 стр. Цена 86 к.

**Нор-Айр.** Мой цветущий сад. Повесть и рассказы. Перевод с армянского 190 стр. Цена 27 к.

**З. Паперный.** Записные книжки Чехова 391 стр. Цена 1 р. 7 к.

**Э. Просецкий.** Городской гость Повесть и рассказы. 270 стр. Цена 47 к.

**И. Северцев.** Ветер Каспия. Повесть и рассказы. 255 стр. Цена 52 к.

**В. Сикорский.** Зимние реки Стихи. 192 стр. Цена 37 к.

**Е. Шатно.** Что ж вы мимо едете? Повести и рассказы. 271 стр. Цена 47 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**В. Аграновский.** Остановите Малахова! Повесть 190 стр. Цена 25 к.

**В. Богомолов.** Сердца моего боль. Однодневник 343 стр. Цена 1 р. 21 к.

**М. Сергеев.** Подвиг любви бескорыстной. («Декабристки») 205 стр. Цена 38 к.

**Смена** Сборник стихов молодых поэтов. 271 стр. Цена 92 к.

**С. Соловьевичина** Наедине с другом. Стихотворения. 95 стр. Цена 21 к.

### «СОВРЕМЕННОК»

**С. Данилов.** Красавица Амга. Роман. Перевод с якутского. («Новинки «Современника») 431 стр. Цена 1 р. 2 к.

**Ф. Кузнецов.** Переключка эпох. Очерки, статьи портреты. 416 стр. Цена 1 р. 11 к.

**В. Николов.** Солнышко всем. Рассказы и повести Предисловие Б. Ведного («Первая книга в столице») 220 стр. Цена 35 к.

**Н. Тряпкин.** Заповедь. Стихи. 255 стр. Цена 79 к.

**Ю. Шесталов** Тайна Сорни-Най. Повесть. («Новинки «Современника») 173 стр. Цена 48 к.

### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**А. Анфиногенов.** А внизу была земля. Фронтовая повесть 238 стр. Цена 55 к.

**Л. Жуховицкий.** Костер по четвергам. («Писатель и время. Письма с заводов и строек») 88 стр. Цена 13 к.

**В. Лихоносов.** Элегия. Повесть и рассказы. Предисловие О Михайлова. 398 стр. Цена 93 к.

**Е. Мансимов.** Хлеб Очерки. («Писатель и время. Письма из деревни») 77 стр. Цена 11 к.

**Марьяно.** Дворцово-парковый ансамбль. Фотоальбом Текст С. И. Федорова. 32 стр. Цена 70 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77  
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»  
Москва, К 6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 26/VII 1976 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 15/IX 1976 г.  
А 09190. Формат бумаги 70×108<sup>1/8</sup> мм. 23,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
Тираж 168.000 экз. Зак. 2425.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 0480С.

Цена 70 коп.

70636